

Н О В Ы Й  
М И Р

9

---

1959

Н О В Ы Й М И Р

1959

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 9

Сентябрь, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| НИНА ИВАНТЕР — <i>Снова август</i> , повесть. Окончание  | 3    |
| ДМИТРИЙ ОСИН — <i>Лето в Приднестровье</i> , стихи   | 73   |
| МАРГАРИТА АЛИГЕР — <i>Разговор в дороге</i> , стихи  | 78   |
| А. МАРЬЯМОВ — <i>Идем на Восток</i> . Окончание первой книги   | 81   |
| ВИКТОР ЖУКОВ — <i>Баллада о табаке. К звездам</i> , стихи  | 134  |
| В. ФИРСОВ — <i>Моя болезнь. По Волге. Третий день</i> , стихи  | 136  |
| И. ИСАКОВ — <i>Крестины кораблей</i> (Из невыдуманных рассказов)   | 138  |
| ДЖОН УЭЙН — <i>Спешите вниз</i> , роман. Продолжение. Перевел с английского<br>Иван Кашкин   | 145  |
| <b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>  |      |
| <b>В. БОНДАРЕЦ</b> — <i>Записки из плен:</i>   | 186  |
| <b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>   |      |
| Е.Д. РЖЕВСКАЯ — <i>Геня Попков и ребята из сборочного</i> (Репортаж с Московского завода шлифовальных станков)   | 208  |
| <b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>  |      |
| Архитектор Б. СВЕТЛИЧНЫЙ — <i>Города второго поколения</i>   | 221  |
| <b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>  |      |
| В. СУРВИЛЛО — <i>На путях романтики</i> . Статья вторая  | 232  |
| ДВА СБОРНИКА РАССКАЗОВ. <b>Ф. Светов</b> . Трудные поиски.— <b>Инна Соловьева</b> . Начало пути.   | 247  |
| <b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>   |      |
| <i>Литература и искусство</i>  |      |
| <b>М. Злобина</b> . В мире условностей.— <b>А. Македонов</b> . Поэзия «высоких широт».— <b>А. Наркевич</b> . Живой Чайковский.— <b>В. Красильников</b> . Новое собрание сочинений А. С. Неверова.  | 258  |
| <i>Политика и наука</i>  |      |
| <b>А. Литвак</b> . Масштабы созидания.— <b>А. Млынек</b> . Рассказ о большой жизни.— Кандидат исторических наук <b>В. Кондратьев</b> . Венгерские братья по оружию.— Доктор филологических наук <b>М. Фетисов</b> . Первый казахский просветитель.— <b>Л. Седин</b> . Англия глазами американца. | 269  |
| КОРОТКО О КНИГАХ   | 280  |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ  | 285  |

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва



---

---

НИНА ИВАНТЕР

★

## СНОВА АВГУСТ\*

*Повесть*

14

**Е**сли бы у Аркадия Таборко был другой характер, он давно бы возненавидел Бориса. Мало кто мог бы вынести, чтобы перед ним беспрерывно, на каждом шагу, по каждому поводу и без всякого повода восхваляли достоинства другого человека. Причем не какого-нибудь там солидного и заслуженного, а такого, который на два года моложе тебя и только и успел в своей жизни, что закончить школу да провалиться в институт. И не просто восхваляли, а так, что ты безо всякого труда мог сделать вывод, что сам-то ты по сравнению с ним вообще мало чего стоишь.

«Как?! Вы не ходите на концерты? А наш Борис купил абонемент в консерваторию, он прекрасно разбирается в музыке. Неужели вам нравится этот фильм? А Борис говорит, что страшная чепуха и только человек без вкуса может хвалить его... Как, вы никогда не видели сверлильного станка? А наш Борис работает на нем, и все удивляются: только пришел на завод и уже сверлит... Борис, Борис, Борис...»

Что говорить, Зойка высоко ценила своего брата, но почему-то никогда еще на его долю не приходилось столько похвал от сестры, как с того дня, когда она познакомилась с корреспондентом Радиокomiteта.

Но Аркадий был слишком добр и покладист, он не страдал избытком самолюбия, и он не возненавидел Бориса. Напротив, он смотрел на него с нежностью, а иногда и с умилением: ведь на Бориса падала часть того сияния, которое исходило от Зои.

Зойка осторожно пробовала границы своей власти. Границ не было. Как бы ни была она холодна, неприветлива или несправедлива, Аркадий смиренно сносил все... Ни разу он не возмутился, не взбунтовался, не возроптал. Разве можно роптать на солнце, скрывшееся за тучами? Можно только ждать, всей силой души ждать: уйдут же когда-нибудь тучи, рассеется холодный туман, будет жизнь, тепло, солнце!.. Так живуча была его молодая любовь, что ничто не могло истребить в нем надежды на счастье.

Но кто и когда научил Зойку этому тонкому лукавству? Где постигла она сложное искусство владеть чужой душой? В какой книге вычитала, как сделать, чтобы юноша, который обратил на тебя внимание, с каждым днем и с каждым часом восхищался тобой все сильнее и сильнее? И откуда взялось у нее это умение стать вдруг небрежной и равнодушной, подать надежду и тут же отступить, и сделать так, чтобы он всегда чувствовал перед ней страх и робость и какую-то свою вину? Где и когда

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

научилась она всему этому? Этого, наверно, никто не мог сказать, и меньше всех — она сама. Она действовала вдохновенно, никогда заранее не обдумывая своих поступков и никогда не ошибаясь. Во всяком случае, до сих пор, с той первой встречи в школьной раздевалке, ей еще ни разу не пришлось раскаяться в том, что она была с ним слишком холодна или недостаточно учтива. Правда, бывало так, что ее вдруг охватывало беспокойство: а не перехватила ли она через край?! Она не находила себе места, нетерпеливо ждала телефонных звонков, прислушивалась к шагам на лестнице, но очень скоро убеждалась, что все хорошо, все так, как надо, и можно продолжать дальше. И она начисто забывала о своей недавней тревоге. И жила легко и счастливо, нимало не подозревая, что причиной этому и то, что где-то ходит длинноногий робкий юноша, которого ей ничего не стоит сделать счастливым или несчастным — как ей заблагорассудится — одним своим словом. И она искренне считала, что он ей совсем, ну вот ни капельки не нужен.

...Сегодня Аркадий позвонил раньше, чем обычно. Зойка только что успела прийти из школы и пообедать. Она задумчиво стояла посреди комнаты, размышляя, чем бы ей заняться: затеять ли уборку или взять какую-нибудь книжку и устроиться на Борькином диване? Уроков на завтра не было. И тут раздался телефонный звонок. Зоя сразу узнала голос Аркадия.

— Кто говорит? — спросила она.

— Это я, Аркадий. Мне очень нужно увидеть вас. Хотя бы на две минуты. Очень важно.

— Две минуты? — Зоя подумала. — Нет, кажется не могу.

— Не можете? — с отчаянием сказал Аркадий. — Ну, тогда...

— Что тогда? — высокомерно спросила Зойка.

— Тогда... тогда я позвоню еще раз, — смиренно сказал Аркадий. — Когда можно позвонить?

Зоя раздумывала.

— Дело в том, — не дождавшись ответа, сказал Аркадий, — дело в том, что я уезжаю.

— Счастливого пути.

— Я уезжаю, — повторил он. — Надолго. На полгода. А может быть, и больше.

— Как — полгода? — помертвев, спросила Зойка.

— На Алтай.

Это произошло неожиданно для него самого. Еще вчера утром он ни о каком Алтае не думал. И вот едет. Уже и путевка в кармане и командировочное удостоверение...

Как ни странно, косвенной причиной этого внезапного отъезда был Борис. Несколько дней назад Аркадий сидел у Бориса и рассказывал ему о ловком Вальке Паренькове, который пришел в редакцию гораздо позже него, а теперь прямо-таки режет подметки на ходу. В тот день редактор отдела предложил Аркадию съездить на «Шарикоподшипник», там должен был быть митинг. «В семь тридцать, — сказал редактор, — информация должна лежать на столе. Минута опоздания — и вы не репортер, а сапожник». Аркадий посмотрел на часы, было без четверти шесть. Он только было заикнулся о том, что до «Шарика» езды не меньше часа, как Пареньков схватил блокнот и сказал, что ровно в семь тридцать, ни секундой позже, информация будет в редакции. И действительно, в половине восьмого редактор читал перепечатанный на машинке материал... А потом Пареньков хвастался ему, Аркадию, что ни на какой «Шарик» он не ездил, просто позвонил от имени редактора в партком завода и сказал, что надо немедленно прислать материалы митинга. И вот, пожалуйста, — все как в аптеке, все речи, все как полагается.

А что касается пламенного энтузиазма, красных знамен, горящих глаз и всего прочего пафоса, то их он извлек из чернилницы.

— Вообще, знаешь, этот Пареньков здорово быстро ориентируется,— сказал Аркадий. — И никогда не теряется. Вот недавно дали ему задание — информацию о шведской оперетте. Он в музыке ни бум-бум, а тем более в шведской. Так он поговорил с кем-то там, с какими-то критиками, искусствоведами, и с их слов все накатал. Редактор потом на летучке говорил, что очень квалифицированный материал. Вот какой этот Пареньков, я иногда здорово злюсь на него, но все-таки он способный.

— По-твоему, способный,— сказал Борис, — а по-моему, жулик. Не знаешь, так и скажи, что не знаешь, а не воруй чужие мысли. А насчет митинга — так это вообще подлость и свинство, и наконец просто не по-товарищески выхватывать из-под носа задания. Что он, выслужаться хочет, что ли?

— Нет,— сказал Аркадий,— это нет, товарищ он хороший.

— Хороший?! Я вообще не понимаю, как вы терпите такого субчика в комсомоле. И почему ты молчишь? Разве это комсомолец?

— Ну нет, Борис, это тоже неправильно, в нем есть плохие черты, но есть все-таки и хорошие. И вообще нельзя так, как ты...

— Только так!

Они поспорили. Аркадий отбивался, как мог, но был окончательно сражен, когда вошедшая в комнату Зоя, как всегда, приняла сторону брата и сказала, что, видно, у них там, в их Радиокomiteе, не комсомольцы, а какие-то обыватели.

И вот вчера у них было комсомольское собрание. Речь шла о призыве партии осваивать целину. И о том, что их комсомольская организация тоже должна послать на целину своего человека — выпускать там радиогазету. Ехать надо было на полгода, а может быть, кто его знает, и на более долгий срок, как пойдет дело.

Первым выступил Пареньков. Он сказал, что вся молодежь охвачена энтузиазмом, что он сам лично наблюдал, как рвется молодежь на целину...

— По телефону наблюдал? — крикнул Аркадий с места.

Пареньков, кажется, даже не понял, что хотел сказать Таборко сзоей репликой. Тогда Аркадий попросил слова и сказал, что он думает о людях, которые пишут и говорят об энтузиазме, а сами лично никакого энтузиазма не испытывают. Разглагольствуют о целине, но сами не способны последовать примеру передовых и отправиться туда.

— А ты способен? — крикнул Пареньков.

И тут Аркадий сказал, что он просит, нет, он требует, чтобы на целину послали именно его... Поднялся страшный шум, председатель стучал по столу, что-то вопил Пареньков... Ну, в общем Аркадий добился своего: его посылают. И вот он едет.

Аркадий был возбужден и несколько растерян. За те сутки, что протекли от его внезапного решения, он переходил от подъема к унынию. То ему казалось, что все вышло просто замечательно и нет ничего лучше, чем оставить привычную жизнь и ехать в новый, неведомый край, то он вспомнил о Зое, и ему казалось, что он сам, своими руками, разрушил свое счастье, то, которое было, и то, что еще должно было к нему прийти. Потом он снова проникался гордостью за свое, хотя и необдуманное, но правильное решение...

К Башкировым он пришел в состоянии подъема и возбуждения, но вот он рассказал все, и ему снова стало не по себе.

— Ну что ж,— сказал Борис, — Алтай — это хорошо. И этого Паренькова ты толково обрезаешь, пусть не треплется.

— Да, — уныло сказал Аркадий, — он, наверно, здорово на меня разозлился. После меня еще ребята выступали — тоже против него.

— Я бы на вашем месте выговор ему влепил, — сказал Борис. — И то, что ты так долго не выступал против него, не делает тебе чести.

Аркадий жалобно посмотрел на Зою, и той в первый раз не захотелось принять сторону брата.

Все эти последние дни Зоя не расставалась с Аркадием. Она ходила с ним по магазинам, закупала все необходимое в дорогу. Терпеливо ждала его в скверике напротив редакции, куда он получал деньги на дорогу. Пошла вместе с ним в библиотеку сдавать книги. Поехала с ним за город к его бабушке. Решила напечь ему на дорогу пирожков... И было во всех этих сборах что-то семейное, домашнее. Борис смотрел, как озабоченная, перепачканная мукой Зойка бегаёт из комнаты в кухню, и вдруг ему стало грустно: Зойка уходит от него. Она была тут, рядом с ним, и никуда не собиралась уезжать, но он чувствовал — уходит. С доброй, печальной улыбкой он смотрел на сестру — уходит, уходит, ну что поделаешь, уходит...

Провожать Аркадия они пошли вдвоем.

Перрон был полон провожающими. Они с трудом протиснулись к вагону. Борис прошел внутрь, а Зойка и Аркадий подавали ему через окно вещи.

Когда Борис выбрался из вагона, он не сразу нашел их. Потом увидел. Они стояли в стороне, немного поодаль. Зойка, подняв голову, говорила что-то Аркадию. Тот слушал. Потом вдруг наклонился и поцеловал ее. Борис отвернулся. Чертовски почему-то неловко и даже неприятно смотреть, как кто-то целует твою сестру.

## 15

Надо вспомнить. Просто по порядку вспомнить, как все было. Если вот так, шаг за шагом, вспомнить, наверняка окажется, что ничего особенно скверного. Подумаешь, неудачно выступил на собрании! Тысячи людей выступают неудачно — что же, им вешаться из-за этого?

Значит, так. После субботника они все вернулись в красный уголок, потому что оставили тут свои вещи. Гора пальто была навалена на столе, каждый стал вытаскивать свое. И тогда Люда Демидова, комсомольский группорг, сказала:

— Ребята, ребята, а что если нам провести комсомольское собрание? Раз уж все равно все собрались. А?

Все немного для виду поворчали: вот, мол, целый день вкалывали в цехе, потом — субботник, а теперь еще — здрасте! — собрание. Но в красном уголке было тепло и светло, еле слышно тикали ходики, за стеной ровно гудели моторы, и, после того как ребята несколько часов провели на холодном ветреном пустыре, выходить на улицу не очень-то хотелось.

Все стали рассаживаться. Борис забрался в самый угол. Ему было как-то удивительно хорошо. Лицо горело, руки и ноги слегка ныли, как после первой в году лыжной вылазки, и немного клонило ко сну. Главное, он здорово работал — вот что! Председатель завкома, который пришел поглядеть, как идут у молодежи дела, постоял возле него, когда он орудовал лопатой, и сказал: «Вот это комсомол! Ей-богу, премировать вас за такое дело не жалко». Это было Борису особенно приятно — нет, не премия, а то, что о нем так говорят. Потому что, как там ни крути, а дела в цехе у него пока швах. И даже непонятно, почему так получается. В школьной мастерской у него шло не хуже, чем у других, сработанный им угольник взяли даже на районную выставку. А здесь...

Словно привесили ему другие руки, неловкие, медленные, и словно обе—левые. Сегодня опять четыре сверла сломал... Ну ладно, зато тут, на субботнике, он показал, что он тоже кое-чего стоит.

Они расчищали пустырь на соседней улице, там будет строиться дом для рабочих их завода. Борис работал в паре с Горошкиным. Они нагружали носилки обломками кирпича, булыжником, всякой дрянью, которая валялась тут, тащили все это к большой яме на краю пустыря, здесь сваливали свой груз и — бегом обратно.

Впрочем, Горошкин не слишком торопился, все время приходилось подгонять его, он бы рад лопаты в сторону и — потреться.

— Слушай, Башкиров, ты Маяковского любишь? — ни с того ни с сего спрашивал он, втыкая лопату в землю и складывая руки на черенке. Его маленькая заячья мордочка ни секунды не оставалась в покое — двигались губы, подбородок, морщился нос.

— Ну люблю, — отвечал Борис, не переставая работать.

— Я так считаю, что это самый что ни на есть поэт, а?

— Ладно, давай берись за носилки.

— Слушай-ка, — говорил Горошкин, когда они, сбросив свою ношу, возвращались обратно. — Вот я тебе одну штуку прочитаю, как, по-твоему, похоже на Маяковского? Да постой ты, — останавливал он Бориса, бравшегося за лопату, — совсем короткое. Вот слушай. — И он быстро, захлебываясь, начинал читать, боясь, что Борис все-таки перебьет его.

— Ну как?

Борис молча брался за лопату.

— Это я в обеденный перерыв написал. Я и не обедал нынче... Как думаешь, напечатают? — Борис пожимал плечами. — Отнесу сегодня, а?

— Неси.

— Пстой, а ты мне вот чего скажи: как это отрабатывают стихи? Вот мне, понимаешь, написать ничего не стоит, ну вот о чем хочешь напишу. А вот отрабатывать — не получается. Вернее, мне как-то скучно становится, лучше я тебе два новых напишу, чем отрабатывать. А Кор говорит: не отработано... Слушай, а может, мне в журнал «Юность» отнести? Они там стихи с фотографиями печатают. Вот я только на фотографиях почему-то никогда похожий не получаюсь. Почему это, а?

— Послушай, Горошкин, будешь ты работать или нет?!

Горошкин вздохнул и взялся за носилки.

Когда они возвращались обратно с пустыми носилками, Борис заметил знакомую фигуру. Устинов, как всегда немного встрепанный и торопящийся, шагал по пустырю с блокнотом в руке. «Информацию собирает, — понял Борис. — Собирайте, собирайте, такое ваше дело, а мы поработаем!» И Борис еще яростней взялся за лопату. Но Устинов оторвал его от дела. Они отошли в сторонку, и Устинов спросил, не собирается ли Борис зайти в редакцию. Зачем? Ну, во-первых, он там давно не был. А во-вторых... может быть, он даст несколько строчек о субботнике? А то самому Устинову еще столько сдавать, совсем зашил. «Ладно», — сказал Борис.

Когда Борис вернулся обратно, Горошкина не было. Прислоненная к забору, стояла одинокая лопата.

Это было просто свинство! Взять и сбежать. Позор—и больше ничего. Молчал бы уж лучше о Маяковском, дезертир!..

— Безобразие, — строго сказала Люда Демидова (Борис пришел к ней, чтобы она дала ему кого-нибудь в пару вместо Горошкина). — Придется предупредить его по комсомольской линии.

— Предупредить? — удивился Борис. — Человека, который сбежал с субботника, — предупредить?!

— А что же его расстреливать, что ли?

Борис обернулся. Сзади стоял Никольский.

— По-моему, — сказал Борис, обращаясь к Демидовой, — человеку, сбежавшему с субботника, вообще нечего делать в комсомоле. Какие у него могут быть оправдания? Нет у него оправданий!

— А может, у него живот болел? — снова усмехнулся Никольский и, не давая Борису вымолвить ни слова, сказал своему напарнику: — Пошли, чего тут митинги разводить.

Это было единственно неприятное, что произошло на субботнике.

Вместо Горошкина с Борисом стала работать рыжая Валя из конторы. Все девушки работали на разборке кирпича, но Валя сказала, что она любит тяжелую работу. Может быть, она и любила, однако носилки пришлось теперь нагружать не доверху. Но по крайней мере она хоть молчала. Только, когда они кончили работать, сказала, что сегодня в клубе интересное кино — «Подвиг разведчика», она уже смотрела, но пойдет еще раз. А билеты она в любое время достанет и для себя и еще для кого угодно: у нее знакомая кассирша.

Борис поздравил ее с таким полезным знакомством и отправился в красный уголок.

...Тяжелый стол был придвинут слишком близко к стене. Борис с трудом пролез между скамейкой и столом и уселся в самом углу. Верхняя доска стола слегка давила ему на живот, но вылезать отсюда было уже неудобно, да и не хотелось.

Это был тот же красный уголок, куда впервые он пришел месяца два назад, чтобы писать о Никольском. Те же стены, чуть заметно дрожащие от работы моторов в цехе, те же ходики на стене, тот же бегун на плакате все так же разрывает грудью ленточку финиша. Все было то же, но почему-то казалось теперь другим.

«А это ведь часто так бывает, — размышлял Борис. — Сначала видишь все по-одному, а потом приходит время — все другое, хотя ничего не изменилось. Тогда мне казалось, что все тут какое-то случайное и никому не интересное. А теперь мне здесь ужасно нравится, и все тут свое — и эти ходики и стол с измятым ситцем, и я знаю, что лежит в этом старом коричневом шкафу... Если бы можно было внутри себя сфотографировать тот, прежний, красный уголок, где я разговаривал с Никольским, и этот, сегодняшней, — получились бы две разные комнаты... И ведь с людьми так бывает. Увидишь человека в первый раз, потом знаешь его очень долго. Но если вдруг вспомнишь, какой он был для тебя вначале, покажется, что тот был совсем другой, хотя на самом деле он, конечно, такой же. Вот недавно я встретил в клубе Кора. Он был в клетчатой рубашке, в той, в которой я встретил его в первый раз. И (наверно, из-за этой рубашки) я вдруг увидел его теми, прежними глазами. И даже удивился. В то первое утро тот клетчатый Кор был совсем не такой, как теперешний. Тот знал все на свете, и у него не было никаких слабостей, и мне было до него, как до неба...»

Собрание уже давно началось. О чем это она говорит? Ах да, о часовом графике. Надо слушать.

— Рабочий класс никогда не останавливался перед трудностями... — говорила Люда Демидова.

«Рабочий класс... Ведь я теперь тоже рабочий класс. А верно ли, что у рабочего другая психология, не такая, как у учащегося? А какая же у меня теперь психология? Наверно, еще не изменилась, ведь прошло только полтора месяца... Но вот вчера позвонил Юрка Розанов. Раньше мне не хотелось с ним разговаривать: он попал в институт, студент. А вчера я с ним трепался целый час. И мы даже договорились, что в первый день нового года соберемся всем классом и пошатаемся все вместе по Москве. А ведь до сих пор я никого из них не хотел видеть. Я злился на них на всех, и мне было неприятно с ними встречаться.

А теперь я рад, что встретимся.. Может быть, это начинает меняться психология?..»

Он опять спохватился, что не слушает.

Теперь речь шла о комсомольце Моргунове. Моргунов стал пропускать уроки в вечерней школе, и от него требовали объяснения: почему он уваливает от занятий?

Моргунов медленно поднялся и заговорил тоже медленно, низким, как из бочки, голосом.

— Не получается у меня, ребята, вот что я вам скажу. С алгеброй. Я сижу (вот Демидова может подтвердить, мы с ней в одной квартире живем), я иногда до двух часов ночи сижу — и ни в зуб ногой. Так, по другим предметам, ничего, ну там тройки, четверки иногда. А к алгебре я неспособный. Я уж вам точно говорю. Я из-за этой алгебры три месяца в кино не ходил, футбол и тот пропускал, а все равно никакого толку нет. И не будет. Это я уж знаю.

Моргунов гудел неторопливо, убежденно. И все увидели: человек не юлит, не изворачивается. Ну не может он одолеть эту алгебру — что же, ему погибнуть, что ли, из-за нее!

— Он занимается, это верно,— задумчиво сказала Люда Демидова.— Выйдешь ночью на кухню, а он сидит.— Она помолчала.— И вообще мы знаем Моргунова, показатели у него очень хорошие: за прошлый месяц — сто тридцать процентов...

Она нерешительно замолчала, не зная, что предложить. Не могла же она сказать, что раз такое дело, раз не может человек, ну что поделаешь. Семь классов у него есть, ну не обязательно же всем...

Может быть, и другие думали так же и тоже не решались сказать вслух? Во всяком случае, никто не хотел брать слова, и Демидова обрадовалась, увидев, что Башкиров поднимается с места.

— Давай, Башкиров.

Борис вовсе не собирался выступать. Просто этот проклятый стол прижал ему живот и он попытался приподняться, чтобы устроиться поудобней. Но все уже смотрели на него и ждали, что он скажет. Борис откашлялся.

— К-конечно, в наше время все должны учиться... особенно комсомольцы...— Стоять было ужасно неудобно.— Я не буду приводить слова Ленина, их все знают...— Борис попробовал упереться ногами в перекладину стола.— А сейчас, когда наука и техника идут вперед...— Проклятая перекладина была слишком далеко.— Мы все обязаны учиться. Коммунистическое отношение к труду...

Бориса слушали плохо. Кое-кто зевал. Всем уже хотелось, чтобы собрание поскорей окончилось и можно было идти домой.

— ...Коммунистическое отношение к труду означает, что человек повышает свой уровень...

Борис попробовал оторвать ноги от перекладины и выпрямиться, но подошвы шаркнули по полу, и он неожиданно для всех с размаху шлепнулся на скамейку.

Все захохотали.

— В чем дело, товарищи? — строго сказала Люда Демидова.— Ничего смешного нет.

Но вид у Бориса был на самом деле смешной. Весь красный и какой-то встрепаный, он пытался выбраться из-за стола и не мог.

— Ну ладно, ребята, хватит,— сказала Демидова, стараясь быть серьезной.— Человек кончил говорить и сел на место, в чем дело?

— Н-нет,— сказал Борис со злостью,— я не к-кончил. Я т-только начинаю. Если хотите знать, так все, что тут говорил Моргунов,— чепуха на постном масле! Как это не понимать алгебру? Программа состав-

ляется не для профессоров и академиков, а для простых смертных, и всякий нормальный человек может ее усвоить.

— Значит, он ненормальный? — спросил кто-то.

И все снова рассмеялись.

— Д-да, для меня он ненормальный. Или, вернее, лентяй первой марки.

Теперь Борис действительно кончил. И собрание снова затормозилось, хотя Люда просила ребят выступать.

— Можно вопрос? — Никольский поднялся со своего места. Высокий и стройный, он стоял, постукивая папиросой по крышке коробки. — Вот тут говорили о коммунистическом отношении к труду. Так я немного недопонял. По-коммунистически, это как? Когда сто тридцать процентов нормы или когда толкуют про Ленина и ломают сверла?

— Я не понимаю, Никольский, — немного растерявшись, сказала Демидова, — ты это серьезно или дурака валяешь? Могу тебе разъяснить: коммунистическое — это значит...

— Ладно, — усмехнулся Никольский, — снимаю вопрос. — И сел на место.

Люда пожала плечами.

У Бориса горело теперь не только лицо, но и уши, и шея, и грудь. Если бы его не прижимал этот чертов стол, он, кажется, встал бы и ушел. Как сквозь воду, слышал он, что Демидовой предложили пойти в учебную часть вечерней школы и поговорить с завучем. «Нечего ходить, зря ноги бить», — басом сказал Моргунов...

Наконец собрание окончилось.

Борис выдрал свое пальто из груди, сваленной в углу, и вышел из цеха.

...Надо вспомнить. Просто вспомнить по порядку, как все было. Может, ничего особенно скверного? Ну выступил, ну и что ж, мало ли людей неудачно выступают... Да нет, скверно, что уж там говорить, скверно. И Никольский прав: какого черта он учит других, когда сам ничего не умеет?.. Он ненавидит этого Никольского, но Никольский прав. Но главное не это. Главное — то, что он сам сказал про Моргунова. Это уж было просто свинство. Нет, скверно, скверно, что уж там говорить, скверно, этот Моргунов, наверно, здорово обиделся...

Борис топтался у дверей цеха. Ребята все не шли. Хорошо бы Моргунов вышел один. Нет, вот он басит, разговаривает с кем-то...

Борис окликнул Моргунова.

— Ну, чего еще? — прогудел Моргунов и остановился.

Борис подождал, пока прошли ребята.

— Т-ты, конечно, злишься на меня, и, н-наверно, ты прав... Хотя по существу я сказал верно: не может быть, чтобы человек не мог осилить алгебру...

Моргунов молчал.

— Я думаю, у тебя неправильный метод и поэтому не получается. Моргунов ничего не ответил.

— Н-ну, вот что, — продолжал Борис с трудом, — у меня есть предложение: если хочешь, я буду с тобой заниматься. Я кое-что в алгебре соображаю, мне еще в школе приходилось помогать отстающим. И, как ни странно, получалось, я даже сам удивлялся...

Моргунов все молчал.

— В общем, как хочешь. Но, по-моему, это будет просто глупо бросать школу из-за такой чепухи... Ты не думай, что я хочу оправдаться перед тобой, я просто хочу тебе самому доказать, что ты...

— Ненормальный? — басом спросил Моргунов.

Борис закусил губу.

— Ну, как хочешь. Не хочешь понять по-человечески, как хочешь.

Они помолчали.

— А ты думаешь, что-нибудь получится? — вдруг спросил Моргунов и застенчиво взглянул на Бориса. — Ты не знаешь, какая у меня башка на эту алгебру. Ни черта не принимает!

— Слушай, Моргунов, ведь мы никому докладывать не будем. Не получится — никто, кроме нас с тобой, знать не будет. Но я думаю, получится.

— Смотри, намучаешься ты со мной.

— Ладно.

Они вместе подошли к трамвайной остановке, и тут Борис вспомнил, что он обещал зайти в редакцию. Наверно, там все разошлись. Поздно.

Нет, окна редакции все еще светились. Ну да, суббота — сдача номера. Устинов, наверно, совсем запарился там... И я тоже запариваюсь. Вот еще этого Моргунова зачем-то навалил себе на шею! А сам когда я буду заниматься? А кружок? Аристов хочет, чтобы я заменил кого-то, кто ушел в отпуск. Правда, всего на месяц... А сверла? Что если они у меня так и будут ломаться?! И что если у меня вообще ничего не получится? Вот не получилось же в редакции.

Борис постоял немного, глядя на освещенные окна редакции, и пошел наверх.

Он не был тут месяца полтора, с тех пор как перешел в цех.

В редакции была обычная субботняя спешка. Трещала машинка. Взьерошенный Устинов ожесточенно грыз кончик карандаша. Кор составлял в чей-то статье хвостатые абзацы. Макеев писал своими толстыми лиловыми буквами, тесно ставя их друг к другу — без полей и красных строк.

Бориса заметили сразу. Кор помахал ему своим вечным пером. Марго закивала, не снимая рук с машинки и продолжая заливать комнату оглушительным треском. Макеев положил ручку.

— Ну как? — спросил он. — Как у вас там, в первом, зашиваетесь с часовым графиком?

Макеев, как всегда, был в курсе самого главного. О часовом графике шла речь на всех собраниях и совещаниях. Борис прошел к Макееву и сел на тот самый стул, на который садились обычные посетители Макеева: кузнецы и слесари, инженеры и технологи, мастера и начальники цехов — словом те, кто решает судьбу дела. Вот и он теперь сидит на этом стуле и Макеев спрашивает его. И хотя он еще не очень решает и не совсем разобрался в цеховых делах, Макеев слушает его очень внимательно и делает какие-то пометки.

— Значит, говоришь, второй цех тормозит?

— Второй, — отвечает Борис. — Так считает Аристов.

— Правильно считает. Вот мы и пропесочим этот второй цех. Как твое мнение?

Борис радостно соглашается. И вдруг понимает: да, дело решается и здесь, в этой комнате, и оттого, как Макеев «пропесочит» начальника второго цеха, зависит, сможет ли их цех перейти на часовой график и перевыполнить квартальный план.

— Ну, добре, — говорит Макеев Борису, как говорит он всем, кто приходит к нему и садится на этот стул. — Добре. Коли что, заглядывай.

— Боба, — шепотом сказала Марго, когда Макеев, положив возле нее исписанные страницы, вышел из комнаты, — слышали новость? Макеева собираются сделать у нас редактором. Я сама печатала решение парткома. Как, по-вашему, хорошо это? Лично о себе я не говорю, конечно, мы можем с ним не сработаться (вы помните, как я его прарила?), я — в принципе.

— А в принципе — отлично, — сказал Устинов. — Только это не решение, а пока еще проект.

— Нет, решение!

— Нет, проект!..

— Братцы кролики,— сказал Кор, не поднимая головы,— вы как, собираетесь сегодня сдавать номер?

Снова затрещала машинка.

Борис подошел к Устинову. Только сейчас почувствовал он, как сильно устал.

— Сколько тебе строк о субботнике? — спросил он.

— Уже не надо. Мы стихи даем, Горошкин ваш написал. Пришел и прямо тут, в редакции, и накатал. Стихи чепуховые, но Кор говорит: зато оригинально — информация в стихах. Он там, между прочим, о тебе написал, прямо до небес. Но Кор выкинул — и так много.

— И правильно сделал,— сказал Борис.

...Ну что ж, если вспомнить все по порядку,— ничего страшного. Ну подумаешь, выступил неудачно, все, наверно, уже забыли. Никто никогда не помнит потом, кто как выступал. А Моргунова он заставит попотеть, он вколотит ему в башку эту алгебру, будь Моргунов хоть дубина из дубин, тупица из тупиц. И с кружком он справится, не диамат же он будет преподавать, всего-навсего текущую политику... и в конце концов Аристов знает, кому поручать. Вот Никольский... Надо было все-таки ответить ему, отбрить его как следует. Ну ладно, он еще ответит. И вообще все еще может получиться.

## 16

Поздний вечер. Но Борису завтра во вторую смену, может спать хоть до двенадцати. Отцу, как всегда, подниматься рано, но он готов не спать хоть всю ночь. Ах, как важен для него этот разговор, который вдруг затеял сын! Он сам не знает, как и когда это случилось, что дети заняли столько места в его жизни, отодвинув в сторону все, что казалось раньше самым главным.

— Так вот,— продолжает Борис,— сегодня у нас с Аристовым зашел разговор о тебе. И мне вдруг пришло в голову: а что если бы у меня был другой отец... Впрочем, тогда и я был бы уже не я. А интересно, куда девался бы я, вот этот самый, с этими руками и ногами и с этим идиотским характером?

Голова у отца наклонена. Борису виден его лоб, поседевшие волосы, поникший вихор, тот самый, что там, на фотографии, так отчаянно тянулся вверх. Щека у отца чуть заметно дрожит, и Борису кажется, что он смеется.

— Не смейся, пожалуйста, я ведь сам понимаю, что чепуха.

— Я не смеюсь,— говорит отец и поднимает глаза на Бориса. Взгляд у него необычный, испытующий.

Борис на секунду удивляется. «Наверно, из-за света»,— догадывается он.

Какая-то авария с электричеством. Целый вечер нет света. Они сидят в кухне. Белые стены маленькой кухни освещаются голубоватым пламенем газовой конфорки и бледным огоньком тонкой свечки из елочного запаса (скоро Новый год). Огонек колеблется, на стенах кухни танцуют тени. И от этих теней, наверное, такое странное лицо у отца... Впрочем, и разговор у них необычный и странный. И тоже, наверно, из-за этого полумрака и танцующих теней. Под белым светом электрической лампочки разговор, наверное, получился бы другой. А может быть, и совсем не получился бы?

— В конце концов никто не выбирает себе родителей. Но если бы мне дали выбрать, знаешь кого я выбрал бы себе в отцы?

Отец молчит. Потом откашливается и говорит хрипловатым голосом:

— Не знаю.— Он снова откашливается.— Может быть, Бориса Петровича?

Борис пожимает плечами.

— Тогда Аристова?

— Аристова? — удивляется Борис.— Между прочим, этот Аристов — замечательный дядька. Сначала он мне показался обыкновенным, знаешь, такой честный, порядочный, ну немного скучный... В общем, обыкновенный хороший человек. Нет, он умный, черт, и все очень здорово понимает. И с ним всегда интересно. И вот сегодня у нас с Аристовым был такой разговор. Он спрашивает у меня: ты не помнишь, как тебя твой батька воспитывал? У него, Аристова, есть сын, лет двенадцати, и вот он его отлупил за что-то, этого сына. Видно, ему это было неприятно. И он спрашивает у меня, не лупили ли меня в детстве. Я сказал, что, по моему, это вообще непедагогично — лупить и что ты придерживался другой системы воспитания. Ведь правда?

— Да, насколько я помню, я тебя ни разу не ударил. Но что касается системы, то я, право, затруднился бы определить... Пожалуй, никакой системы не было.

— Ну как не было, была, конечно... Так вот, мы с ним говорили, и я подумал: в конце концов это вопрос случая, ведь никто не выбирает себе родителей, а вдруг у меня был бы другой отец! И вот, знаешь, если бы мне дали выбрать... Я тебе давно собирался сказать, еще когда в институт провалился... Так вот, если бы мне дали выбрать, я бы... Ну, в общем мне здорово повезло, что моим отцом оказался именно ты. И, честно говоря, я хотел бы быть похожим на тебя.

Отец молчал.

— Просто было бы черт знает как паршиво — если бы кто-нибудь другой.

— Ты так думаешь? — голос у отца слегка дрожал.

— Ну конечно! Знаешь, мне еще в школе ребята завидовали. Им постоянно что-то запрещали, чего-то не позволяли, привязывались со всякой ерундой. А у меня было совсем иначе. Во-первых, на меня никогда не ворчали. Ну, маму я в счет не беру, ты знаешь — на меня никогда не действовало. Во-вторых, если мне что-нибудь нужно было, ты никогда не говорил, что это глупость. Вот помнишь, с подвесным моторчиком к лодке или с поездкой в Ленинград?.. Но дело, конечно, не в этом.

— А в чем? — тихо спросил отец.

— В чем? — Борис задумался.— Я думаю в том, что ты всегда относился ко мне, как к человеку. Я так и Аристову сказал: по-моему, главное — это уважать личность. А он говорит: а если эта личность вся выгваздалась в грязи с ног до головы и ей плевать, что мать ее обстирывает, тогда как? Я ему привел Макаренко. Но он говорит, что человек на человека не похож, и каждый случай особенный, и законов тут не установишь. А по-моему, если педагогику рассматривать как науку, так она обязана разрабатывать законы, иначе...

Отец не слышал ни слова из разглагольствований сына, в груди его дрожала такая радость, какой он, кажется, еще не знал. Нет, это было совсем новое чувство, не то, которое охватывало его, когда крохотные руки сына обнимали его шею, когда тоненький мальчик в красном пионерском галстуке бежал к нему со всех ног, едва завидев его в конце улицы. Взрослый сын, которого он иной раз не совсем понимает, перед которым иной раз чувствует неловкость за то, что он, его отец, не может быть таким непримиримым, таким прямолинейным и твердым, каким бы ему следовало быть, этот сын, этот взрослый человек считает, что ему повезло. Он хочет быть похожим на отца. Нет, он будет лучше, тверже, смелее.

Вдруг вспыхнул свет. Ослепительно яркая лампочка зажглась под потолком и заставила обоих зажмуриться. И в этом привычном белом свете лицо отца показалось Борису незнакомым и странным. Умиленная, растроганная улыбка удивила его. И ему почему-то стало неловко.

— Ох, и свинья же я,— сказал Борис, не глядя на отца,— тебе завтра рано вставать, а я несу тут всякую чепуху.

Борис поднялся и пошел к себе.

Отец на цыпочках прошел в комнату, поправил на Зое сползшее одеяло, посмотрел на круглое, совсем еще детское личико дочери, на кудрявые волосы, разметававшиеся по подушке... У нее тоже будет своя жизнь, но отец — всегда отец, и это никогда не разорвется. Все может рухнуть — дружба, любовь, привязанность, но это всегда с человеком — его дети.

## 17

— Ну, что касается Бельгии,— сказал Костя Никольский, выходя вместе с Борисом из ворот завода,— так это ты, положим, загнул. Никогда не слышал, чтобы «Москвич» принимал Бельгию.

— Ничего не загнул. Можешь зайти — сам увидишь. Бельгию и Францию.

Костя небрежно пожал плечами.

Подошел трамвай. Борис кивком попрощался с Никольским и вскочил на ступеньку. Костя некоторое время стоял, задумчиво глядя вслед удалявшемуся трамваю, потом вдруг сорвался с места и побежал вдогонку. Он настиг трамвай у поворота, поравнялся с ним и легко вспрыгнул на площадку.

— А мне казалось, ты где-то на Покровке живешь,— сказал Борис.

— На Покровке,— подтвердил Костя.— Но я не домой.— Он, прищурившись, поглядел на Бориса.— К тебе. Ты ведь сам пригласил «Москвич» твой послушать. Или раздумал уже?

— Почему раздумал? Пожалуйста.

Трамвай толчками, как будто нехотя, взбирался в гору.

«Как же, поймашь сейчас что-нибудь путное,— с раздражением думал Борис.— Ведь оба раза Бельгию поймал ночью». Но сказать об этом теперь было неудобно — ведь в самом деле пригласил! И Борис с неприязнью посматривал на Костю. Тот, держась за поручни, гибко покачивался в такт толчкам вагона.

— Эй, красавец, билет-то будем брать? — сказала кондукторша, глядя на Костю.

«А ведь правда красивый,— вдруг подумал Борис.— Главное — рост!.. Да нет, и все остальное... — Он посмотрел на собственное отражение. На улице смеркалось, в вагоне зажгли свет, и он ясно видел себя в темном стекле. Угловатые плечи, взлохмаченная голова.— Нечего сказать, Аполлон...»

Костя балагурил с кондукторшей. Он соскочил с трамвая, так и не взяв билета.

— А у тебя тут ничего,— сказал он, войдя и оглядев комнату.— Главное — один. К тебе, наверное, не лезут?

— Лезут,— сказал Борис,— все равно лезут. Но в общем, конечно, один.

Он включил приемник, засветилось окошечко, потом раздался ровный гул. Борис повернул рычажок и придвинул стул поближе к приемнику.

Конечно, ничего не получалось! На коротких волнах что-то визжало, выло, скрежетало — ни одного связного звука...

— Кто это снят — ваш класс, что ли?

Борис обернулся. Никольский рассматривал фотографию, висевшую над столом.

— Да нет, какой класс. Это двадцать пять лет назад снято. Там, с краю, отец мой. Это они на комсомольском воскреснике.

Костя присвистнул.

— Двадцать пять, ничего себе! Четверть века. Идейный народ, ничего не скажешь... У тебя это, наверно, наследственное.

— Наверно, — отрывисто сказал Борис.

Костя насмешливо посмотрел на Бориса.

— Надо думать, четверть века назад они вряд ли рассчитывали на премии. Не то что в нынешние времена.

— А что в нынешние? Кто рассчитывает? Кого ты, собственно, имеешь в виду?

— Не тебя, не беспокойся. Ты ведь у нас личность высокосоциальная... Кстати, Моргунов-то твой, говорят, одни пятерочки хватает.

— Пока только тройки.

— Ну что ж, на его бедность и троечка — подарок... Да, ты у нас опытно-показательный товарищ. А кроме того, зачем тебе деньги? Тебя в случае чего папа с мамой прокормят, да еще на кино дадут. Нет, я имею в виду таких, как Горошкин. Кстати сказать, я его преступником не считаю.

— А я считаю, — резко сказал Борис. — Не преступником — при чем тут преступник? Просто он для меня не человек.

Костя посмотрел на Бориса, прищурив глаза. Прошелся по комнате, постоял у книжной полки, вытащил какую-то книгу.

— А легко тебе живется, — сказал он, небрежно перелистывая страницы, — все для тебя ясно: кто человек, кто не человек. Аристов — человек, поскольку он правильные речи говорит, опять же — парторг. Горошкин — не человек: он с субботника сбежал. Демидова, ясно, человек: она критику-самокритику обожает. Агафшин выпить не прочь — следовательно, не человек... А интересно, куда ты меня определил? В человеки все-таки?.. Впрочем, это известно — ты ведь обо мне даже в печати высказался. «Все помыслы новатора производства Никольского К. Н. направлены на то, чтобы приблизить коммунизм». Так, кажется?

Этих слов Борис не писал, их вставил Кор. Но глупо было сейчас сваливать на кого-то.

— Предположим, так. А что, тебя не устраивает?

— Нет, почему же. Вполне. Только есть у меня, к примеру, такой помысел: выиграть двадцать тысяч, пожить в свое удовольствие. Как тебе нравится такой помысел? Ладно, — остановил он Бориса, — не стоит сотрясать воздух, суду все ясно.

Костя отошел к окну и стоял спиной к Борису, барабанил пальцами по стеклу и глядя в темноту. Борис посмотрел на него, пожал плечами и вернулся к приемнику.

Теперь он уже совсем не надеялся поймать что-нибудь путное, просто вертел рычажками, ловя разные станции.

— А жилплощадь ты себе неплохую отхватил, — сказал Никольский, закуривая, — как говорится, дай бог каждому.

— А я ее, между прочим, не отхватывал, — сказал Борис, не обращаясь.

— А-а, ну да, ну да, правильно. Зачем же отхватывать. Это пусть несознательные отхватывают, а которые сознательные, те и так все получают без очереди.

— Слушай, — сказал Борис с яростью, — в конце концов...

Он не договорил, в приемнике вдруг что-то нежно и быстренько застрекотало. Неужели все-таки Бельгия?! В такое время? Чуть слышным

движением пальца он повернул рычажок, стрекотание стало ясней. Нет, конечно, не Бельгия. Наверно, Польша. Но все равно. Борис уже не думал ни о чем и не слышал ничего, кроме этих звуков, которые неслись сюда бог знает из какой далекой дали. Он еле заметно тронул рычажок. Женский певучий голос проговорил какую-то фразу, она звучала слитно, как одно необыкновенно длинное, в полстраницы, слово. А может, все-таки Бельгия? Нет, подумать только — Бельгия! Черт-те где она, эта Бельгия, и вот, пожалуйста,— стоит в этой Бельгии человек, разговаривает вполголоса, а он тут, на Усачевке, отлично слышит его! Нет, как хотите, а это все-таки чудо. Борис с наслаждением слушал незнакомую речь.

— Наверно, про любовь,— сказал вдруг Никольский.

— Что про любовь?!

— Вот это.— Костя постучал ладонью по книге, которую держал в руках.

— Про многое. И про любовь. А что?

— А ничего. Только чепуха все это. Придумали чушь и носятся с ней. Какая там любовь!..

Борис вдруг почувствовал усталость. Ну почему он должен всегда кого-то в чем-то убеждать, кому-то что-то доказывать! Если для этого Никольского Стендаль чепуха — пусть! Ну не все ли равно?..

Голос в приемнике все удалялся, удалялся и наконец совсем замолк. Борис повернул рычажок, что-то засвистело, завывало, потом, прорываясь сквозь шум, мужской голос раздельно, как будто ставя после каждого слова точку, сказал: «Комсомолец. Передовой человек. Обязан. Быть. Впереди».

— Вот-вот,— сказал Костя,— только впереди — тогда строитель. А чуть немного подзадержался—долой его, он уже не строитель. У вас ведь так.

— У кого это, у вас?

— У вас как? — продолжал Костя, не отвечая.— Сиди на собраниях, люби критику, делай зарядку, дыши носом — вот ты и строитель. А чуть что не так — вычеркнуть его из строителей, и дело с концом. Вот как у вас.

«Валяй, валяй,— с бешенством подумал Борис,— получишь за все сразу!»

Но Костя молчал, отвернувшись к окну, как будто забыл о том, что только что говорил.

— Ну вот что,— сказал Борис, не дождавшись продолжения,— не думай, пожалуйста, что я такой остолоп и не понимаю, что в человеке может быть намешано всякое — и хорошее и скверное. Отлично понимаю. Но ты, как мне кажется, просто не веришь, что есть люди настоящие, без всякой дряни. А я верю!.. Во всяком случае, они должны быть. Иначе...

В дверь постучались. Вошла Зойка.

— Хотите чаю? А то мы с Кирой уходим, а у мамы сегодня ночное дежурство.

Она принесла чай, бутерброды и ушла.

— Сестра? — спросил Костя.— А та, вторая, с косами, что нам дверь отворяла, она кто тебе?

— Мне — никто. Они учатся вместе.

— Красивая.

— Красивая? — равнодушно удивился Борис и придвинул Косте чай.— Пей.

— Вот ты говоришь — любовь,— сказал Костя, протягивая руку за чашкой.

Борис удивленно взглянул на него: когда это он говорил про любовь?

— А на самом деле,— продолжал Костя,— ерунда одна. Вот скажи, знаешь ли ты хоть один случай, чтобы было похоже на то, что пишут они? — Он повел подбородком в сторону книжной полки.— Врут. Правильно говорит Агафшин: это без водки прожить нельзя, а без любви — сколько угодно..: Положим, и без водки можно. Но в общем правильно. А все, что пишут об этом,— сплошное вранье.

Костя поставил на стол недопитую чашку и отвернулся к окну.

«Любовь...— думал Борис, медленно прихлебывая чай.— Нет, она все-таки есть. Взять хоть эту Зойкину Киру... Никольский говорит — красивая. Пожалуй... И вот ее любит этот косой Рыбников... Неужели и она его? Вот это уже глупо. Нет, не потому что косой, разумеется! Просто глупо. Он и она — удивительно глупо... Но вообще-то любовь есть, и пишут о ней в общем довольно объективно. «Евгений Онегин», например. Или «Демон»...

— Что ж,— сказал Борис,— по-твоему выходит и Пушкин врал и Лермонтов?

Костя не ответил. Он стоял лицом к окну и барабанил по стеклу тонкими длинными пальцами, голова его была закинута вверх, он словно пристально разглядывал что-то там, за темным туманным окном.

— Слушай,— сказал он, так и не ответив на вопрос,— я тебе одну вещь скажу. Может, зря... Ну, да ладно — решил. Только если ты кому-нибудь трепанешься...— Он искоса посмотрел на Бориса коротким злым взглядом. И снова отвернулся к окну.

Борис пожал плечами.

Никольский взялся обеими руками за раму и, не оборачиваясь, произнес:

— Вот что — у меня есть ребенок.

Это было настолько неожиданно, что Борис не нашелся, что сказать. Слегка приоткрыв рот, он смотрел на широкие Костины плечи.

— Ну что молчишь? Огорошил?

— Я... я не молчу... Только как же это, то есть я хочу сказать, откуда вдруг... ребенок?

— Откуда! Откуда, откуда все дети.— Костя побарабанил пальцами по стеклу.— Между прочим, об этом никто не знает, ни дома, ни на заводе. Понятно?

— П-понятно,— сказал Борис.— Н-но как же...

— Да так... Такая, понимаешь, ерундистика получилась...— с тоской сказал Костя и присел к столу.

Борис не узнал его лица: исчезла насмешливая небрежная улыбка, всегда таившаяся в углах рта, лицо было тоскливое, напряженное, оно даже как-то потемнело, и глаза были не синие, а почти черные под сдвинутыми бровями.

— А где же он, ребенок этот?

— А кто его знает, с ней, наверно. Я его и не видел никогда. Так все получилось... Ну не могу я туда идти, понимаешь? Ну, вот не могу, что хочешь со мной делай — не могу, и все. Эх, да не понимаешь ты ничего!

— Нет, я п-понимаю, только...

— А если понимаешь,— резко сказал Костя,— тогда скажи, что я должен делать? Жениться? У вас ведь просто: если ребенок — женись, а не женишься — подлец. А я не хочу. Не хо-чу, понимаешь? Не могу я жениться.— Он помолчал.— Я видеть ее не могу.

Он встал, прошелся по комнате, остановился перед Борисом.

— Ну вот, скажи, ты бы женился, если так? Только честно.

— Ч-честно? — повторил Борис, совсем растерявшись.

— Вот именно — честно. Женился бы?

— Н-не знаю.

— Ага, не знаешь! — с каким-то облегчением сказал Костя. — А я думал, ты все знаешь. Ты ведь у нас опытно-показательный молодой человек. — Он сказал это с обычной своей усмешкой, но без злости. — Я думал, ты скажешь: поскольку ты новатор, женись — и крышка! А ты «не знаю». Эх ты... — И Костя в первый раз улыбнулся.

Борис был ошеломлен. Нет, подумать только — у Кости ребенок. Он — отец. Вот он стоит, и он — отец. Ему почти столько же лет, сколько мне, и — отец!..

— Она, наверно, думает, что я негодяй, скотина, а я — не могу. Ну не могу я, понимаешь?

Борис кивнул. Но он не слышал Костиных слов. Нет, это просто удивительно — отец!..

— ...А тут еще братишка заболел, — продолжал Костя, — ревмокардит, осложнение после ангины. Денег ушло прорва, апельсины, то, се. Так все скрутилось, скажу я тебе. Я, знаешь, теперь на трамваях только зайцем езжу, все-таки экономия... Но это все чепуха — деньги, главное — та история.

У Бориса горела голова, мысли смешались, он никак не мог разобраться во всем, что только что услышал. Со странным удивлением смотрел он на Никольского. Как будто это был уже не тот Никольский, которого он знал раньше, задиристый и высокомерный, с мальчишескими замашками. Другой Никольский сидел перед ним. Этот знал что-то, чего еще не знал Борис, и страдания его были такими, каких Борис еще не испытал. Он уже шагнул в другой лагерь — мужчин, куда Борису еще не было доступа... Разные чувства смешались в нем, когда он смотрел на этого нового Никольского, который сидел перед ним, сдвинув брови, и говорил что-то, — сочувствие, жалость, удивление и... как ни странно — зависть.

— ...А как ты все-таки считаешь, подлец я? — продолжал Костя. — Ладно, не говори, сам знаю: подлец. Я должен туда идти, а не иду. — Он помолчал. — Но ты думаешь, она хотела ребенка? Не хотела она. Во-первых, боялась: родить — это, знаешь, не фунт изюму. А потом — куда ей ребенок этот? Она аборт хотела сделать. Ну, а идти в больницу стеснялась, хотела частным образом. Покуда искала доктора, стало уже поздно...

«Аборт», «больница», «частным образом»... Борис был потрясен. Нельзя сказать, чтобы он не знал, что подобные вещи случаются. Знал, не хуже всякого другого. Но в первый раз в жизни он столкнулся со всем этим так близко, в первый раз это коснулось его самого: к нему пришли за помощью, от него ждали совета. И он должен был что-то придумать, посоветовать, помочь... Ведь не виноват же в конце концов этот Никольский! Он просто не может к ней идти... А почему? — вдруг подумал Борис. — Раньше ведь мог...

— А раньше? — как-то робко спросил он. — Раньше иначе было?

— Как тебе сказать? — задумчиво произнес Костя. — Сначала все было ничего. Встречались, в кино ходили, в парк. Один раз я даже из-за нее футбол пропустил. Последняя игра была, «Спартак» — «Динамо», а я не пошел. Представляешь? Нет, сначала все ничего. А потом, вот как сказала она мне, что ребенок, вот с этого часа все кувырком полетело. И до того, знаешь, все мне опротивело, ну вот сказать тебе не могу! И видеть мне ее неохота. И вообще все неохота... Кудряшки у нее такие — перманент, что ли? Вот и на кудряшки эти злость берет. Ногти она красит, ну знаешь, как все, — маникюр. Вот и маникюр этот видеть не могу. А раньше вроде все хорошо было, — сказал он с удивлением. — И что это так сразу?

— Наверно, она изменилась, — подумав, сказал Борис.

— Нет,— покачал головой Костя,— ничего она не изменилась, все такая же. Вот разве только плакать стала. Раньше никогда не плакала, а тут вдруг ни с того ни с сего возьмет и заревет. Так меня, знаешь, и слезы эти ну до того злили, что сказать невозможно.

Борис теперь так ясно представлял себе эту слезливую девицу с перманентом и с красными ногтями, что, кажется, встретить ее на улице, сразу узнал бы.

— Нет,— сказал он твердо,— наверно, она что-нибудь не так,— иначе ты не разлюбил бы ее.

— Разлюбил! — Костя усмехнулся.— А ты думаешь, она вообще-то есть, любовь эта? Придумали, чтобы было о чем писать. Я сейчас за какую книгу ни схвачусь — все про любовь, прямо злость разбирает. И где они эту любовь нашли! Ерунда.— Он взглянул на Бориса.— Что, не так?

— Не знаю,— неопределенно сказал Борис,— наверно, все-таки не ерунда.

— Ерунда,— твердо сказал Костя.— Можешь мне верить, ерунда.

Они помолчали.

— У меня знакомый один женился,— продолжал Костя,— и так мне его, дурака, жалко было. Я потом приходил к нему. Ну что за жизнь — жена, дети; всегда тебя ждут, и всегда ты им чего-то должен.

«Правда,— подумал Борис,— я ведь и сам так считаю: женатый, ну что за жизнь!..»

— До всего этого я знаешь как думал? Вот что захочу, то и будет. Захочу в вуз, пойду в вуз. Захочу на целину, поеду на целину. А то еще в Антарктику собирался... А теперь как будто все для меня закрыто. Для вас для всех открыто, а для меня — стоп!

Костя сидел у стола, ломал спички и складывал из них хрупкую горку. Борис видел сбоку его гладкую, словно срезанную щеку и крепко сжатый рот.

— Нет,— сказал Борис,— надо что-то придумать.

— Я уж думал,— уныло отозвался Костя.— Ничего тут не придумаешь.

Борис напряженно смотрел на ловкие Костины пальцы, укладывающие спички.

— Послушай,— сказал он медленно,— ведь главное тут — ребенок? Ведь если бы не ребенок, все было бы хорошо?

Костя кивнул, не поднимая головы.

— Ну, так вот: надо отдать его в детский дом!

Костя осторожно положил на самый верх спичечной горки крошечную щепочку и сказал:

— Ничего не выйдет.

— Почему? Она не отдаст? Но ведь ты говоришь, она с самого начала не хотела, чтобы был ребенок. Значит, отдаст.

— Не в том дело. Во-первых, для таких маленьких нет домов, а во-вторых, если бы и были, туда принимают таких, у кого нет отца и матери.

— Ничего не во-первых и ничего не во-вторых,— возбужденно сказал Борис.— Если хочешь знать, у меня мать работает в таком доме, Дом ребенка называется. Я сам был там один раз, мама забыла дома шприц и позвонила, чтобы я принес. Там, знаешь, есть дети, которым по нескольку дней... А принимают туда всех, это я тоже отлично знаю. И без всяких там формальностей, просто берут ребенка, и все.

Костя резко повернулся, спичечная постройка разлетелась по столу.

— Правда?

— Честное слово. И там, между прочим, им хорошо, чистота и вообще все, как надо. Ты ей скажи, и пусть приносит.

— Не могу я к ней идти,— мрачно сказал Костя,— садясь на прежнее место.— Ну как я к ней пойду вдруг!

Борис смотрел на него с минуту, напряженно сдвинув брови.

— Ну вот что — я пойду!.. А что такого, пойду, и все.

— Нет,— растерянно сказал Костя,— ну, как это ты... Почему вдруг ты?

— Почему? — Борис на секунду задумался.— Очень просто. Потому что ты там не был, в этом Доме ребенка, и ничего не знаешь. А я был и все видел, и расскажу. Между прочим, мама говорила, что там очень низкий процент заболеваемости.

— Низкий?

— Да. Они почему-то там совсем не болеют. Какие-то смеси им дают и вообще все, как полагается. Так что даже с объективной точки зрения...

— Эх ты, точка зрения!..— Костя толкнул Бориса плечом. Тот двинул его обратно, и через секунду они уже барахтались на диване, стараясь положить друг друга на лопатки и стучаясь головами и локтями о стенку.

Вошла заспанная Зойка. Они и не слышали, когда она вернулась.

— Вот что, Зойка,— сказал Борис, отдуваясь,— тащи-ка нам сюда еще одну подушку: он остается у меня. Ты ведь останешься? Домой позвонить можно.

— Вам тут тесно будет,— сказала Зойка.— Давайте я лучше в столовой постелю, а сама на мамину кровать перейду.

— Ничего не тесно, тащи.

Они улеглись вдвоем на узком диване, вытянувшись во весь рост, чтобы занимать как можно меньше места.

Свет они потушили, теперь только луна освещала комнату. Она висела в бледном небе как раз напротив окна, ее белый свет ложился на стены и на пол, и вся комната была полна белым лунным воздухом.

Борис закинул руки за голову. Это он любил больше всего: луна в окне, весь дом, весь мир спит, тишина, и в голову приходят особенные, ночные мысли, медленные, важные, и ничто не мешает им плыть и плыть...

«Вот, оказывается, как бывает в жизни. Вдруг все перевертывается, и уже ничего нельзя. Ничего нельзя того, что ты хочешь, все идет совсем в другую сторону, оно идет и идет, и ты уже ничего не можешь — обратно уже никак... А как сделать, чтобы в твоей жизни никогда ничего не перевертывалось, чтобы все всегда шло туда, куда хочешь ты? Можно так или нельзя? Наверно, все-таки нельзя, потому что есть другие люди, они влезают в твою жизнь, а хотят они совсем другого, не того, что ты, и все переплетается, вот как переплелось у него...»

Луна поднялась выше, ее краешек уже коснулся верхней перекладины окна.

«А все-таки человек должен уметь так, чтобы ничего не переплеталось, а все шло так, как он хочет. А для этого надо заранее предвидеть... видеть... Что видеть? Ах да, луну, потому что она уходит...» Он засыпал.

— А я ведь тогда знал, что ты меня дожидаясь,— сказал Никольский,— когда ты в первый раз в цех пришел писать обо мне. А не сказал.

— Почему же? — сквозь сон спросил Борис.

— А кто его знает, зол я тогда был на всех. Это было как раз после того, как она из больницы вернулась с ребенком... Ты не спишь?

— И не думаю,— твердым голосом сказал Борис.— А что?

— Да так, ничего... Знаешь, я ведь давно решил тебе все рассказать. Знаешь еще когда? На том собрании, где ты о Моргунове говорил,— помнишь? — я еще тогда привязался к тебе со сверлами. Вот когда еще. А почему тебе, сам не знаю. Я ведь злился на тебя здорово. Да ну его к черту, думаю, Агафощин или Горошкин в тысячу раз лучше, по

крайней мере не строят из себя ничего... А вот почему-то — тебе. И сам не пойму почему, слышь, Борька? Ты что, спишь?

Борис не ответил. Он заснул.

Костя осторожно нашарил спички, закурил. Луна поднялась еще выше, теперь только маленький краешек виднелся из-за верхней перекладины, но скоро и он исчез. А Костя еще долго лежал без сна и курил, глядя в темное окно, за которым билась на ветру холодная голая ветка.

## 18

Борис поднимался по узкой грязной лестнице. Костя сказал — пятый этаж. Который же это, пятый или только четвертый? Он спросил у спускающейся сверху женщины, где тут живет Панюшкина Елизавета. Она показала.

Звонка на двери не было. Борис постучал. Никто не ответил. Нажал ручку, дверь распахнулась. Он очутился в кухне. Две женщины стояли у плиты, третья стирала. Все три оглянулись, услышав скрип двери, и снова занялись своими делами. Видно, здесь привыкли к тому, что в этот дом входят без стука и идут, куда надо, ни у кого ни о чем не спрашивая. Какой-то ребенок плакал за стеной, он топал ногами и кричал: «Дай-дай-дай!..» Борис сначала подумал, что это тот самый, откуда не сообразил, что тот вряд ли уже умеет топать и говорить.

Он постоял немного в нерешительности, глядя на сердитые спины женщин, потом спросил, как ему увидеть Елизавету Панюшкину.

Женщина подняла голову от корыта.

— А вы кто ей будете?

— Я думаю, это неважно.

— Неважно,— подтвердила женщина, снова склоняясь над корытом,— оно все для вас неважно, только сами-то вы очень важные.

Другая, стоявшая у плиты, не оборачиваясь, сказала:

— Лиза в консультацию ушла. Скоро будет.

Кричал ребенок за стеной, пар поднимался от корыта, время от времени злобно и сильно гудел водопроводный кран, заглушая все остальные звуки, женщины колдовали над своими кастрюлями.

Дверь в кухню отворилась. На пороге, задохнувшись от быстрой ходьбы, стояла девушка, почти девочка, с остреньким носом, покрытым веснушками; платок съехал на шею, открывая светлые жидкие волосы без всякого перманента. Конечно, это не могла быть она! Девушка скользнула взглядом по Борису и, словно не заметив его, сказала, переводя дыхание:

— Я Марью Никитичну встретила, она сказала — спрашивали меня.

— Вот,— женщина отряхнула мыльные руки и показала на Бориса.— Или не узнала?

Девушка как-то испуганно взглянула на него.

— Видите ли,— начал, запинаясь, Борис,— дело в том, что мы с Никольским работаем на одном заводе... даже в одном цехе. И он... вернее, я сам...

— Пойдемте,— сказала она торопливо.— Вот сюда, пожалуйста.

Комната была рядом с кухней. Она была чуть побольше комнаты Бориса, но тут негде было повернуться. Посредине стояла детская кроватка, закрытая куском марли, вдоль комнаты была протянута веревка, на ней сушилось белье, узкий подоконник был заставлен тарелками и кастрюлями, в самом углу стояла жестяная банка с каким-то оранжевым цветком.

Лиза поспешно сорвала с веревки белье, сдвинула в сторону кастрюли, поставила посреди банку с цветком, очистила место на диване.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она.

Борис сел.

Лиза смотрела на него испуганными глазами, как будто ждала какой-то беды. А он молчал. Молчал, не зная, с чего начать и как вообще сказать то, что он должен был сказать.

Снова загудело в кухне.

— Это кран,— сказала Лиза,— такой кран скверный, его чинят, чинят, а он все равно...

Борис откашлялся.

— Те... тесно тут у вас,— начал он заикаясь.— Т-так ничего, т-только тесно очень... У меня тоже маленькая комната, но как-то просторней...

— Я прибрать не успела,— поспешно сказала Лиза,— хотела пол вымыть, а тут она заснула, так я скорее в консультацию побежала. Она всегда в два засыпает, а тут вдруг — в одиннадцать...

Борис не сразу сообразил, кто это всегда засыпает в два. Он ведь даже не спросил у Кости — сын или дочь, почему-то решил, что мальчик.

Лиза умолкла и снова глядела на него робкими и ожидающими глазами.

— И п-потом высоко,— сказал он,— пятый этаж. А вам ведь с ней гулять надо. С ребенком непременно гулять.

— А я гуляю, я обязательно гуляю. Вот сегодня еще не гуляла, в консультацию ходила, а так гуляю.

Снова загудел кран, и покуда он не смолк, они смотрели друг на друга испуганными глазами.

— А вот знаете,— сказал Борис,— есть такие дома... В нашем районе, например, есть... Я, между прочим, там был. Дом ребенка. Так там очень хорошо ухаживают за детьми. Вообще прекрасно поставлена работа... разные смеси дают. Очень здорово заботятся о детях.

— Да,— подтвердила она,— у нас в молочной кухне тоже смеси дают, только ей еще рано, смеси — это с пяти месяцев.

— Ну да, конечно, если рано, не нужно... А так вообще в том доме очень хорошо поставлена работа, большое внимание этому вопросу.

— Да? У нас тоже: если что — сразу врача присылают. Это вы правильно сказали, очень хорошо заботятся...— Она помолчала, потом совсем тихо спросила: — А как там Костя?

— Костя?— переспросил он.— Ничего, спасибо, он здоров. И вообще ничего. Его, правда, сейчас в другую бригаду перевели, но это не потому, что там что-нибудь, это временно. А так все в порядке.

Она кивнула.

В кровати зашевелился ребенок. Лиза быстро подошла, откинула марлю и склонилась над кроваткой. Борис видел ее узенькие плечи, худые лопатки, проступающие сквозь платье. Было просто удивительно, что у нее, такой маленькой и худой, есть ребенок.

— Хотите посмотреть? — спросила она, обернувшись к Борису.

И Борис увидел ее новое лицо: ни смущения, ни испуга — тихая гордость и покой.

— Доктор говорит, очень нормально развивается, и рост и вес — все, как надо.

Она снова склонилась над ребенком.

— Все будет хорошо,— пробормотал Борис,— вот увидите, совершенно хорошо... Я обещаю вам... Я приложу все силы, вот честное слово.

Она посмотрела на него из-под руки, взгляд был робкий и доверчивый.

Борис схватил кепку, скомкал ее и, не надевая, выбежал из комнаты. Не глядя на женщин, возившихся у плиты, быстро прошел через кухню и толкнул дверь. Вслед ему яростно загудел водопроводный кран.

Костя сидел на бульваре, сгорбившись, в руке у него дымилась папироса. Увидев Бориса, он не встал ему навстречу, ничего не сказал, только швырнул в сторону недокуренную папиросу.

Борис подошел, сел рядом. Что-то торчавшее из кармана мешало ему, это была кепка, он не помнил, как и зачем он ее туда затискал.

— Понимаешь, какая штука,— медленно заговорил он,— все совсем не так, как я думал...

— Ясно,— перебил его Костя,— она не хочет.

— Чего не хочет?

— Ну, отдать ребенка в дом этот.

— Нет, я ей про дом не говорил... то есть говорил, но в общем дело совсем не в этом.

Костя молчал. Он вытащил новую папиросу и постукивал ею по коробке. Губы его были сжаты.

— Понимаешь, какая штука,— заговорил опять Борис,— я почему думал, что она не такая и что вообще все не так... Кастрюли там у нее на окне, цветок такой дурацкий... Да нет, дело не в этом, просто, понимаешь, мне вдруг показалось, что это очень глупо — то, что я придумал с этим Домом ребенка. Надо совсем не это... Надо что-то другое. Я не знаю что, но совсем другое.

В тот вечер, после разговора с Костей, и потом на утро, когда он расспрашивал маму о ее Доме ребенка, и еще сегодня, когда он поднимался по этой высоченной лестнице, он думал только о Косте, у которого все так запуталось: как сделать, чтобы ему снова стало хорошо? Но там, в этой тесной комнате с кастрюлями, нет, даже еще раньше — в кухне, когда он увидел, как она стоит на пороге, этот ее остренький носик и худые плечи,— он уже не мог думать об одном Косте, он на какое-то время даже забыл о нем... Может быть, все дело в том, что у нее не было перманента... то есть что она оказалась совсем другой, не такой, как он представлял себе..

— Та-ак,— прервал его размышления Костя.— Что же ты мне теперь предложишь? Взять ее под ручку и отправиться в загс?

— Ну при чем тут загс! — Борис пожал плечами.— Раз ты не можешь с ней быть, при чем загс? Надо что-то другое... Знаешь, я шел сюда, и мне даже такая дурацкая мысль пришла в голову: а что если мне жениться на ней? Ты не можешь, а мне ведь в сущности все равно, я вообще жениться не собираюсь. Никогда. Вот и пусть бы считалось, что я ее муж. Ну, это, конечно, ерунда... Да если бы и не ерунда была, она не захочет.

Костя, насмешливо прищурившись, глядел на Бориса и все постукивал папиросой по коробке.

— Знаешь,— задумчиво сказал Борис,— она любит тебя. Я это сразу понял. Она ничего не говорила, но я понял.

— Та-ак. А больше ты ничего не понял? — зло усмехаясь, спросил Костя.

Борис поднял голову и удивился, увидев искаженное Костино лицо.

— Ты что это?

— Ничего. Только есть предложение: убирайся-ка ты отсюда к чертовой матери! — Костя поднялся со скамейки, швырнул незакуренную папиросу. Теперь он стоял перед Борисом, широко расставив ноги и глядя на него злыми, бешеными глазами. Потом повернулся и пошел прочь.

Борис смотрел ему вслед, ничего не понимая.

«...Все будет хорошо. Я обещаю вам. Я приложу все силы...» Так он ей сказал. И даже дал честное слово... Грош ему цена вместе со всеми его честными словами!

Она ждет. Сидит в своей жалкой комнате и ждет. Рядом ревет водопроводный кран, торчит этот идиотский оранжевый цветок — она ждет. Она поверила ему. Она не знала, что имеет дело с болваном и тупицей. Вот уже десять дней он ломает себе голову и не может придумать: что он должен, что он может сделать для нее?! Того, главного, что ей нужно, он не может. А другое что же? Еще там, у нее в комнате, он понял: ей нужно только одно — чтобы пришел Костя. Только это, больше ничего. Но как привести человека, если он не хочет идти! Поставить вопрос на собрании? Вынести выговор? Ну выговор, а дальше что? Станет он ее любить после этого, ее тонкую шею, ее худые руки? Чушь... Даже если бы Борис имел право рассказать обо всей этой истории на комсомольском собрании, он не стал бы рассказывать. Это раньше он думал, что все на свете вопросы надо ставить на комсомольских собраниях. Чепуха! Здесь нужно другое. Но что?!

Если бы он имел право, он посоветовался бы с кем-нибудь, с какой-нибудь женщиной, все-таки в таких делах они, наверно, лучше разбираются. Впрочем, с кем же? С мамой? Но она абсолютно не умеет быть объективной, стала бы ругать на чем свет стоит Никольского, как будто он виноват, что разлюбил человека. С Зойкой? Что может Зойка понимать в таких делах... Да и все равно он не имеет права никому говорить, он дал слово. Единственно, с кем он может разговаривать об этом, — сам Никольский. Но, режьте его на куски, жарьте его на огне, к Никольскому он не подойдет. После того, что Никольский сказал ему на бульваре, — ни за что!

Сегодня одиннадцатый день. Она ждет... Нет, это просто невозможно, надо же что-то делать!

В комнату тихонько вошла Зойка. Она подкралась к Борису сзади и выставила перед его лицом пять растопыренных пальцев.

— Пятерка! По физике. Нет, ты представь себе — по физике! — Зоя радостно рассмеялась. — И знаешь, что она у меня спросила? Самое противное — закон Кулона... Ей-богу, я думала — тройка. И вдруг — пять. И ведь это уже в табель. Ой, Борька, я такая счастливая... И у Киры пятерка. Ну, у нее-то не удивительно... Но мы так рады, так рады!

— С чем вас и поздравляю, — сухо сказал Борис.

Зойка сразу перестала смеяться. Что это с ним?

— Не понимаю, — раздраженно продолжал Борис, — как можно быть счастливым или несчастным по такому ничтожному поводу? Пятерки, тройки!.. Неужели нет других причин для того, чтобы радоваться или горевать?

Что-то у него случилось. Какая-то неприятность. Он всегда так, если неприятность. Зойка притихла и молча смотрела на своего сурового брата. Он чертил на бумаге какие-то нескончаемые спирали.

— А знаешь, Боря, сегодня пришло письмо от Аркадия, — сказала Зоя так, как будто все было в порядке и она ничего не заметила. — Он прислал свой рассказ. Ничего рассказ. Я дам тебе почитать, если хочешь. — Борис молчал. — Ему там все приходится писать в этой радиогазете — даже стихи. Ужасно много работы... Аркадий говорит, что главное — это придумать, а написать уже просто. Он придумал еще несколько рассказов. Один такой: на целину приезжает фокусник...

— Слушай, Зойка, — медленно сказал Борис, — вот какая штука. — Он остановился. — Вот что... я тоже придумал один рассказ.

— Боря,— радостно воскликнула Зойка,— это просто замечательно! Я уверена, что у тебя получится замечательно. Потом можно будет отдать в какой-нибудь журнал. Аркадий говорит, что лучше всего...

Борис сердито посмотрел на нее. Зойка замолчала.

— Только имей в виду,— продолжал Борис,— хотя ничего этого, разумеется, не было, ты никому не должна рассказывать. Понятно?

— Ну, что ты, Боря, разве можно рассказывать, пока еще не написано! Потом никому не будет интересно читать. Вот Аркадий однажды...

— Будешь ты слушать или нет?

Зойка смиренно села на диван и сложила руки на коленях.

— Значит, так. Один человек... ему недавно исполнилось восемнадцать... впрочем, это совершенно неважно, сколько ему исполнилось... В общем, он познакомился с одной девушкой. Сначала все шло хорошо, он даже из-за нее пропускал футбол, самые интересные матчи...

Борис начал медленно, как бы нехотя. Но чем дальше он рассказывал, тем большее возбуждение охватывало его. Он уже не мог сидеть на одном месте, он встал и теперь шагал по своей тесной комнате и говорил, размахивая руками и задевая то за край стола, то за угол дивана. Он уже забыл о том, что хотел выдать эту историю за вымышленную, что Зойка не должна была ни о чем догадаться... Он рассказывал все, с самого начала, с того вечера, когда Никольский неожиданно для него вскочил на подножку трамвая и поехал к нему, и до разговора с Лизой в маленькой комнате за кухней.

—...Понимаешь, никак не мог я ей сказать об этом Доме ребенка. Глупо, наверно. Если бы сказал, может быть, сейчас все было бы уже в порядке...

— Ой, что ты, Боря! Это невозможно, ну совсем невозможно! Ну как можно ей сказать! И как это вы вообще придумали забрать у нее ребенка!.. Ей и так плохо, а тут еще...

— По-моему, у нее никто никого не забирал. Я тебе русским языком объясняю — я предложил это Никольскому, потому что...

— Нет, нет, Боря, это даже предлагать нельзя было. Это совсем нельзя. Здесь нужно что-то другое.

— Ах, другое? Прекрасная мысль. Может быть, ты продолжишь ее и скажешь что?

Зойка виновато посмотрела на него: она не знала.

— Я уже десять дней думаю,— уныло сказал Борис.— Мне даже снится эта кухня и эти женщины возле плиты... Кран у них еще отвратительный. Не знаю, как она там живет, просто с ума можно сойти. И что не починит? Пятерка слесарю — и дело с концом.

— Слушай, Боря,— спросила Зойка,— а у нее есть деньги?

— А я почему знаю! Пятерка, я думаю, всегда найдется.

— Нет, я вообще. Может, у нее вообще нет денег?

— Ну, откуда я знаю, я у нее не спрашивал. И при чем тут деньги. Ты пойми, ей нужно одно — чтобы пришел Никольский. А он не придет. Никогда.

— Ну да, это я понимаю... Но может быть, у нее все-таки нет денег? А на маленького знаешь сколько надо! Может быть, она даже не работает?.. Вот у нас, смотри, и папа и мама работают, и даже ты, и все равно иногда на что-нибудь не хватает. А ведь она одна. Этот Никольский, наверно, не подумал, что ей надо давать деньги.

— Может, и подумал, так у него нет. Он даже в трамваях зайцем ездит. А вчера, я слышал, просил у Агафошина двадцатку до полочки.

Зойка молчала, сосредоточенно думая о чем-то. Борис ходил по комнате с мрачным лицом.

— Послушай, Боря.

— Ну,— сказал он, продолжая шагать по комнате.

— Вот что! Надо дать ей денег... Да, да, пойти и отнести ей деньги, и пусть она купит себе и маленькому, что им надо. Вот.

Борис остановился.

— То есть как... отнести?

— А вот так, очень просто — взять и отнести!

Борис некоторое время стоял, ничего не говоря, потом снова зашагал и опять остановился перед Зойкой.

— Нет,— возбужденно сказал он.— Нет, не так! Ну, отнесешь один раз, а дальше что? Надо — каждый месяц. Каждый месяц, понимаешь? В одно и то же число. Как получка...

Он снова заходил по комнате.

— Значит, так: половину денег — маме, половину — ей. А мне самому, что мне надо? Сезонный трамвайный билет и... и больше ничего. Абонемент в консерваторию у меня есть. Ну, а кино и все прочее — черт с ним, в крайнем случае можно и без кино. Обедать я прекрасно могу и дома, все равно готовят... А маме что-нибудь придумаем.

— Придумаем,— сказала Зойка,— это мы придумаем.

— А деньги нужно отнести сегодня же. Или в крайнем случае завтра. Только постой...

Борис снова помрачнел. Получка была всего несколько дней назад, он, конечно, отдал все деньги матери. Это бы ничего, можно было бы взять обратно. Но мама ни с того ни с сего решила купить ему брюки... Хотя он отлично мог еще ходить и в старых. И вот они, эти брюки,— на нем, а денег нет, вся получка ухнула...

— Это невозможно,— в отчаянии сказал Борис,— следующая получка только двадцатого. Опять ничего не получается!..

— Постой! — сказала Зоя.— Постой-ка...— И выбежала из комнаты.

Она вернулась, держа в руках маленькую резную шкатулочку. Зоя поставила шкатулку на стол, отперла ее крохотным ключиком. Крышка подскочила, подталкиваемая изнутри тугой пачкой денег.

— Вот,— сказала Зойка,— сто восемь рублей. Это я на платье собираю, на белое, к выпускному вечеру. Отнеси ей пока эти, а потом...

— Потом я тебе отдам.

— Ну,— вздохнула Зойка,— не обязательно в белом. Вот у нас в прошлом году Макарова была в желтом. А у меня есть сиреневое, знаешь, то, в цветочках.

— Никаких цветочков,— строго сказал Борис.— Только в белом. И новые туфли.

— Ой, что ты, Боря, и платье и туфли? Ни за что не соберу.

— Считай, что туфли за мной.

Они вытащили деньги. Борис отсчитал сто рублей, остальные восемь протянул Зойке, пусть будет круглая сумма. Но Зойка сказала, что может быть, Лизе на что-нибудь не хватит именно восьми рублей. И Борис взял все.

«Интересно, что она купит на эти деньги? — думала Зойка.— Хорошо бы что-нибудь маленькому. Жалко, что я ее не знаю, мы могли бы пойти вместе в «Детский мир», там есть такие хорошенькие вещички, и мне еще никогда не приходилось покупать их... Конечно, надо знать, какой он, какие у него глаза. Если черные, тогда лучше всего розовое...»

— А что, хорошенький он? — спросила Зойка.

Борис не ответил.

«А вдруг она не возьмет деньги? — с тревогой думал он.— Нет, конечно не возьмет! Ну с какой стати она будет брать деньги у чужого человека... Нет, это ясно — ни за что не возьмет!»

— Ничего не выйдет,— угрюмо сказал Борис.— Она не возьмет.

Зоя на секунду задумалась.

- А ты скажи, что деньги посылает Никольский.
- А потом выяснится, что это не он...
- А ты предупреди его, скажи ему все заранее.
- Ну нет,— резко ответил Борис.— Вот это уж нет.

День подходил к концу. Еще один день. Двенадцатый. Борис из-за своего станка видел в дальнем углу цеха Никольского. Он угадывал отсюда его нахмуренные брови и сумрачный взгляд. Да, надо не уважать себя ни на копейку, чтобы первым заговорить с человеком, который ни за что ни про что обошелся с тобой самым хамским образом. Мало того, после всего этого он же с тобой еще не разговаривает!.. Недавно на собрании Борис случайно сел на ту же скамейку, где уже сидел Никольский,— просто не заметил его. Никольский тут же поднялся и перешел на другое место. Нет, надо не иметь ни капли самолюбия, чтобы после этого подойти к нему и начать разговаривать... Но сегодня двенадцатый день, и он уже кончается!

Борис снова нашел глазами Никольского. Теперь Костя стоял к нему боком, губы у него были насмешливо вытянуты, наверно что-нибудь насмистывает. Можно вообразить себе, как он будет в душе насмехаться над Борисом, когда тот подойдет к нему... Но — двенадцатый день...

«Ну вот что! Презирай меня, сколько тебе угодно. Это мне все равно. Можешь быть уверен: если бы это нужно было для меня, я скорей умер бы, чем подошел к тебе. Но речь идет не обо мне. И не о тебе, кстати. Дело совсем в другом человеке. И мы не имеем права оставлять его. Люди же мы в конце концов!..»

После смены Борис подошел к Никольскому. Костя еще стоял у станка и дотачивал резец.

- Ну? — спросил он, не оборачиваясь.
- Ты кончай, поговорить надо.
- Не обязательно. Можно и так.
- Как хочешь,— пожал плечами Борис.— Дело вот в чем... я думаю, надо все-таки как-то решить этот вопрос...

— Какой еще вопрос?

— Н-ну... относительно Лизы и... ребенка.

Костя на секунду повернул лицо и сверкнул на Бориса синими бешеными глазами.

Борис проглотил слюну. Эх, не надо было подходить к нему. Знал же, знал, что ничего хорошего не получится. Плунуть надо и уйти, вот что... Уйти?! То есть как это — уйти?

— В общем, так,— холодно сказал Борис,— ты как хочешь, а я считаю...

— «Я считаю!» А мне черт с тобой, что ты там считаешь.— Костя повернул к Борису злое, напряженное лицо.— И вообще какого дьявола ты ко мне пристаешь? Что, хочешь по зубам схватить?

— Ну, знаешь ли...

— Не знаю и знать не хочу. Отваливай, пока цел.— И Никольский грубо выругался.

У Бориса дрожали губы. Он не мог выговорить ни слова. Некоторое время он стоял, глядя, как Никольский вытирает ветошью руки. Потом резко повернулся и пошел прочь.

И какого черта он впутывается в чужие дела! Ему-то что в конце концов. Если самому Никольскому наплевать, так ему и подавно. Не будет он больше думать об этом, не хочет, не желает. Пусть их, как хотят...

Но что бы он себе ни говорил, он знал, что уже не сможет ни перестать думать о Лизе, ни перестать чувствовать ответственность за нее.

Зойка была дома. Услышав шаги Бориса, она выбежала в переднюю.

Ничего не говоря, Борис сорвал с себя пальто, сдернул шапку и швырнул их как попало.

Молча они прошли к нему в комнату.

— Боря,— сказала Зойка,— наверно, ты с ним не говорил... Но знаешь, это ничего. Я уже думала, это ничего. Ей все равно надо сказать, что деньги от него. От тебя она не возьмет... Она, может быть, ни от кого не возьмет — только от него.

— А если...

— Я об этом тоже думала. Она не пойдет к нему. Ты ей скажешь, что он не велел... ну ни за что не велел. Что тогда будет совсем плохо. Когда-нибудь он, может, сам придет, а пока — деньги. И она возьмет. Вот увидишь, поверит и возьмет.

— Ты думаешь? — с сомнением спросил Борис.

— Вот увидишь. Она рада будет.

— Но ведь он не придет.

— Ну что ж, а у нее пока будут деньги. Знаешь что, Боря, я пойду с тобой. Я тебя где-нибудь там подожду.

Всю дорогу они почти не разговаривали. Но оттого, что Зойка была рядом, Борису было почему-то спокойней.

У подъезда они расстались. Борис поднялся наверх.

«Значит, он ее разлюбил, этот Никольский,— думала Зоя, оставшись одна.— Ах, как ее жалко. Наверно, это ужасно, когда вдруг перестают любить!.. А что, со всеми это может быть, что вдруг перестают любить? Нет, наверно не со всеми, наверно есть такие, которых разлюбить нельзя. Что-то в них есть такое, что их — нельзя. «Пусть обрушится небо, пусть расколется земля — ни за что, никогда!» Вот как пишут тем, кого нельзя разлюбить. А что же в них есть такое? — Зойка вытащила маленькое зеркальце и посмотрелась в него.— Кажется, ничего особенного... Вот разве только волосы? Да, волосы, правда, очень, очень хорошие. А все остальное самое обыкновенное. Хотя нет, нос тоже ничего, немножко курносый, но — ничего. И глаза. И рот тоже, в общем, ничего... Но это очень печально. Очень, очень печально. Значит, если другой нос и не такие волосы — можно разлюбить?.. Борис говорит, что Никольского он не винит, что же он может сделать, Никольский, если разлюбил! Но ведь так тоже нельзя. Раз уже появился маленький, нельзя... А Борька все-таки глупый. То есть он, конечно, умный, даже очень умный... Но как он мог придумать с этим Домом ребенка? Лиза, конечно, все равно не отдала бы, но ей было бы ужасно обидно... Маленький — это хорошо, такой маленький, тепленький и совсем твой. Ему можно покупать разные вещицы, все розовое или все голубое... — Зойка вдруг вздохнула.— Да, а на выпускной вечер, наверно, придется идти в сиреновом... Аркадий писал, что он представляет ее себе в белом платье и, конечно, она там будет лучше всех... Ну, что ж,— сказала она, вскинув голову,— если для вас так важно, какое платье, если в сиреновом — уже не лучше всех, ну что ж, тогда мне все равно...»

Сверху медленно спускался Борис.

— Взяла?

Борис кивнул.

«Ну вот,— хотела она сказать,— что я тебе говорила!» Но она посмотрела на строгое, задумчивое лицо брата и ничего не сказала.

От длинного-предлинного года остался один только маленький хвостик — какие-нибудь сорок пять минут. На трамвайной остановке — толчея. Только что окончилась вечерняя смена. Трамваи и троллейбусы отъезжают переполненные, люди спешат: как бы не опоздать к празднично-

му столу. Валяйте бегите, торопитесь. Ему торопиться незачем... Пожалуйста, гражданка, давайте я вас подсажу. И вы, девушка, влезайте в вагон... Вот так. Счастливого пути. С Новым годом!..

Собственно говоря, Новый год в известном смысле условность. Ну почему первого января, а не двадцатого марта? Почему в середине зимы, а не в начале лета или, скажем, в конце осени? Лично ему до сих пор январь никогда не приносил ничего нового. До января и после января продолжалось все то же: школа, уроки, контрольные, экзамены... Если уж на то пошло, его новый год начался в августе. Именно в августе все у него полетело вверх тормашками и началась какая-то другая, совсем новая жизнь. Вот август ему и есть резон отмечать.

А сегодня он никуда не пойдет. Не потому, что некуда. Мама с отцом звали его с собой к тете Вере. Звонили ребята из их бывшего десятого, они собираются сегодня старой школьной компанией. Агафшин уговаривал пойти в клуб. Зойка тащила с собой к Кире... Кстаги сказать, сама эта Кира не сказала ни слова, хотя слышала, как Зойка его приглашает. Он все равно не пошел бы, но не очень-то вежливо так вот молчать. Между прочим, Никольский утверждает, что она красивая, эта Кира. Пожалуй. Зойка говорит, что она умная. Возможно. И тем не менее вот что, красивые и умные: встречайте свой Новый год без меня. С кем-нибудь другим. С Рыбниковым, например... А я домой. Включу радио, послушаю, кто меня нынче поздравит с Новым годом, и — спокойной ночи, примите мои наилучшие пожелания!..

Борис сел в полупустой вагон и поехал домой.

Возле самых ворот его кто-то окликнул. Это был Борис Петрович. Он тоже возвращался с вечерней смены и тоже шел домой.

— Ну, в этом уже виден перст божий,— сказал Борис Петрович.— Видно, нам с вами такая планида — встречать Новый год вместе.

Они зашли в опустевший «Гастроном», наскоро выбрали там вина, закусок — первое, что попало под руку. И — бегом домой. Проходили последние минуты года.

...Вино выпито. Бутылка со странной надписью «Миль» стоит пустая. И графин пуст наполовину. Борис из графина почти не пил, какую-нибудь рюмку, да и «Миля» этого выпил, кажется, немного. Но все равно он в каком-то блаженном тумане. И все вокруг так славно и туманно, и почему-то покачивается и плывет-плывет куда-то и письменный стол, на котором стоит пустая бутылка и разбросаны апельсины, и старое кресло, и чемодан, высовывающийся из-под койки, и сама эта койка, славная тощая койка, на которой и полагается спать мужчине. Койка тоже плывет. Куда? А кто ее знает, куда, и — не все ли равно? Борису очень хорошо, как-то даже необыкновенно хорошо и... почему-то хочется жаловаться. Но он не знает на кого и на что. И не может придумать. Мысли какие-то коротенькие, маленькие и ужасно хитрые — не дают поймать себя, вильнет хвостиком — и нет ее... А пластинка вертится и скрытый в ее бороздках печальный баритон медленно говорит:

Если жизнь тебя обманет,  
Не печалься, не сердись!  
В день уныния смирись...

— «Смирись!» — бормочет Борис.— Какое-то непротивление злу... Что значит — смирись? Выходит так: тебя обманывают, а ты молчи?

«Постой, кто тебя обманывает? Что за чушь ты несешь!» Борис сердито мотает головой, он не хочет слушать этот спокойненький голос, который все время вылезает, когда его никто не просит.

«Обманывают,— мрачно отвечает ему Борис.— Меня все обманывали... Вот, например, эта Зойкина Кира. Скажи, кто ее просил любить Рыбникова? Я просил? Нет!.. Это что, не обман, по-твоему?»

«Чушь!» — насмешливо повторяет голос.

— Ничего не чушь,— говорит Борис почему-то вслух.— Не знаешь, так молчи.

— Э, друг мой милый, да вы, кажется, готовы. Неужели этот безобидный «Миль» способен произвести такое действие?

— Н-нет, Борис Петрович, никакого действия... Просто я считаю: раз тебя обманывают, надо ре... реагировать.

Борис Петрович шагает по комнате, за ним стелется голубоватая полоса папиросного дыма. Изредка он наливает себе из графина, выпивает и шагает снова.

Идет второй час ночи, первой ночи нового года.

Все, мгновенно, все, пройдет, —

продолжает баритон,—

Что-пройдет, то будет мило.

— Да, «мило»,— обиженно бормочет Борис,— раньше обманут, а потом — мило...

Борис Петрович снимает умолкнувшую пластинку и ставит новую. Высокий женский голос слетает с черного вертящегося диска... И Борис вдруг вспоминает: вечер в клубе, белокурая артистка... Светланова — вот кто его обманул! Как она с ним тогда по телефону...

— Борис Петрович,— говорит он, угрюмо глядя в пол,— вот как вы считаете: предположим, женщина... очень красивая женщина, прямо удивительно красивая... И вот она вам говорит... («Имей совесть, что она тебе говорила?!») Говорила,— яростно повторяет Борис и машет рукой, чтобы заставить замолчать того спокойненького, надоедливого и трезвого.— В общем, говорила разные там слова, а потом... потом сделала вид, что ничего... подобного. Как вы считаете?

— Такая наша доля,— говорит Борис Петрович. Он наливает рюмку и залпом выпивает ее.— Раньше нам говорят то и се, а потом — словно ничего не было. Так, что ли?

Борис мрачно кивает головой. Борис Петрович тычет недокуренной папиросой в пепельницу, сильно прижимает папиросу ко дну и долго вертит ее, хотя она давно уже угасла. Потом снимает с себя галстук и швыряет его как попало, видно, ему жарко.

— Да, что уж там говорить, такая у нас доля. Даже у самых хороших. А мы ведь не самые. Впрочем, я о себе. Вы ведь еще неизвестно что такое. Эмбрион.

Борис хмурится: как-эмбрион, почему эмбрион? Но Борис Петрович говорит:

— Не обижайтесь, это так, сболтнулось нечаянно. Бывает.

Борис усиленно машет головой. Бывает, бывает, с ним самим сколько раз бывало — сболтнет не подумав, а потом черт-те что выходит.

— Я понимаю... я сам иногда... Я очень понимаю.

— Ну вот и отлично.

Борис Петрович с распахнутым воротом шагает по комнате и снова курит. Борис следит за ним глазами. Да, они друг друга понимают, два взрослых, одиноких, обманутых человека...

Медленно вертится пластинка, женский голос поет:

Сто разных хитростей...

И непременно все будет так, как я хочу...

«Вот так они все,— говорит про себя Борис.— И она тоже. Сначала...» («Ну что, сначала? Никакого начала вообще не было, не бреш!»)

— Ничего не брешу! Сначала она сказала мне...— Борис остановился, потому что с удивлением заметил, что эти слова он произнес вслух и очень громко.

— Да,— заметил Борис Петрович и налил себе еще рюмку,— это они мастера разные слова говорить. Что же она вам сказала?

— Да мало ли что,— угрюмо сказал Борис и снова отмахнулся: этот спокойненький и нахальный опять взялся за свое: «Вот именно, «мало»! Вернее, ничего она тебе не говорила».

— Нет, говорила,— с бешенством повторяет Борис. И опять почему-то вслух.

— Что же именно?

— Ну... что она ценит мое мнение... ну и много еще другого...

— Ценит мнение!..— вдруг смеется Борис Петрович.— Ох-хо-хо... ценит... мнение.— Борису кажется, что смех неприятный, резкий, сухой.— как будто смеется человек через силу, без охоты.— Ценит мнение, о господи! А вот я знал женщину, которая сказала такое: если ты уйдешь из моей жизни, я не стану жить ни одного часу.— Борис Петрович швырнул недокуренную папиросу и взял другую.— Ни одного часу! А прошло двенадцать лет. Две-на-дцать, понятно? И она прелестно живет.

Он закурил и прошелся по комнате.

— Вот, младенец мой прекрасный, какие дела. А вы говорите!

Борис уже ничего не говорил. Он сидел на койке и, моргая, смотрел на Бориса Петровича, силясь понять, что же это такое вдруг произошло? Что-то переменялось, но что — он никак не мог уразуметь. Во всяком случае, это был какой-то другой Борис Петрович, не тот, который так добродушно предложил ему встретить Новый год, раз уж получилось, что они оба задержались на работе; не тот, который, не торопясь, выбирал вино в опустевшем «Гастрономе»; не тот, который смотрел на него только что такими внимательными, прищуренными глазами. Этот, кажется, даже забыл, что здесь есть кто-то, кроме него, он шагал по комнате и говорил, но так, словно ему все равно, слушают его или нет...

— И что, вы думаете, нужно было ему от нее? — говорил Борис Петрович.— Какой-нибудь необыкновенной жертвы? Чтобы она, скажем, бросила все и полетела за ним? Ничего подобного. Чтобы она ходила по высоким учреждениям и рыдала там, доказывая, что он честный человек? Чепуха. Наконец — чтобы она писала ему туда с каждой почтой? Нет... Хотя он ждал, что и говорит, ждал. Вы знаете, что такое — ждать? — Он остановился перед Борисом, широко расставив ноги. Борис кивнул.— Смотри-ка, и это он знает! — Борис Петрович рассмеялся жестким, неприятным смехом.— Ох-хо-хо! — И снова зашагал по комнате.

Борис смотрел на него во все глаза. Комната давно уже перестала плыть и покачиваться. Из мутного табачного воздуха острым углом выступила плоская койка, застланная серым одеялом, письменный стол с пролитым на бумагу вином, чемодан высунул из-под кровати свой помятый бок...

Борис Петрович стоял у окна, подняв плечи, большой и угловатый.

— И вот он приехал,— продолжал он, не оборачиваясь.— Что же она? Кинулась к нему, прилетела, прибежала? И не подумала. Подала о себе знак? Ну, хоть позвонила? Нет. Его для нее не существует. А ведь когда-то в нем был для нее целый мир. То есть это она так говорила. А на самом деле — какой там мир!..

Он замолчал. Борис глядел на его широкие, слегка вздрагивающие плечи. Что же это такое? Нет, что же это? Только что было так хорошо... Борису казалось, что голова у него полна горячего тумана, и поэтому

ему так трудно разобраться в том, что только что произошло тут, в этой комнате. Он помотал головой — нет, не помогало...

Борис Петрович открыл форточку. Свежий воздух бурно ворвался в комнату, клубясь белым паром, как будто там, за окном, он только и ждал, как бы ему прорваться сюда, в эту душную, синюю от табачного дыма комнату. Он метался по комнате, забираясь в самые дальние уголки и — торопясь, торопясь: а вдруг снова захлопнется форточка и он не успеет!.. Но форточку не закрывали, и он перестал клубиться и бесноваться, а уже спокойно растекался по комнате. Он пахнул снегом, елкой, январем, этот прохладный ветер. Он дошел до пылающей головы юноши и выдул оттуда горячий туман. Может быть, он остудил и другую голову — человека, стоявшего у окна? Тот вытащил папиросу, закурил, потом оглянулся на юношу, все еще сидевшего на диване.

Борис смотрел на него страдающими, сочувственными глазами.

— Ну что вы, милый вы человек? Я ведь еще живой.

— Я... я хотел сказать... Может быть, я не имею права, но... но я скажу... Я думаю: а вдруг она тоже ждет? Ведь так бывает, что оба ждут. И каждый думает совсем не то, что на самом деле. И ни один не хочет идти... А если бы кто-нибудь пошел, все, может, стало бы другим... И все опять хорошо...

— Вряд ли,— медленно сказал Борис Петрович.

Борис встал с дивана и подошел к окну. Теперь они стояли рядом. Борис взглянул на соседа, взгляд был быстрый и робкий.

— Ну, что у вас там еще в запасе?

— Я подумал... нет, я знаю, что так нельзя...— Борис замолчал.

— Давайте, давайте.

— Я подумал: если б вы захотели, я бы мог пойти туда и все сказать и узнать все. Потому что если плохо, зачем вам ходить... Но теперь я знаю — это хуже. Надо, чтобы люди — сами. А так все равно не получится. Как ни старайся.

Борис Петрович вдруг обнял Бориса и притянул его к себе.

— Милый ты мой, умный ты мой человек. Нет, это просто даже удивительно, до чего ты умный. А в компании с «Милем» — ну просто мудрец. И раз ты такой мудрый, я скажу тебе: то, что ты тут сегодня слышал,— не самые достойные слова, которые может произнести человек. Никто не имеет права требовать любви к себе. Никто — ни вслух, ни про себя. И того, кто все-таки требует, отнюдь нельзя отнести к лучшим представителям человеческого рода. Его может извинить только одно: это с ним бывает не часто. Дело в том, что тот, кто не любит,— всегда прав. И тот, кто любит,— тоже прав. Тут нет ни заслуги, ни вины. И никакому суду не подлежит. Надо быть человеком и понимать это. Даже в ночь под Новый год. Постараемся быть людьми, а? — Он помолчал. И вдруг спросил.— Значит, ты считаешь — пойти? Просто взять да и пойти?

— Да, да,— горячо сказал Борис.— Пожалуйста. Да.

Воздух широкой волной вливался в открытую форточку. Они все еще стояли у окна.

Маленький квадратный двор внизу был залит лунным светом. Столбы лунного света стояли в синем морозном воздухе, спускались с синего морозного неба. Один из них опустился в этот двор, наполнил его собой и сделал необыкновенным. Он высветлил карнизы окон, на которых плотными скатерками улегся снег, положил узорную синюю тень на блестящий белый квадрат внизу и заколдовал елку, которую еще днем кто-то воткнул в сугроб, прицепив на ее верхушку звезду из глянцевиной бумаги. Эту слабую, тощую елочку лунный свет сделал красавицей: синими искрами блистали на ней кристаллы снега, и горела тихим светом звезда на верхушке — все пять концов для всех пяти стран света...

Часы пробили два.

— Так на чем мы остановились? — вдруг спросил Борис Петрович.

Борис с недоумением посмотрел на него.

Борис Петрович взял со стола пластинку.

— Кажется, на этом.

Он поставил пластинку на вертящийся диск и осторожно опустил иголку.

...В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет...—

проговорил сильный баритон, дрожащий на низких нотах.

— Так, может, поверим ему — настанет? — спросил Борис Петрович, прищурившись. — Как-никак Пушкин, может быть, ему из своего девятнадцатого века видней?..

## 21

Первое утро нового года. Солнце и тишина. Узкое окно — в белых тропических листьях. Капает вода из крана в кухне. Тихо так, что слышна каждая капля, звонкая и отдельная. В доме все спят. И рябина за окном тоже дремлет под зимним солнцем, спит каждый сук, каждая ветка в белой мохнатой перчатке. Солнечный луч падает на портрет Ленина, и Ленин смотрит не так, как по вечерам, из густой тени. Кажется, что он даже улыбается еле заметно, уголками губ.

Первое новогоднее утро. И весь длинный свободный день еще впереди: консерватория с концертом Гилельса, клуб с елкой для взрослых, общежитие, где соберутся все ребята, или, наконец, просто вечер дома, с отцом...

В ванной шумно ринулась вниз водяная струя — наверно, папа встал. Из кухни запахло чем-то жареным и вкусным — мама готовит завтрак. Звонит телефон. Звонок длинный — наверно, междугородная. Ну конечно, Зойку — и, конечно, Аркадий. С Новым годом, с Новым годом, пора вставать, а то весь год проспичь!

Завтракали поздно. Розовая растрепанная Зойка задумчиво водила вилкой по тарелке, мама в новом халате, папа, закрывшийся газетой. Совсем как в детстве, в первый день каникул. Это потому, что солнце и тишина, а главное, то же чувство, что и в детстве, — свободы и покоя, смешанное с запахом елки.

— Как жалко, Боря, что ты не пошел с нами, — сказала мама. — Ну опоздал бы немного, что за беда!.. Чудная компания собралась: какие-то новые знакомые тети Веры, очень остроумные. Дима, ты не помнишь анекдот, который рассказывал тот, бородатый? Очень смешной анекдот. Что-то про высотное здание и про управдома. В общем, так: управдом поднимается на восемнадцатый этаж, а жильцы... Дима, а что жильцы?

— Не помню, — сказал отец из-за газеты.

— Вот и я совершенно не запоминаю анекдотов. Но очень остроумный! А ты, бедненький, просидел весь вечер один.

— Почему один, — сказал отец, не опуская газеты. — Совсе не один.

— А с кем?

Отец не ответил. Не расслышал, что ли?

— С кем же? — повторила мать.

— С Борисом Петровичем, — быстро сказала Зойка. — Борис Петрович тоже вернулся поздно, и они вместе встречали Новый год.

После завтрака Зоя зашла к Борису.

— Знаешь, Борька, когда я еще утром сказала папе, что ты встречал Новый год с Борисом Петровичем, мне показалось, что папе это было неприятно.

— Почему?!

Зойка пожала плечами.

— Чепуха,— сказал Борис.

Солнечный луч успел передвинуться и теперь падал на папину фотографию. Молодой добрый папа застенчиво смотрел на Бориса, прищурившись от солнца. «Чепуха!» — повторил Борис... Но почему-то продолжал думать о Зойкиных словах. И с чего это ей примерещилось? Папа с Борисом Петровичем отлично ладят друг с другом: играют в шахматы, обмениваются газетами, разговаривают, правда, мало... Но в общем, все как полагается добрым соседям...

Мама открыла кому-то дверь. Борис прислушался — Вадька. Борис выглянул из своей комнаты. Вадька вошел к нему.

— Борис Петрович ключа не оставил. А я белье ему принес. Тетка постирала, я велел. Не плачь, говорю, через полтора месяца рассчитаюсь.

— Почему через полтора? — рассеянно спросил Борис.

— А потому, мне тогда восемнадцать стукнет, вот почему!

Вадька положил узел на диван.

— Обождать, что ли? — Зевнул.— А я вчера рано спать завалился. Так весь Новый год и проспал. Ты встречал небось?

— Мы с Борисом Петровичем встречали. Вдвоем.

— Ну, вдвоем это не дело. Я люблю, чтобы компания... Мне тетка сегодня рассказывала, как ваши один раз Новый год встречали. Прямо во дворе! Елку посреди двора поставили. Шампанское вынесли... Во придумали!.. Твой батька и Борис Петрович русского около елки плясали. Тетка говорит, сроду не видела, чтобы так отплясывали...— Вадька задумался.— А теперь ему кого в компанию взять, Борису Петровичу-то? Тех, что на него наклепали, под монастырь подвели?

Он посидел еще немного. Потом встал, повертел рычажки приемника.

— Сколько отдали за приемничек?

Борис ответил.

— Ну, ладно,— сказал Вадим,— я пошел. Скажешь ему, что заходил. Борис снова подошел к фотографии.

«Русского плясали,— усмехнулся он.— А я и не знал, что папа умеет плясать. Интересно, как это у него получалось?.. Постой, а когда же это было, почему я не помню? И какие они были тогда, папа и его товарищи?»

Борис взгляделся в молодые лица товарищей его молодого отца. Тут им столько же лет, сколько ему, Борису, сейчас. Фотография запечатлела один миг их жизни. После того, как они стояли тут, на этой лесной опушке, прошло двадцать пять лет. Какая жизнь была тогда, четверть века назад? О чем думали они, чем мучились, к чему стремились? Похоже ли это на то, как думает и чем живет он? О чем думал тогда, в ту минуту его отец-комсомолец? Вот он пришел на воскресник... «Красная Пресня спешит на воскресник»,— вдруг вспомнил Борис. А ведь папа тоже с Красной Пресни. Здесь, на обороте карточки, так и написано: «Комсомольцы Красно-Пресненского райо...» Значит, они с Борисом Петровичем из одного района и им обоим было в тот год по восемнадцати лет... А может быть, именно тогда они и плясали русского?..

Борис снова всмотрелся в отца: гимнастерка-юнгштурмовка, через плечо кожаный ремешок-портупея, под левой рукой зажата книга, правой руки нет — она отрезана вместе с тем, кто стоял рядом с ним, совсем рядом, вот даже пальцы его остались на плече у отца... Чьи это пальцы? Кто он был, этот человек? И почему его нет здесь? А вдруг это... Да нет, что за чушь!..

Некоторое время Борис пристально смотрел на карточку, как будто силой взгляда он мог восстановить образ того, кто стоял рядом с его отцом в тот давний летний день... Ну что за чепуха лезет ему в голову, ну при чем тут Борис Петрович?! Когда им с отцом было по восемнадцати, они и не знали друг друга. Мать с отцом поселились в этом доме в тот год, когда родился Борис, это он знает точно. Чепуха и чепуха, и нечего

больше думать об этом!.. Но Борис все-таки продолжал смотреть на фотографию. И чем дольше смотрел, тем сильнее охватывало его какое-то смутное чувство тревоги.

Он вышел на кухню, остановился у двери, глядя, как мать лепит крохотные пирожки.

— Ты что, Боря, есть захотел?

— Мама, когда это вы встречали Новый год во дворе? Почему я не помню?

— Откуда ж тебе помнить! Тебя тогда еще на свете не было. Мы только-только в эту квартиру въехали. Папа с Борисом Петровичем прямо с ног сбились: хлопотали, чтобы им дали ордер на одну квартиру. Как раз под Новый год и получили. Ну, на радостях и решили отметить этот год по-особенному.

Борис молчал, ошеломленный.

— А з-зачем... зачем им было в одну квартиру?

— Ну как же, первые друзья, не разлей-вода, разве могли они на разных улицах жить!.. Я тогда на папу даже обижалась: ждешь, ждешь его, бывало, с ужином, а они, оказывается, по бульвару взад-вперед ходят, два дружка неразлучных, заговорились и забыли про-все на свете... Ох, что же это я, сгорели, наверно!

Мать кинулась к плите и вытащила из духовки лист с румяными пирожками.

— Боря, хочешь пирожка?

Борис не слышал. Неразлучные?! Вот, значит, как. А что же теперь? Просто соседи?.. Нет, постойте, постойте, как же это так—сначала хотели жить вместе, а потом... что же потом? Поссорились? Но когда? Нет, не сейчас—если бы сейчас, он бы видел, он бы знал. Значит, еще тогда, до этих двенадцати лет, до этой разлуки! Но что же это за ссора, которая не погасла после всего, что случилось с другом, с товарищем, с которым не хотел жить на разных улицах, плясал от радости, что теперь они будут вместе... «Красная Пресня спешит на воскресник, Красная Пресня шагает...»

— Боря, пирожок возьми,— сказала мать.— Ты что, не слышишь?

— Я... я сейчас,— сказал Борис и вышел.

Он долго сидел у себя один. Звонил телефон. Он медленно поднимался и нехотя брал трубку. Агафшин, старательно выговаривая слова (он, видно, уже с утра успел побывать в гостях), сказал, что все ребята в общежитии ждут Бориса. Борис отговорился чем-то. Потом позвонила рыженькая Валя, она спросила, верно ли, что пятого января будет комсомольское собрание и какое— закрытое или для всех? Потом она помолчала, сказала, что извиняется, она просто хотела узнать поточней. Борис немного удивился этому звонку, но тут же забыл о нем. Еще звонили ребята из их бывшего десятого, они уже собрались и ждут его у памятника Пушкину. Борис сказал, что не придет—занят. Позвонил Моргунов: не лучше ли лыжную вылазку перенести на сегодня, как считает Борис? Нет, Борис считал, что не лучше, они поедут на лыжах послезавтра, как условились.

Он всем сказал, что никуда не пойдет, но дома ему не сиделось, он оделся и вышел на улицу.

Первый день нового года был в самом деле новый, весь новенький, с новеньким сияющим солнцем в небе, с новым легким снегом, осторожно улегшимся на крыши домов, с новым праздничным воздухом, блестящим от каких-то острых иголочек, пронизывающих его насквозь. И дети катались на новеньких санках, и провода на столбах блестяли, как новые, как будто их взяли и повесили взамен старых, которые висели тут вчера...

В первые минуты на улице от нарядного снега и блистающего солнца Борису стало спокойней, тревога оставила его. «Ну что это я, в самом

деле, всегда накручиваю. Мама говорит — друзья. Мол, шагали по бульвару, забыли про ужин... Подумаешь, ужин! Я, например, никогда ни про какие ужины не помню и заговориться могу с кем угодно... И вовсе ему не было неприятно узнать, что я встречал Новый год с Борисом Петровичем, Зойка все придумала!..»

Незаметно для себя он подошел к общежитию.

Никто тут его особенно не ждал. Некоторые ребята спали, другие просто лежали на койках одетые, читали, один тренькал на балалайке. Но Агафшин бурно обрадовался.

— Эй, ребята, смотрите, кто пришел! Бориска пришел!..

— Ну что ты кричишь, разбудишь всех,— остановил его Борис.

— Хватит им спать, проспят царствие небесное. Эй вы, хватит дрыхнуть!

Ребята не рассердились, видно, в самом деле было жалко проспать такой день.

Пришли девчата из соседней комнаты. Сдвинули койки в сторону. Откуда-то появился баян, громче затренькала балалайка.

— Эх, жалко, Валька рыжая ушла,— сказал Агафшин.

— Не горюй, другие есть,— утешил его Горошкин.

— Так разве я о себе, я ее жалею,— сказал Агафшин и посмотрел на Бориса.

Борис изо всех сил старался быть веселым. Он пел вместе со всеми, танцевал под гармонь, рассказал даже какую-то смешную историю. Все смеялись, а Агафшин от смеха повалился на койку, дрыгал ногами и вторял: «Ай да Бориска, ну, этот расскажет, так расскажет!..»

Стало смеркаться. Решили идти в клуб. Шумной гурьбой вывалились из общежития на улицу.

Борис вышел вместе со всеми, но по дороге незаметно для ребят отстал и свернул в переулок.

Уже совсем стемнело, но фонари почему-то еще не зажглись. Борис шагал по темному переулку, глубоко засунув руки в карманы. И здесь, в этой темноте, его снова охватило чувство тревоги. Нет, конечно, они были друзья. Настоящие. Давние. Но как же так, дружили, а потом раз — и конец, просто соседи? Но так ведь не бывает. Если старые друзья ссорятся, для этого должны быть настоящие, серьезные причины. Что же произошло между ними? И почему папа никогда ему об этом не говорил?

Борис шел, засунув руки в карманы и подняв плечи. Какой-то мужчина вез саночки, на саночках сидел мальчишка, закутанный до самых глаз, он пытался неуклюжей в варежке рукой освободить рот и говорил отцу что-то невнятное. «Ладно, ладно,— отвечал тот, видимо все понимая,— все будет: елка будет, заяц будет, только молчи, пожалуйста, опять ангину схватишь...» И Борис вспомнил, как на этом самом бульваре ехал он в своих красных саночках (они до сих пор валяются где-то) и тоже что-то говорил своему отцу... Постой, а с чего он, собственно, взял, что на фотографии рядом с отцом был Борис Петрович? Рядом мог стоять кто угодно. И кто ему сказал, что край отрезал отец? Край мог обрезать сам фотограф, просто была неудачная фотография, он засветил один край, вот и отрезал.

Борис подошел к дому. Почти все окна во дворе светились, в каждом окне за прозрачными шторами можно было разглядеть елку. В Вадькином подвале тоже горел свет и на столе в ведре с песком тоже стояла елочка. Окно было не занавешено, и Борис видел всю комнату: Вадькина тетка что-то вытаскивала из комода, сам Вадька, наклонив худую шею, точил напильником коньки.

«А ведь он сегодня тоже говорил что-то про папу и про Бориса Петровича...— вдруг вспомнил Борис.— Про Новый год во дворе, как они плясали... Нет, что-то еще... «Кто-то наклепал, подвел под монастырь».

Почему он так сказал? И еще усмехнулся при этом. Он что-нибудь знает? Может быть, зайти и спросить? Нет, не буду. Ни у кого не буду спрашивать. Папа сам мне все расскажет».

— Это ты, Боря? — спросил отец, не оборачиваясь. Он сидел за столом и листал журнал.— Ну, как концерт? Кто сегодня дирижировал?

— Папа, скажи, пожалуйста... вот ты и Борис Петрович... Ведь я раньше думал, что...— Борис оборвал себя.— Скажи, пожалуйста, что произошло между тобой и Борисом Петровичем?

— Что такое? — Отец обернулся.

— Что произошло между вами? — повторил Борис.— Я хочу... я должен знать.

— Что, собственно, знать?

— Я думал... я был уверен, что вы просто соседи...

— А кто же мы?

— Вы друзья, вот вы кто! Старые. Давние. Всегда вместе, все вместе...

Отец отодвинул журнал.

— Ну, дальше. Что ж ты замолчал?

— Я не знаю, что дальше... Но что-то случилось. И я хочу знать — что!.. Ведь теперь у вас не так, как прежде?

— Да, ты прав,— тихо сказал отец.— Теперь иначе.

— Почему? Что произошло?

— Видишь ли, Боря, то, что произошло, касается одного меня, и когда-нибудь я, наверно, расскажу тебе. А сейчас прости меня, но...

— Нет,— сказал Борис,— сейчас! Я должен знать сейчас. Я не могу ждать.

— И все-таки придется,— сказал отец, поднимаясь.— Я скажу тебе тогда, когда захочу сказать.

— А до этого что я должен думать?

Отец ответил не сразу. Некоторое время он пристально смотрел в лицо сына.

— Ты что-то придумал, какую-то нелепость, как это с тобой, к сожалению, бывает. Но на этот раз я не хочу помогать тебе — разберись как-нибудь сам. Скажу только одно: мне не нравится, как ты со мной разговариваешь.

— А мне... мне не нравится, как ты мне отвечаешь... Почему ты не хочешь сказать? Почему? Ведь тогда... тогда я могу подумать... Я не думаю,— с отчаянием сказал Борис,— но ведь ты не говоришь!..

— Уходи,— сказал отец.— Уходи сейчас же.

— Значит, ты не хочешь...

— Уходи,— тихо и отдельно повторил отец.

«Он не захотел мне ответить,— думал Борис, шагая по своей комнате.— Почему? Было ли когда-нибудь, чтобы я спросил, а он не ответил? Нет, он всегда говорил со мной обо всем и всегда правду, о чем бы я ни спрашивал. Даже когда я был совсем маленький. Почему же сейчас? Есть причина, сказал он. Но что же это за причина, о которой он не может мне сказать?.. Нет! — ужаснулся Борис.— Нет! Нет!! Нет!!!

Постой,— остановил он себя.— Давай спокойно. Почему ты думаешь, что он в чем-то виноват перед Борисом Петровичем? Ведь ты ничего не знаешь. И он тебе ничего не сказал... Вот именно потому, что не сказал! Когда человек не виноват, он все может сказать, все объяснить... Значит, ты думаешь, что он... Нет, нет, нет, я ничего не думаю, я ничего не говорю, я только хочу, чтобы мне сказали честно и прямо...»

Борис сидел, не двигаясь, не зажигая света.

Все ушли. Ушла куда-то веселая Зойка. Она ничего не слыхала, ничего не заметила. Ушли отец с матерью. Они еще вчера обещали быть у

каких-то знакомых. Как мог отец после сегодняшнего разговора спокойно собраться и пойти в гости? Повязать галстук, вытащить из шкафа новый костюм и пойти?..

Хлопнула входная дверь. Борис прислушался: это пришел Борис Петрович. А что, если спросить у Бориса Петровича? Как? Расспрашивать об отце?! А что мне остается! Ведь он сам мне ничего не сказал, что же мне остается. Я должен, должен знать!

Дверь в комнату Бориса Петровича была приоткрыта. Сам Борис Петрович сидел на кровати и с трудом стаскивал с ноги тесный сапог.

— Это вы... Боря,— сказал Борис Петрович с натугой: ему никак не удавалось стянуть сапог.— Вот сапоги проклятые... Заходите, заходите... Ох, черт!

Борис остановился у порога.

— Я хотел... спросить одну вещь...— Он замолчал. Сердце билось тяжело и неровно.

— Вы говорите, говорите... я слушаю,— кряхтя сказал Борис Петрович.— Вот проклятые сапоги, прямо пытка какая-то средневековая. Ф-фу,— вздохнул он с облегчением.— Вот теперь живу.— Он вытащил коробку и постучал папиросой по крышке.— Так что вы хотели сказать? Ну-ка, выкладывайте.

Но Борис молчал. Отец должен был сам ему сказать, он не может, не хочет он ни у кого спрашивать!..

— Ну, коли не хотите, как хотите.

И тогда Борис, еле шевеля сухими губами, спросил:

— Скажите... с моим отцом вы очень... дружили?

— С вашим отцом? — переспросил Борис Петрович.

Он прошелся по комнате, постукивая папиросой по крышке коробки. Потом остановился перед Борисом.

— А известно ли вам, между прочим, что своим именем вы обязаны мне? Нет? Ну, так знайте: мы с вами тезки не случайно. Вас назвали Борисом в мою честь.

Борис опустился на стул около двери. Медленно, останавливаясь на каждом слове, с трудом переводя дыхание, он рассказал обо всем, что произошло с сегодняшнего утра. О словах Вадьки, о разговоре с матерью, о молчании отца. И оборвал себя вдруг, на полуслове.

Борис Петрович неторопливо затянулся. Прощелся по комнате, выпустил длинную струю дыма.

— Ну, вот что,— сказал он.— Хотите знать, как бы я поступил на вашем месте? Я сейчас, сию минуту пошел бы к отцу и извинился перед ним.

У Бориса прыгнуло и замерло сердце.

— Он ни в чем передо мной не виноват. Ни в чем.

— Это п-правда?

— Правда.

Но почему, если правда, так тяжело бьется сердце? Почему он не испытывает облегчения и счастья? Ведь это то, что он жаждал услышать, на что уже почти не надеялся.

Борис настороженно следил за большим человеком, мягко шагавшим по комнате в растоптанных валенках. «Ну скажи, скажи что-нибудь еще, чтобы мне стало снова, как прежде,— легко и свободно...»

— А названы вы в мою честь, так и знайте. Так что мы с вами не просто тезки, а некоторым образом, ну, родня, что ли.

Ну, вот смотри, как хорошо, как замечательно: тебя назвали в честь друга твоего отца, ведь если так называют сына, значит, все хорошо... Да, но почему тогда...

Борис облизал пересохшие губы.

— Но почему... почему, если дружба, если товарищи... Ведь это так просто не бывает.

— А разве я говорю, что просто? Я отвечаю на другой вопрос. Ведь что вас тревожит и мучит больше всего?

Он остановился. Борис молчал.

— Вы не смеете себе в этом признаться,— продолжал Борис Петрович,— но ведь вы подумали: а не виноват ли в его судьбе мой отец? Ведь так? Ну, так вот я отвечаю: нет, не виноват.

Борис Петрович снова зашагал по комнате.

— Так что же тогда? Что? Вы тоже не хотите мне сказать? — в отчаянии проговорил Борис.— Он что-то сделал, я знаю, я вижу — что-то не так.

Борис Петрович притушил папиросу, вынул новую.

— Ничего он не сделал. Больше того: после всего, что случилось, и меня уже здесь не было, происходило партийное собрание. И он не сказал обо мне ни одного дурного слова. Я это знаю доподлинно.

— А хорошего?

— Что — хорошего?

— А хорошего тоже не сказал?

— Видишь ли, тезка,— медленно сказал Борис Петрович,— ты не совсем представляешь себе... Никакие, даже самые хорошие слова мне не помогли бы.

— Ну и пусть!

Борис смотрел на него широко раскрытыми, страдающими глазами.

— Значит, ты предпочел бы, чтобы пострадала вся семья, но чтобы он произнес эти слова?

— Да, да, да,— со страстью, с болью, с отчаянием сказал Борис.— Да.

Борис Петрович положил руку на голову юноши и несколько секунд глядел ему в глаза. Потом снова зашагал. Борис смотрел, как движется его большая тень, такая же бесшумная, как он сам.

— Да еще вот что... фотография. Там, на воскреснике, рядом с ним были вы? Это он вас отрезал?

— Ну, меня. И это тоже ничего не меняет.

— Хорошо,— через силу сказал Борис,— но если... если никакой вины, почему вы с ним — так?

— Это не я. Это он. Он думает, что я виню его. Но его никто не может, не имеет права винить. Пойми, друг ты мой, он ничего не мог. Один человек ничего не мог. Надо было, чтобы партия, сама партия поставила все на место. Это я знал и там. В это я верил. Если бы не верил, не мог бы жить... И она поставила. А теперь слушай меня: нет человека на свете, который имел бы право обвинить твоего отца. Запомни это, пожалуйста.

Борис кивнул и вышел.

Еле передвигая ногами, он добрался до своей комнаты. Не раздеваясь и не зажигая света, лег.

Долго лежал без сна в тишине и темноте. Хлопнула дверца лифта. Борис приподнялся на локте, прислушался. Мимо. Это был не отец.

«Нет, теперь между нами уже никогда не будет того, что было,— в тоске думал Борис.— И я просто не знаю, как я буду жить без этого. «Не поверил. Пошел узнавать обо мне». Вот что он будет думать про меня...

Если бы люди выбирали себе сыновей, он бы меня никогда не выбрал...»

Утром, перед тем как уйти на завод, Борис зашел в столовую. Отец сидел спиной к нему. Борис постоял немного, глядя на его склоненную голову. Потом сказал:

— Я вчера... чепухи наговорил... Прости меня.

Отец, не оборачиваясь, кивнул головой.

— Я не должен был так... Он говорит, нет человека, который имел бы право обвинить тебя.

— Есть,— сказал отец.— Есть такой человек. Я сам.

## 22

Почему это так бывает в жизни? Стоит случиться одному чему-нибудь плохому, как на тебя со всех сторон, точно из лопнувшего мешка, начинают сыпаться всякие беды и неприятности. Одно плохое тащит за собой другое, и не видно конца этой унылой веренице.

Это Борис замечал много раз, еще в детстве. За одной какой-нибудь несчастной двойкой по рисованию иной раз волокся такой длинный хвост разнообразных бед и огорчений, что можно было прийти в отчаяние. Но тогда он твердо знал: кончится, кончится полоса несчастий, стоит случиться какому-нибудь маленькому чуду — и кончится, и все пойдет, покатится по новой веселой дороге... И чудо непременно приходило. Чудо, случай, удача, счастье.

«Да,— уныло думал Борис, прислонившись к колонне и мрачно глядя на прохаживавших мимо людей,— да, тогда все было другое: и беды детские, пустяковые, и счастье тоже детское. Неожиданный подарок — двухколесный велосипед. Счастливая находка — перочинный ножик с тремя лезвиями, отверточкой и шильцем. Первое место в каком-нибудь чепуховом школьном соревновании... Этого было достаточно, чтобы сделать его счастливым и заставить забыть все горести.

Сейчас все иначе. Скрипит и тянется нехотя невеселая его жизнь, и никакого чуда, счастья, даже маленькой радости и той нет. Все, что он делает,— глупо и бездарно, кружок он ведет так, что будь он сам на месте своих кружковцев, он бы давно сбежал. Все, что случается с ним после той новогодней ночи, приносит одно только недовольство собой... Вот хоть сегодня. Только что он нащупал у себя в кармане слежавшуюся пачку денег. Лизины деньги! Получка была две недели назад: он просто-напросто забыл их отнести. Он свинья, он подлец, он последний негодяй. Из-за своих дурацких настроений он забыл о человеке, которому, может быть, в тысячу раз хуже, чем ему... Хотя и ему нехорошо. Что уж говорить, нехорошо ему. Как он мог подумать про отца такое?! Отец никогда не простит ему. И сам он себе не прощает... Опять о себе? Хватит. Пусть ему плохо. Лизе хуже в тысячу раз. Каждый раз, когда он приходит туда, Лиза смотрит на него такими жалкими, такими ожидающими глазами, что он совершенно теряется. Он начинает рассказывать какие-то дурацкие истории, какие-то анекдоты: он боится, что Лиза спросит о Никольском. Но она не спрашивает. Просто смотрит, и больше ничего. И старается улыбаться, когда догадывается, что он рассказывает что-то смешное... Нет, он ничего не может сделать для нее, только вот это — деньги. Но даже этого единственного, этой малости он не делает... Прошло две недели!.. Ну ладно, сегодня пойдет и отнесет. Кончится концерт, и пойдет. А сейчас — только Моцарт».

Борис, как всегда, пришел задолго до начала концерта. Он не мог с разбегу слушать музыку. Здесь, в тишине, глядя на людей, медленно прохаживавшихся между колоннами, он понемногу освобождался от всего, что могло помешать тому счастью, наслаждению или потрясению, которое ждало его тут. Это происходило постепенно и как-то незаметно для него самого. Стоит, глядит на белые колонны, на молчаливых людей, и на душе становится тише, уходит все, что только что тревожило, раздражало или даже радовало его, остается только ожидание музыки, предвкушение счастья...

Сквозь высокие окна смотрело неяркое солнце, тихие люди неторопливо прохаживались между колоннами. Но сегодня это медленное движение, эта тишина, этот мирный свет не приносили Борису обычного успокоения. Унылые, тоскливые мысли одолевали его. «Ну, довольно,— сказал он себе.— Сейчас — только Моцарт. «Реквием», который он давно стремится услышать. Сейчас он не хочет ничего больше знать, ни о чем больше думать. Он лучше будет разглядывать людей, которые проходят мимо...»

Вот кто-то очень знакомый. Круглое лицо, птичьи любопытные глаза. Военная гимнастерка с колодкой орденских ленточек... Если бы это была не консерватория, Борис ни на секунду не усомнился бы, что перед ним Агафшин. Но это не он — что делать тут Агафшину? И очень хорошо, что не он.

Здесь Борису не нужны были спутники и собеседники. Они ему только мешали. Все равно тем, что он получит здесь, он не может поделиться ни с кем, это принадлежит ему одному. Борис не любил и не умел говорить о музыке, музыка, переведенная на человеческий язык, переставала для него быть музыкой. Если он видел тут знакомое лицо, он спешил отвернуться или уйти в дальний угол, чтобы его не заметили... К счастью, знакомые тут попадались редко, а посторонние ему не мешали. Сейчас он спокойно смотрел на того, кто в первую минуту показался ему Агафшиным. И походка не агафшинская — робкая, и озирается вокруг не по-агафшински — неуверенно...

— Бориска! Вот здорово!

Это все-таки был Агафшин!

— А я хожу тут, понимаешь,— сказал Агафшин радостным шепотом.— Кругом все профессора и профессорши, хоть бы, думаю, кого из своих встретить.

— А ты как сюда попал?

— Да абонемент у меня, понимаешь? Клавка всучила. Я бы нипочем не взял, так она знает, чем меня купить. Зашилась я, говорит, с абонеменстами с этими, такой народ несознательный, им бы только кино. Ты, говорит, возьмешь, конечно? Ты ведь у нас культурный, интересующийся. Ну, я взял, вот и хожу теперь...— Агафшин вздохнул.— Она мне так в прошлом году подписку на какой-то журнал устроила. Наговорила семь верст до небес, ну, я уши развесил, а она — бах! — и дает мне квитанцию, и я погорел на шестьдесят монет. Теперь как первое число, так у меня настроение портится: несут этот журнал. А на кой он мне, если я его читать не могу?

— Почему же? — спросил Борис.

— Так на немецком же,— огорченно сказал Агафшин.— Они, понимаешь, на разных языках выходят. Вот мне всучила на немецком. Было бы на русском, я и слова не сказал бы, так и быть читал бы... Вот и с абонементом с этим. Я так, знаешь, вроде музыку люблю. Вот в общезитии компания соберется, так я первый запевала, без меня никогда дело не обходится. Ну и слушать тоже, в общем, не возражаю. Хор Пятницкого или революционные песни. А тут, понимаешь, в сон меня клонит.

— Ну, так зачем тебе этот абонемент?

— Так я ж тебе говорю — Клавка! «Ты,— говорит,— у нас сознательный». А я таких слов не выдерживаю. Вот скажут мне: ты там такой хороший-расхороший, так я хоть в петлю готов. Со мной и на фронте так было. Вот эту медаль,— он ткнул пальцем в красно-синюю колодку,— исключительно через эту свою глупость получил. Вызывает меня к себе капитан Шустиков и говорит: «Ты,— говорит,— одна моя надежда. Есть для тебя лично одно исключительно важное задание — через линию фронта перейти. Поскольку ты,— говорит,— только что с задания вернулся, я могу тебя и освободить». «Зачем, это,— говорю,— освободи-

ждать!» И — рад стараться, попер. А потом время прошло, слышу, он другому говорит: «Одна,— говорит,— ты моя надежда». Ах ты, елки зеленые, думаю! Это у него поговорка такая была... Ну, а медаль все-таки получил.— Агафшин потрогал свою колодку и приосанился.

Борис слушал рассеянно. Впрочем, сегодня он не жалел, что встретил тут знакомого, все равно не приходит то состояние покоя и сосредоточенности, которое он так любил. Пусть говорит.

— То беда,— продолжал Агафшин,— что в сон меня клонит. И, кажется, выпался, а вот как начнут играть, так голова и валится. Прошлый раз сижу, понимаешь, а рядом со мной седоватый такой, с бородкой, в очках золотых, он сначала все в ноты глядел, а потом, смотрю, глаза закрыл — спит. Ну, думаю, не я один, вон какой культурный и тот не выдержал. В перерыве подхожу к нему, говорю: и что это за музыка такая, вроде громко, а в сон почему-то ударяет. А он на меня посмотрел, ну провалиться мне сквозь землю! «Не понимаю,— говорит,— вас. Это был великий Бетховен, а дирижер, к вашему сведению,— мой ученик». Вот дела какие,— сокрушенно закончил Агафшин.

— Зачем же в таком случае ходить? — уже с раздражением сказал Борис.— Ну черт с ним, с абонементом, раз так. Ну отдай кому-нибудь или выкинь в конце концов.

— Да понимаешь, Бориска, душа у меня такая завидующая, вот, думаю, ходят же люди, может, и я что-нибудь пойму.

У него сделалось простодушное, совсем детское лицо, и Борис подумал: в самом деле, может, поймет, научится понимать музыку? Ведь в конце концов тут дело в привычке, ну а слух, наверно, есть, раз поет.

— Слышь, Бориска, а что это такое — реквием? Я прочитал в афишке, да чего-то не понял.

— Рэквием,— поправил Борис.— Это такая музыка, которая пишется на чью-нибудь смерть, траурная музыка. Реквием, который будет играть сегодня, написал замечательный композитор — Моцарт.

— А на чью же смерть?

— Да так, понимаешь, получилось, что фактически он его написал для самого себя. Он ведь и кончить не успел, умер, его ученик дописывал.

Борис начал говорить неохотно, но под жадным и простодушным взглядом агафшинских глаз разговорился и рассказал о «черном человеке», который заказал Моцарту этот реквием и которого Моцарт принял за посланца смерти, о Сальери, которого считали отравителем Моцарта, и, наконец, о пушкинском «Моцарте и Сальери».

Агафшин слушал, глаза у него стали совсем круглые, рот приоткрылся.

Прозвенел звонок. Агафшин заправил за пояс гимнастерку, выпятив грудь и сильно втянув живот. Вместе с Борисом они вошли в зал. Места у них были в разных концах зала.

Во время паузы Борис оглянулся и нашел глазами Агафшина. Тот сидел, вытянувшись, лицо у него было напряженное, он, не мигая, глядел на оркестр.

Дневные концерты оканчивались рано, еще только начинало смеркаться. Домой они пошли вместе.

«Все-таки здорово, что есть на свете музыка. И какое счастье, что я слышу ее. Есть ведь такие, что не слышат,— думал Борис, шагая рядом с Агафшиным по заснеженной улице.— Им просто не повезло, никто не открыл для них музыки, а сами они не остановились, не прислушались, и вот музыка живет рядом с ними, а для них не существует... И ведь я мог бы не слышать, мог бы вырасти таким же глухим, и не существовало бы для меня ни Моцарта, ни Чайковского, ни Бетховена. Я не знал бы «Патетической сонаты», а «Реквием» звучал бы для меня так же, как

вот этот скребок, который шаркает по слежавшемуся снегу. Мне просто повезло — для меня открыли».

— Я, по правде сказать, хотел уж бросить,— сказал Агафшин, шагая рядом с Борисом.— Последний раз, думаю, пойду и хватит. А теперь, может, доходить до конца? Ты как скажешь, Бориска?

— По-моему, непременно доходить и вообще ходить на концерты и стараться побольше слушать музыку. А то, понимаешь, как-то ужасно нелепо: вот есть на свете музыка, это, может быть, самое хорошее, что вообще есть на свете, и вот человек добровольно отказывается от нее. Это все равно, что взять и нарочно остаться неграмотным. Прожить всю жизнь и не узнать Пушкина!.. В общем, я считаю, что ты должен дослушать весь цикл до конца. То, что тебе пока не все понятно,— неважно, тут нужна привычка.

— Слушай, Бориска, а ты не против вместе со мной ходить, объяснить там чего?

— Видишь ли, Агафшин, я не умею объяснять музыку. И вообще считаю, что все эти объяснения — чепуха на постном масле, надо просто слушать, и все...— Борис взглянул на огорченное лицо Агафшина.— Ну ладно,— сказал он,— в следующее воскресенье заходи за мной.

Они попрощались.

...Троллейбус остановился против бульвара. Вот скамейка, на которой они сидели тогда с Костей. Теперь она сухая. Солнечные лучи падают сквозь голые ветви на просохшую дорожку. Только за оградой, где всю зиму лежали горы снега, мокро, и у деревьев, прижавшись к черным стволам, белеет снег.

Борис вошел в знакомый двор. Здесь весна чувствовалась меньше; сдавленный высокими домами, узкий двор еще берег зиму. Посредине двора лежал снег, дети скатывались на санках по изъезженной почерневшей горке. «И все-таки скоро весна. Совсем скоро»,— подумал Борис и вошел в темный подъезд.

— Лизы нет,— сказала соседка,— в «Гастроном» пошла.

Женщина взяла вскипевший чайник и вышла из кухни.

Борис остался один. Сейчас придет Лиза. Опять эти жалобные, спрашивающие глаза... Если быть честным, он должен сказать так: «Лиза, он вас разлюбил. Он никогда больше сюда не придет». Но нет, это невозможно — так сказать!..

Лиза все не шла. Сколько ему еще придется тут стоять? А что если... Нет, постой — великолепная мысль! Он положит деньги и уйдет, ну, может записку написать... И ничего не надо будет говорить, не отвечать ни на какие вопросы. Только бы дверь была не заперта.

Борис подошел к Лизиной двери. Дверь была прикрыта неплотно. Он осторожно потянул, заглянул в комнату и — остолбенел.

На диване полулежал Костя! Со своей обычной задумчивой и небрежной улыбкой он смотрел в кроватку, стоявшую рядом. В руке он держал ленточку с привязанным к ней зеленым колечком. Колечко мерно покачивалось над притихшим ребенком.

Борис осторожно закрыл дверь, на цыпочках прошел через кухню и помчался вниз по лестнице, боясь теперь только одного: как бы не встретиться с Лизой! Во дворе он споткнулся о санки, которые ребята упрямо тащили на раскисшую горку, и выскочил на улицу.

Теперь можно было не торопиться.

Борис медленно брел по тихой улице... Что же случилось? Значит, Костя снова полюбил ее? Значит, так бывает: сначала любишь, потом не любишь, потом снова любишь? А ему всегда казалось, что все это бывает как-то иначе: и если полюбишь, то уже конец, и если разлюбишь —

тоже конец... А вот, оказывается, не так. Но если он ее полюбил и все опять хорошо, то почему он так взбеленился там, у станка, сказал бы, что все в порядке, и дело с концом...

Во всем этом было что-то такое, чего Борис никак не мог понять. Вообще с некоторых пор в жизни все стало гораздо сложнее, чем раньше. Почему? Ведь, кажется, человек становится старше, и все должно быть для него ясней и проще. А у него наоборот: чем дальше, тем все запутанней. Отчего?

Он так и не мог ответить на эти вопросы и шел по улице в странной задумчивости. А уже начиналась весна, городская весна с твердым серым асфальтом, сухими крышами, с грязными дворами, из которых вытекают холодные длинные струйки, и с ветром, который прорывался сквозь бензиновую гарь и пахнул так, как ему и полагалось пахнуть,— тающим снегом и мокрыми ветками.

## 23

Борис так и остался руководителем кружка, который временно поручил ему Аристов еще в декабре. Уже давно вернулся из отпуска прежний руководитель и можно было бы передать кружок ему, но он что-то не торопился принимать. Попросил Бориса провести еще одно занятие, потом — еще одно. И когда Аристов спросил у ребят, как идут дела в кружке, они сказали, что лучше бы Башкиров не передавал кружок, а довел бы уж дело до конца. Борис несколько удивился: ему казалось, что у него получается неважно и ребята не очень-то довольны, и потом он бывает резок и слишком много говорит сам (это и Аристов заметил), и им, наверное, скучно. Оказывается, нет, вот сами просят продолжать. Ладно, он не против, пусть только не пропускают занятий и готовятся по-человечески.

Сам он готовился к занятиям не дома, а в красном уголке, вместе с Аристовым. Аристов учился в университете марксизма-ленинизма, и у него скоро должны были быть экзамены. Аристов говорил, что дома заниматься почему-то хуже, хотя дома вроде бы и тише, жена ходит на цыпочках, а Володька, сын, к этому времени спит, пушками не разбудишь. Здесь за стенкой гудят моторы, и люди заходят, и оторвать могут в любое время, а вот почему-то здесь дело идет лучше. Привычка, что ли?

И Борис полюбил эти вечерние часы. Особенно вот это: когда Аристов откидывается на спинку стула и закуривает. Значит, можно начинать разговор.

Сегодня идет разговор о коммунизме. Собственно, говорит один Борис. Аристов слушает. А может, и не слушает, пускает к потолку дым и следит, как он поднимается и расходится в вышине.

— ...В общем,— заканчивает Борис,— по-моему, у нас еще слишком много пережитков капитализма. Ведь со времени революции прошло почти сорок лет, а у нас все еще есть и взяточничество и жулики разные. А ведь сорок лет — четыре десятилетия. Можно было успеть гораздо больше. Еще Ленин говорил...

Аристов долго крутит в пепельнице потухшую папиросу. «Видно, сегодня разговора не получится,— думает Борис.— Да и на самом деле, о чем тут говорить, мы чертовски медленно движемся к коммунизму. А ведь сорок лет — целая человеческая жизнь...»

— Ты уж не серчай на нас, извини ты нас, пожалуйста,— говорит вдруг Аристов.

— Извинить?! За что?

— Ну как же, ты нам целых сорок лет отпустил, а мы, видишь, не управились, коммунизма для тебя не построили, как же тебе не

серчать на нас, как же нас за это не костить! — Аристов резко отодвинул от себя пепельницу. — Валяй, валяй, продолжай в том же духе: как же вы, такие-разэтакие, столько на мою долю пережитков оставили, куда это годится? А ну как я рассержусь еще пуще да чего-нибудь такого натворю, чего вы и не ждете!..

Борис опешил.

— Ах вот что!.. Вы.. вы, значит, считаете, что я, что мы не имеем права критиковать? Вот как вы считаете?..

Борис придвигает к себе книгу.

— Пожалуйста, я могу вообще ничего больше не говорить, — бормочет он, — пожалуйста...

— Дура, — говорит Аристов, — дура ты, и больше ничего. Разве о том речь, чтобы ты не критиковал! Если ты так понимаешь, ни черта ты не понимаешь. — Он снова придвинул к себе пепельницу и закурил. — Мне что надо? Мне надо, чтобы тебе это болело, понимаешь? Как свое, как в своей семье. Ну, вот в твоей семье что-нибудь неладно идет, ты что, рассуждать будешь, цитаты разыскивать подходящие? Да ты в лепешку расшибешься, чтобы наладить жизнь, а не рассуждать ты будешь с цитатами. А вот когда все равно, тогда рассуждают. Понятно это тебе или непонятно?

Он пристально посмотрел на Бориса, потом склонился над книгой и долго сидел так, не перевертывая страницы. Потом поднял голову, взглянул на Бориса.

— Ты что, обиделся?

— Нет, — сказал Борис и посмотрел на него открытым взглядом. — Я вас понимаю.

— Ну и хорошо. Обижаться тут нельзя. Я тебе по совести, вот ты сидел тут и рассуждал, и вроде все правильно: и бюрократизм у нас есть и сволочей разных хватает. Но вот показалось мне, что не берет это тебя за душу, понимаешь? Сидишь и рассуждаешь красиво, а по-настоящему, за нутро, это тебя не хватает. А мне надо, чтобы хватало. Понимаешь ты меня или нет? — спросил он с ожиданием.

— Понимаю. Я очень понимаю. Вот, честное слово, я совершенно понимаю...

Аристов кивнул.

— Критиковать, оно, — как бы тебе сказать пояснее? — критиковать — это еще не самая трудная работа на земле. Ты только не подумай — я не против, глупость это — против критики идти. Но я, понимаешь, не хочу, чтобы из вас только критиканы росли. Я хочу — как бы это лучше пояснить? — чтобы из тебя борец получился. Борец против всякой дряни, а не ворчун с цитатами. Понятно? А борьба, она всюду идет. И все, что мы делаем, каждый шаг, — это борьба. За что? Да за коммунизм, вот за что! Вон Моргунов вчера сцепился с Горошкиным насчет выпивки — что это такое? Иной скажет: петухи. Нет, это тоже борьба — за чистую жизнь. Вот мой пацан, Володька мой, дал в ухо мальчишке, тот девчонку скверно обозвал, ну повторять не хочется — паршивый свиненок такой, и откуда только это паскудство вылезает? По мне и это не просто драка... И что нам, понимаешь, надо? Чтобы вы всегда за правду дрались, во всем, в малости какой-нибудь, а не глядели бы со стороны: как, мол, это у них получается. Понимаешь ты это или не понимаешь? А?

«Да, Аристов прав, борьба идет каждый день, каждую минуту, — думал Борис по дороге домой. — Здесь, там, всюду. И вся штука в том, чтобы всегда бороться и никогда не устать. И я не устану. И я буду, буду, буду коммунистом. Я говорю не о партийном билете (вдруг меня

не примут!), а о том, что я всегда, везде буду бороться, сколько станет моих сил. И будет мне от этого хорошо или плохо — все равно...»

Он шел по пустынному бульвару. Падал редкий снежок, может быть последний в этом году, слабый ветер сдувал снежинки, едва успевшие долететь до земли, они поднимались, тихо кружились и снова ложились на белую землю. Борис шел медленно и, когда надо было поворачивать к дому, пожалел, что дорога кончилась: так хорошо было идти, дышать этим теплым снежным воздухом и думать. Домой не хотелось, шагать бы и шагать по этому безлюдному бульвару и разговаривать с кем-нибудь таким, кто все понимает... Впереди показались двое. Борис издалека узнал — папа с Борисом Петровичем. Остановить их? Нет, пусть себе шагают. Он даже маме не скажет, что видел их, — подумаешь, ужин!..

Борис постоял немного возле подъезда. Вдруг с размаху отворилась тяжелая дверь, и прямо на него (он не успел посторониться) налетела с разбегу какая-то девушка. Он не сразу узнал Киру, Зойкину подругу. А узнав, почему-то обрадовался. Кира стояла, глядя на него растерянными глазами.

— Извините, пожалуйста, — сказала она наконец. — Я вас, наверно, ушибла?

— Нет, ничего, — сказал он медленно.

— Извините, — повторила она и пошла.

Борис некоторое время смотрел ей вслед. Потом догнал ее.

— Не хочется домой, — сказал он.

Кира взглянула на него исподлобья. Они молча шли рядом.

— Один умный человек сказал мне сейчас, что все, что бы мы ни делали, так или иначе помогает или мешает борьбе за коммунизм, — сказал Борис задумчиво.

Кира снова взглянула на него и ничего не ответила.

— Как будто очень просто, — продолжал Борис, — но касается абсолютно каждого, потому что каждый человек в нашей стране, да и не только в нашей — во всем мире, — что бы он ни делал, может быть борцом...

И Борис изложил все, что говорил ему только что Аристов и о чем думал он сам, шагая по этим снежным улицам. Кажется, она все понимала, хотя она не сказала ни слова, просто шла рядом и слушала.

— ...В общем, я лично считаю так, — закончил Борис, — только тот достоин уважения, кто не спускает никакой подлости, даже в самом пустяке. А кто остается в стороне от драки — грош тому цена. А если он к тому же называет себя комсомольцем — его надо гнать из комсомола без разговора. Так или не так?

— Не так, — помолчав, сказала Кира. — С такими тоже надо что-то делать.

— Перевоспитывать, — насмешливо сказал Борис. — А по-моему, мы в комсомоле все равны. Почему одни должны воспитывать других? Мы приходим туда все равные, никто никого за шиворот не тянет. Но раз ты пришел к нам, ты должен бороться. У тебя может быть тысяча недостатков, но если ты не хочешь быть борцом — не иди к нам. Так или не так?

Кира молчала.

— Так или не так?

— Если человек считает себя борцом, — сказала Кира, — он не должен гнать других. Он должен и тут бороться, чтобы все были, как он... Может быть, у вас, на заводе, все и без того такие. А у нас нет, и нам так нельзя.

— Нет, — сказал он медленно, — у нас тоже не все... Слушайте, — он вдруг остановился, — а ведь это, наверно, самое главное: сделать так, чтобы все стали настоящими борцами. А?

Она продолжала идти вперед, глядя прямо перед собой.

— Нет, на самом деле,— повторил он,— это самое главное. Это вы здорово сказали.

На обратном пути он думал о словах Аристов: значит так, его задача как руководителя кружка и вообще как комсомольца — это добиваться того, чтобы все были, как Аристов говорит, боеспособными. Борис стал перебирать в памяти комсомольцев, кто боеспособный, а кто небоеспособный. Оказалось, что это не так-то просто, многие почему-то не поддавались такой простой характеристике. Вот Горошкин, например, ну какой же он боеспособный, пьет, дурака валяет, с субботника сбсжал... Но в то же время этот же самый Горошкин выполняет норму на сто двадцать процентов, а когда недавно в цехе объявили аврал, он сделал больше всех — полторы нормы! Или, например, Никольский. Конечно, он боеспособный и вообще способный, но как быть с той историей, с Лизой?.. Да, оказывается это не так просто определить, кто боеспособный, а кто пег. Ну, как бы то ни было, а что-то делать надо. Что если начать с собрания? Всем собраться и обсудить: каким же должен быть настоящий комсомолец? Сначала пусть кто-нибудь сделает доклад... Кто-нибудь? А может быть, он? Да, доклад сделает он сам. Она, эта Кира, правильно сказала — «если человек считает, что он борец...» Нет, как-то иначе... Борис старался вспомнить Кирины слова. И вдруг на белой снежной стене, которая кружилась перед ним, то отступая, то приближаясь, появилось лицо Киры. Он ясно видел ее темные печальные глаза и выбившуюся из-под шапочки прядь волос... Так бывает, когда долго смотришь на что-нибудь яркое, на светлый абажур, например. Смотришь, смотришь, потом отведешь глаза, взглянешь на потолок, и на потолке — тот же абажур, только темный. Этому есть объяснение: что-то происходит с сетчаткой, на ней, как на фотографической бумаге, некоторое время сохраняется отпечаток виденного... Но то, что он увидел сейчас, никакими физическими законами не объяснялось. Молодое печальное лицо стояло перед ним в метельной ночи. «А почему же оно печальное? — вдруг подумал Борис. — Ей нехорошо?» Когда Борис шел рядом с Кирой, он не замечал, какое там у нее лицо — печальное или не печальное, а тут вдруг по этому портрету на белой снежной стене увидел, что ей невесело. Почему?

Когда он пришел домой, все уже спали, только Зойка сидела на кухне, обложившись учебниками.

— У нас завтра контрольная,— сказала она жалобно.— Я проважусь, вот честное слово.

— Слышали мы это,— сказал Борис, снимая пальто и направляясь в ванную,— проважусь, проважусь, а потом тащишь пятерочку.

— Нет, Боря, на этот раз непременно проважусь, потому что...

Но он уже заперся в ванной. Потом вдруг отворил дверь и высунул оттуда голову.

— Слушай, а эта твоя Кира в общем довольно толковая. Во всяком случае, в некоторых вопросах она разбирается неплохо.

Зойка радостно посмотрела на брата. Наконец-то!.. Но она не успела ничего сказать, он снова заперся в ванной.

На следующее утро Зойка собралась в школу быстрее, чем обычно, ей не терпелось поскорей увидеть Киру.

В школе было по-утреннему холодно. Зойка ежилась, зябко передергивала плечами то ли от морозной струи, которая текла из форточки, то ли от волнения перед контрольной, то ли от предстоящего разговора с Кирой. Наконец-то, наконец он сам сказал о Кире то, что ей так хотелось услышать. Сколько раз она говорила ему, какая Кира замечательная, он только плечами пожимал, а теперь сам,— она даже ничего не спрашивала! — сам сказал... Зойка в нетерпении прохаживалась

по коридору, представляя себе, как обрадуется Кира, когда она расскажет ей о вчерашних словах Бориса.

Но Кира не обрадовалась.

— Нет, Зоя, все не так,— печально и устало сказала Кира.— Все совсем, совсем не так.

Зойка опешила.

— Ты мне не веришь? Но вот честное слово...

— Я верю. Только все не так.

Вчера она наконец поняла. Ничего, ничего, ничего нельзя сделать для того, чтобы один человек полюбил другого. Он ее никогда не полюбит.

Кира пришла к этому выводу именно в тот день, когда Борис впервые с интересом взглянул на нее, но она уже не могла думать иначе. Ничего, ничего нельзя, и поэтому надо просто перестать об этом думать. Но он же провожал ее, в первый раз в жизни он захотел пойти рядом с ней! — кричала ее душа, не желая смиряться. Да, провожал. Но если бы он ее любил или хотя бы была такая возможность любви где-нибудь там, впереди, все вчера было бы иначе. Он провожал ее, это так. Но он проводил бы всякую или всякого: ему было все равно, кто идет рядом с ним. Она это знает и — не надо, не надо ей ничего говорить. Напрасно Зоя клянется, она и так верит ей. Пусть Борис сказал о ней что-то хорошее, все равно он не любит ее и никогда не полюбит. И с этим ничего сделать нельзя. Вот Рыбников, ведь он ничего не может сделать для того, чтобы она, Кира, его полюбила. Пусть он смотрит на нее со своей парты, пусть приглашает ее в театр, пусть надевает свои красивые рубашки — все равно она не полюбит его. Почему же она вообразила, что Борис может ее полюбить? Никто ничего не может сделать, если один не любит другого. Пусть у Рыбникова поскорее пройдет. Пусть у всех все пройдет. Так будет лучше.

Во время урока Зойка посматривала на подругу. Что-то с ней случилось, она не такая, как вчера... Рыбников почтительно передает Кире линейку. Она благодарит его, и в этой усталой доброй улыбке он вдруг видит такое, чего не замечал раньше. И ему становится грустно и хорошо, и, глядя своими печальными, чуть косящими глазами, он думает: «Ну и пусть, а я все равно, как прежде, все равно...»

Все оставалось таким же: уроки, лыжи, книги, дружба с Зоей. Но как будто вынули из всего этого какую-то малость — то, что окрашивало жизнь, давало ей цвет и вкус; как будто ушла музыка, которая все время дрожала где-то, неслышная никому, кроме самой Киры. Жизнь стала спокойней, но словно потеряла свой блеск.

Борис как-то спросил Зою:

— Что это твоя Кира не бывает у тебя? Поссорились вы с ней, что ли?

Зойка тут же передала его слова Кире. Кира пожала плечами: почему не бываю? Бываю.

— Да, но он спросил все-таки! Раньше ведь никогда не спрашивал. Кира молчала.

Борис был доволен. Нет, если честно, он был просто счастлив. Доклад прошел так, как он и не ожидал... А собственно говоря, почему было не ожидать! Все вполне закономерно, иначе и быть не могло. Он выкопал такие материалы, что им и не снилось: о Дзержинском, о комсомольцах Триполья, о Камо, ну и, конечно, о Павле Корчагине и об Олеге Кошевом. И Маяковского здорово процитировал. А главное, высказал свою самую важную, самую задушевную мысль: все они были борцами. Они боролись за коммунизм. В разное время, при разных

обстоятельствах, с разными врагами, но все боролись... И если представить себе кого-нибудь из них здесь, в цехе, они тоже не оставались бы в стороне, тоже боролись бы. Потому что каждый революционер, каждый коммунист и комсомолец по самой своей природе — борец.

Слушали его хорошо. Даже Никольский. Он хмурил свои прямые брови, но не усмехался, не перебивал, не рассматривал потолок, просто хмурился и слушал. И беспартийные пришли — Агафшин и рыженькая Валя со своей подругой-нормировщицей. После собрания они обе подошли к Борису и рыжая Валя спросила, как ей быть, она вступила бы в комсомол, но ей кажется, что она не умеет бороться, и потом она не знает, с чем ей бороться, когда она целый день сидит в конторе и щелкает на счетах. Борис ответил ей, кажется, убедительно: она все время кивала головой на его слова. Да, он определенно убедил ее, и она будет в комсомоле. Правда, после того как Валя с подругой отошли, Агафшин, который слышал весь этот разговор, подмигнул и сказал:

— Она бы и в пионеры пошла. Конечно, если бы и ты там состоял.

— Что за чушь! — возмутился Борис.

— Почему чушь? Влюбилась девочка, не видишь, что ли? А то разве пришла бы? На профсоюзные небось не очень-то ходит, а ведь член профсоюза.

Это немного омрачило возвышенное настроение Бориса. Но потом он подумал, что Агафшин — известный болтун, и успокоился. Вот жалко Аристову не было, он хотел прийти, да его в райком зачем-то вызвали. А ведь если бы не Аристов, пожалуй, никакого доклада не было бы... Да нет, при чем тут Аристов — Зойкина Кира, вот кто натолкнул его на мысль о докладе, без этой Киры он, наверно, не додумался бы.

Борис пошел быстрее — наверно, Кира еще у них, сидят с Зойкой и зубрят.

Но Киры уже не было. Она ушла за несколько минут до его прихода. И Борису вдруг стало ужасно досадно. Он даже не ожидал, что ему будет так досадно из-за того, что ее нет и он не может рассказать ей о докладе, на который она его натолкнула. Ладно, расскажет Зойке, не все ли равно.

Зойка слушала, не перебивая. Но он вдруг разозлился: ну что она кивает головой, как китайский болванчик, вот манера!.. Нет, его сестра все-таки удивительный человек, хоть бы раз в жизни не согласилась или поспорила с ним. Нет, всегда одно и то же: «Ты молодец, Бобик...» Надоела с этим Бобиком, прямо сил нет!

Зойка так и не поняла, почему к концу рассказа Борис вдруг разозлился. Кажется, она ничего такого не сказала, наоборот, все время подкивала ему и соглашалась. Хотя, если говорить по правде, ничего такого особенного в этом его докладе нет. У них тысячу раз бывали такие доклады — о моральном облике молодого человека, и тоже приводили в пример Павла Корчагина и Олега Кошевого... Вот Аркадий, тот никогда не злился на нее. Да, Аркадий относится к ней в тысячу раз лучше, чем ее брат. А Борис... Нет, в самом деле, с чего это он вдруг набросился на нее?! Просто свинство, и больше ничего.

Они разошлись в разные комнаты, недовольные друг другом.

На следующий день Борис только отворил дверь и тут же увидел на вешалке синее Кирино пальто с серым барашковым воротником. Она была здесь. Борис вздрогнул, и сам удивился: что это такое с ним? Он хотел было сразу зайти в столовую, где они занимались, но потом решил, что раньше умоется и переоденется.

Борис уже приглаживал мокрые волосы, когда услышал ее голос из передней. Он вышел из ванной. Кира стояла у двери ушел в пальто и в шапочке. Увидев Бориса, она как-то боком взглянула на него и кивнула, а может быть, даже не кивнула, просто тряхнула головой, чтобы

откинуть волосы со лба, и продолжала разговаривать с Зойкой. Потом они с Зойкой вышли на площадку и продолжали свой разговор там. Борис все это время стоял в дверях ванной, машинально причесывал волосы и ждал: может быть, она вернется. Она не вернулась. Зойка пришла одна.

— Что за дурацкая манера,— сказал Борис,— как будто нельзя разговаривать нормально, в комнате.

— Слушай,— сказала Зойка со слезами в голосе,— я не понимаю, что ты ко мне придираешься! Все придираешься и придираешься...

Ему стало стыдно. Ну что он, в самом деле? У него скверный характер, но она тут абсолютно ни при чем.

— Не сердись, Заяц, это я так, не обращай внимания.

Он взглянул на ее просветлевшее лицо. Ну что за милая девчонка, эта Зойка. Пусть другие дают всякие советы и умеют возражать и не соглашаться, все-таки Зойка лучше их всех: добрая, покладистая и — никакого высокомерия. И уж если бы она предложила что-нибудь человеку, ну хотя бы провести собрание, она по крайней мере поинтересовалась бы тем, как это собрание прошло.

— Слушай,— сказал он,— давай пойдем в кино.

— А что идет?

— А черт с ним, не все ли равно, пойдем.

Но к концу сеанса ему вдруг стало грустно и как-то не по себе, и он вышел из кино мрачный. Все-таки свинство, то есть ему, разумеется, все равно, но — свинство. Даже поздороваться по-человечески не могла, кивнула как-то боком... Ну и пусть, ему-то что в конце концов, мало у него своих дел. Вот на завтра назначено политзанятие, вот о чем надо ему думать.

Занятие было назначено еще на прошлой неделе. Оно уже один раз откладывалось из-за срочного производственного совещания. Но на этот раз ничего не должно было помешать.

К сожалению, было еще одно обстоятельство, предвидеть которое Борис никак не мог, тоже срочное и тоже неотложное. В этот день праздновал новоселье бывший технолог цеха. Технолог работал тут еще до прихода Бориса, теперь он перешел куда-то в главк. Технолог, широкая душа, пригласил на новоселье чуть ли не весь цех. Агафошин уговаривал Бориса пойти вместе со всеми. По случаю предстоящего торжества Агафошин с утра пришел в полном параде: к военной гимнастерке были прикреплены все его награды — орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу» и все остальные медали.

— Пошли, Бориска, все ребята идут, весело будет.

Но Борис отказался: во-первых, он с этим технологом незнаком, а во-вторых, сегодня политзанятие.

— Занятие-то лучше бы отложить,— посоветовал Агафошин.

Борис даже не ответил.

Весь день к Борису подходили то один, то другой, предлагая перенести занятие на другой день.

— Нет,— сказал Борис,— второй раз переносить не будем. Не вижу повода. На новоселье вы не опоздаете. А даже если опоздаете, тоже ничего страшного не произойдет.

Но, видно, опаздывать никто не хотел: покуда Борис ходил за ключом от красного уголка, все члены кружка потихоньку смылись. Сговорились ли они? Или каждый в одиночку решил, что лучше всего уйти не сказавшись? Но как бы то ни было, когда Борис вернулся с ключом, у двери красного уголка стояли только двое, да и те с нетерпением поглядывали на руководителя кружка, видимо ожидая, когда он их отпустит.

Борис остановился и не мог вымолвить ни слова от ярости и возмущения.

— В-вы, к-конечно, тоже торопитесь?

Они молчали.

— Так вот. Прошу передать там, что я больше не руковожу кружком. Им на это, конечно, наплевать, но я не желаю, понятно?.. Ну, чего же вы стоите? Бегите, а то опоздаете, без вас выпьют всю водку!..

Он резко повернулся и пошел, сжимая ключ так, что тот врезался ему в ладонь.

— Прямо бешеный какой-то,— услышал он за собой голос Моргунова. Но он не оглянулся.

— Ну-ну,— добродушно сказал Аристов,— это уж ты малость перегнул. Уж так-таки распустишь кружок! Всыпать им, конечно, следует, но— перегнул. А кстати сказать, ты вообще-то слыхал, что в жизни есть такое событие, как новоселье? Или ты, может, его за пережиток считаешь? Нет? Ну и то хлеб... А что до кружка твоего, то о нем, ты только нос не задери, о нем на последнем парткоме один товарищ очень неплохо отозвался. Так что кое-какие успехи налицо.

— Никаких,— угрюмо сказал Борис.

— Вот тебе и раз! — Аристов откинулся на спинку стула и поставил карандаш в стаканчик.— Мне, между прочим, про твой доклад рассказывали. Здорово, говорят, у тебя получилось. Жалею, что не слышал.

— А-а,— отмахнулся Борис,— что там доклад! Разве они хоть что-нибудь поняли? Я сидел в Ленинской, такие материалы выкопал, что им и не снились, конспекты составлял, выписок — целая тетрадь. А зачем? Напрасно слова тратил.

Аристов внимательно посмотрел на него.

— Смотри, какие у тебя слова дорогие. Потратил и опомниться не можешь: такую, мол, красивую речь составил, а они всё бараны баранами, и все мое образование на них не подействовало. Так, что ли?

— Нет, не так. По-моему, вот как: если ты слушаешь про настоящих людей и соглашаешься с тем, что тебе говорят, так старайся хоть немного быть таким, как они. А им что! Они все за Агафошиным побежали. Он нацепил свои ордена и побежал водку пить, и они за ним... А по-моему, раз у тебя ордена, так нечего хвастать, нечего выставлять их напоказ!

Аристов встал из-за стола.

— Ну, вот что. Насчет орденов, будь добр, помолчи. Насколько мне известно, тебя еще не награждали и будут ли — пока неясно. Так что на этот счет ты свое мнение при себе держи. Кому, когда и по какому случаю надевать ордена — это они как-нибудь без тебя решат... И скажи, пожалуйста,— произнес Аристов, обращаясь уже как будто не к Борису, а к кому-то еще,— скажи, как его хорошо выучили. Все-то он знает, все понимает и цитаты на все случаи жизни припас. А Агафошин, между прочим, без всякой цитаты пошел на войну, и пули на себя принимал, и по госпиталям валялся...

Аристов стоял теперь, постукивая карандашом по столу и не глядя на Бориса. Борис сидел, угрюмо уставясь в пол и сцепив руки.

— А что касается срыва занятий,— продолжал Аристов,— так я думаю, тут вина не одних слушателей, тут вина и руководителя. Напрасно он считает, что стоит произнести красивую речь, и все пойдет как по маслу. Так не получится. Раз человек берется руководить...

— А я не брался,— перебил его Борис, продолжая смотреть в пол.

— То есть как это — не брался?

Борис поднял голову и увидел перед собой такое суровое лицо, какого у Аристова никогда не видел. Борис понимал: отвечать не следует,

действительно ведь глупость сморозил. Что значит не брался? Но молчать он не мог, какая-то злая сила подмывала его.

— А так, не брался,— упрямо повторил он.— Меня попросили, и я...

— На царствование, что ли, попросили тебя? — насмешливо сказал Аристов.— Они попросили, а ты, так и быть, сделал им одолжение. Вы, мол, серые, хотите, чтобы я вправил вам мозги, так я, шут с вами, даю свое согласие, только смотрите у меня! Так, что ли?

— Не так! — крикнул Борис.— Все не так!.. Вы все переворачиваете. А я не так... И я не хочу, не буду...

— Да постой, нелепый ты человек, куда ты?

Но Борис уже не слышал. Он выскочил из дверей и бежал по заводскому двору.

Борис пришел домой усталый, измученный, почти больной.

«Все скверно,— думал он, лежа на своем диване.— Нет, просто даже удивительно до чего все скверно. Всё. Аристов презирает его, «нелепый человек» — вот как он сказал. Комсомольцы плевать на него хотели. Дома тоже все паршиво, все его злит и выводит из себя, и он кидается на всех, как собака. Да, все плохо, но главное...» Он задумался. Главное? Да, главное. Главное — это то грозное открытие, которое он сделал: он любит! Любит безответно, бессмысленно, без какой бы то ни было надежды.

Борис в тоске отвернулся к стене. Он не хотел ничего видеть. Мерцало розовое от заката окно, качалась ветка рябины... Не надо, не надо, ничего не надо... Он зажмурился. Оказывается, он без нее не может. Ну вот не может, и все. А ей он не нужен. Нет, мало сказать, не нужен! Стóбит ему войти в комнату, она тут же поднимается и уходит. Вот вчера. Он пришел с завода в восемь, сказал, что будет в одиннадцать, а пришел в восемь. Они с Зойкой сидели в столовой и зубрили что-то. Она взглянула на него коротким таким, неохотным взглядом и поднялась. Зойка удивилась: «Кира, ведь ты сказала, что будешь до половины одиннадцатого». Кира ничего не ответила, собрала книги и ушла. И она права. А что в нем есть такого, из-за чего хотелось бы оставаться с ним? Это Зойка только из жалости уверяет его, что он похож на молодого Бетховена. Нечего сказать, Бетховен!.. Характер? Ну, тут вообще не может быть двух мнений. Даже кроткий Моргунов и тот сказал, что он бешеный... Нет, что уж там говорить, она совершенно права, что не хочет знаться с ним, за это ее можно только уважать...

Борис дошел до такой степени самоуничтожения и отвращения к себе, что ему стало неважно. Он поднялся в тоске и сел на диване.

Раздался телефонный звонок. Зойка, видно, не слыхала. Телефон прозвонил еще раз. Борис вышел в переднюю, снял трубку.

— Можно Зою?

Бориса как будто толкнули в самое сердце. Это была она.

У него перехватило дыхание, и он не мог ответить. Тихонько положил трубку, глубоко и прерывисто вздохнул.

— Зойка, тебя.

«Почему она не поздоровалась? — думал Борис, глядя, как Зоя выходит из комнаты, берет трубку.— Кажется, раньше здоровалась. Или нет? — Он никак не мог вспомнить, здоровалась ли Кира с ним раньше или сразу просила позвать Зойку.— Кажется, все-таки здоровалась...»

Зоя сказала несколько слов и ушла в комнату. Трубка осталась лежать на столике.

Борис осторожно поднял трубку и поднес к уху. В трубке что-то потрескивало и шуршало. Но ему показалось, что сквозь шорохи и треск он слышит чье-то нежное дыхание. Это ее дыхание неслось к нему по темным ветреным улицам сквозь дождь и туман. Она была совсем рядом

с ним. Она не знала и, наверно, не захотела бы. Но они были рядом. Он и она — и больше никто... В трубке что-то быстренько застрекотало. Может быть, она ушла, трубка одиноко лежит на столе и это ветер, туман и темнота разговаривают с ним? Он сильнее прижал трубку к уху, и вдруг — ее голос: «Нет, мамочка, не там — в зеленой шкатулке». И снова молчание. Он ждал, и тогда она тихонько запела, почти сказала ему в самое ухо, нет, в самое сердце:

Соловей мой, соловейко,  
Птица малая лесная!..

Он замер от этих слов, от этого голоса. «Ну еще», — сказал он одними губами, без голоса. Она молчала. «Ну, пожалуйста...»

— Ты что, Борька, разговариваешь?

— Нет... я... я думал, что ты забыла положить трубку.

— Я искала Кирины конспекты. Кира, приходи, нашла, — сказала Зоя в трубку.

Борис пошел к себе. Осторожно сел на диван, как будто боялся резким движением спугнуть что-то. Сейчас она придет. Стукнет нижняя дверь, потом дверь лифта, потом гудение — стоп, ее шаги и звонок.

Он ждал. Хлопала и хлопала нижняя дверь. Длинно гудел лифт. Звонка не было. Его снова охватило отчаяние: а вдруг она раздумала и не придет? Потом он сообразил — ей ведь нужно время, чтобы дойти сюда. Он взглянул на часы и тут же забыл, который час. Сидел и ждал. Звонка все не было... Ну, теперь ясно — не придет. Тогда вот что, раз так, он сам пойдет к ней. Да, пойдет и скажет ей все. И пусть будет, как будет. Борис поднялся... Раздался звонок. Послышались Зоины шаги.

— Кира, как быстро, вот молодец!

«Быстро?» — страшно удивился Борис и вышел из комнаты.

Кира стояла в дверях, на косах блестящих дождевых капель.

— Ну, что ж ты? — сказала Зойка. — Раздевайся.

— Не знаю, — нерешительно промолвила Кира, — я сказала маме, что на минутку.

Борис стоял в дверях и угрюмо смотрел, как Кира расстегивает и застегивает верхнюю пуговицу пальто.

«Я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы ты уходила. Слышишь? Не хочу!!» Она должна была услышать, она не могла не услышать эту безмолвную, отчаянную мольбу. Но она стояла, ничего не говоря, и продолжала расстегивать и застегивать пуговицу.

«Останься! Останься! Слышишь? Я не хочу, я не могу, чтобы ты ушла...»

— Нет, — вздохнула Кира, — пойду.

— Ну, как хочешь. Постой, я провожу тебя, только конспекты возьму.

Зойка ушла в комнату. Когда она вернулась, Борис уже стоял в пальто и в шапке.

— Останешься, — сказал он Зойке.

— Вот еще новости!..

— Останешься, — повторил он свирепо.

— Ну что ты, Борька, в самом деле...

Борис не ответил и открыл перед Кирой дверь.

Переулок они прошли молча. Молча повернули за угол и молча вышли на площадь.

Они шли навстречу ветру. Борис глубоко засунул руки в карманы. Кира уткнула подбородок в воротник и смотрела прямо перед собой. На каком-то перекрестке Борис вдруг остановился. Кира мельком взглянула на него и хотела идти дальше, но он тронул ее за рукав. Губы у него

дрожали, и он некоторое время не мог вымолвить ни слова. Кира смотрела на него, широко открыв глаза, и ждала. Он молчал. Тогда она тихонько потянула руку (он все еще держал ее за рукав).

— Я нелепый, я некрасивый, я бешеный,— вдруг сказал он с яростью и с отчаянием.— Меня нельзя полюбить, я знаю...

Он остановился, задохнувшись. Ветер закружился вокруг, засыпая их мелкой дождевой пылью, и внезапно стих.

— Только тебя,— сказала Кира быстро.

Он смотрел на нее, растерявшись, полуоткрыв рот. Нет, она не могла это сказать... То есть она сказала, но она не могла так думать, она думала что-то совсем другое, не то, что ему показалось, когда он услышал этот короткий ответ.

— Мне послышалось... Я, наверно, не так понял...

— Только ты,— сказала Кира.— Лучше тебя нет.

— Нет, правда? — спросил он вдруг совсем по-детски.

И вдруг ей показалось, что она старше его: он мальчик, а она взрослая. Но она не стала от этого меньше любить его, нет, любовь ее вдруг приобрела что-то новое, чего не было раньше. Это было внезапное чувство, но оно осталось, и с этим новым она продолжала говорить быстро, слегка задыхаясь:

— Может быть, ты изменишься. Не знаю. Я — нет. Это на всю жизнь.

Он смотрел на нее, потрясенный, пораженный силой ее любви, вдруг открывшейся перед ним, гордый тем, что его можно так любить.

Они стояли посредине пустынной площади, под фонарем. Фонарь раскачивался от ветра, и Кирино лицо вдруг становилось таинственным, когда на него падала тень, и опять выходило из тени и сияло ему. И он не знал, какая она лучше — эта, загадочная, или вот эта, сияющая и открытая.

Они шли по улице и говорили, перебивая друг друга, подхватывая на лету мысль и продолжая ее.

— Наверно, так, как я,— не надо,— говорила она.— Но я не хочу иначе. Нет, я не могу... Вот Зоя и Аркадий. Зоя всегда обдумывала — вот это я ему скажу, а это не буду. Или нарочно заранее решала: вот сегодня я буду печальная, или молчаливая, или еще какая-нибудь. Нет, ты не думай, я ее очень люблю, но она такая. А я так не хочу, нет, я не могу так... Я хочу — все, что на душе, все, что тут...— Она прижала руку к сердцу.

— Да, да, да,— сказал он.

— Я бы тебе сама сказала, потому что у меня это давно. Но тебе тогда не нужно было. Я знала — не нужно.

— Кира,— сказал он с силой,— теперь я не могу без тебя, вот совсем не могу. Ни капли. Вот я сейчас подумал, что ты уйдешь, и мне стало страшно. С тобой так?

— Со мной знаешь как? Вот я шла, шла, шла и наконец пришла. Уже не думала, что приду, а пришла.

Они сверяли друг с другом свои чувства, словно шли по неведомой стране и не знали ни одной тропки в ней, и с восхищением, с замиранием сердца шли вперед, ожидая новых чудес.

Они шагали, не разбирая дороги, и оба удивились, когда оказалось, что они подошли к ее дому. Дунул сильный ветер. Кира подняла Борису воротник, ее рука коснулась его щеки.

— Тебе холодно,— сказал Борис и поднес ее руки к губам, подышал на них, потом, сам не зная как, поцеловал. И вдруг открыл для себя это счастье — целовать. И уже не мог остановиться, все целовал и целовал ее тонкие холодные пальчики...

Смена кончилась. Борис пошел к Аристову. Аристов был не один, у него сидели двое из слесарки. Борис хотел было уйти, но Аристов кивнул ему: подожди, мол. Борис присел у стола.

Аристов разговаривал со слесарями. Изредка он взглядывал на Бориса, как тому казалось, неохотно и неприязненно. «Ну что ж,— думал Борис,— он прав, вчера я вел себя, как абсолютный идиот. Во-первых, я не имел никакого права отказываться от кружка—это было малодушие и глупость. Во-вторых, насчет медалей и орденов — я в самом деле нес какую-то чушь. А главное: виноват-то во всем я, а не они. У другого они не сбежали бы. И я должен был совсем не так... Я должен был...»

Борис вдруг потерял нить мыслей, заглядевшись в окно. Там, напротив, через дорогу, стоял фонарный столб. Дунул ветер, жестяной колпак качнулся из стороны в сторону. Точно так же качался фонарь вчера там, на площади...

«На что он так уставился? Вроде ничего там особенного нет,— удивился Аристов. Он проследил взгляд Бориса и уткнулся глазами в старый фонарный столб с плохо укрепленным фонарем, который качался на ветру.— Что ему там привиделось? Видать, хорошее,— подумал Аристов, переводя взгляд на задумчивое и радостное лицо Бориса.— А может, ничего и не случилось. Им ведь и от ничего может быть хорошо. Эх, ребята, ребята, ничего-то вы не понимаете, до чего вам хорошо на белом свете... Только вот что я с тобой делать буду?..»

Аристов нарочно затягивал беседу со слесарями: он еще не решил, как ему разговаривать с этим парнишкой, который вчера убежал от него в такой ярости, а сейчас сидит вон какой тихий да смиренный.

«Знаем мы тебя, какой ты тихий! — продолжал думать Аристов, рассеянно слушая, как пререкаются слесари.— Вчера вон совсем осатанел. Не умею я все-таки с ними. Да что там — с ними! С Володькой своим и то толком не получается. А с этими тем паче. Вчера накричал, наорал на него. Разве так надо было?.. Но и ты хорош,— с досадой подумал он, глядя на Бориса, по-прежнему смотревшего в окно.— Десять лет учили тебя уму-разуму, сколько людей над тобой старалось. А пришел сюда, и опять все снова-здорово, нянчись тут с тобой. Ну вас, братцы, совсем к богу в рай, мало, что ли, у меня без вас хлопот...— Он вздохнул.— Так вот, не надейся, пожалуйста, цацкаться я с тобой не собираюсь, можешь спрятать свою амбицию...»

Слесари ушли. Борис не заметил, он сидел все так же у края стола и смотрел на далекий фонарь.

— Ну, вот что,— промолвил Аристов,— ежели ты надеешься...

— Товарищ Аристов,— быстро сказал Борис, перебивая его,— вы вчера были совершенно правы: виноват во всем я, я не сумел поставить работу кружка, и поэтому так получилось. У другого они не сбежали бы... Я говорю это не для того, чтобы оправдаться перед вами, я считаю, что я обязан сказать, потому что вчера я...

— Ладно,— сказал Аристов,— я вчера тоже, кажется, перехватил малость. Так что квиты.

— Но я хочу объяснить...

— А может, без объяснений? А то ты будешь объяснять, я буду объяснять, и мы с тобой эту ассамблею до утра не кончим. Так что давай не будем, а?

Борис кивнул. Аристов откинулся на спинку стула.

— А ребята твои, между прочим, вчера являлись ко мне. Ты только ушел, а они тут как тут. Моргунов им там сказал, что ты вроде от них отказался.

— Они, что... они просили другого руководителя вместо меня?

— Нет, я что-то такого не слышал. Они больше насчет себя. Тоже объясняться пришли. Я им тут без тебя грехи отпускал. Ты не против?

— Нет, что вы! Я ведь понимаю, что дело совсем не в них. Значит, им не очень интересно в кружке, раз ушли. И вот я решил, что все надо перестроить. Я вот даже план составил. Может быть, вы посмотрите?

Зазвонил телефон. Аристов снял трубку.

Борис вытащил измятый листок — план, который он набросал во время обеденного перерыва, — и стал что-то вписывать туда.

Аристов кончил говорить по телефону, достал папиросу, не спеша закурил. Борис что-то быстро писал на своем листке.

«И ничего ведь не стоит упустить такого, — думал Аристов. — Накричи, наори на него что есть глотки, и готово — ушел! Вроде по существу ты и прав, а он ушел. Поди попробуй верни. Черта с два! Обиделся. И не только на тебя — на жизнь обиделся. А хуже нет обиженного человека: и ему тяжело, и с ним тяжело».

Аристов неторопливо курил, поглядывая на Бориса. Борис писал, покусывал кончик карандаша, писал снова.

«А такой здорово будет ушибаться о жизнь, — продолжал думать Аристов. — И глупостей натворит черт-те сколько. Само-то по себе оно ничего, молодая глупость дело не страшное, не попался бы только на его дороге какой-нибудь специалист мух в слонов переделывать. Этих, слава богу, хватает. И ведь не убережешь от них, никакими словами не научишь... А может, научишь?»

Некоторое время Аристов курил, сосредоточенно сдвинув брови. Потом аккуратно притушил папиросу.

— Есть разговор.

Борис поднял голову.

Аристов откашлялся.

— Вот взять нас с тобой. Мы с тобой, понятно, люди рядовые, но и в то же время — как бы это сказать? — ну, руководители, что ли. Ну не бог весть там какие вожди, а все ж таки руководим. На нас с тобой люди смотрят, спрос с нас больше, ну и тому подобное. А раз так, значит мы с тобой должны быть на высоте. А мы с тобой как? Мы иной раз накричим, наорем, дров наломаем, а потом начинаем думать: а может, не с того конца подошли, может, не так надо было? И получается ерунда собачья. Понятно?

«Ничего не понятно, — ответил он сам себе с досадой. — Ну при чем тут руководители?» Вслух же он сказал:

— А может, лучше бы делать наоборот: прежде чем голос поднимать — подумать? Верно я говорю?

— Верно, очень верно. То есть про меня — верно. К вам это, конечно, не относится.

«Не относится! Много ты знаешь, что ко мне относится».

— В чем наша с тобой ошибка? Ошибка наша в том, что мы горячку порем. Так или не так?

Борис кивнул.

— Вместо того чтобы спокойненько разобраться что к чему, мы на людей кидаемся. Так или не так?

— Так.

— Ну вот.

Нет, разговор не получался. Где они, те слова, которыми можно научить молодого, чтобы он шел прямой дорогой, не спотыкался, не разбивался в кровь, не тратил душу свою на мелочь, на ерунду, на глупость? Не знает он, Аристов, этих слов... А может, и нет их? Может, через все должна пройти молодая душа, и только тогда закалится она для борьбы и для правды? И зря он, Аристов, старается?..

— Ну-ка, чего ты там насочинял, дай-ка план твой.

«Здорово мне все-таки везет,— думал Борис.— Вот Аристов. Ведь я мог и не встретить его. Ужасно было бы жалко. А другие! Макеев, например, или Моргунов. Или Агафшин. Агафшин, он ведь только с виду дурашливый, а если разобраться, так в нем очень много замечательного. Храбрость, например... Или взять Никольского...» И кого он ни брал, все казались ему людьми замечательными и необыкновенными, и он только удивлялся, как это он до сегодняшнего дня не замечал, какие прекрасные и великолепные люди его окружают.

«Нет, мне исключительно везет. Вообще. Во всем. В том, что попал именно на этот завод. В том, что меня взяли в этот цех. Что поручили кружок... Но самое главное мое везение, самое удивительное и необыкновенное — это...»

Перед Борисом встало вчерашнее Кирино лицо. Оно то уходило в прозрачную тень, то снова приближалось и сияло перед ним, молодое и прекрасное. В ушах звучал ее голос. Те два слова: «Только тебя». У него замерло сердце.

Резко зазвонил телефон. Борис вздрогнул.

— Ты, Клаша? — сказал Аристов.— Ну, в чем дело? Ну ясно приду, куда я денусь. Когда? Ну почему я знаю, когда... Да ничего твоему борщу не сделается. Да что ты, Клаша, на самом-то деле, что я тут, в игрушки играю!..

Борис вернулся к прерванным мыслям. «Только тебя...» А ведь еще вчера... Неужели вчера? Ну да, еще вчера днем он думал, что его нельзя полюбить. А почему, собственно, нельзя? Если разобраться объективно, так кое-какие достоинства у него определенно есть. Зойка, та вообще считает, что он вместилище всех добродетелей. Это, разумеется, ерунда. Но ведь есть в нем что-то, иначе Кира не сказала бы тех слов...

Ветер за окном стих, фонарь перестал раскачиваться, круглое пятно света неподвижно лежало на земле. И вдруг Борису стало тревожно. А что если она ошиблась? Что если она видит его совсем не таким, какой он на самом деле? Пройдет какое-то время, и она поймет, что ошиблась в нем.. А может быть, уже поняла? Я тут сижу, а она поняла?!

Аристов дочитал план, вытащил новую папиросу, постучал кончиком по столу, закурил.

— Ну что ж,— сказал он,— вроде толково. Может, только чересчур ты размахнулся? Все ж таки кружок. Не университет. Продумать надо. Сейчас у меня тут совещание будет, минут на сорок, не больше, рационализаторов я вызвал. Если хочешь, так пережди, после совещания и потолкуем.

Борис кивнул, не поднимая головы.

— Вот и хорошо, не люблю я откладывать. Ты где будешь, в библиотеку пойдешь или, может, тут посидишь?

Борис поднял голову, и Аристов с удивлением встретил его беспокойный угрюмый взгляд.

— Слушай, ты... это... Ты, может, торопишься куда, так необязательно, дело терпит.

— Нет, я не тороплюсь... я... можно мне позвонить от вас?

— Звони, пожалуйста.

Борис набрал номер.

— Это т-ты? — услышал Аристов его задыхающийся голос и отошел с газетой к окну. Но что могло сейчас помешать Борису! Все силы его души сосредоточились на одном этом голосе, который, как чудо, возник в телефонной трубке.

— Я слушаю.

Он задохнулся и несколько секунд не мог промолвить ни слова.

— Я слушаю,— повторила она. Кажется, она его не узнала.

— Кира, это я... Кира, скажи: все так, как вчера?

— Нет.

Он замер, нет, он умер, он перестал существовать. В страшной тоске он опустился на стул. Вот то, чего он страшился, чего он ждал в тревоге и отчаянии.

— Нет,— повторила она.— Еще лучше.

— Как? — закричал он.— Как?! Я не понял. Повтори.

— Лучше,— сказала она шепотом. Наверно, рядом были люди.

Некоторое время он молчал, не в силах ничего сказать.

— Кира, я буду дома не в шесть тридцать, а в восемь. В восемь, а не в шесть. Ты придешь? Я буду в восемь, слышишь?

— Слышу. В восемь.

Аристов стоял у окна с развернутой газетой, хотя и за столом света было достаточно. Он взглянул поверх газеты на Бориса. Рука юноши еще лежала на телефонной трубке, глаза были широко раскрыты, он смотрел куда-то вперед, и что он там видел — этого Аристов не знал.

Да, начинается у всех вот так, а потом — борщ, обед, получка... А ведь было же так, ей-богу!.. И Аристов вдруг вспомнил, как оно было. Не умом вспомнил, не холодной памятью, а так, словно на минуту стал таким, каким был когда-то, вот как этот, лет восемнадцати. И ветер вспомнил, который дул от реки, и запах воды, и дымок, прилетевший откуда-то с той стороны, и холодные перила под рукой... Вот они с Клашей стоят на Каменном мосту, не на нынешнем, а на том еще, коротком, который соединял Ленивку с Домом правительства. Они оба в юнштурмовках — защитных гимнастерках; через плечо кожаный ремешок-портупея; на груди маленький красный КИМ — значок. Ветер треплет короткие Клашины волосы, они отлетают в сторону и касаются его щеки, и он чувствует на своей щеке эту холодную гладкую прядку...

Да, было... Все, брат, было. Не думай, что у тебя одного. Здорово хорошо было. А теперь что — думаешь, плохо? Ты вот наживи себе такого Володьку, тогда и поговорим, кому из нас лучше, тебе или мне?

Но, хотя Аристов сказал это себе, все равно было почему-то грустно-вато смотреть на этого счастливого паренька, который стоит сейчас перед ним, свесив свой чуб, и думает о чем-то, что к нему, к Аристову, никакого отношения не имеет...

— Слушай-ка, а ведь разговора у нас с тобой сегодня не получится. Придется перенести. Мне, понимаешь... это... в райком мне надо, вот что. Совещание там у нас, понятно?

Борис кивнул. Секунду он стоял, соображая что-то, потом схватил кепку и побежал, прикидывая на ходу, куда ему сейчас лучше отправляться: к Кире или сразу домой, может быть она уже у Зойки?..

Аристов снял трубку и набрал номер.

— Это ты, Клаша? Ну, как там твой борщ? Да не серчай, я серьезно. Приду. Вот сейчас совещание одно быстренько проверну и — домой. Нет, никуда больше, дома буду. Скажи Володьке, чтобы не убежал... Может, захватить чего? Тут у нас в буфете яблоки есть... Что?... Ну ладно, считай, что праздник.

То, как называли это раньше, то, как называли другие, для них не годилось. У них было совсем иначе, и в человеческом языке названия для этого не было. Любовь? Но вот любит Аркадий Зою, или Моргунов — Люду, или Аристов — свою жену. Но разве это похоже на то, что у них с Кирой?! У них... Нет, он не знал слов, которыми можно было бы рассказать, что у них.

Он снисходительно выслушивал рассуждения Агафошина о любви — что мог тот знать! Он с удивлением вспоминал письма Аркадия — это любовь? Он пожимал плечами: как могла его восхищать история любви Жюльена Сореля?! Нет, все было не то. То было у них. И рассказать об этом было невозможно. Не потому, что он не хотел и не мог говорить об этом. Даже если бы захотел, все равно не было таких слов, которые могли бы передать, что с ним происходит, когда он видит Киру, слышит ее голос, ее смех... Вот вчера он увидел у Зойки Кирину перчатку, она лежала на столе среди учебников, маленькая, измятая, и Борис узнал Кирину руку, ее длинные пальцы. Зойка спросила у него что-то, он не ответил. Не мог, у него перехватило дыхание.

— Ты что, оглох? — спросила Зойка.

— В чем дело? — сказал он. Он уже оправился и мог говорить.— Никто не оглох, прекрасно слышу.

Нет, он не знал таких слов, которыми можно было бы рассказать обо всем этом. Ну как рассказать словами «Лунную сонату»? Или вот это багровое небо? Но для «Лунной сонаты» есть ноты, для заката—краски. Для того, что у них,— ничего нет. И говорить об этом нельзя и не надо.

Они виделись часто — каждый день. Но иногда, зная, что он увидит ее сегодня вечером, Борис, вместо того чтобы идти в столовую, вылетал с заводского двора и, перескакивая с трамвая на трамвай, мчался к школе, стараясь поспеть к большой перемене, чтобы посмотреть на Киру. Только посмотреть, даже не успев обменяться двумя словами, посмотреть и лететь что есть духу обратно.

И когда однажды он встретил ее поздно вечером у ворот завода, он не удивился (значит, у нее так же!), а очень сильно обрадовался. Они взялись за руки, постояли так на виду у всех — и помчались со всех ног к трамвайной остановке: уходил последний трамвай.

И, неизвестно почему, ему теперь было ужасно жалко всех людей. Он смотрел на веселого Агафошина. Бедный, бедный Агафошин, он находит радость в таком ничтожном — в водке, в вечеринках... А Костя Никольский! Бедный Костя, неужели так пройдет у него вся жизнь и он не узнает, что бывает иначе, не так, как у него с Лизой! Даже Аристова он жалел: ему уже столько лет — значит, никогда уже не случится с ним того, что произошло с Борисом.

Борис раньше не знал, что можно испытывать чувство такой жалости и такой любви к людям. Вообще. Ко всем. А теперь сидит в трамвае, смотрит на пассажиров и так жалеет их, что даже сердце щемит: ведь никому из них не было, не может быть и не будет так прекрасно, как ему. Ах, бедные, бедные...

И ужасно хотелось ему сделать что-нибудь такое, чтобы людям стало лучше. По крайней мере тем, кто рядом с ним. Кажется, ему это удавалось. Во всяком случае, никогда раньше люди не улыбались ему так радостно, никогда не разговаривали с ним так дружелюбно, никогда так охотно не соглашались с ним.

И все у него ладилось удивительно. Все, что раньше не давалось, вдруг пошло.

«Вот видишь,— говорил Моргунов,— я ж тебе толковал, надо прежде всего в чертеже разобраться, а потом уже станок пускать. Вот сделал так и видишь, как здорово дело пошло!» Борис соглашался. Ладно, пусть думает, что это он, ему, наверно, приятно так думать.

«Я очень рада, Боря,— говорила мама,— что ты наконец послушался моего совета и стал делать зарядку. Поэтому и настроение у тебя хорошее и чувствуешь себя, наверно, лучше?» «Конечно,— говорил Борис.— Спасибо, мама».

Почему-то всем хотелось думать, что это они помогли Борису во всех его делах. Даже Аристов и тот как-то сказал ему: «Давно бы тебе так —

чем махать руками, прислушаться, что люди советуют: не только самому на кружке выступать, а ребят заставить. Ты все ерепенился. А теперь смотри как разохотились — совсем другое дело пошло...»

Борис кротко соглашался со всеми.

...Вот чего он терпеть не мог, просто не выносил,— это когда кто-нибудь говорил о них, о нем и о Кире. Незачем маме советовать ему просить Киру заняться с ним английским и многозначительно добавлять: «Она ведь тебе не откажет». Незачем Марго лезть со своими дурацкими поздравлениями: «Бобочка, я видела вас в клубе с одной особой! Я вас поздравляю, у вас прекрасный вкус». Незачем Борису Петровичу предлагать ему билеты в театр: «Тут два. Насколько я понимаю, вам требуются два?»

А Зойке... Вот уж Зойке он меньше всех мог прощать, когда она влезала не в свои дела.

— Я очень рада,— сказала однажды Зойка и лукаво замолчала.

— Чему, собственно? — хмуро спросил Борис, сильно надеясь, что разговор будет о чем-нибудь другом, не о них с Кирой.

— Ну-у... что ты и Кира... в общем, что вы...

— В общем и в частности,— холодно сказал Борис,— разговор окончен.

— Пожалуйста,— обиделась Зойка.— Я могу вообще ни о чем с тобой не говорить.

И Борису сделалось жалко ее, круглое Зойкино личико стало совсем унылым. Хорошая она все-таки, эта Зойка. Просто милая необыкновенно. И, конечно, этот обалдуй Аркадий ни черта ее не стоит.

— Зойка,— сказал он,— между прочим, ты — лучшая из всех возможных сестер.

— Правда? — обрадовалась она.— Нет, правда, Борька, ты так думаешь?

— Ей-богу. Во всяком случае, что касается меня, то мне другой не требуется.

— Вот видишь. А вы со мной — будто я чужая, ты и Кира. А ведь я вам все рассказываю и письма Аркашины читаю, а вы...

Она посмотрела на брата и запнулась. Помолчала немного.

— Боря, ты не сможешь мне разобраться с одной задачей, я что-то запуталась...

И они засели за работу, словно никакого разговора и не было.

Ему казалось, что ничего не может случиться такого, чтобы поссорило их с Кирой хотя бы на минуту. Пусть хоть год, хоть десять лет пройдет! Но не прошло и десяти дней, как они поссорились.

Это случилось в воскресенье.

Утром Борис отправился в клуб: сегодня они должны были всем кружком смотреть фильм о Ленине. Оказалось, что четырех человек нет, как раз тех, которые жили в общежитии в одной комнате с Горошкиным. Борис еще несколько дней назад дал Горошкину билеты и просил передать ребятам. Забыли они, что ли? И Борис побежал в общежитие.

В комнате был один Горошкин. Он почему-то очень обрадовался, увидев Бориса.

— Башкиров? Вот здорово.

Его узкая мордочка задвигалась: сморщился короткий носик, зашевелились губы, брови весело поползли вверх.

— Вот здорово, что ты пришел, а то ребята разбежались, а тут, понимаешь, такая штука...

— Постой, как это — разбежались? Куда?

— А шут их знает, ушли... А тут вот какое дело: заявляется ко мне парень из нашей деревни. Остановиться ему, ясно, негде. Ну, я его сюда

хотел устроить, временно, конечно. А комендант, бюрократ такой, не пускает. Тут, говорит, тебе не ночлежка, спекулянтов всяких пускать. Слышишь, спекулянтов? Бюрократ паршивый.

— Ты мне ответь: где ребята? Пошли они в клуб или нет?

— А я почему знаю, они мне не докладывались. Значит так, Башкиров, ты сходи сейчас к коменданту, поручись за малого. А если он...

— Где билеты? — с яростью спросил Борис. — Ты что, потерял их?

— Какие билеты? Ах, билеты... Почему потерял? — даже обиделся Горошкин. Он пошарил в кармане и вытащил измятый конверт. — Ничего не потерял. Вот... А коменданту скажешь...

Борис с ненавистью смотрел на остренькую мордочку Горошкина. Это он сорвал всю его, Бориса, работу. Он, Борис, с ног сбился, доставал фильм, тащил на себе все эти коробки, договаривался с клубом, все устроил, все организовал. И вот по милости этого Горошкина...

— А коменданту скажешь так, — продолжал Горошкин, — спать, мол, он будет на одной койке с Горошкиным.

Нет, он ничего не смыслит, этот Горошкин!

— Да ты понимаешь, какое дело ты сорвал? Понимаешь ты это или нет?! Из-за тебя люди не попали в клуб.

— Подумаешь, беда. В другой раз сходят... Ты, главное, вот что: ты вбей ему в башку, коменданту нашему, что он ни за что не отвечает, что ты, мол, ручаешься за человека. Ему главное, чтобы не отвечать, бюрократ паршивый!..

Борис не вслушивался в его слова. Он поймал только последнее — «бюрократ». Этот Горошкин еще смеет критиковать кого-то! Сам не может выполнить элементарного дела, а кто-то там для него бюрократ.

— А почему, собственно, бюрократ? — холодно спросил Борис. — Не вижу никакого бюрократизма.

— Как же не бюрократ! Когда ему надо было свою племянницу устроить, он пихнул ее к девочкам в комнату, и она две недели жила. А тут всего на три дня. Ты поди к нему и так и скажи...

— Никуда я не пойду и ничего говорить не буду.

— Как не пойдешь? — удивился Горошкин.

— А так, очень просто. С какой стати я должен убеждать коменданта, чтобы он пускал кого-то там в общежитие?

— Так я ж тебе объясняю: из деревни он, парень этот. Из нашей. Приехал радиоприемник купить. У них в районном центре нет таких приемников, как ему нужно. Он любитель. Понятно?

— Мне все понятно. Мне непонятно только, как это человек не может выполнить пустякового дела и преспокойно срывает мероприятие.

Горошкин молча смотрел на Бориса, его подвижная физиономия на секунду замерла, и он вдруг стал похож на собственную фотографию, висевшую над его кроватью.

— А знаешь что, Башкиров? — сказал он наконец. — А ведь ты вроде нашего коменданта. Ей-богу. Он, правда, у нас не комсомолец, он тысяча восемьсот девяностого года рождения, просто беспартийный дореволюционный старик. А так — копия. — И Горошкин захохотал во все горло.

Борис от ярости не мог выговорить ни слова.

— Н-ну вот что, — сказал он, заикаясь от злости, — ты можешь говорить обо мне все, что тебе вздумается, но вопрос о тебе на комитете я поставлю. Можешь быть уверен. За срыв.

И он вышел, хлопнув дверью, что было сил.

На крыльце общежития топтался какой-то тощий паренек с чемоданом в руках. Посмотрев на красное злое лицо Бориса, он робко посторонился.

«Нет, это просто возмутительно, — думал Борис по дороге домой (в клуб он все равно уже опоздал), — ты стараешься, лезешь вон из

кожи, бегаешь, добываешь билеты, а находится вот такой Горошкин, и вся твоя работа насмарку!..» Борис вдруг вспомнил парнишку, стоявшего на крыльце с большущим чемоданом. Наверно, это и был тот, из деревни. Борис, кажется, и не посмотрел на него толком, но теперь почему-то ясно увидел его испуганные глаза и как робко он посторонился. Да, наверно тот. А чемодан небось для приемника припас... Ну и что из того? Почему это он должен ручаться за незнакомого человека? Да и неизвестно, послушался бы комендант или нет. Скорее всего нет, раз он такой бюрократ... Ничего не бюрократ. Человеку поручили следить за порядком, и он правильно делает, что никого не пускает. А о Горошкине надо будет поставить вопрос, нельзя спускать такие вещи...

Но хотя он сказал себе эти твердые и решительные слова, на сердце все равно оставалось беспокойно. И дело, кажется, было не в Горошкине.

Кира уже пришла. Они с Зойкой сидели в его комнате.

— Что? — спросила Кира, с тревогой взглянув на Бориса, чуть только Зойка вышла из комнаты.

— Ничего,— ответил он и без всякого перехода продолжал:— Удивительные все-таки люди есть на свете! Сами нарушают дисциплину на каждом шагу, пустякового поручения выполнить не могут, а если другой человек хочет поддержать порядок, он для них сразу бюрократ, чиновник, негодяй...

Кира слушала молча, не перебивая. И когда Борис кончил, все еще молчала.

— Можно подумать, я поставил перед тобой неразрешимую проблему,— сказал Борис, неестественно смеясь.— А между тем все очень просто: человек не желает подчиняться дисциплине. Никакой. Всегда хочет словчить и злиться, если ему мешают.

Кира подняла глаза.

— Боря, а где он будет ночевать?

— Кто? А-а... Откуда я знаю. Где-нибудь будет... А вообще почему ты меня об этом спрашиваешь? Что, по-твоему, теперь я должен отвечать за этого типа?

— Нет, не отвечать... но просто я думаю, раз он приехал из деревни и ему некуда идти, так как же теперь будет с ним? Этот комендант все-таки должен был пустить его. Это неправильно.

— Интересно,— насмешливо протянул Борис,— можно подумать, что ты век жила в общезнаниях и знаешь порядки лучше коменданта.

— Нет,— сказала она тихо,— я не знаю порядков. Но ведь ему негде ночевать. И если этот комендант не пускал его, надо было что-то сделать.

— Ах, вот что! Ты считаешь, что я должен был послушаться Горошкина и поручиться за эту личность головой? А если он спекулянт? Или даже вор, или бандит, тогда что?! Тебе это все равно, да?

— Нет, Боря, мне не все равно... Но я просто думаю, что мы тут, в Москве, у себя дома, а он — один, и как-то нехорошо, просто как-то нечестно получается...

— Нечестно?! Значит, ты считаешь меня нечестным человеком?

— Боря, Боря...

— Можешь не объяснять, я все отлично понял. Я только удивляюсь, как это ты можешь иметь дело с нечестным человеком, с бюрократом, с чиновником!..

— Боря,— испуганно сказала она,— что ты, Боря!..

— Ни-че-го,— раздельно сказал он.

— Но ведь я не могу... сказать иначе... раз я так думаю! Не могу.— У нее на глазах заблестели слезы.

— А если не можешь, уходи. Да, да, уходи, пожалуйста. Тогда совсем не надо. Ничего. Вообще. Никогда.

Он поднялся и вышел из комнаты. Она смотрела ему вслед испуганными глазами. Он не вернулся.

Дома садились обедать. Он сначала сказал, что не хочет. Потом все-таки вышел к столу («Все равно будут приставать. Ох, как вы мне все надоели!..»)

Он сел за стол. Мать с Зойкой посмотрели на него, переглянулись, но ничего не сказали.

Борис проглотил две ложки супу и отодвинул тарелку.

— Не заболел ли ты? — осторожно спросила мать.

— Нет, не заболел, — резко ответил он и вышел из комнаты.

Он лег на диван, заложив руки за голову.

«Ну и прекрасно. Замечательно. Нет, просто замечательно. Главное — полная ясность. Она не любит. И никогда не любила. Разве так любят?! Вот Зойка, она никогда не сказала бы так. Зойка прежде всего подумала бы обо мне, потому что для нее важно — как мне, хорошо или плохо. А почему? Потому что она меня любит. А когда не любят, тогда — вот так... Да, Зойка настоящий друг, она всегда за меня. Прав я или неправ, для нее главное — я, а все остальное потом. Да, Зоя не понимает музыку. Ну и что? Она не особенно разбирается в литературе. Какое это имеет значение! Зато она настоящий друг...»

В дверь тихонько постучали.

— Бобик, можно к тебе?

«Голос преувеличенно веселый. Обычные Зойкины штучки», — с неприязнью подумал он.

— Я хотела у тебя спросить... у нас в классе завтра политинформация, а я не читала газет...

Она села к нему на диван, но спрашивать ни о чем не стала, а посмотрела на него сочувственно и с беспокойством. «Фу, как надоело все это!»

— Слушай, — сказал он сердито, — сегодня в общежитии произошла такая история...

И он рассказал ей все, что только что рассказывал Кире.

Зоя слушала внимательно. Даже приоткрыла рот от внимания. Он еле сдержался, чтобы не сказать ей: «закрой рот!»

— Ну, как ты считаешь? — спросил он сердито, не глядя на нее.

— По-моему, Боря, ты совершенно прав. Раз существует такой порядок, что посторонним нельзя оставаться, почему ты должен идти и просить за него...

— Какой порядок! Я ведь тебе русским языком говорю: человеку негде ночевать. При чем тут порядок, если человеку ночевать негде? Ну при чем?

— Но он, может быть, спекулянт...

— Какой спекулянт! — заорал Борис. — Говорят тебе — человек приехал за приемником.

— Но поскольку... — робко сказала Зойка.

— Поскольку-постольку, — передразнил ее Борис, не сдержавшись. — Знаешь что, уйди. Да, да, уйди. Не сердись на меня, но...

Зоя закусила нижнюю губу и, подняв голову, вышла из комнаты.

«Ну и пусть. Надоело всех уговаривать, перед всеми стоять на задних лапках. На-до-ело. Понятно?» — спросил он неизвестно кого.

До позднего вечера он не выходил из комнаты, прислушиваясь к телефонным звонкам и к хлопанью двери лифта. Тысячу раз хлопнула дверь. Миллионы раз звонил телефон. Звонили всем. Только не ему.

В одиннадцать часов позвонили в последний раз. Вызывали Бориса Петровича. В двенадцать погас свет в столовой. В половине первого мама на цыпочках вышла в переднюю и закрыла дверь на цепочку.

В тридцать одну минуту первого Борис мчался по темной ночной улице.

...Он постучал так тихо, что сам еле слышал свой стук. Но дверь открылась мгновенно. На пороге стояла Кира.

— Это ты,— сказала она, и голос у нее дрогнул.— Боря, я не хотела... я не должна была...

— Нет, это я не должен был. Неужели ты думаешь, что я такая дубина, что не могу понять? Это я, понимаешь — я. Ты — все так, как надо.

— Но ведь я совсем... совсем не хотела сказать, что ты... нечестный... я только...

— Кира, не надо. Я все понимаю. Ты была тысячу, миллион раз права.

— Я хотела тебе позвонить, но ты сказал, что ни... никогда...— Она не могла говорить.

— Ты плакала?! — с ужасом и раскаянием спросил он.

Она кивнула головой и ничего не сказала, она боялась, что снова заплачет.

— Кира! — сказал он с силой.— Этого никогда, никогда больше не будет — чтобы ты из-за меня плакала. Слышишь, никогда!

«Будет,— с внезапной уверенностью подумала она.— Будет. Но пусть».

Они стояли на темной лестничной площадке, держась за руки.

— А теперь вот что,— сказал Борис,— теперь я пойду в общежитие и скажу Горошкину и всем им там, пусть они знают, что если я поступил подло, то по крайней мере я это понимаю.

— Но ведь уже поздно, Боря, трамваи уже не ходят, и метро давно закрыто.

— Ничего, пойду пешком.

— Но ведь там все спят.

Об этом он не подумал.

— Ну ладно, завтра. Завтра пойду в общежитие. Потом разыщу этого парня и приведу к себе. Пусть живет. Пусть хоть год живет, верно?

На лестнице было прохладно. От большого темного окна тянуло ветерком. Они уселись на ступеньках, укрывшись одним пальто.

— Я целый день ждал твоего звонка,— сказал Борис.

— Если бы я знала, что ты ждешь, я бы позвонила, но я думала...

— Нет, это хорошо, что не позвонила. Потому что права была ты, а не я. Я это все время знал, и все-таки, если бы ты позвонила, я мог бы еще ляпнуть что-нибудь не так... Знаешь, я такой.

Они сидели на ступеньках и тихо-тихо разговаривали. Надолго замолкали и снова говорили. Большое окно против них выходило в небо.

— Смотри,— сказала Кира,— какое чудо. Я никогда не видела такого неба. Как в Ленинграде. Настоящая белая ночь. Как будто нарочно для нас.

Они смотрели на необыкновенное ночное московское небо — молочно-белое. А оно изменялось у них на глазах: становилось все светлее и светлее...

Они не заметили, что это кончилась ночь и начинался новый день.

Отношения с Костей Никольским оставались прежними. Когда они с Борисом встречались, каждый делал вид, что не замечает другого, и они проходили друг мимо друга, не здороваясь.

Сегодня, выходя из цеха, Борис еще издалека заметил широкие Костины плечи. Тот стоял у проходной, словно дожидался кого-то.

Борис слегка повернул голову в сторону, как делал всегда, когда видел Никольского. Но Никольский вдруг остановил его.

— Слушай... ты вот что... ты приходи сегодня, туда... в Марьину рощу.— Костя нахмурился.— Лиза просила... Ну и я—тоже. У Наташки сегодня день рождения.

— У Наташки? — не мог понять Борис. «Ах, у Наташки, ну конечно, у его дочери».

— В общем, какое там рождение,— так же хмуро добавил Костя.— Полгода всего... Ну, словом, приходи.

— Ладно,— сказал Борис.

Нельзя сказать, чтобы Борису хотелось идти туда — он не представлял себе, о чем они будут разговаривать и как все это получится. Но отказаться было нельзя.

Подарок пошли покупать вместе с Кирой. Борис хотел какую-нибудь смешную игрушку, но Кира сказала, что лучше что-нибудь из вещей, и они купили голубой передник, на который были нашиты желтые цыплята.

Кира пошла провожать Бориса. Они доехали на троллейбусе до площади, прошли по бульвару и остановились у Лизино дома.

— Слушай, Боря,— сказала Кира,— а что если мы пойдем к ним вместе?

Ему казалось, что это неловко: звали его одного. Если бы он хоть предупредил, что придет не один... А главное, Кира как-то не подходит туда. И Лиза, наверно, будет смущаться. И потом там, конечно, будет водка...

— Вот увидишь,— сказала Кира,— все будет хорошо. Будет даже лучше. Гораздо лучше. Ну, как тебе объяснить? Ну вот пришли гости, к ним обоим, к ней и к нему... Понимаешь, не просто товарищ, а гости. И все, как у всех...

Борис не поверил, но сказал — хорошо.

Было неловко только в первую минуту, когда они толклись в тесноте возле комнаты, не зная, куда повесить пальто и что сказать. Потом Борис все время с восхищением смотрел на Киру, как она сидела за столом, как выпила маленькую рюмочку водки и взяла соленый огурец, как, надев Лизин фартук, помогала ей убирать со стола... И все время они с Лизой о чем-то разговаривали. Кира была в своем вишневом платье (значит, она еще дома решила, что пойдет сюда!). И Лиза оказалась ему даже хорошенькой, с ленточкой в светлых тонких волосах. А Наташка сидела в новом переднике, важная, как буддийский святой, и все ударяла ложкой по спинке кровати.

А они с Костей полулежали на диване и разговаривали о своих заводских делах. И это тоже было почему-то приятно Борису: вот они разговаривают о своем, а Кира с Лизой заняты хозяйством.

Потом Лиза уложила девочку. Та уснула мгновенно.

— Теперь до утра не проснется. Это мало какие дети так спят, всегда беспокоят. А наша совсем, ну совсем не беспокоит. Верно, Костя?

Костя кивнул.

Девочка спала, и Костя с Лизой пошли проводить гостей. Троллейбус долго не шел. Косте надо было завтра рано вставать, и они не стали больше дожидаться. Попрощались и пошли. Костя большой, широкоплечий, Лиза маленькая, худая, как девочка. Она все поднимала голову и что-то говорила ему. Костя кивал в ответ, и Борису казалось, что он видит, как задумчиво глядят Костины синие глаза.

Они с Кирой стояли вдвоем на пустынной остановке. Здесь Москва не была похожа на Москву. Свет ближнего фонаря выхватил из темноты чугунную решетку бульвара и нависшие над ней ветви деревьев. Блистела в тишине асфальтовая дорога. Соседних домов видно не было.

Тонкий свежий ветер чуть шевелил молодые листья. Кира подняла голову, сквозь ветви мигали бледные маленькие звездочки.

«Что-то в ней есть такое,— думал Борис, глядя на Киру,— что-то такое, для чего почему-то никак не найдешь слова. Все слова, какие приходят на ум, почему-то сюда не идут. Красивая? Да, красивая. Но другие, которые тоже считаются красивыми, какие-то не такие; те красивые даже чем-то похожи между собой. Она не похожа ни на кого... Умная? Конечно, умная. И опять не то слово! Другие, про которых тоже говорят, что они умные, умны как-то иначе. Вот, например, откуда она знала, что к Косте и Лизе надо идти вдвоем, что так будет лучше? Я не знал и боялся, что что-нибудь получится не так. А она знала, что будет так, как надо. И все было, как надо... А ведь я старше нее, и она еще учится в школе. И почему-то она часто знает такое, чего не знаю я...»

Кира все еще стояла, подняв голову к звездам. Ему был виден ее профиль, тонкий и тоже как будто светящийся, словно звезда.

«Косте с Лизой она очень понравилась,— продолжал думать Борис.— Я это сразу увидел. А она даже, кажется, не заметила, она об этом просто не думала. Вот это тоже в ней замечательно: то, что она не думает, какая она. Я не такой: я все-таки всегда хочу, чтобы я производил хорошее впечатление... То есть вообще-то плевать я хотел на это, но все-таки почему-то хочу... Нет, и в этом она лучше меня...»

Чем ближе узнавал Борис Киру, тем больше открывал в ней достоинств. И после каждого такого открытия он всякий раз с ужасом убеждался, что он не стоит ее. С отчаянием он начинал втолковывать ей, что она в тысячу, в миллион раз лучше него... Но она почему-то никогда не соглашалась с ним и говорила, что все совсем не так, что он просто не знает себя. И начинала объяснять ему, какой он (может быть, и это она знала лучше него?). И как-то получалось, что, хотя он ни на минуту не мог с ней согласиться, он почему-то успокаивался... Нет, что там говорить, у нее и ум какой-то особенный, не такой, как у других.

— Ты о чем-то думаешь,— сказала Кира, взглянув на Бориса.— О чем-то важном.

— Я думаю,— медленно сказал Борис,— что это очень глупо — говорить про человека, что он умный. Что значит умный? Вот у нас в классе самым умным считался Юрка Розанов. И в самом деле: круглые пятерки, язык подвешен будь здоров... ну и так далее. А вот пусть попробует этот Розанов разобраться в какой-нибудь такой истории, как с Никольским! Черта с два, это ему не таблица логарифмов. Так какой же это ум? Нет, настоящий ум — это что-то совсем другое, тут ни при чем ни математика, ни физика, ни химия. Вот я. Я определенно человек неумный. Нет, постой,— остановил он Киру, хотевшую что-то сказать.— Я ведь не в том смысле что дурак, я про настоящий ум. Вот возьми — ты и я. Ты в тысячу раз умней...

— Ох, Боря...

— Не спорь, пожалуйста, умней в миллион раз.

Что-то зашуршало сзади. Было так тихо, что она услышала этот невнятный шорох и оглянулась. Легкий ветер шевелил отклеившийся уголок афиши. Кира мельком взглянула на афишу, какой-то портрет в овальной рамке, аршинные буквы. Кира всмотрелась в портрет, острые глаза ее в полумраке разглядели кокетливую улыбку, светлые волосы, веселым сиянием окружавшие задорное лицо, ожерелье на открытой шее.

Борис тоже обернулся.

— А-а,— протянул он небрежно, взглянув на афишу.— Светлана. Между прочим, меня с ней знакомили. А потом мы еще как-то встретились, за кулисами. Она такую чушь несла!

Борис отвернулся от афиши.

— Какую чушь? — тихо спросила Кира.

— Ерунду всякую. Будто я ее спас, что без меня она пропала бы... Так вот, — вернулся он к прежнему разговору, — я считаю, что, собственно, ум — это...

Кира не слышала. Испуганными глазами смотрела она на портрет артистки. Как могла она забыть про Светланову, как могла не помнить тех слов, что сказала тогда Зоя! Нет, она не забыла, вот они, те страшные слова: «Между ними что-то есть». Она не забыла. Она просто перестала их бояться, она им не верила. После того вечера, когда Борис, отстранив Зою, распахнул перед ней двери и они пошли по светлым вечерним улицам, которых она не могла бы теперь вспомнить; после того, что он сказал ей на той площади, под раскачивающимся фонарем, — она не верила им, не хотела верить, не могла верить! Ничего не могло быть между ними, радостно думала она каждый раз, глядя в оживленное и нежное лицо Бориса. Ни со Светлановой, ни с кем на свете!

Ни разу Кира не спросила его об артистке, ни разу не произнесла при нем ее имени. Зачем? Если бы когда-нибудь что-нибудь было, он бы сам ей сказал.

Он не сказал. Он встречался с ней за кулисами и не сказал. Он спас ее от смерти и не сказал! Он любил и не сказал!

Как могла, как смела она думать, что эту Светланову нельзя любить? Можно, ах, как можно! Что она по сравнению с этой светловолосой красавицей? Она, с этими широкими солдатскими плечами, с этими глупыми толстыми косами, с длинными, словно у мальчишки, ногами! Не ее он спасал, а Светланову. И любил он тогда не ее. А сейчас?..

Кира не слышала, что говорит Борис. С отчаянием смотрела она на портрет артистки. Она видела смеющийся рот, легкие пушистые волосы, открытую шею. Ее он любил, вот эту, красивую, с ожерельем...

Мимо пронеслась длинная стремительная машина, мгновенно она скрылась за поворотом шоссе. Рассеялся запах бензина, улеглась легкая пыль. Снова стало тихо. Афиша уже не шевелилась. Узорная тень тихо лежала на асфальте. Звезды все так же светили сквозь молодые листья.

Ну что ж, пусть светят. Не могут же они перестать светить из-за того, что ей, Кире, уже не хочется смотреть на них, и ей уже не кажется, что эти звезды сулят что-то прекрасное, и уже все равно, дует ли ветер и лежит ли на серебристой асфальтовой дороге узор чугунной решетки, и что все это вместе перестало быть счастьем.

Кира смотрела прямо перед собой и молчала. Что могла она сказать! Если бы она была одна, она побежала бы сейчас отсюда прочь — от этих звезд, от листьев, от тишины, от всего, что только что было радостью и счастьем.

— ...Почему ты мне не отвечаешь, — вдруг услышала она. — О чем ты думаешь?

— О чем я думаю? Ни о чем. — Она помолчала. — Вот эта артистка, Светланова эта, ты ведь ее хорошо знаешь, какая она? Наверно, она не похожа на таких, как... ну, в общем, на простых, на самых обыкновенных?

— Ну, этого я не знаю, на кого она там похожа или не похожа. Но она знаешь какая?

— Какая? — тихо спросила Кира.

Борис снова взглянул на портрет Светлановой, губы его сложились в чуть насмешливую улыбку.

«Он улыбается, — с отчаянием думала Кира. — Он ее любит!»

— Вот артисты,— продолжал Борис,— как будто должны быть передовыми людьми. Ну, других я не знаю, а она... Она, по-моему, ни о чем не думает. Только голос. Тогда в клубе дурацкий какой-то разговор.

— Почему дурацкий,— так же тихо сказал Кира.— Ты же ее спас...

— Да никто ее не спасал. Просто перегорела лампочка, Агафосин побежал за новой, а она ухватилась за меня, как будто ей три года... А слыхала бы ты, что она мелет о Шостаковиче! Прямо уши вянут.

— Она красивая,— твердо сказала Кира.— Очень красивая.

Борис ответил не сразу.

— Да, вот и про красоту я тоже думал. Понимаешь, ни черта это не стоит, если женщина и вообще человек красивые. То есть, вообще-то говоря, это неплохо, но людям должно быть на это наплевать. Ведь сам человек тут ни при чем! Ну родился с голубыми глазами или с греческим носом — что же, ему за это премию давать или памятник ставить? Ценить человека можно только за то, чего он достиг сам. Вот, например, ум. Я все-таки считаю, что настоящий ум человек может в себе выработать...

— Боря, вот я хотела тебя спросить: а что, эта Светланава...

— Постой, вот ты говоришь, что я умный, но если принять за аксиому то, что человек...

И он опять пустился в свои длинные и туманные рассуждения о том, что такое настоящий ум, может ли человек выработать в себе настоящий ум и каким путем этот ум вырабатывается...

Кира не слушала. Она смотрела ему в лицо. Нет, спрашивать не надо. Зачем спрашивать? Она сама видит. Вот она смотрит на него под этими звездами и — видит. Ничего не было. А если даже и было, то такое маленькое и ненастоящее, что он сам забыл про это, и все равно что ничего не было. Не было, нет и никогда не будет. Всегда будет вот так, как сейчас. Сколько они будут жить, столько и будет...

— Почему ты не отвечаешь? — спросил Борис.— Ты не согласна? Значит, ты думаешь, что человек уже рождается умным или дураком?

— Как я думаю? — медленно переспросила Кира.— Я думаю, это совсем неважно — умный или неумный. Важно другое.

— Что же?

Она улыбулась.

— Не знаю.

— Ну, как же,— сказал Борис,— по-моему, это страшно важно, действительно ли человек в состоянии выработать в себе такие качества, как ум. Или возьми вопрос о принципиальности. По-моему...

Она смотрела на него и тихо улыбалась. И ему вдруг расхотелось доказывать ей, как важно быть принципиальным и вырабатывать в себе ум.

Троллейбуса все не было. И они отправились пешком. Шли по тихим ночным улицам, радостные, молчаливые. Умные или глупые — об этом они не думали.

И вот снова август. Жаркие дни. Прохладные длинные ночи. Темное небо в мохнатых звездах. Неужели год прошел с того дня, когда они с Зойкой сидели в кафе и на листочке из блокнота составляли расписание его жизни? Оказывается, до сих пор он никогда не замечал, как это много — год. Просто никогда не задумывался, сколько всего может произойти от августа до августа. А может быть, до сих пор никогда столько и не происходило в его жизни за один год? И сам он никогда не изменялся так, как изменился за эти двенадцать месяцев!

Разве это он сидел тогда, в том августе, за столиком в кафе и,

храбрясь перед самим собой, перед Зойкой, перед официантом, перед всем миром, старался сделать вид, что ничего не произошло, в то время когда он чувствовал — случилась катастрофа!.. Нет, тот молодой осто-лоп, хотя и носил его имя, был не он, а какой-то другой Борис Башкиров, его дальний и малоприветный родственник. И как же глупо, как бездарно вел себя этот милый родственничек! Начать с того, что два месяца он вообще пробездельничал, предаваясь мировой скорби. А это дурацкое «Свидетельство современника»! А статья о Никольском! А вся чушь, которую он выкладывал перед Аристовым!.. Да мало ли что еще. Нет, тому Башкирову — конец. Теперь он другой, и то, что было, больше никогда не повторится.

Борис говорит все это вслух, но как бы для самого себя. Зойка сидит тут же, в его комнате, забравшись с ногами на диван.

— Да, да, Боря, — соглашается Зойка, — конечно. — Потом задумывается. — Но все-таки...

— Что все-таки? Ты не согласна?

— Нет, не то что не согласна, но... Вот я подумала: если бы все повторялось — то, что с нами уже было, тогда, конечно, мы бы уже знали... Но ведь все что-то новое...

— Ты хочешь сказать, что я буду делать какие-нибудь новые глупости? Постой, ты именно это хотела сказать. Но это не так. Во-первых, есть кое-какой опыт. Во-вторых... — Борис запнулся. Кажется, из него снова вынырнул тот хвостун, с которым, ему казалось, он навек покончил на пороге нового августа. — Ладно, — говорит он сестре. — Если идти, так идти. Собирайся. Или ты в этом пойдешь?

— Что ты, Борька, — в халате?! Я белое надену. И новые туфли.

Зойка уходит. Борис слышит, как скрипит дверца платяного шкафа в спальней. Отворяется, снова затворяется... Ну это длинная история. Борис ложится на диван.

Так о чем он думал? Да, о самом себе. Каким он был и каким еще станет. А ведь, пожалуй, Зойка права. Ведь на самом деле неизвестно, что там у него впереди и какой будет он сам в той новой, неизвестной, удивительной жизни, которая не повторит ничего из того, что с ним уже было... Ну и прекрасно, просто отлично, что не повторит! Иди и иди вперед и — все новое. И старайся не быть дураком и пентюхом. И если уж суждено тебе делать всяческие глупости и ошибки, старайся по крайней мере, чтобы они стучали по башке тебя одного и никого рядом...

В дверях появляется Зойка. На ней сиреневое платье в мелких цветочках. На ногах старенькие туфли с бантиками.

— По-моему, ты хотела в белом, — удивляется Борис.

Зойка не отвечает.

«Да, может быть и хотела. А теперь не хочет. Почему это, скажите пожалуйста, она обязана надевать белое? Потому что в белом ей лучше всего? А она не хочет — чтобы лучше. Почему? Ну это долго объяснять. Но... но разве в этом, в цветочках, так уж плохо?»

— А что, — спрашивает она небрежно, — ты считаешь, что сиреневое мне совсем не идет?

Борис пожимает плечами: по мне хоть серо-буро-малиновое.

«Может быть, все-таки переодеться? — тревожно думает Зойка. — Нет, не хочу! Не хочу, чтобы из-за платья, или из-за туфель, или еще из-за чего-нибудь такого я казалась кому-нибудь лучше, чем я есть. Вот я такая. И всё. И как хотите».

— Мы не опоздаем? — Зойка беспокойно смотрит на часы.

— Опоздаем? Еще вагон времени. Впрочем, если пешком, так можно двигаться.

— Давай пешком.

Тот же август стоит на земле. Светит солнце. Шелестят листья. Дворник из большого шланга поливает тротуар. Все то же... И все другое. В том давнем августе не было многого из того, что составляет теперь его жизнь; не было Киры, не было завода, Аристово не было, Никольского, Агафошина... А главное — сам он был другой. А они, все остальные, — интересно, они тоже изменились? Нет, кажется нет. Во всяком случае не все. Вот Зойка, например. Зойка все та же.

Борис смотрит сбоку на Зойкин профиль, кудрявые волосы насквозь просвечивает солнце... Любопытно, что за врач получится из его сестрицы? Ну как бы то ни было, он, кажется, предпочтет лечиться у кого-нибудь другого. Если вообще когда-нибудь вздумает лечиться...

— И что это ты вдруг решила — в медицинский?

— Почему вдруг? Я давно решила, еще в шестом классе. Правда, потом, в девятом, я хотела в геологоразведочный, вместе с Кирой. Но смешно, правда, из-за подруги менять профессию... И Аркадий так считает.

— Ах, Аркадий?

— Да, Аркадий, — твердо говорит Зойка. — Только я еще не знаю, в какой институт. Может быть, не в московский.

— Здравствуйте! Как это — не в московский? Тебя ведь уже приняли!

— Ну и что ж, можно перевестись... Вот в Барнауле, например, есть медицинский институт.

Борис останавливается посреди тротуара и смотрит на Зойку круглыми глазами.

— Постой, постой, какой Барнаул? При чем тут Барнаул?

— А почему же нет? Аркадий узнавал: очень хороший институт. И, между прочим, довольно близко от них: сто тридцать километров. На машине это четыре часа, даже меньше... Да, я, кажется, не говорила тебе, ведь Аркадий, может быть, и не останется здесь. Хотя вообще-то его отпустили, но он считает...

«Чушь, — хочет сказать Борис, — просто чушь и больше ничего!» Но он почему-то не говорит. Той Зойке, из прошлого августа, он сказал бы, не задумавшись...

Оказывается, куда он был занят своим, у нее шло свое. А он ничего не знал! Она не скрывала, она все рассказала бы, но он не спрашивал, он ничем не интересовался, кроме собственной особы... Но нет, это невозможно — Барнаул! К черту этого Аркадия с его дурацкими проектами...

— Заяц, — говорит он осторожно, — но какой же смысл из Москвы — в Барнаул! И потом — мама. Знаешь, что будет, когда мама узнает!

— А мама знает. Конечно, маме не хочется, чтобы я уезжала... Но я ведь еще не решила. И потом, может, Аркадий останется здесь.

Новый август. Все то же. И все другое. Теплый ветер осторожно трогает тяжелые головки цветов на клумбе. За стеклом зеркальной витрины сидят люди и маленькими холодными ложечками выбирают мороженое из стеклянных вазочек... Вон там, за тем вон столиком возле колонны, сидел в прошлом августе один молодой идиот и думал, что жизнь испорчена навек... А интересно, кто там сейчас, и о чем думает он, и не надо ли ему вправить мозги вот сейчас, чтобы он не дождался, пока придет для него новый август? Зеркальное стекло горит в лучах солнца, отражая проходящие мимо машины, людей, ветви деревьев. Не разберешь, кто это там в прохладной глубине за мраморным столиком возле колонны...

— А все-таки ты напрасно не подал в институт, — говорит Зойка. — И зачем тебе этот заочный? Я уверена, что ты прошел бы по конкурсу.

Борис пожимает плечами:

— Это вам с Кирой с вашими золотыми и серебряными медалями море по колено. У нас, простых смертных, дело обстоит иначе... А впрочем, может и прошел бы. Но не в этом дело.

— А в чем же? — спрашивает Зойка.

— Видишь ли, — задумчиво говорит Борис, — завод, к твоему сведению, это не только станки и детали, там, между прочим, есть еще и люди. И вот эти люди...

Но Зойка, кажется, не слушает его. Она вдруг прибавляет шаг. Впереди остановился троллейбус.

— Скорей, скорей, Боря, а то опоздаем.

— Куда опоздаем? У нас еще минимум сорок минут.

Но Зойка тащит его за руку, и они вскакивают в троллейбус.

— Я подумала, — говорит Зойка, отдышавшись, — а вдруг поезд придет раньше?

Борис насмешливо смотрит на нее: такого, кажется, еще не бывало, чтобы поезда приходили раньше срока.

На вокзале пустынно. Только что схлынула волна пассажиров вместе с теми, кто их встречал. Недолгая передышка перед новым поездом.

— Боря, — тревожно говорит Зойка, — а вдруг поезд опоздает?

Борис идет в справочное бюро. Нет, поезд приходит вовремя. Пятый путь, третья платформа. Пожалуйста.

Они идут на третью платформу и долго стоят там, покуда вдаль, в сверкающем переплетении рельсов, не показывается черная гудящая точка. Точка приближается. И вот уже совсем близко, прямо на них движется блестящая выпуклая грудь паровоза. Мимо них медленно проходит первый вагон с сине-белой табличкой «Барнаул — Москва». За ним еще медленней плывет второй. На подножке стоит высокий юноша. Он загорел до черноты. На нем выгоревшая клетчатая рубашка, ворот распахнут, за плечами вещевой мешок. Он стоит, держась за поручень, на одной ноге, вторая нога чертит по воздуху. Неизвестно, давно ли он так стоит? Может быть, от самого Барнаула?! Во всяком случае, взглянув в его лицо, этому можно поверить. Такое радостное нетерпение в этом лице, такая тревога, такое счастье...

«Вот из-за этого долговязого она хочет бросить Москву и всех нас и ехать куда-то за тридевять земель?» — с досадой и болью думает Борис.

Не дожидаясь, пока поезд остановится, юноша спрыгивает на платформу. Он не видит никого, кроме девушки в сиреновом платье, которая, легко отстраняя людей, идет к нему навстречу.

Борис не двигается с места. Этого еще не хватало, чтобы он побежал к нему целоваться! Ему вообще не надо было приходиться сюда — вот что! Кто он ему в конце концов, этот длинноногий? Друг, брат, приятель? Никто! И никогда никем не будет, как бы ни старался. Встречный поток людей отодвигает Аркадия и Зою в сторону от вагона, к невысокой чугунной ограде, за которой тихо качается молодое деревце. Они стоят там вдвоем в стороне от людей, чемоданов, корзин, тюков, которые движутся мимо них... Но разве это Зойка? Эта тоненькая, со светящимися глазами, разве это его сестра? И как он до сих пор не замечал — только это сиреневое, только эти старые туфли со смешными бантиками она и должна надевать!.. Но зачем, зачем ей эта коломенская верста, этот Аркадий? И откуда он только свалился к ним на голову?! В это время Аркадий оборачивается к нему. И Борис с удивлением чувствует, как перед этими открытыми и невозможно счастливыми глазами куда-то пропадает вся злость, которую он копил в себе с той минуты, когда Зойка сказала ему о медицинском институте в прекрасном городе Барнауле.

— Ну, здорово,— говорит он Аркадию, который обеими руками трясет его руку.— А ты, между прочим, изменился. Вырос, что ли? Нет, на самом деле ты, кажется, стал еще длиннее.

Втроем они выходят на вокзальную площадь.

— Ну, вот что, братцы,— говорит Борис,— вы народ вольный, а я как-никак на работе, и мне пора. Ауф видерзейн.

Он вскакивает в подошедший трамвай.

С задней площадки сквозь чисто вымытое стекло видно, как идут по площади двое, которым в эту минуту нет никакого дела до всех братьев, друзей и приятелей, какие только есть на свете.

...Проехав одну остановку, Борис вышел из трамвая. И хотя большую часть дороги он шел пешком, все равно до начала смены еще оставалось время.

Он заглянул в красный уголок. Там сидел Аристов, а напротив него какой-то белобрысый парнишка. Борис узнал его — он приходит к ним сюда два раза в месяц, приносит билеты и разные афиши из филармонии.

— И что, скажи на милость, ты к этой своей филармонии приклеился? — говорит Аристов. — Ты что, на пианино играешь или, может, музыку сочиняешь? Нет? Тогда, может, голос у тебя, тенор или там бас? Тоже нет? Ну так в чем же дело?

«Понятно,— говорит про себя Борис.— Теперь ему этот белобрысый понадобился!»

Парнишка переминается с ноги на ногу и молчит.

«Ну, чего ты топчешься, чего мнешься! Все равно от него не отвертишься, он тебя на обе лопатки положит».

— Ей-богу,— продолжает Аристов,— не пожалеешь, тут к нам в цех много народу пришло вроде тебя, и, кажись, никто не пожалел. Вот есть у нас, к примеру, такой хлопец, фамилия ему...

— Башкиров! — кричит кто-то из глубины цеха.

— Иду!..



---

ДМИТРИЙ ОСИН

★

## ЛЕТО В ПРИДНЕПРОВЬЕ

### НА ХМАРÉ

На нашей речке, что во льды  
Со святок одевало,—  
Бывало,  
Мельнице воды  
Всю зиму не хватало.

В разлив не сладишь с ней никак,  
Все рвет, ломает, сносит;  
А летом — прячется в песках,  
У туч напиток просит.

И на засыпку свой черед  
Блюда нетерпеливо,  
На все лады ругал народ  
И мельницу  
И мливо.

Скрипели тяжко жернова,  
Мучная пыль стояла,  
С лотка  
Мука  
Едва-едва,  
Как ниточка, бежала...

Гляжу я:  
Не узнать Хмары́,  
Горят огни над нею,  
Как будто звездные миры  
Роятся, пламенея.

Уже не мельница на ней  
Скрипит, зерно считая,  
А возле пульта, у огней,—  
Девчонка молодая.

Ночь отдежурив напролет  
За книжкой и тетрадкой,  
Подружке пост она сдает,  
Вздремнуть мечтая сладко...

Как вихрь черна —  
 Прошла война,  
 Но ты, родная сторона,  
 Вновь поднялась — в цвету опять,  
 Обстроилась, окрепла.  
 Гляжу: и даже не узнать,  
 Что встала ты из пепла.  
 Хоть обойди весь белый свет  
 От края и до края,  
 А краше нет,  
 И лучше нет,  
 А ты одна такая!

Когда б из гроба встал мой дед  
 И на село собрался —  
 Ни троп бывалых, ни примет,—  
 В хлебах бы заплутался.

Была Хмарá —  
 И нет Хмары́  
 С былой судьбой своею.  
 И далеко глядит с горы  
 Колхоз «Маяк» над нею.

### СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА

Прямой, сердечный,  
 В жизнь влюбленный,  
 В огне походов закаленный,  
 За фронтом фронт,  
 Из боя в бой  
 Он исходил весь край родной.

Пять войн, пять ран,  
 Пять шрамов старых,  
 Осколок косо бровь рассек;  
 И лишь порой в глазах усталых —  
 Бывалых  
 Молний пересверк...

Как из печи, жарюю тянет  
 С полей пшеничных за Днепром.  
 Где нынче ночь его застанет?  
 В каком углу?  
 В селе каком?

Петляет «газик» по проселку,  
 В цветах, в кустах,  
 В густых хлебах;  
 Трещат сороки без умолка,  
 Пыль, пыль-подзолка  
 На зубах.

Дымит от зноя радиатор,  
 Перегревается мотор.  
 И возле моста виновато  
 Вдруг выключает газ шофер.

— Опять кипит, Сергей Гурьяныч!  
Свернуть куда придется на ночь...

Потом с брезентовой цыбаркой,  
Вздыхнув, спускается к реке:  
— В «Луче» б мы с вами — на рыбалку!  
В «Победе» — квас на леднике...

А секретарь забылся, курит,  
И лишь с усмешкой брови хмурит.  
— Ну-ну! Рыбалка, брат, и квас  
В страду, как видно, не про нас!

Чуть набегают рябь на плёсы,  
Да гром  
Рокошет за Днепром,  
Да бензовозы, бензовозы,  
Пыля, спешат, идут гуськом —  
Как будто рядом, за леском,  
Не поле ближнего колхоза,  
А фронтной аэродром.

Но это только мнится, мнится;  
Куда ни глянь, по сторонам  
Стоит, шумит,  
Кипит пшеница —  
И края нет ее волнам.  
Не умолкая,  
Пред комбайном  
Она склоняет колос свой,  
И морем спелым и бескрайным  
Всех укрывает с головой.

## МОЛОТЬБА

Загудела, заиграла  
На заре по холодку,  
В сто цепов заколдовала  
Молотилка на току.

И, как празднику, бригада  
Молотьбе удачной рада.

— Ой, чиста, отборна ржица!  
— Выйдет центнеров по тридцать!  
— Дождались...  
— Денек погож!  
— Умолот еще хорош!

Барабан жует солому,  
Бьет по ситам частый град,  
В лад  
По желобу крутому  
Мчится тяжкий зернопад...

Сторож дед с берданкой ржавой  
 Под скирдой притих чуть-чуть,  
 И ладошкой шершавой  
 Гладит бороду и грудь.  
 Мнится старому сквозь дрему:  
 «Ох, не в лад  
 Цепы стучат!»  
 Мнится:  
 Битую солому  
 Ворошит он невпопад.

Мнится:  
 Сношенька косится,  
 Бьет опять не в очередь;  
 Сын заспался,  
 Загулялся,  
 Припозднились дочери.

— Ах вы, чертовы гулены!  
 Сколько раз вас поднимать?

И прохватится он, сонный,  
 И пойдет чудить опять —  
 Быль и небыль вспоминать...

А с весов по кладнице  
 Вновь трехтонка пятится.

Путь шоферу  
 По простору  
 Полевому, русскому:  
 То под гору —  
 Ветру впору,  
 То на первой в гору, в гору  
 По проселку узкому.

А воротится с ссыпного,  
 Подрулит машину снова.  
 Лишь заметит:  
 За метелью,  
 Поредев, скирды стоят,  
 Да рубахи пропотели  
 У подносчиков-ребят,

Да девчонки на приемке  
 Вновь наводят чистоту,  
 Да натрушено соломкой  
 Ломкой  
 В поле на версту.

## СПОР

Как-то в клубе на вечерке  
 Под веселый шум и смех  
 Вдруг заспорили девчонки:  
 — Чья картошка лучше всех?

— Кто старался,  
Набирался  
Опыта на станции?  
— Кто всю зиму прохлаждался,  
Увлекался  
Танцами?

Ничего не позабыли,  
Никого не обошли:  
Перебрали все, что было,  
Все, как есть, перетрясли.

— А признайтесь:  
На уроке  
С кем не раз была беда?  
— А сажать в какие сроки?  
— А окучивать когда?

— А чего какому сорту  
Дать в подкормку самый раз?  
— А с рекордом?  
— Что с рекордом?  
— Как у вас?  
— А как у вас?

Агроном сидел на лавке,  
Усмехался и курил,  
Да все шпильки, все булавки,  
Не вступая в спор, ловил.

А потом вскочил:  
— Девчата! —  
Подмигнул им весело.  
— Прекращаю рефераты,  
Закрываю сессию!

И на нежных подголосках,  
Закружив теснее круг,  
Позабытый вальс «Березка»  
Подобрал, завел им вдруг.

Гладко струган пол сосновый,  
Все быстрей, шумней метель  
Платьев девичьих, обновок,  
Лент и кружев карусель.

И глядит, залюбовался  
На красавиц сторож дед:  
— Лучше нету того вальса,  
Что танцуют в двадцать лет!



---

---

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

## РАЗГОВОР В ДОРОГЕ

Забайкалье. Зарево заката.  
Запоздалый птичий перелет.  
Мой попутчик, щурясь хитровато,  
мятные леденчики сосет.  
За окном бегут крутые сопки,  
словно волны замерших морей,  
стелются чуть видимые тропки —  
тайный след неведомых зверей.

Он ученый малый, мой попутчик,—  
обложился целой грудой книг.  
Он читает, думает и учит —  
сам, считает, все уже постиг.  
Он твердит, что я не знаю жизни,  
нет меж нами кровного родства,  
и в его ленивой укоризне  
сдержанные нотки торжества.  
Мол, на мне горит густою краской  
жительства московского печать,  
мол, таким, избалованным лаской,  
надо жизнь поглубже изучать.

Я молчу, ему не возражая,  
не желая спор вести пустой,  
раз уж человеку жизнь чужая  
кажется, как блюдечко, простой,  
раз уж он о ней надменно судит,  
не робеет, не отводит глаз...

Жизнь моя! Другой уже не будет!  
Жизнь моя, что знает он о нас?  
Ничего не знает — и не надо.  
Очевидно, интересу нет.

Дорогой мой, я была бы рада  
выполнить ваш дружеский совет,  
но, сказать по совести, не знаю,  
как приняться мне за этот труд.  
Почему, когда, с какого краю  
изучают жизнь, а не живут?

С дальнего заветного начала  
тех путей, которыми прошла,  
никогда я жизнь не изучала,  
просто я жила, жила, жила...

Людам верила, людей любила,  
отдавала людям, что могла,  
никакой науки не забыла,  
все, что мне дарили, берегла.  
Словно роща осенью сквозная,  
полная раздумья и огня,  
жизнь моя, чего же я не знаю,  
что ты утаила от меня?  
Не лелеяла и не щадила,  
в непогоды лета и зимы,  
по обходным тропкам не водила —  
напрямик, как люди, так и мы.  
Нам хватало счастья и печали.  
Я бы, право, дорого дала,  
чтобы вы чуть-чуть поизучали  
то, что я сама пережила.  
Или я опять не то сказала?  
Вижу, вы нахмурились опять:  
«Я сама... Ей-богу, это мало!  
Надо жизнь чужую изучать».

Изучать положено от века  
ремесло, науки, языки.  
Но живые чувства человека,  
жар любви и холодок тоски,  
негасимый свет, огонь горячий,  
тот, который злу не потушить...  
Это называется иначе.  
Понимать все это — значит жить.  
Сколько ни пытаюсь, не умею  
изучать как алгебру, людей,  
боль чужую делаю своею,  
чью-то радость делаю своей.  
Сколько ни стараюсь, не умею,  
жизнь моя, делить тебя межой:  
мол, досюда ты была моею,  
а отсюда делалась чужой.

Своего солдата провожая  
в сторону фашистского огня  
это жизнь моя или чужая —  
право, не задумывалась я.  
Разве обошла меня сторонкой  
хоть одна народная беда?  
Разве той штабную похоронкой  
нас не породнило навсегда?  
Разве в грозный год неурожая  
разная была у нас нужда?  
Это жизнь моя или чужая —  
я не размышляла никогда.  
Словно роща осенью сквозная,  
полная раздумья и огня,  
жизнь моя, чего же я не знаю,  
что ты утаила от меня?

Буду ждать, гадая, как о чуде,  
веря в жизнь и обещая ей

жить равнодушно, жить, как люди,  
просто жить с людьми и для людей.  
Нету мне ни праздника, ни славы,  
люди, отгороженных от вас.  
Жизнь моя — судьба моей державы  
каждый суший день ее и час.  
Бурь ее железные порывы,  
лучезарных полдней синева,  
все — мое,

и всем, чем люди живы,  
я жива, покуда я жива!  
Не прошу о льготе и защите,  
жизнь моя, горю в твоём огне.

Так что, мой попутчик, не взыщите  
и не сокрушайтесь обо мне.

Жизнь огромна, жизнь везде и всюду,  
тем полней, чем больше человек.  
Я уж изучать ее не буду,  
буду влюблена в нее навек!



---

А. МАРЬЯМОВ

★

## ИДЕМ НА ВОСТОК\*

На Ханмэй

**В** одной ненецкой сказке сказывается, как рыбак Яптунай был проглочен огромной рыбой и выбирался из ее чрева на плоту, связанном из рыбьих хребтин. В другой сказке — неудачливый охотник Нядонги очутился в брюхе железного великана. Оказалось, такие странные вещи могут здесь случаться и в наши дни с кем угодно. Я сам испытал это: меня проглотил железный шаман-тадибей.

В чреве его было довольно просторно, но сильно пахло бензином.

Железные внутренности переплетались за спиной, перед глазами и над головой. Чрево жило странной, непонятной мне жизнью. На матовой поверхности вздрагивали тонкие стрелки, подмигивали зеленые светящиеся глазки.

Камлание — шаманская пляска — только начиналось.

Это происходит так.

Вверху нарастает, все заглушая, лязгающий грохот — будто железный великан-тадибей изо всей силы раскручивает железный громыхающий бубен-пенсер.

Потом тадибей сам начинает трястись.

Он трясется сильнее и сильнее. В чреве его все дрожит мелкой дрожью. Потом ощущается шатание из стороны в сторону, словно проглотивший меня колдун мелко и часто переступает на месте мягкими круглыми резиновыми ногами. Переступание тоже становится все быстрее, все чаще, размахи великаньего тела делаются шире: тадибей доводит себя до экстаза. И наконец сказочному тадибею удается то, что никогда не удавалось ни одному тадибею живому: экстаз его так неистов, что тадибей внезапно и плавно взмывает в воздух. Он поднимается прямо ввысь, без разбега.

Еще вздрагивая, сотрясаясь всем телом, он на мгновение зависает над землей.

И в это короткое мгновение все успокаивается, становится на свои места. Унимается дрожь. Экстаз шаманского камлания сменяется ровным ритмом привычного полета. Обрывается сказка. Нет больше никакого железного тадибея. Никто никого не глотал. Вертолет взлетел, лег на курс. Володя-«ветролетчик» удовлетворенно следит за подрагивающей стрелкой и зеленым глазком. Игорь сидит рядом. Он сосредоточенно множит и вычитает в своей записной книжке прозаические цифры: на сколько уменьшится вес горячего за время полета на Большую Хадыту́ и сколько пассажиров сможем мы взять с собою оттуда.

---

\* Окончание первой книги. Начало см. «Новый мир» №№ 6, 7 с. г.

За окошком внизу улицы Салехарда, Обь с ее островами и руслами, домики Лабьтнангов сменяются быстро. Долго тянется плоская желто-зеленая тундра. И вот — Ханмэй.

Сперва та же тундра всползает на низкие склоны. Потом не видно ни кустика, ни травинки. Черный осыпающийся галечник. Снег, ледники и прильнувшие к скалам серые облака.

Высотомер показывает, что мы забираемся все выше, но земля не удаляется от нас. Каменные осыпи видны совсем рядом, вровень с окном летящего вертолета. И сквозные ветры горных ущелий сильно мотают машину.

По высотомеру — мы идем на высоте полутора тысяч метров.

По карте — той же высоты достигают вершины Полярной Уральской гряды.

Сейчас мы проходим над ними. Вернее, среди них.

Похоже, что за окном нам показывают фильм, снятый на черно-белую пленку. Других красок нет. Только белый снег и разные оттенки черного камня. Такой фильм, наверно, можно бы снять при помощи телескопа на поверхности луны. Все, что видно глазу, образовалось в незапамятные времена, сложилось в неподвижные цирки и уже миллионы лет назад лишилось всех примет длящейся жизни. Ничто не растет в этом черно-белом холодном мире, и нигде не видно ни зверя, ни птицы.

Слава опускает свою машину пониже; мы летим теперь вдоль ущелья. Небольшие озера видны внизу, и только они разнообразят черно-белый пейзаж: те, что лежат повыше, покрыты зеленоватым льдом; в тех, что пониже, пластины льда плавают под голубоватой светлой водой.

Лед плавает и в Большой Хадытэ. Это длинное, узкое и изогнутое озеро. Оно разлилось по дну ущелья, меж круто обрывающихся каменных склонов.

Ветер здесь дует, как в трубе, и Славе приходится очень нелегко. Он ведет машину совсем низко над озером, в тесном и извилистом каменном коридоре, сопротивляясь порывистому ветру. Поскольку запланированный на случай каких-либо неудач SOS никем после ухода экспедиции принят не был, можно полагать, что переход завершился благополучно, географы давно добрались до цели и, следовательно, должны находиться где-то очень близко от нас. Мотаясь из стороны в сторону, вертолет наведывается во все закоулки, Слава напряженно вглядывается в приозерные валуны и болотца, и в кабине тоже все неотрывно прикинули к окошкам.

Еще ничего не увидев, мы замечаем, что Слава начинает уверенно и резко снижаться.

И вдруг с земли в небо прочерчивается несколько светящихся трасс.

Люди.

Бегающие, подпрыгивающие крохотные фигурки. Еще трассы. Зеленые и красные ракеты выпускаются по меньшей мере из пяти ракетниц. Поневоле вспоминаются полеты военного времени. Можно подумать, что нас хотят сбить. Но «огневой запас» экспедиции расходуется от избытка дружеских чувств. И от волнения, конечно, тоже: географы боятся, как бы вертолет не прошел мимо, не приметив их стоянки.

Гостей здесь не ждали. Связаться с экспедицией перед вылетом мы не могли из-за отсутствия у экспедиции своих позывных и расписания радиодезурств. Но с земли было видно: вертолет наш не пролетал мимо идущим маршрутом; он явно кого-то искал в горах, а никаких соседей у географов не было на многие десятки километров. Значит, к ним. И весь лагерь высыпал навстречу...

Теперь мы можем ясно разглядеть сборный домик недалеко от озера; рядом — несколько жилых балков, поставленных на полозья и притященных сюда тракторами, а вокруг — с полдюжины палаток.

Слава спускается.

Ветер несет нас прямо на скалу. Но Слава уже облюбовал площадку. В каком-нибудь десятке метров от совершенно отвесной скалы он успевает зависнуть. Вертолет снова начинает трести шаманской экзотической дрожью, но машина тут же садится, слегка подпрыгнув на зыбко пружинящей мшистой почве. Пятачок для посадки выбран наметанным глазом опытного полярного летчика с идеальной точностью: единственное твердое место среди топкого тундрового болота.

Вращение лопастей замедляется, останавливается. Мы спрыгиваем на землю и оказываемся в плотном кругу возбужденных, веселых людей. Они чувствовали себя здесь, как на необитаемом острове, и вдруг — впервые — принимают гостей.

Слава без улыбки, с хмурым своим юморком осведомляется у механика:

— Погляди-ка, Иван, не пробили нам кабину здешние зенитчики? Хозяева хохочут.

— Боялись, мимо проскочите.

— Я вашу халупу увидел прежде, чем вы пальбу открыли, — возражает Слава.

Знакомство состоялось.

Нас окружают такие же молодые бородачи в защитных штормовках, как те, с которыми знакомился я в Речной. Среди роскошных, заботливо выпестованных бород особенно приметны девичьи лица, жестоко отмеченные непривычным и обманчивым полярным летом: с этих лиц сходит кожа, обожженная будто бы и нежарким горным солнцем, а новая нежная кожа цветет волдырями от комариных укусов. А где же кинооператоры, за которыми мы сюда прилетели? У вертолета собралось все население лагеря, но операторов здесь нет.

Их выдает прорвавшееся издали сквозь веселый говор географов стрекотание съемочного аппарата.

Все правильно. Операторы заняты своим делом — пристроились на каменной осыпи, под скалой, на которую ветром наносило вертолет перед посадкой, и снимают встречу. Операторы мыслят профессионально. Переход экспедиции из Лабытнангов на Полярный Урал — «сюжет». Прибытие вертолета — «эпизод». И именно тот эпизод, который ставит в конце сюжета последнюю точку.

Но на камнях видны не два человека, а три. И, кроме обычного репортерского аппарата, в унисон ему стрекочет чей-то любительский узкоплечный аппаратик.

Догадается ли Юра снять коллегу-любителя? Это было бы забавно.

Нет, кажется, не снял. Они уже подходят. Юра и Толя — в штормовках. Первый подтянут, гладко выбрит, даже щеголеват; Толя же зарос синей щетиной и имеет вид медведя, разбуженного посреди зимней спячки: не выспался, помят, не выгреб из шерсти приставший в берлоге мусор...

— Ничего, наверно, не выйдет, — бодро говорит Юра вместо приветствия. — Свет поздний, и солнце не то.

Верно. Солнце ушло за черную гору. Но мне — непосвященному — свет кажется ярким; бородачи и девушки в шароварах отбрасывают длинные контрастные тени. Вся сцена у вертолета весьма живописна. Очень жаль, что «солнце не то». Впрочем, я еще не знаю, как коварно наше светило: оно почти всегда будет оказываться «не тем», когда подвернется занятный эпизод для съемки. К этому придется привыкнуть.

Вместе с Юрой и Толей пришел и кинематографист-любитель. Тоже бородатый и веселый, как остальные участники экспедиции. С неистребимым оптимизмом, который мне оставалось огнести за счет самоуверенности, присущей начинающим, он сказал:

— Интересные должны получиться кадры.

Юра взглянул на него с сожалением, но промолчал.

Впоследствии выяснилось, что правы оба. Юрина пленка оказалась испорченной — «свет был поздний»; а географ снял встречу вполне удачно. С начинающими это бывает.

Однако географ оказался не таким уж начинающим. Он объездил чуть ли не весь мир, бродил по берегам Замбези и в лесах Амазонки, плавал на «Витязе» среди архипелагов Тихого океана, зимовал в Антарктике, отовсюду привозил снятые им узкоплёночные любительские фильмы и уверял, что здешние полярные горы не похожи ни на один из виденных им на земле уголков. Новый фильм, считал он, должен у него получиться самым интересным. Географ сохранял способность восхищаться всем вновь увиденным, доступную прирожденным, вдохновенным путешественникам.

— Чего же мы здесь стоим? — удивился он гостеприимно и живо. — Пойдем поглядим наше хозяйство.

— Только не долго, — хмуро предостерег Слава. — Мне еще сегодня летать.

Игорь допрашивал Юру, сколько весит киноаппаратура, привычным глазом оценивал «живой вес» оператора и помощника и снова делал подсчеты.

— Еще одного человека можем взять, если кому нужно, — объявил он, закрыв свою книжку.

Мы пошли в сборный домик.

Там находился кабинет — точнее, клетушка — начальника и склад провианта, одежды и научных приборов.

Разговор тут пошел всеобщий. Участвовало в нем не меньше десятка людей. Рассказывали наперебой: как добирались, как ходят в горы, к чему приглядываются, что изучают. И тут оказалось, что бросившееся поначалу в глаза сходство между здешними обитателями и геологами из Речной ограничивается лишь самыми поверхностными признаками: штормовки да бороды. По складу же характера своего географы и геологи были настолько непохожи, что даже и относились друг к другу слегка иронически. Каждый считал, что его дело лучше, нужнее, что ли, или как бы повыше.

Сперва я заметил это еще в Речной.

Когда Ачкасов услышал, к кому я добираюсь, на лице его появилась едва приметная снисходительная улыбка. А едва упомянул я об отсутствии радиосвязи и о злосчастном уговоре передать в случае крайней надобности бесплатный и потому общедоступный SOS, Ачкасов развеялся вовсе уж откровенно.

— Ну, конечно! — радостно закричал он тогда. — Так у них и должно быть!..

«У них»... Тут явственно подразумевался народ легкомысленный и несерьезный. По этой интонации я догадывался о мыслях Ачкасова: «Мы, геологи, заняты делом ясным и нужным, даем стране осязаемые ценности. А те — белоручки: витают в сферах своей «чистой науки», и пользы от них — чуть».

Столь же несправедливы к своим соседям-геологам были и многие из обитателей Хадытинского берега. Географы тоже не высказывались напрямик. Но можно было ясно уловить, что они винят геологов в узости, отказывают им в способности испытывать романтическое вдохновение, широко анализировать и синтезировать данные собственных исследований. «Нашел и взял. Нехитрое дело...»

А между тем и географы и геологи понимали, конечно, — но только умом, а не сердцем, — как неразрывно связано их дело, как прокладывают они дорогу друг другу и как помогают добиваться желаемых ре-

зультатов. Не пройди тут (совсем, кстати сказать, недавно — в последние сто лет, а главным образом лишь в самое последнее тридцатилетие) разносторонние исследователи географических условий, геологам, работающим сегодня, было бы куда труднее. И в свою очередь работа геологов многое прибавила к нашим познаниям о природе и происхождении этих гор.

И те и другие отлично понимали это, и все же обоюдная предвзятость продолжала существовать.

Начальник экспедиции носил итальянскую фамилию, благодаря чему за глаза именовался «герцогом». Происходил же он из города Таганрога, из старинной рыбацкой семьи, в чьих поколениях соединилась и казачья, и греческая, и еще бог весть чья, и, судя по фамилии — Альфиери, — генуэзская или венецианская кровь. В этой семье были и контрабандисты, на утлых лодчонках ходившие к Трапезунду, и ловившие контрабандистов матросы таможенных вооруженных посудин. Прадедом начальника был моряк, который плывал на паруснике к экватору, а потом затопил свой корабль по приказу Нахимова у входа в Севастопольскую бухту в дни Крымской войны. Дядька же нашего «герцога» служил на эскадренном миноносце «Фидониси», затопленном в Керчи в июне 1918 года. Миноносец ушел под воду с поднятым на реи гордым флажным сигналом: «Погибаю, но не сдаюсь».

— Затопили флот, затряслись-поплакали, вышли на берег и подались по горам... — Так, немногими словами и с неизгладимой моряцкой скорбью, рассказывал мне когда-то об этом эпизоде служивший на том же «Фидониси» боцман Шмаков.

«Подался по горам» и дядька начальника. Потом он служил на бронепоезде, потом председательствовал в рыболовецком колхозе близ Сивашей, а в Отечественную войну дядька с племянником встретились в госпитале после феодосийского десанта, в котором участвовали оба.

Теперь племянник забрался в горы, расположенные на другом краю земли. Он ходил здесь в яркой ковбойке с высоко закатанными рукавами, в горных ботинках на крупных шипах. У пояса болтался самодельный нож, из тех, что послали когда-то фронтовые разведчики: широкое лезвие, рукоять набрана из пластинок цветного плексигласа, добытого со сбитых «юнкерсов»; кожаные ножны с застежкой. Нож остался памятью о черноморской «Малой земле». Но по виду — у хозяина этого ножа трудно предположить такие воспоминания пятнадцатилетней давности; сухое и горбоносое лицо его казалось совсем молодым от прочного загара.

Впрочем, внешность — она еще ни о чем не говорит.

На раскладном стульчике — таком, какие берут художники, отправляясь на этюды, или расставляют зимой пенсионеры-рыболовы над лужками, прорубленными в озерном льду, — сидит Курдов. Волосы у него седые, лицо морщинистое, под глазами — набрякшие мешки. Его пятьдесят шесть лет определяются по внешности почти безошибочно. Но Оля, самая спортивная из попавших на практику в эту экспедицию четверокурсниц географического факультета, чемпион лагеря по лыжам и волейболу (эти виды спорта существуют здесь одновременно: лыжи на нетающем снегу горных склонов; волейбол на оленьих мхах приозерной долины), — Оля жаловалась на то, что «с Курдовым ходить невозможно».

— Ну, а как же! Трудно ему... — пожалел Курдова присутствовавший при разговоре Слава.

— Ему? — удивилась Оля. — Нам трудно!

Недавно трое практикантов поднимались с Курдовым на Ханмэй — искали площадку у ледника, чтобы расположить там наблюдательную станцию. Подъем был крутой. Курдов сперва пошел, не оглядываясь. Он

поднимался с привычной легкостью, и тренированное его дыхание не ускорялось. Потом он остановился, чтобы забрать Олин заплечный мешок. Повесил его на плечо и зашагал снова по осыпающейся, ускользающей из-под ног мелкой каменной осыпи, не замедляя подъема, будто была перед ним спокойная степная дорога. Когда он остановился во второй раз, студенты оставались далеко внизу. Курдов дождался их и, не слушая никаких возражений, отобрал мешок еще и у задохнувшегося, вспотевшего парня, который пытался изобразить бодрую жизнерадостность и старательно отводил от Оли жалобный, виноватый взгляд.

Они одолели к этому времени половину подъема. После привала Курдов продолжал нести на себе три мешка. Студентов он пропустил вперед и приноравливался к их сбивчивому шагу, хотя было ясно видно, что ему легко еще сохранять взятый поначалу, привычный для него темп восхождения.

Подъем стал еще круче. Осыпь не держалась здесь. Приходилось карабкаться по гладкому камню.

Когда все четверо остановились у ледника и сбросили ношу на крупнозернистый фирновый снег, у Оли и у обеих ее коллег медленно вращались перед глазами темные концентрические круги. Зубчатые очертания белых горных вершин расплывались. В ушах шумело, и голос Курдова слышался будто через вату.

— Классическая чешуйчатая структура, — удовлетворенно объявил Курдов, очевидно уже успев к чему-то приглядеться. — Совершенно явственный раскол протерозойской глыбы...

Он готов был сесть на излюбленного конька и отправиться в прадревние дали исторической геологии, но вдруг рассмотрел лица своих собеседников и рассмеялся. Нет, его спутники не могли сейчас увидеть чешуйчатую структуру. Пот слепил их глаза. На выгоревших под солнцем ковбойках расплывались влажные темные пятна.

— Снегом умойтесь, — сказал Курдов. — И не дышите так громко, а то хозяйку разбудите.

Он кивнул на камень, нависший над ледником. Ветер сдул с него снег, а под камнем угрюмо дремала белая полярная сова...

— Вот, вы говорите, возраст, — заметила Оля, досказав нам эту историю. — Верно. Курдов старше меня или Витальки на тридцать пять лет. Ну, а что ему эти тридцать пять лет, если для него и тысячелетие — срок, не заслуживающий внимания? Он говорит: «Карбон — какие-нибудь триста миллионов лет тому назад... Молодой возраст...»

И она показала, как именно говорит это доктор географических наук, Константин Пудович Курдов.

Я смог убедиться: Оля показывала своего профессора очень похоже. В точности так и говорил Курдов, когда мы толковали, набившись в дощатую каморку, служившую кабинетом начальнику экспедиции:

— Альпы, конечно, сосунки по сравнению с Уралом. Там — миоценовая формация. Двадцать пять миллионов лет, вчерашний день... Тут — оглядишься вокруг — горы стоят триста миллионов лет... Конечно, тоже не так много, — кольские граниты раза в четыре старше, — но все-таки есть здесь о чем поговорить...

Это, понятно, не всерьез было сказано: профессорская шутка «для посвященных», ироническая затравка. Но так или иначе любимая тема была затронута, ирония исчезла, и Курдов заговорил о том, что удалось ему наблюдать на Ханмэе во время высокогорных прогулок: о следах разрушений горных пород, о том, как ясно читается в здешних перемятых сланцах летопись необъятно далеких эпох, отсчитываемых почти астрономическими цифрами. Для него живым, необыкновенно пестрым и многоголосым был тот мир, который увиделся нам с вертолета мертвым пейзажем лунного цирка, — выветренный черный камень, оглажен-

ный движением льдов, искрошенный в мелкую пластинчатую осыпь, сдутый с крутого склона морскими ветрами и обнаживший неровную ребристую поверхность надвинутых один на другой пластов, образующих земную кору. Все это являло следы безостановочного движения, непрерывных изменений, могучей жизни природы. Миллионы, сотни миллионов лет назад сюда накатывали и уходили отсюда моря. Здесь грохотали вулканические извержения, стыла раскаленная магма, рвущаяся из недр планеты, зеленели гигантские папоротники. Заросли гигантских хвощей и сорокаметровых плауновых деревьев сносились бурями, смывались морями, заносились новыми отложениями и, сгнив, превращались в торф, а затем в каменный уголь. Первые живые существа зарождались сперва в море — голыми комочками протоплазмы, микроскопически малыми инфузориями или крохотными лучевиками с кремнистым скелетом; они жили в придонных глубинах, отживали свое и становились илом, устилающим океанское дно. Этот окаменелый ил вошел пластами в складки горных хребтов, вспученных над исчезнувшими морями; многометровым слоем лежит он на дне нынешних океанов, а живые инфузории и лучевики совершенно такие же, как и те, что существовали в архейскую геологическую эпоху, полтора миллиарда лет тому назад, до сих пор попадают в марлевые сетки гидробиологов.

К тому времени, когда сложились Уральские горы, в водах уже плавали морские лилии и морские ежи. Существовали крупные, причудливо изукрашенные моллюски. Рачок-трилобит уже вымирал. Первый скат защищался от первой хищной акулы. А на земле страшилища-ящеры мирно кормились зеленой порослью в сырых и жарких лесах.

По отпечаткам исчезнувших тел в толщах горных пород, по частям ископаемых скелетов, по следам геологических катастроф и гигантских вулканических сотрясений наука восстанавливает картины давно минувшей жизни, предшествовавшей появлению на земле человека. И занятно, как научные выводы спорят со зрительным впечатлением, разрушают привычные представления. Разве не кажутся нам горы воплощением твердости и могущества? А вид равнины, — особенно поздней весной, когда еще полноводны спокойные реки, когда цветут луга и идет в рост зеленая озимь, — разве не рождает этот вид ощущения доброй приветливой мягкости и покоя? Но ученые напоминают о том, что земная кора остывала неравномерно. И именно там, где она твердела быстрее, образовался непроницаемо-жесткий, кристаллический фундамент, на котором лежат нынешние равнины (в науке они и называются жестким словом «платформы»), а там, где кора дольше оставалась мягкой, податливой, — там долго еще прорывалась на поверхность раскаленная глубинная магма, сдвигались, надвигались друг на друга толщи пород, слабая земная кора растягивалась и поднималась, образуя морщины на теле земли — цепи горных хребтов. И выходит, что природа планеты напоминает природу человеческого характера: за настоящим радушным спокойствием ищи кристаллическую уверенную твердость; следы же быстрой смены напластований и чадный дымок над холодными кратерами погасших вулканов всегда изобличат в характере зыбкую непрочность основ...

В сборном домике страсти текущего дня то и дело вторгались в разговор о судьбах планеты.

Известие о том, что на вертолете есть одно свободное место, взбудоражило двоих обитателей лагеря.

Сперва, не позабыв извиниться, в беседу ворвался молодой человек в аккуратной штормовке. Видно, все соблазнительные видения недавно покинутого большого города пронеслись, как говорится в книжках, «перед его внутренним взором» и так настоятельно позвали молодого чело-

века, что он решил тотчас же улететь с Большой Хадыты. Об этом он и заявил с горячечной и непреклонной страстностью. Начальник отказал. Начальник хотел воспользоваться внезапной оказией, чтобы послать в Салехард хозяйственника со всяческими накопившимися поручениями. Огорченный молодой человек обмяк, но не собирался сдаваться.

— У вас нет права меня задерживать,— жалостно твердил он. Капюшон, завязанный у подбородка, плотно облегал его розовое лицо. На щеке трудился комар, вздрагивая, раздуваясь и багровея, но молодой человек не замечал комара. Продолжая бубнить свое, он пытался взять начальника измором: — Я понял, что не сумею принести здесь никакой пользы. Я завидую, поймите, завидую вам всем. Но сам я не приспособлен к этой жизни, не обладаю здоровьем...

Бывает же так обманчива внешность! Никак, ну никак нельзя было предположить, что беднягу гложет скрытый недуг. Но не было оснований не верить его аккуратным, округлым словам. К тому же молодой человек так бесстрашно подвергал себя самокритике, так отважно выдерживал уничтожающий взгляд присутствующей в камерке Оли (уж не его ли называла она в своем рассказе «Виталькой», и не Виталькин ли мешок встаскивал на Ханмэй неподдающийся своему — ничтожному, с геологической точки зрения,— возрасту Курдов?). Комар с трудом оторвал от щеки отяжелевшее красное брюшко; он тяжело взлетел, тут же на его место сели два новых, и молодой человек нервно смахнул их ладошкой. Казалось, он вот-вот расплачется. Не только одолевающие его чувства — вся биография была как бы написана на чистом лице «приличного молодого человека», который в самом деле оказался Виталькой. Его извели комары. Ему до смерти надоело просыпаться с наболевшими боками на тощем тюфячке, кинутым на жесткие нары, на сбившейся, тощей подушке. Если он улетит сегодня в Салехард — это значит, что всего через два-три дня он уже будет дома и сможет до позднего утреннего часа валяться в своей привычно мягкой постели, держа в руках книжку, не глядя в нее, отдаваясь ленивому течению неясных мыслей и вяло отругиваясь в ответ на поторапливание матери, зовущей его к стынущему завтраку. Не надо будет идти ни в какие горы, не надо шагать, оступаясь на скользкой каменной осыпи, не будет никакого тянущего рюкзака на плечах, не будет зудящего звона мошкары, не будет насмешек товарищей (вчера он обнаружил на своей штормовке приколотый неизвестно кем и неизвестно откуда добытый значок «Юный турист»), не будет обидно-неотвязной зависти к тому, что казалось ему достойным лишь пренебрежения: к счастливой дорожной непритязательности, к способности легко и просто «притираться» друг к другу, ничем не раздражаясь, к неутомимой безотказности, к невзыскательному веселью. Все это прежде — издали — казалось ему жалкими приметами примитива; вблизи же приметы эти оказались, хоть он и не хотел себе в том признаваться, недостижимо для него привлекательными. Но вот он опять может уйти от всего этого, воспользовавшись свободным местом в летающем вертолете; и, когда можно будет позвонить приятелю по ленинградскому телефону, у него уже отыщется в рассказе о «ледниковом хождении» и пестрая красочка для себя самого и презрительная издевка для привычного посрамления того же «примитива». И можно будет, выбрав фильм, сходить в любое кино и после сеанса «прошвырнуться» по Невскому, а вернувшись домой, снова нырнуть в мягкую постель, не испытывая всепроникающей сырой прохлады, не боясь мошкары; можно будет включить электрический ночничок и взять оставленную утром книгу. Конечно, будут потом хлопоты в институте, разговор о сорванной практике, шум, вызовы, выводы, внушения, затруднения при переводе на следующий курс; может статься — неприятности и похуже. Но, при-

выкнув жить сегодняшним днем и ощущать себя центром этого дня, такие молодые люди думают обо всех возможных будущих неприятностях неохотно и смутно. Слишком уж незадумчиво прожитая юность воспитала в них представление, будто бы любые неприятности, какие могут их коснуться, несущественны и преодолимы. Вот и Виталька, наверно, думает, что он выше всего этого. А все, что могли бы о нем подумать другие, ему глубоко безразлично. Такая уж это особая форма индивидуализма, лишившегося в наш век и в нашем обществе реальной почвы, духовной идеи и конкретных целей, но еще существующего по инерции и выхватывающего свои жертвы, как вирусная болезнь. Но и вирус отыскивает для себя питательную среду не в любом организме. Значит, оказалась у Витальки слабость — незащищенное место. Какое же?

У таких, как Виталька, индивидуализм не идея, а лишь форма поведения, выработанная убогим себялюбием неприятязательной и ленивой посредственности. «С голоду я не помру. Завтрашний день как-нибудь образуется. Поэтому я могу жить так, как мне нравится, а на других — наплевать!» — так, вероятно, мог бы рассуждать Виталька, если бы он вообще давал себе труд рассуждать. Но и думать ему было неохота. Тут-то и нашлась слабость организма, какую отыскивал для себя вирус. И Виталька твердил:

— Задерживать меня вы не имеете права.

Оля возмущенно от него отвернулась.

Курдов глядел на парня с сожалением, видимо все про него понимая.

А начальнику и разбираться ни в чем не хотелось; он кипел. Виталька вызывал у Альфиери только гнев и брезгливость.

— Никто вас не держит,— отвечал «герцог», так стараясь не повысить при этом голос, что злой его шепот был едва слышен.— Никого здесь силком не держат. Но место в вертолете мне нужно для дела. Договаривайтесь с пилотом. Возьмет сверх нормы — летите, Христа ради, скорее...

И он почему-то при этом обтер и отряхнул руки.

На щедрость пилота Виталька не рассчитывал. Он буркнул что-то вроде «сами бы ему сказали», но тут же махнул рукой и выскочил из домика с выражением самой отчаянной решимости. Оля устремилась за ним, мрачная и мстительная, как совесть, которую попытались отрезать и позабыть.

В дверях Оля столкнулась с маленьким коренастым паренком в синем спортивном тренировочном костюме.

— Зубы! — воскликнул тот, добежав до начальника. Он оттянул пальцем губу чуть не до самого уха, показывая десны, и остановился, переводя дыхание.

— Что с тобой, Лепешкин?! — позволил наконец себе крикнуть Альфиери, хотя все было ясно и без ответа.

Лепешкин, ощерясь, ткнул себя пальцем в десну. Сбоку мне не было видно, что он там показывал. Кажется, и начальник ничего не увидел. Но Лепешкин тут же объяснил:

— Пухнут.

Он еще раз ткнул пальцем в десну.

— Остается белое? Остается, а?

Начальник мотнул головой.

— Не вижу.

— Цинга может начаться,— сказал Лепешкин.— В Салехард надо. Хоть на десять дней.

Доктор был тут же, в каморке. Начальник обернулся к нему.

— Зубы верно плохие,— сказал тот, отводя глаза от молящего взгляда Лепешкина.— До цинги далеко, а пломба выпала, верно. Если есть возможность, чинить надо. Сами знаете, Север...

Нет, это было вовсе не то, что Виталькин случай. Про Лепешкина мне уже говорили. Он пришел сюда еще в прошлом году, вместе с первой группой участников экспедиции. Их было четверо, и они перезимовали здесь, в горах, ведя гляциологические наблюдения. (Гляциологи изучают свойства и работу ледников, и эта задача, как одна из самых основных, вошла в комплекс работ Полярно-Уральской экспедиции, работающей по программе Международного геофизического года.) Нелегкое это дело — прожить почти целый год четвером, отрезанными от всего мира. Наступает день, когда все переговорено, все друг про друга каждому известно, немногие взятые с собою книжки прочитаны. Уже и жестокая пурга становится развлечением. Не в том, конечно, смысле, что она доставляет удовольствие, нет; но она отвлекает, требует дела. Надо откапываться, расчищать тропу. — так и день прошел, и некогда было в этот день оставаться наедине с собою. Помню, как после первой зимовки на Северном полюсе вернулась оттуда четверка «папанинцев». Один из них признавался:

— Все было. Лед трещал. Снегом заносило. Водой заливало. Белые медведи приходили. Продукты мокли. Но не было от этого трудно. Даже, знаете, веселее как-то становилось, крепче себя чувствовали, что ли. Все, мол, нам нипочем... А вот выдастся свободный часок. Сидим на коечках. Посмотришь на приятеля, и он на тебя смотрит. Ты молчишь, и он молчит. И ты знаешь, про что он молчит. Вот это трудно!..

Тут тоже было такое. Только лед не трещал под ногами, и море было далеко. Но и все остальное было тоже очень далеко отсюда; жили на краю земли, мела пурга, крохотный домик заносило снегом, радио включали не часто — берегли батареи. И уже каждый знал, про что молчит другой и о чем заговорит он, если захочет разговаривать. И это было трудно.

Троим гляциологам жилось легче. У них была своя постоянная работа, она каждый день приносила что-нибудь новое, и можно было об этом новом всегда поразмышлять и потолковать. Время для них текло быстро. Лепешкин не был ученым. Горные ледники оставались для него закрытой книгой, и язык этой книги был ему непонятен. По профессии Лепешкин был плотник, а по душевной склонности — акробат. Этому увлечению своему Лепешкин отдавался до самозабвения и сумел многого добиться: он был мастером спорта и даже чемпионом Российской Федерации. На первых порах уединенной жизни в маленькой комнате сборного домика он часто обращался к младшему из гляциологов:

— Насвисти, Костя, вальсик. Ну, какой знаешь, все равно, насвисти...

Из человеколюбия Костя принимался мычать нечто монотонно-заунывное, а Лепешкин подпрыгивал с виртуозной легкостью, выбрасывал перед собою руки и умудрялся в тесном пространстве плотно заставленной комнатки сделать в воздухе сальто и «прийти», как он говорил, на крепкие, маленькие, пружинисто падающие на пол ладони. Движения его были полны изящной изобретательности, и казалось, будто неслышная, совсем не похожая на Костино мычание музыка подчиняет своему ритму движения ловкого и сильного тела.

Но вдруг Лепешкин останавливался.

— Не разберу я, Костя, что ты поешь, — грустно говорил он.

— А я и не пою вовсе, — мирно объяснял гляциолог. — Я петь не умею.

И все же Лепешкину слишком хотелось отвести душу. На следующий день он просил Костю снова:

— Ну, знаешь же ты хоть какой-нибудь мотив, серый ты человек?! Ну, хоть маршик насвисти, что ли...

И опять пробовал кувыряться и прыгать под унылое мычание.

Но вскоре это наскучило ему. Он понял безнадежность своих попыток и прекратил их. Только поздней весной Лепешкин отыскал в своих тайниках заранее припасенную штангу, сколотил за домом турник и жесточно, подолгу вертел на нем «солнце», когда гляциологи уходили к своим ледникам. Для этого ему не нужны были Костины вальсы и марши. Талая вода рвалась с обогретых солнцем вершин на застоявшийся в тени ущелий зеленый озерный лед, шумно катила камни, обкатанные потоками, которые вот так же рушились с этих гор прошлой весной и десять тысяч весен и миллион весен тому назад; в потоках слитно ворчало непрерывно текущее время. Лепешкину не годился этот монотонный ритм, и он переставал его елышать. В горной тишине Лепешкин бросался на турник с голодной яростью. Напряженное тело становилось невесомым. Штанга почти неощутимо начинала скользить в ладонях; Лепешкин превращался теперь как бы в «спутника» штанги, и новое усилие нужно было ему уже не для того, чтобы продолжать вращение, но чтобы вырваться из своей орбиты. Лепешкин делал это усилие и прыгивал на мягко пружинящий мох. Все в нем звенело. Вокруг не было никого. Но именно об аудитории и мечтал Лепешкин. Зрители ему нужны были, как артисту. Он выключал это. Он вспоминал, что у него еще не доделаны стеллажи для лаборатории и брался за фуганок. Вернувшиеся гляциологи заставляли его за работой. Фуганок скользил, снимая длинную душистую стружку; Лепешкин хмуро молчал, и Костя знал, про что он молчит.

Когда на Хадыту пришли тракторы и четверо зимовщиков спустились с горы в большой лагерь на берегу озера, Лепешкин несколько дней был счастлив. Водитель Маклецов играл на аккордеоне все, о чем бы ни попросил его Лепешкин. Население лагеря в полном составе (двадцать два человека; в том числе пять женщин, два доктора географических наук и шесть кандидатов) смотрело два вечера кряду почти балетный акробатический каскад Лепешкина и аплодировало, восхищаясь его изобретательностью и легкостью. Но потом Лепешкину стало еще скучнее и труднее, чем прежде. Ему не хватало стадиона с сотнями глаз и опьяняющей оглушительностью настоящих аплодисментов.

— Пойду в цирк,— круто решал вдруг Лепешкин, обдумывая свою будущность.— Буду работать в цирке..

Но тут же он начинал сомневаться. Если цирк — тогда прощай, значит, спортивное общество, азарт соревнований, неповторимо волнующая борьба за победу и радость рекорда. Тут-то и вспомнилось ему оброненное Маклецовым упоминание о том, что в воскресенье состоится в Салехарде спортивный праздник.

— Уйду,— опять решал он.— Подумаешь, налегке полтора километра. За четыре дня можно пройти.

Но прошла среда, а он так и не поговорил с начальником экспедиции. Еще четырнадцать месяцев оставалось Лепешкину работать здесь по договору. Двухмесячный отпуск должен быть оплачен только в самом конце договорного срока. Договор этот Лепешкин решил подписывать так же с размаху, как внезапно решал теперь про цирк и про Салехард. Он поссорился прошлым летом с Надей, метательницей диска из «Спартака».

— Все равно придешь,— самоуверенно сказала ему тогда Надя. Лепешкин знал, что она права. Он пришел бы.

Но друг в тот же вечер рассказал про экспедицию. Наутро Лепешкин подписал договор, а еще через неделю уехал. Неделю он продержался: не приходил и не звонил, как ему ни хотелось, и только перед самым отъездом попросил того же друга сообщить Наде номер рейса и час отлета,— конечно, не упоминая о лепешкинском поручении, а как бы от себя. Он ждал, что Надя появится на аэродроме. Она не пришла.

— Все кончено,— твердо решил Лепешкин.

В Салехарде он сразу же побежал на междугородную, заказал знакомый номер и поругался с телефонистками, поминутно заглядывая в окошко и справляясь, долго ли ему еще ждать.

Когда Лепешкина позвали наконец в будку, оказалось, что слышимость очень скверная. Надиного голоса он не узнал. В трубке что-то квакало и трещало. Наде, наверно, тоже ничего не было слышно, потому что телефонистка все время с жестоким казенным безразличием повторяла все, что он горячечно выкрикивал в телефон.

— Он говорит, что любит,—скучно скрипел чужой голос.—Го-во-рит, вас лю-бит...

Ничего не слыша в ответ, Лепешкин потерянно буйствовал у трубки и потом опять различал только металлически-отчетливый скрип, производимый, казалось, бездушным роботом:

— Он не может без вас жить.

Так вот, оказывается, что он сейчас болтал. Ну и ладно. Это правда. Он в самом деле жить без нее не может.

Потом снова слышались кваканье и треск.

— Что? Что ты говоришь?! — отчаянно кричал Лепешкин.

— Она говорит: «хорошо»,—пересказывала телефонистка.— Говорит: «глупо»...

— Что глупо? — удивлялся Лепешкин.

Но узнать, что хорошо, а что глупо, ему так и не удалось. Связь окончательно прервалась. Лепешкин наорал на ни в чем неповинную девушку за почтовым окошком, а на другой день уехал, не написав Наде — слишком уж он не любил писем: на бумаге все получалось не так, как он хотел бы сказать. И от Нади он ничего не мог ждать. Она не знала адреса.

Десять месяцев миновало с того дня. Почти год.

Лепешкин уговаривал себя, что все прошло. Но то, что следовало считать забытым, припомнилось чересчур часто.

Когда с санно-тракторным поездом появились на Хадыте три студентки-географички, ученая специалистка-климатолог и жена начальника экспедиции, ходившая в ковбойке с засученными рукавами, в юбке, высоко открывавшей сильные загорелые ноги,— Лепешкину все они показались необыкновенно хороши. Каждая была живым чудом, какого он не видел уже десять месяцев. Вечером, после того как Лепешкин показал свои упражнения, ему почудилось, будто Оля глядит на него с особым любопытством, а в слегка близоруких серых глазах начальницы он сумел уловить даже ласковый, поощряющий призыв. Потом Маклецов играл «Подмосковные вечера», Оля пела с ребятами, натягивая волейбольную сетку, и Лепешкин пошел к девушке так решительно и самоуверенно, что та сразу все поняла, тут же познакомила Лепешкина с Виталькой, и Лепешкин тоже все понял. И у начальницы он быстро сумел различить ту близорукую доброжелательную пристальность, которая относилась вовсе не к нему одному, а ко всему, что окружало молодую женщину: к горному озеру, к пролетавшей птице, к самодеятельному лагерному повару, подошедшему за советом, что приготовить сегодня на ужин.

Стоит только чуть внимательнее приглядеться, чтобы понять: любое подвернувшееся дело сразу захватывает ее всю целиком. Вот и сейчас.

— Тушенку — это мы еще успеем,— решительно отвергает она предложение повара.— Ведь у тебя еще мясо есть. Давай костер разведем и на вертеле зажарим...

— С дымом! — подхватывает повар.

— С комарами! — радуется начальница собственной затее.

Лепешкин забыт начисто.

Начальница бежит к волейбольной сетке.

— Костер! Костер жечы!

Нет, не было здесь никакого поощрения, никакого призыва. Все это самообольщение и чепуха. Лепешкин чувствует себя обманутым. Отчаяние охватывает его. Зачем он подписал договор? Зачем прожил десять месяцев в хижине, в пустынных горах? Может быть, они с Надей давно бы уже поженились? Но и Надя — тоже обман. Если бы она его любила, она не могла бы позволить ему уехать. И уж, конечно, приехала бы на аэродром.

Теперь представление о Салехарде сливается у Лепешкина с предчувствием нового чуда. Там, на спортивном празднике, он непременно встретит девушку, какую не встречал еще никогда. (В воображении он, однако, видит Надю: он стоит с нею в закоулке под трибунами, мимо них пробегают на арену ребята, Надя уже выступила; она еще не отдышалась, не оделась после упражнений с диском, темная кожа блестит в глубоком вырезе белой майки. «Все равно придешь», — говорит она и, пренебрежительно вскинув голову, уходит в душевую. Так он видел ее в последний раз и так мстительно представляет себе теперь, в ожидании салехардского чуда.)

Но пешком в Салехард он не ушел, и праздник на тамошнем стадионе казался ему безнадежно потерянным.

О своих терзаниях Лепешкин рассказал Олиной подруге, когда они вместе поднимались к горной хижине. Девушка оглядела его с искренним удивлением.

— Здоровый парень, — укорила она Лепешкина. — А оказывается — неврастеник. Кто б мог подумать!

Слово Лепешкину было не вполне понятно и потому прозвучало особенно обидно. Он замкнулся и замолчал.

На другой день в лагере сел вертолет. Он шел в Салехард, и на нем, как услышал Лепешкин, обнаружилось свободное место. Была еще голько пятница — почти целых два дня до спортивного праздника. Лепешкин вспомнил про выпавшую пломбу и побежал к начальнику.

«Не может не пустить, — соображал он, торопясь к сборному домику. И сбивчиво думал о будущем: — Улечу и не вернусь больше... Улечу, а потом в лагерь пешком вернусь...»

— Зубы! — выкрикнул он, вбежав в каморку.

На этом мы с ним познакомились.

После справки доктора, Альфиери посмотрел на Лепешкина с недоброй тоской и вдруг заорал на тонкой высокой ноте:

— Никого не держу! Кто не хочет работать — к чертовой матери! Здесь хлюпики не нужны!..

Выкрик этот предназначался еще Витальке, но достался Лепешкину. Тот продолжал стоять, оттягивая пальцем губу и показывая красные, бесстыдно здоровые десны. Начальник застеснялся своей несдержанности.

— Послушай, Лепешкин, — сказал он почти мирно. — Ребята тебя хвалили. Парень ты, говорят, хороший. Хочешь зубы чинить — чини. Но не могу я сейчас тебя отправить. Придут лошади, бери кобылу, езжай!..

— Мне сейчас надо, — сказал Лепешкин, отпустив губу.

В комнатку заглянул «ветролетчик» Слава. Вместе с нами он услышал смутное признание Лепешкина — рассказ его о предстоящем салехардском спортивном празднике, состоявший из страстных междометий, беспорядочных жестов и захлебнувшихся, полных отчаяния недомолвок.

Сокрушительная целеустремленность лепешкинской мечты обладала такой покоряющей силой, что Слава тут же кликнул Игоря, стоявшего, как оказалось, за дверью, и оба они, пошептавшись, стали опять складывать и перемножать какие-то цифры в потрепанной клеенчатой книжке. Потом Слава, ни на кого не глядя и будто сердясь на себя за излишнее мягкосердечие, хмуро сказал:

— Что ж, пожалуй, еще одного возьмем. Если без багажа.

— А когда же вернешься, Лепешкин? — с той же, что и у Славы, смущенной отчужденностью осведомился начальник.

Лепешкина словно подбросило подземным толчком. Отодвинувшийся было к пилоту, он вновь очутился перед начальником.

— Во вторник из Лабытнангов выйду. Считайте — до пятницы дойду. А то и в четверг...

— Так уж пешком и придешь? — не сразу поверил начальник. — Что-то мне показалось, ты лыжи насовсем отсюда навастриваешь...

Лепешкин забыл все свои терзания. Он искренне огорчился.

— Что вы?!

Начальник спросил с насмешливой подозрительностью:

— А зубы? Ведь не поставят же тебе в понедельник, за один день, пломбу?

— А черт с ней, с пломбой, — окончательно раскрылся Лепешкин.

Тут и начальник улыбнулся, оттаяв.

— Нет, не пойдет так дело, — сказал он. — Если полетишь, так лечись. Думаешь, я тебя кувыряться пускаю? Я доктора слушаюсь. Четыре дня тебе в Салехарде на зубы. А там свяжись с Иваном Никитичем, может, у него и оказия к нам найдется. Кстати, порученьце к нему возьми...

Коротким залпом междометий и жестов выразил Лепешкин свою восторженную благодарность и вышел вслед за поторопившим нас к отлету (для этого он и являлся) Славой.

Охотников улетать больше не было.

Мы вернулись к прерванному разговору.

— Александр Евгеньевич, — так Курдов, по праву ученика, называл покойного академика Ферсмана, — Александр Евгеньевич считал, что твердая земная кора образовалась от полутора до двух миллиардов лет тому назад...

И он повторил еще раз, что люди, по сравнению с этим непостижимым для их обычного представления счетом времени, ничтожно молоды, ибо в самом деле: если представить себе, что год ложился бы на год тончайшей осязаемой пленкой какой-либо материальной массы, то два миллиарда лет образовали бы огромную толщу, а те последние пять тысяч веков, что миновали от появления на земле самых древних предков нацих, легли бы на эту толщу лишь тонким слоем. А уж про так называемое историческое время, исчисляемое пятью какими-нибудь тысячелетиями, и говорить нечего. С точки зрения исторической геологии, это период почти мимолетный; даже новых приметных морщин на лице планеты он не успел оставить...

Но — хорошо знакомые студентам — эти курдовские шуточки не несли в себе презрения к роду человеческому. И вовсе не сознание ничтожества поставленных ему сроков, но жизнелюбивое и радостное ощущение молодости, как удела, дарованного на земле человеку, прежде всего ощущалось в его беседах. Говоря о молодости человечества и краткости сроков его существования на земле, Курдов еще пуще гордился всем, что люди успели сделать на своей планете в течение времени, которое принято называть историческим и которое в самом деле столь ничтожно мало по сравнению со всем геологическим летосчислением. И за эту наивную, почти ребяческую, вдохновенную гордость, какая им неотступно владела, Курдова любили не только студенты, но и те, кому, доводилось случайно включаться в его орбиту.

В общем, человек привык считать достаточно долгим срок жизни, отпущенный поколению. Этот срок оказывается наполненным сменой разнообразных событий. В жизни каждого толчком к переживаниям разной силы, поводами для радостей и горестей, для волнений и раздумий являются и любовь к женщине, и газетное сообщение о борьбе повстанцев на

далекой и неведомой Кубе, и переезд семьи на новое место, и взлет космической ракеты, и болезнь близкого человека, и разлив нового моря, созданного трудом соотечественников, и многое другое, близкое и далекое, общее и свое. Непрерывное течение событий, пестрая смена их делают годы емкими и долгими, и поэтому, думая об истории Земли в те времена, когда люди еще не жили на ней, мы чаще всего тоже представляем себе непрерывной и бурной цепь происходивших на Земле событий и бессознательно сокращаем сроки, необходимые для совершавшихся преобразований. Возникновение гор, исчезновение морей и океанов, превращение лесов в залежи каменного угля, гибель динозавров и птеродактилей, движение ледников, почти колдовское преобразование лесной смолы в находимый на дне моря янтарь — все это сдвигается в тесные, доступные нашему постижению пределы времени, и мы представляем себе Землю тех давних времен, окутанной вулканическим дымом, грохочущей, сотрясаемой беспрерывно чередующимися катастрофами, меняющей облик чуть ли не ото дня ко дню. Между тем облик этот менялся на протяжении тысяч и сотен тысяч лет. Стояли, как и нынче, погожие дни и пасмурные дни. Беззвучно хлопотали в морях и реках рыбы. Потрескивал лесной валежник под тяжкими ногами беззлбного ящера. Так кончался один день и наступал другой; так проходил век и еще три века. Тишина — точно так же, как и теперь, — состояла из шелеста листьев под налетающим ветром, птичьего щебета, разногласий лесной переклички. В этой тишине длилось нескончаемо долгое и сонное младенчество планеты. Лишь изредка сон прерывался содроганием землетрясений, грохотом извергающихся вулканов, порою жестоких ливней и гроз; такая пора тоже могла длиться долго, но затем она, вероятно, снова сменялась возвращением вековой тишины — тысячами дней, похожих один на другой. Птицы и мотыльки, переноса цветочную пыль, сажали леса и луга на этой невозделанной земле, еще не знающей человеческих рук. Это, вероятно, были другие леса, не вполне похожие на нынешние, другие мотыльки и птицы. Но все же это была та самая — наша — земля, и ее ожидание человека было как бы созреванием разума.

Нам и теперь кажется, будто бы на земле не происходит никаких существенных перемен, кроме тех, что человек совершает своими руками. А ведь это не так. Случалось ли вам после долгой разлуки вновь попасть на берег реки своего детства?

Сперва все здесь радостно знакомо. Жаркий, не дающий тени лозняк у самой воды. Разогретый летним солнцем песок. Глубоко просвеченная зеленоватая речная прохлада. Но всмотришься-ка пристальнее: где оно, то всегда помнившееся и даже в снах возвращавшееся место, в каком ты привык бросаться в воду, видя перед собой широкий простор, прикидывая, где попадешь на волну, поднятую колесами старого парохода; приглядываясь, где сможешь ты, отдыхая, стать на песчаную отмель, не показывающуюся на поверхности, но приметную отсюда лишь по тому, что вода над ней посветлее; зная, где надо обойти яр, над которым река «крутит» (и мальчишки говорят, что там живет опасный сом: он может «хватить»); он даже с берега может уворовать легкомысленного поросенка, а то и несмышленного младенца)... Все это ты ясно сберег в памяти, и ничего этого нет теперь перед твоими глазами. Какие-то плоские песчаные косы, которых не было вовсе, лезут теперь из воды. Трехпалубный винтовой пароход идет по незнакомому тебе руслу. И лес на другом берегу облысел, поредел; это совсем другой лес, чем тот, что рос там в годы твоего детства.

Земля изменилась.

Прошло каких-нибудь два-три десятка лет, а земля изменилась.

Вот так, верно, и меняется она всегда — медленно и почти неприметно, — во все века и миллионлетия своего существования.

Как и все, что происходит в мире,— любые изменения облика Земли, ее климата и географических условий не бывают случайными. Все они подчинены определенным законам. Но сами законы эти далеко еще не все известны человеку. Больше того, сама Земля — ее строение и состав — изучена еще очень мало, куда меньше, чем отдаленные космические пространства. Грубо говоря, нам удалось пока лишь царапнуть самые верхние покровы планеты, и современная наука все еще продолжает строить гипотезы — порою противоречивые и даже взаимоисключающие — о том, что лежит под этими покровами.

Нет в наше время такой области знания, где какая-либо одна наука действовала бы изолированно от других. Изучением обитаемого нами мира тоже заняты ученые самых разных специальностей. Познание рождается исподволь, из множества добытых крупиц.

В тесной дощатой комнатке, которую прибитый у окна маленький столик делает похожей на вагонное купе, часто и запросто поминаются в разговоре три сухих и маловыразительных слова: «Международный геофизический год».

— А вы поняли это? — спрашивает вдруг Курдов, когда эти слова привычно проговариваются в очередной раз. У него тон экзаменатора, озабоченного легкомысленной торопливостью своего студента.— Это ведь не так просто: «Международный геофизический год»!..

Он набрасывает картину исследований, которые ведутся на всей земле в то самое время, когда мы здесь толкуем об этом.

В плавучих льдах Арктики и на ледяном щите Антарктиды, в обсерваториях всех континентов и на специально сооруженных станциях, на кораблях, не подверженных действию магнитных сил, и на разоруженных, отданных делу науки и мира подводных лодках делают общее и доброе дело ученые пятидесяти стран...

— Вы это как следует себе представьте,— настаивает Курдов.— Тут не только суть работы важна. И не только добытые конкретные результаты. Разве не видна тут частичка картины, которую может представлять мир в близком будущем, если человечество одолеет безумцев и перестанет разрешать свои споры войной? И ведь неплохая же это картина, право!

Его непосредственная и радостная горячность напомнила мне вдруг давно прочитанную и совсем было забытую пустую книжку. Это был взятый как-то с собою в дорогу американский детектив с пестрым страшилищем на глянцевого обложке: темные очки прятали чье-то лицо, и кисть скелета тянулась к чьему-то горлу. Даже имя автора позабылось. Но я вспомнил, что главный злодей в этой книжке стал преступником и садистом именно оттого, что математик в нем победил и уничтожил человека; наука, утверждал автор, лишила его героя морали и сделала циником. Постигнув время как математическую бесконечность, ученый, видите ли, осознал ничтожную малость человеческой жизни: в мире бесконечных величин это лишь воображаемая точка, не имеющая ни реальных объемов, ни какой-либо ценности. Не помню в точности дешевую софистику автора. Она сводилась примерно к тому, что убийство, таким образом, становится «превращением ничего в ничто», и, следовательно, не может оно быть ни преступлением перед законом, ни тем более «грехом» перед лицом морали. Все это было не ново, стоило недорого и сильно отдавало фашистским духом. Но даже и не эта мнимая философичность раздражала в аляповатой книжке; еще больше сердила лживость портрета.

Можно ли оставаться ученым, презирая людей?

Может ли существовать наука без живого стремления к добру? (Пусть оно примелькалось и стало старомодным — это давнее слово).

Я не поверил рассказу про ученого-злодея. Слова Курдова, сказанные в экспедиционной времянке, вызвали у меня мгновенный и как бы естественно подготовленный отклик, и я легко представил себе то, о

чем он говорил: норвежца в Бергене и русского в Тикси, занятых изучением природы полярных сияний; бельгийцев, австралийцев и прочих ученых в Антарктике; поляков на Шпицбергене, команду «Витязя» над впадиной Тускароры, американца из «Литтл Америка» над сейсмографом коллеги в поселке Мирный, — разноязычное сообщество людей, дружно обменивающихся плодами исследований, проведенных по единому, общему плану.

Верно, — такая картина спорила с барьерами холодной войны и потому помогала думать о разумно устроенном завтра.

Вот и в необитаемой горной стране разбит небольшой лагерь.

Несколько десятков людей, по преимуществу молодых, забралось сюда, преодолев нелегкий путь. Четверо из них уже перезимовали тут; новая, более многочисленная смена проживет следующую зиму.

Как всегда, когда люди делают милое, дорогое им дело, тяжесть труда остается здесь на первый взгляд почти неприметной. Кажется, будто обитатели лагеря живут, перешучиваясь; молодая беззаботность становится самой видной стороннему наблюдателю чертой — она владеет не только юными практикантами, но и многоопытными их руководителями. Пожалуй, даже и не от молодежи зависит эта легкая и светлая краска в здешнем пейзаже. Приехавшим сюда практикантам повезло. Люди такого склада, как Курдов, даже и не думая об этом, передают своим студентам вместе со знаниями (и происходит это не в аудитории, а непременно «в поле») и свою привычную дорожную легкость и особую, почти всегда присущую им в общении наивную беззаботность, которая может касаться всего, кроме самого главного, — кроме своей работы. В работе беззаботность сменяется придирчивой дотошностью; никакой легкости нет и в помине. То, что сделано спустя рукава, не прощается никому. Скоропелые выводы отвергаются с яростью. Как бы ни был научный вывод остроумен и внешне убедителен, он не будет принят, если под ним не может быть обнаружен мощный фундамент фактов, сопоставлений, счислений, опровергнутых сомнений, терпеливого труда и долгих раздумий.

Но об этой стороне здешнего быта приезжий может только догадываться.

Начальник экспедиции рассказывает о сути дела скупыми и сухими до беспомощности словами. С непосвященным — да еще второпях — ему говорить очень трудно.

— Общую-то задачу знаете? — подозрительно осведомляется он и на всякий случай повторяет простейшую формулу, определяющую цель всех ученых, которые участвуют в проведении «эмгеге» (словечко из гусиного языка образовалось уже, чтобы побыстрее выговаривать название Международного геофизического года): — Исследование свойств Земли как планеты и влияния на нее космических факторов...

Он снова поглядывает пытливо, выясняя степень темноты собеседника. Потом объясняет:

— У нас задачи, понятно, не столь всеобъемлющи.

Обитатели станции в горах изучают лишь некоторые частности общей проблемы.

Молодой гляциолог, из тех, что зимовали с Лепешкиным, уверяет, что изучение местных ледников — самая существенная из этих частности. С запальчивостью спорщика, будто кто-то посягает на его ледники, он убеждает:

— Баланс, вот что нам важно! Продолжают ли расти ледники или они регрессируют и освобождают занятую ими поверхность?

«Земные холодильники». Не он первый назвал так ползущие с гор ледяные языки, чтобы определить влияние ледников на климат земли. Казалось бы, не так уж велика площадь этих вечно скованных «рек». Но

они создают свои существенные закономерности, влияя на перемещение и охлаждение масс земного воздуха. И когда где-нибудь вдали отсюда в дни знойного лета сводка погоды вдруг говорит о «вторжении с северо-востока холодных воздушных масс», тут дело не обошлось без каверзных влияний тех ледников Полярного Урала, к которым шествует сейчас сумрачная Ольга. Я вижу ее, когда мы выходим из сборного домика. Положив на плечо лыжи, прямая, не оборачивающаяся, она поднимается к полосе нетающего снега. Внезапное падение Витальки должно было очень огорчить ее.

— Я думаю, у нас есть уже основания полагать, что площадь ледников скорее уменьшается,— говорит гляциолог, не обращая внимания на Ольгу.

— Основания? Уже? Это после одной-то зимы?

Иронические вопросы принадлежат Курдову.

Гляциолог не собирается сдаваться.

— Но, Константин Пудович, мы знаем и другие данные...

Он называет имена исследователей и даты: пятьдесят лет, тридцать лет тому назад, перед самой войной...

— Уже и...— с пиететом называется известное имя здравствующего ленинградского географа,— позволял себе утверждать, что ледники исчезают и климат становится теплее.

Курдов тоже называет фамилию — лондонской знаменитости. Он бурчит, что знаменитость как-то выступала с предсказанием того, что процесс исчезновения ледников может внезапно приостановиться и обернуться в свою противоположность. Статья, опубликованная лет десять назад, предсказывала возможное наступление новой ледниковой эпохи.

— С точностью плюс-минус какие-нибудь десять тысяч ближайших лет...

Фраза не обходится без привычной занозы. Курдов хитренько поглядывая на гляциолога, выжидая. Тот принимает вызов.

— Прогноз на десять тысяч лет — немудрящее дело. Поди проверь. Я думаю, человечеству полезнее выяснить более близкие перспективы.

— Пожалуй, верно,— с удовольствием соглашается Курдов. — Значит, вы готовы со всей ответственностью утверждать, что жить нам будет теплее и уютнее?

Гляциолог поднимает руки, как бы защищаясь от непосильных требований.

— Не по адресу, Константин Пудович! Тут мое дело сторона. Это пусть нам климатологи скажут.

«Климатологи» обнаруживаются немедля. Это быстрый паренек в очень пестрой ковбойке. Живой и шумный у волейбольной сетки,— здесь он оказывается уклончиво-осторожным.

— Мы ведь рабочие лошадки,— тянет он.— Нам материал собирать, над отчетиками корпеть. Выводы сделают другие...

Курдов обрывает его сердитым жестом.

— Не прикидывайтесь, Шумов.

Паренек, которого назвали Шумовым, ничего не успел ответить, потому что тут к нам подошел Слава, и на этот раз лицо его выражало не только решительность, но даже и гнев.

— У нас в наряде три часа записано,— заявил он,— а мы здесь уже четвертый час сидим. Не хотите лететь, я пустую машину подниму. Потом как-нибудь залечу за вами...

Я вспомнил салехардские дни ожидания, сообразил, на сколько может затянуться это «как-нибудь», и стал торопливо прощаться.

Собственно говоря, все сделано. Группа соединилась. И даже сам я успел здесь — в экспедиции — достаточно много увидеть и услышать,

Дорожные впечатления обычно складываются либо из того, что узнал на новом месте в течение первого же часа, либо за следующие сутки первое впечатление вдруг ломается, рассыпается начисто и потом выстраивается наново — долго и кропотливо. Новое, конечно, основательнее. Но и первое впечатление не всегда подводит.

В горном лагере геологов первое впечатление не успело поблекнуть. И я знал, что, останься я тут и вышагивай потом в горы изо дня в день, бок о бок с Шумовым, — я долго еще не смогу узнать о нем больше того, что открылось в короткой перестрелке словами между ним и Курдовым. Виталька улетит с нами. Но и для того, чтобы заглянуть в его судьбу, нужен не месяц, не два. Хорошо бы повстречаться с ним несколько лет спустя — увидеть, что из него вышло.

Что же до научных проблем, какие здесь решаются, то ответ на то, как именно изменяется климат земли, тоже вряд ли будет дан к тому времени, когда большинству участников экспедиции пора будет возвращаться отсюда восвояси. Недаром есть проект превратить этот лагерь, организованный по программе МГГ, в постоянно действующий опорный пункт: геоморфологам, гляциологам, метеорологам и климатологам предстоит еще на Полярном Урале долгий и кропотливый исследовательский труд...

Мы попрощались.

Оба Юры и Толя погрузили в вертолет свои камеры, цинковые ящики с пленкой и коробки с осветительными приборами. В угол свалены двуствольные ружья, все еще не очищенные от щедрой заводской смазки.

Толя, по-прежнему расхристанный и одичалый, стоял с Лепешкиным в тесной кучке провожающих болельщиков. Они все говорили одновременно, пользуясь, как и Лепешкин, шумными междометиями и энергичными жестами. Можно было понять, что никто не сомневается в спортивных успехах Лепешкина, что им гордятся и хотят поскорее увидеть его снова в своей среде.

Игорь загнал нас в кабину, дверка захлопнулась, и вертолет опять начало трясти на мшистом болотце.

Ураганный ветер, взметнувшись от вращающихся винтов, отогнал провожающих. Они видны были из окошка: небольшая, тесная группа людей, одним своим присутствием изменивших эту от века пустынную и сумрачную землю белесой воды и черного камня. Взмахивал длинной рукой высокий, поджарый Курдов. Пестрели ковбойки Шумова и «начальницы». Возился со своим узкоплечным аппаратом путешественник-кинолюбитель, которого Хадыта увлекала больше, чем Амазонка. «Герцог» наклонился к нему — похоже, давал неизбежные в таких случаях дилетантские советы. Не было Ольги. Да она и не могла еще вернуться с гор; может, мы еще увидим ее, поднявшись в воздух, — черной точкой, скользящей по горному снегу.

А где же Виталька? Он бы должен быть с нами, в кабине. Но здесь его нет.

Только я вспомнил о нем, как закричал и Лепешкин:

— Эй, погоди! Это же чемодан Виталькин!

Он показывал в угол, где среди затасканных уже операторских заплочных мешков торчал аккуратный чемодан в застегнутом на пуговицы парусиновом чехле.

Но «годить» было поздно. Вертолет оторвался, притих, поднимаясь отвесно кверху.

— Искали его, разяву, — меланхолически отозвался бортмеханик. — Забрел куда-то, не ночевать же из-за него.

— Чемодан летает, а хозяин дома сидит. Так выходит?

Самостоятельно путешествующий чемодан развеселил Лепешкина. «Вот это да! — повторял он. — Чемодан летает, а хозяин дома сидит!»

Но вдруг Лепешкин заинтересовался:

— А как же теперь будет? Виталька подумает, чемодан-то его по воздуху сперли?!

— Закинем при случае,— невозмутимо объяснил бортмеханик.

Вертолет поднялся высоко. Узкое длинное озеро тянулось под нами. Ни людей, ни домиков, ни балков уже не было видно. Направо внизу белел склон Ханмэя, и мне показалось, что я вижу на снегу не одну, а две быстро скользящие точки.

Потом мы вышли из ущелья; горы сомкнулись за нами, и вертолет полетел над плоской, мокро поблескивающей тундрой, всего лишь метрах в двухстах от земли, вдоль неширокой, но сильной реки.

### У Константинова Камня

Олени в эту пору линяли, казались несчастными и вызывали жалость. Их жестоко терзали слепни.

Стадо в тысячу семьсот голов, сбившись в огромную кучу качающихся рогов, свалывшейся шерсти и страдальческих глаз, паслось поодаль от чумов. Только молодняк держался отдельно, поближе к людям. Но слепни не щадили и оленят.

Переступая на разьежающихся ножках, маленький олененок вздрагивал и часто передергивал всей своей тонкой лысенькой шкуркой. Это не помогало. Овод оставался на раскусанной им кровавой язве. Старший охранитель стада, трехногий пес со странным именем Бетон, лежал на земле и глядел на олененка с сонным сочувствием. Четвертую лапу Бетон потерял, попавшись зимой в песцовый капкан. Ущемленную и отмороженную ногу ему успели вовремя отрубить, и после этого Бетон перешел из ездовой упряжки в сторожевую свору. Не зря женцы уважительно относятся к таким псам, умудренным нелегким жизненным опытом. Бетон оправдывал это уважение. Он был добросовестен, философически нетороплив и бдителен. Казалось, старческая дремота одолевает его. Но когда измученные слепнями оленята сгрудились, а потом, будто сговорившись, тесной кучкой двинулись на край овражка, полного талой воды, чтобы перепрыгнуть на плавающую посерединке льдину и поискать там спасения от неотвязных насекомых,— Бетон недовольно поднялся. Льдина не вызвала у него доверия. И прыгать было небезопасно. Глупые оленята, продолжая держаться кучей, будут толкаться, мешать друг другу. Долго ли угодить в воду и утонуть? Бетон заковылял к овражку, сердито ворча и оттирая табунок назад, на взлобье тундрового пригорка. Самый маленький олененок оставался на месте. Уже и второй слепень сел к нему на спину, поближе к короткому беспомощному хвосту, и оба продолжали кормиться сосредоточенно и неумолимо.

Олененку помогла Паня.

Паня Полозова оказалась поблизости. Она подбежала, отогнала слепней и посыпала ранки белым стрептоцидом. Бетон завертелся вокруг девушки, пытаясь лизнуть ее в лицо, а молодые олени тем временем прорвались к овражку и прыгнули на прибившийся к берегу лед. От толчка льдину отнесло. Табун совсем закрывал ее, оленята как бы стояли на поверхности холодной зеленой воды. Слепни не летели на холод. Табун стоял тесно и неподвижно. Вода небыстро носила, кружила его. Оленята отдышали, задремывая. Только самый маленький оставался на пригорке; Паня отгоняла от него слепней, и ему тоже было теперь хорошо. Обманутый Бетон ковылял по краю овражка и ворчливо облаивал непослушных оленят. День был ясный, и только что появившиеся у оленят шерстистые короткие рожки, наполненные молодой кровью, прозрачно розовели под солнцем.

— Стой, глупенький дурачок,—говорила Паня своему олененку в той бессознательной игре, в какую всегда играют девочки, разговаривая с куклами и животными, как со своими детьми.—Стой, дурачок, что ты будешь без меня делать? Тебя оводы заедят, тебя волк загрызет...

Что-то коротко свистнуло, охватило Паню за плечи и не сильно потянуло ее назад и в сторону.

— Опять ты, Семен, балуешься! — строго крикнула она, не оглянувшись.

Ошибиться она не могла. Тынзей — олений аркан — налетал на нее по нескольку раз на дню. Восемилетний Семен Валею неутомимо играл в эту игру, такую же естественную для него, как для Пани — бессознательная ее игра с олененком. Семен всех ловил тынзеем: младших своих братьев — Илью и Василия, — подвернувшихся оленей, отца, Паню, Бетона. Тынзей падал на цель безошибочно, с первого броска. Пойманные олени стояли спокойно; отец, сбросив аркан, одобрительно шлепал Семена; трехлетний Илья падал на землю и недолго, деловито куксил, прежде чем подняться и отковылять по своим неясным, но хлопотливым делам; пятилетний Василий уже и сам не расставался с тынзеем, он пробовал ловить Семена, но это еще редко ему удавалось.

Паня сбросила с себя тынзей. Семен удовлетворенно засмеялся и убежал.

— Скажи Яптэко, пусть сюда идет! — крикнула ему вдогонку Паня. — Скажи, молодняк согнать надо!

Она легко собирала ненецкие фразы.

Семен все понял. Издали, одетый в черно-рыжий совик с откинутым капюшоном, он казался покотившейся тундровой кочкой.

— Ладно, однако! — откликнулся Семен по-русски, отцовскими словами, и скрылся с глаз.

Паня улыбнулась. Она подумала, что, прежде чем передать ее слова, Семен непременно поймает Яптэко тынзеем.

Пане было восемнадцать лет, и если ей случалось вспомнить, сколько уже прожила она на свете, это чаще всего приводило невеселые мысли: восемнадцать лет — срок большой, жизнь уходит, другие люди совершают разные вещи, а у нее день идет за днем, и что сделано?

Со стороны можно было бы сказать: это хорошо, что она так думала. Но ей-то нелегко было с этими мыслями. Впрочем, приходили они ненадолго и тяжести после себя не оставляли.

Мы познакомились с Паней Полозовой несколько часов назад.

Наша «аннушка» — «АН-2» — летела над тундрой. С воздуха штурман показал нам три темных конических шалаша — чумы на сивых мхах, близ большого озера; рядом шевелилась земля, не сразу можно было разобрать, что там, колыхаясь, тесно движется оленья стада. Летя наугад к северу — к Байдарацкой губе, — мы как раз и искали оленеводов, которые в эту пору года гонят свои стада из тундры к морю. Здесь были чумы, были олени и рядом почти свободное ото льда озеро.

— Можно сесть? — спросил директор Юра у летчика.

Летчик (свою фамилию он произносил непривычно — Берсенёв) не ответил на этот вопрос. Не оборачиваясь, он пренебрежительно дернул плечом, заложил вираж и начал снижаться.

Позади остался похожий на огромный валун Константинов Камень — отдельно стоящая вершинка Полярного Урала. Гора эта будто оторвалась от всей гряды и выкатилась чуть не на самый берег Карского моря. Слева показались и сразу пропали с глаз битые льды Байдарацкой губы. Чумы и олени появились снова — ближе на этот раз и приметнее. «Аннушка» села на безыменное озерко, пробежала по воде, остановилась у берега, и старый ненец, не удивясь неожиданным гостям, почти сразу подвел к кры-

лу свою легкую лодку-долбленку, чтобы свезти нас на тундровую землю, которую никак нельзя было назвать твердой.

В лодке мы познакомились. Окладистая рыжая борода нашего перевозчика без слов свидетельствовала, что мы ошиблись, приняв его сначала за ненца. Ненецкой была только одежда: малица с поясом, увешанным костяными предметами (среди них — охотничий нож с костяною же ручкой и вместительный кисет из оленьей замши): на лысой темно-коричневой голове — неизменный платок.

Кстати, тут я и понял, откуда пошел этот здешний обычай — прикрываться платками. В капюшоне было бы слишком жарко, а ситцевый платок, не слишком грея, защищает затылок и большую часть лица от комаров.

Орудя небольшим и легким веслом, перевозчик наш отвечал на расспросы. Он назвался Гавриилом Васильевичем Терентьевым и объяснил, что сам он — коми, из зауральских, усть-цильменских оленеводов, но уже больше полувека живет по сю сторону Урала, кочует с ненцами, батрачил у богача, а когда в селении Белоярск, Ямальского района, организован колхоз, он оставил хозяина, вступил в этот колхоз, и его назначили заведовать фермой. С тех пор, вот уже четверть века, «касляет» он в этом качестве со стадами: зимой по тундре, а «на летовку» — к морским берегам. Летовки — всего месяц; а там, с первым снежком, по холодку, — назад. Потом вскроются реки, и за уходящими льдами олени снова станут каслать на север, тем же знакомым путем. Так оно и идет, время... Говоря про то, что время идет, Гавриил Васильевич заметил не без похвалы, что свои годы он считает уже при помощи восьмого десятка. Это в самом деле удивительно было услышать: в рыжей его бороде седых волос почти не было. Я подумал, что, быть может, на Севере Фауст и без Мефистофеля — без жестокой расплаты — смог бы остановить для себя любое мгновение прекрасной здешней тишины, естественного покоя. Время проходило бы мимо, не задевая Фауста, как не задевает оно заведующего колхозной оленеводческой фермой. Разве не оставлена ему молодость? Вот ведь и борода не седеет... Но стоило утлой долбленке уткнуться в вязкий берег, и я понял, что зря вообразил себе монотонную размеренность касланий и нерушимый покой остановленного времени. Старик легко, щеголяя неутраченной сноровкой молодости, ступил из лодки на землю и тут же пустился в разговор с парнем в ярко-желтой рубаше, выпущенной поверх меховых оленьих штанов. Завфермой задавал парню вопросы все настойчивее и горячее. Парень отвечал односложно. Работник окружного исполкома, с которым мы сюда летели, — русский из коренных обдорцев — объяснял суть беседы; она велась по-ненецки.

Вчера из стада отделили заболевшего быка (так зовут упряжных оленьих-самцов). Терентьев опасался, не болели ли другие быки, не вспыхнула бы эпидемия.

Мы попали в первую бригаду колхоза; тысяча семьсот голов каслали в стаде бригады, и парень, которого звали Николаем Патранхасовым, был здесь бригадиром.

Сам Терентьев шел все время с третьей бригадой — там было около двух тысяч оленей и молодой, не очень еще опытный бригадир. Третья бригада остановилась вчера километрах в пяти отсюда; мы тоже видели ее с воздуха, но чумы стояли вдалеке от воды, «аннушка», поставленная на лодки, не могла там сесть, и мы пролетели дальше.

Завфермой пришел оттуда с вечера, узнал про заболевшего быка и остался. Когда самолет наш сел, Терентьев рыбачил на озере, чтобы отвлечься от дурных мыслей и опасений. Отогнанные на время, эти опасения с тем большей силой выплеснулись при встрече с Николаем.

Но Николай успокаивал старика. Больных не видно. Да и вчерашний бык жив. Ничего страшного.

И все же достаточно было послушать этот недолгий взволнованный разговор, чтобы убедиться: вовсе не покой продлевал и красил жизнь Гавриила Васильевича Терентьева. Невольно вспомнился профессор Курдов, встреченный на Ханмэе. Тут было одно и то же: оба делали дорогое каждому, любимое ими дело. Дело это наполняло всю их жизнь и сохраняло в обоих неугасимый огонь молодости... Не слишком ли просто? Разве не был поглощен своим делом и мудрый Фауст,— почему же лишь с помощью Мефистофеля и ценою страшной расписки смог он на недолгий срок сбросить с себя власть Времени? Пожалуй, тут дело в том, что мудрость Фауста была эгоистична, а труд — безнадежным и бесполезным. Кому мог пригодиться гомункулус, выращенный в колбе, даже если бы это Фаусту и удалось?!

Мы поднялись от озера и очутились у самых чумов.

На мху валялись нарты. Трехногий пес лежал под ними. Он радушно вильнул хвостом при виде Терентьева.

— Лежи, Бетон,— позволил ему старик.

Я удивился необычному имени, и историю его рассказал работник исполкома, не впервые навевывавшийся в это кочевье.

Как-то путь каслающего стада скрестился с маршрутом геологов. У тех была овчарка Бутон. Собачье имя показалось ненцам привлекательно-звучным, но слово было незнакомо: бутонув в тундре не знают. «Неправильно выговаривают,— подумали пастухи про геологов.— Надо Бетон, наверно». В Салехарде, в Лабытнангах бывали все; видели стройку, слышали это слово. Так и стал зваться Бетоном очередной щенок в ездовой упряжке.

Бетон привык к имени. На слова Терентьева он благодарно шевельнул хвостом и снова уронил голову, не переставая поглядывать на оленят, пасущихся рядом.

Ближе к чумам стоял перевернутый ящик из-под консервов. К нему подседа, скрестив ноги на ягеле, молодая ненка. Она вертела ручку швейной машины — шила детское платье.

Кинооператор Юра подтолкнул меня в бок.

Швейная машина в бригадном кочевье обрадовала его, как неожиданный подарок.

— Это мы снимем,— шепнул он с алчностью.

Но тут же вскрикнул и едва не упал. Семен Валея заарканил его тынзеём. Бригадир в желтой рубахе прикрикнул на мальчонку. Тот удрал, заливаясь счастливым смехом.

Юра принялся готовить съемку.

Женщину, которую он собирался снимать у швейной машины, звали Анной Патранхасовой; она была женой бригадира Николая Патранхасова — вот этого, в желтой рубахе, что пришел с нами от озера.

Юра кликнул другую женщину. Он принялся объяснять, что подаст ей знак, и пусть она тогда пройдет позади ящика. Ему нужно было движение в кадре. Потом Юра подумал и позвал еще девчонку — ту, для которой шилось платье. Юра усадил ее рядом с матерью и велел смотреть на шитье. Подошел второй Юра, и оба принялись переставлять ящик, чтобы свет падал лучше и чтобы чум был виден яснее. Примеряясь, Юра снова усаживал к машине Анну и ее дочку и опять подавал знак Евдокии, жене пастуха Валея, которая должна была проходить сзади и «делать движение». Та проходила. Анна вертела ручку. Машина трещала, делая уже бесполезные стежки, которые потом придется перешивать. Задуманный кадр становился все напряженнее и скучнее. Мне захотелось посмотреть, как выглядят здешние чумы внутри и отличаются ли они от жилья саамских оленеводов, у которых мне доводилось гостить когда-то.

Чум, в который я вошел, приподняв полог, был пуст. Тусклый свет падал через дымовое отверстие наверху. Внутри было просторно — гораздо просторнее, чем у саамов, — и чисто. Посредине виднелся остывший очаг. Напротив входа, за очагом, были сложены припасы и утварь, а по сторонам, на застланном оленьими шкурами полу, лежали прибранные постели, прикрытые пестрыми лоскутными одеялами. К берестяным стенкам привалены такие же пестрые подушки в ситцевых наволочках.

Неподвижным косым столбом стоял внутри темного конуса неяркий дневной свет.

По-ненецки чум называется — «мя».

Три десятка, иногда полсотни шестов составляют его основу.

Шесты всегда ставятся в определенном порядке, у каждого свое постоянное место, и на тех шестах, что приходится напротив очага, сделаны петли. В них продеваются концы жерди, чтобы вешать котлы и чайники над огнем.

Зимой поверх шестов натягивают нюки — покрышки из оленьих шкур в два слоя, мездра к мездре: снаружи — шерстью наверх и внутри чума тоже шерстью наверх.

Летом вместо шкур мя обтягивается полосами вываренной бересты. Так, под берестой, стояли бригадные чумы и у Константинова Камня. Они были не новы. Дерево тут в редкость — видно, что сломанные шесты не менялись годами, чинились веревочками и ремешками. У краев верхней дыры береста прохудилась, обуглилась. В деревянном полу не хватало досок. Но тщательная приборка придавала внутренности чума вид обжитой и даже уютной.

О чумах чаще всего говорится пренебрежительно. Считается, что они должны исчезнуть как печальное наследие прошлого, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Когда приезжий гость направляется к чуму, местные власти смущаются: «Чего уж тут?! Живут люди, как веками жили...» Другое дело — новые дома, построенные в оседлых селениях. Таких домов раньше не бывало в здешних местах, и, обходя чумы, каждый приезжий фотокорреспондент или кинооператор спешит к новым избам.

Но есть в этом отношении легкомысленная недалёковидность. Слишком цепко слилось представление о чуме с памятью о прежнем его содержании — о жизни впроголодь, о невыветривавшейся из старых оленьих шкур и постельного тряпья смертоносной оспе, об ослепших, съеденных трахой глазами, о беспробудном пьянстве и жестоких побоях кулаков, владевших оленьими стадами. Но быт в чумах стал совсем иным за последние десятилетия, а самые чумы остались. И не потому остались они, что так уж трудно сселить всех обитателей чумов в новые прочные избы.

Чумы остались потому, что избы не могут заменить их оленеводам.

В избу можно переселить рыбака, охотника. А оленеводу нужно жилье, с которым он мог бы брести за стадом. Это жилье нужно быстро поставить на любом новом месте, нужно в несколько минут собрать и сложить на нарты, отправляясь снова в дорогу. К тому же нарты тяжелый груз не поднимут. Жилье должно быть не только простым в сборке, но и легким по весу, емким по габаритам.

По соответствию этим жестким условиям, по простоте своей и рациональности чум как архитектурное сооружение, созданное народом применительно к условиям жизни, к природе, к сложившемуся быту, должен бы вызывать совсем иные чувства, чем та смесь пренебрежения и смущения, какую так часто приходится здесь наблюдать.

На Кольском полуострове есть у меня старинный приятель. Впервые мы познакомились лет двадцать с лишком назад, в Мончетундре. «Монча» — это по-саамски значит «красивая». И к тамошней тундре это название в самом деле очень подходит. Сопки там лесистые. Много светлых озер и нешироких прозрачных речек. А под землю обнаружился никель,

и бригады ленинградских комсомольцев приехали туда строить город Мончегорск, бурить шахты. Города еще не было, а горком комсомола уже существовал. Комсомольцы жили в палатках.

В палатке жил и секретарь горкома. Он водил меня по свежим просекам, называл по именам непостроенные улицы, видел и описывал дома, которые будут здесь стоять. В одном из этих домов душевно гуляли мы через несколько месяцев на его новоселье. Потом мне писали, что в построенном Мончегорске приятель мой стал председателем исполкома, и я порадовался справедливости этой судьбы: он очень любил «свой» город и должен бы заботиться о нем с настоящей хозяйской хваткой. Война свела нас снова. В мае сорок второго года бригада морской пехоты высаживалась в одном из фиордов, в устье Западной Лицы, южнее полуострова Рыбачьего, — на плацдарм, захваченный в самом начале войны горными егерями гитлеровского фельдмаршала Дитла. Май был холодный, с морозами, с пургой. Десантники были одеты сравнительно легко — синоптики предсказали оттепель. Но оттепель не состоялась. После двух недель жестоких схваток на обледенелом каменном пятачке те, кто остался в живых, получили приказ отходить. Шлюпки с военных кораблей под минометным обстрелом причаливали к берегу и забирали обмороженных, раненых, обмотанных кровавыми тряпками матросов, которые сделали то, что им было приказано: оттянули на себя силы неприятеля и не позволили ему собрать кулак для наступления на Мурманск. Мы вышли к берегу у сопки Палец. Минометчик и два «максима» удерживались на вершине сопки, прикрывая отход. Из-за сопки егерские минометы били по фиорду прямой наводкой. Катера-охотники и тральщики стояли подальше, в горловине фиорда, под артиллерийским огнем, а спущенные с них вельботы и шлюпки ходили от кораблей к берегу и обратно, хитро лавируя между всплесками рвущихся мин. Одна из шлюпок приближалась и к нам. Щегольскими казались дружные удары весел; щегольским и неправдоподобно знакомым показался и зычный голос, чеканивший с кормы шлюпочные команды: «Табань!», «Суши весла!» Когда бой длится пятнадцатые сутки, насвежо подошедшие товарищи всегда почудятся бойцу людьми из другого мира. Но я узнал мончегорского приятеля. Это он сидел на корме, и для него все мы были на одно лицо: бородатые, обожженные морозом, красноглазые с долгого недосыпа, в замызганных и промокших ватниках. «Брось! Ты брось!» — удивленно кричал он, когда я окликнул его, добравшись до шлюпочной банки. И пока шлюпка шла к тральщику, я успел узнать, что приятель мой перед войною и до высот дошел, и беды нахлебался, и, не поддавшись беде, доказал свою чистоту, а теперь вот служит помполитом на корабле. В своей каюте он обогрел меня со мной — как тогда говорилось, «наркомовских» — граммов розового, отдающего бензином спирта, отправил под корабельный душ, переделал в собственную, пахнущую стиркой тельняшку, уложил на свою койку спать, и это был один из счастливейших дней, навсегда памятных человеку. Я еще встречал его, когда он был «старшим морским начальником» в только что освобожденном, начисто уничтоженном гитлеровцами рыбацьем городке Северной Норвегии. А потом, много лет спустя, увиделись мы в Москве. Он приехал все с того же Кольского полуострова — был там опять председателем исполкома, на этот раз в саамском оленеводческом районе. Поседевший, он был по-прежнему живым и крепким; как всегда, он был влюблен в свое дело, отдан ему без остатка; оленеводство казалось ему главным делом на свете, и в Москву он привез ворох чертежей, объяснительных записок и множество соображений, касающихся улучшения быта пастухов в Кольской тундре. Тут-то я впервые и прикоснулся к «проблеме чума».

— Есть такие чудачки, — объяснял мне Иван, показывая привезенные чертежи. — Они говорят: «Чум — каменный век. Строй сааму дома, сажай

его на-место». Но оленю-то за пищей ходить надо. Не повезешь же за ним дом!..

Листая чертежи, читая вслух странички своей записки, он доказывал, что конструкция чума — мудрая и проверенная веками. Но кто сказал, будто бы костяком чума навсегда должна оставаться гниющая тесина, будто оболочкой чума и в наш век по-прежнему должны быть впитывающие грязь и микробов олени шкуры? Он предлагал легкую металлическую конструкцию и прочный, сохраняющий тепло синтетический материал. «А очаг?! — восклицал он. — Ты только представь, ведь тут и газовую плитку с баллончиком можно поставить!»

Он видел такой «чум двадцатого века», уложенным на нарты; видел, как быстро могут расставить его пастухи на свежем ягельном пастбище, — так же, как ясно и точно видел когда-то не построенные еще дома будущего Мончегорска.

Весь отпуск пробегал Иван по управлениям, ездил на какие-то подмосковные заводы. Но уехал ни с чем. Добиться того, чтобы был изготовлен опытный образец придуманного им чума, Ивану не удалось. Такая работа не входила ни в чьи планы. Большинство людей, с которыми говорил здесь Иван, оленей и в глаза не видели — разве только в кино или в зоопарке. Случайным собеседникам неистового кольского реформатора оленеводство не казалось такой уж существенной отраслью народного хозяйства, и, может быть, по-своему — с точки зрения общих масштабов — они и были правы. Но надо бы тут принять во внимание и другое. Жертвуя отпуском, напирая на незнакомых людей, ожесточенно споря с ними, восклицая в их кабинетах свое «Брось! Это ты брось!», посевший комсомолец из Мурманской области думал не столько даже о судьбах оленеводства, сколько о том, чтобы крутым рывком изменить к лучшему быт нескольких десятков тысяч людей (и не только на Кольском полуострове). Покоренный убежденностью приятеля, я думал, что такая затея стоила эксперимента. Притом, самый эксперимент мне казался не слишком утопическим. Разговор о том, что чумы, яранги, вежи и юрты должны исчезнуть вовсе, уступая место обычным домам, несравненно меньше соприкасается с реальной почвой, чем проект «современного чума». Хлопоты Ивана Кузгинова были милы мне бескорыстной и всепоглощающей страстностью. Способность целиком и влюбленно отдаваться своему делу позволяла причислить Ивана к той же породе, к какой принадлежали Терентьев и Курдов. Только последние двое были однолюбам. Один никогда не изменял оленям, другой — геоморфологии. А Ваня Кузгинов сразу влюблялся в любое порученное ему дело, и оно тут же становилось для него лучшим на свете; прекрасное мгновение останавливалось, и в свои пятьдесят лет Иван оставался тем же комсомольцем, с которым познакомился я четверть века назад. Особый строй нашей жизни воспитал эту породу очень различных, но похожих в главном людей и подарил им ключик к секрету, не познанному Фаустом...

Оставив пустой чум, я пошел к другому, соседнему.

Такая же тонкая и косая колонна тусклого света стояла и-здесь над очагом.

Но за колонной метнулось что-то белое.

— Ай! — тихонько вскрикнул женский голос, и я торопливо опустил полог, выскакивая из чума.

— Она же туда переодеваться пошла, — укоризненно объяснил Юра.

— Кто — она?

Оказалось, что в то время, как Юра снимал Анну Патранхасову у швейной машины, к ним подошла девушка. Юра заговорил с ней и узнал, что по специальности она учительница русского языка. Вот уже год, как она кочует вместе с первой бригадой белоярского колхоза.

Так, невзначай, повстречались мы с восемнадцатилетней учительницей из города Салехарда, когда остановилась она со своими учениками в стойбище у Константинова Камня.

«Паня Полозова», — повторяю я, говоря о ней. — «Паня Полозова».

Я даже привык думать, что так ее на самом деле и звали.

Придуманное имя приросло к настоящему человеку. Вероятно, это случилось оттого, что история жизни или, точнее, ранней юности этой Пани Полозовой стала для меня неотделимой от подлинного портрета девушки, которая стояла возле олененка, присыпая его ранки белым стрептоцидом. В эту историю вошло и то, что успела рассказать учительница пастухов-оленеводов, и то, о чем говорили облик ее и повадка; вошло сюда и то, что представлялось позже, когда встреча у Константинова Камня превратилась в возвращающееся воспоминание, а спрашивать о недостающих подробностях было уже не у кого. Потому — так же, как и в других случаях, — я не стану сообщать, как на самом деле звали учительницу у Константинова Камня. Пусть зовется Паней Полозовой. Но мне хотелось, чтобы сделанный по памяти беглый рисунок был как можно ближе к живой натуре — пусть не правдой подробности, а правдой души.

И еще мне хочется пожелать этой душе настоящего счастья.

### Паня Полозова и другие

Среди кочевых ненецких пастухов в силу особенных условий их быта до сих пор оставались последние неграмотные взрослые люди, живущие в нашей стране. Пора было кончать с этим. В прошлом году окружком КПСС и окружком комсомола Ямало-Ненецкого национального округа обратились с призывом к молодым педагогам — пойти в бригады оленеводов, кочующие со стадами, и ликвидировать последний очаг неграмотности среди взрослого населения.

Работать в бригадах предстояло два года. После этого срока всем, кто уйдет в тундру, обещан был прием в институт вне конкурса.

«Подумаешь, два года», — прикинула Паня Полозова, когда инструкторша окружкома комсомола докладывала о призыве на собрании комсомольцев педагогического техникума. Паня очень хотела поступить в институт. Диплом техникума оставлял ей надежду только на заочное продолжение учебы. И вдруг закрытая дверь приоткрылась. Паня не задумывалась. Она не слушала выступлений. Комсорг выпускного курса не успел даже пригласить ребят, чтобы подходили записываться, а Паня уже была возле стола.

— Я поеду, — сказала она.

Что потом было дома! Ругань и причитания, упреки и предостережения, угрозы и советы. Отец с матерью объединились. Они предсказывали Пани, что она закоснеет в чуме, заболит, превратится невеста во что, пропадет. Паня сперва спорила, убеждала, потом умолкла. Случайно она встретила в читальне парткабинета музейную директоршу.

У той, по обыкновению, было в запасе великое множество подлежащих устройству дел.

— Девушка! — сказала директорша Пани. — Ты, кажись, из педтехникума. В пионерлагере старшей вожатой нет. Ты бы туда как раз сгодилась. И у тебя лето даром не пропадет.

Вряд ли встречала она Паню когда-либо, кроме единственного раза, когда та со своими соучениками была на экскурсии в музее. Но такой уж был у директорши характер: если бралась она за какое-нибудь дело, ей не терпелось закончить его поскорее. И она со всей искренностью сразу поверила, что знает Паню хорошо и давно и что Паня как раз такой человек, какой ей надобен.

— Вот прямо и пойдем в окружном,— решительно сказала директорша.

Паня пошла.

Так она скрылась от тяжелой домашней кутерьмы и до наступления договорного срока работала старшей вожатой в пионерском лагере на берегу Оби. Ходила с ребятами в тундру за морошкой и голубикой. Договорилась, что ребята будут помогать расположившимся поблизости рыбакам. Поутру тянула вместе со всеми поставленный с вечера невод и радовалась, когда вспучивалось наконец над водою ртутное кипение очередного улова. Запрещая ребятам купаться в холодной воде, Паня украдкой убегала от завтрака на поросший кустарником низкий берег, кидалась в Обь сама; вода обжигала, выталкивала ее обратно. После купания все становилось простым и ничтожно легким. В самом деле, что ожидало ее? Надо будет два года прожить так, как живут ненцы рыбаки в соседней бригаде. Вот и все. Но такая жизнь ничем не отпугивала ее. Напротив, эта жизнь казалась идеально ясной и славной. Паня уже болтала с рыбаками по-ненецки, те откликались — открыто и дружелюбно. Вероятно, не труднее будет ей жить и среди оленеводов. Почему же не понимают этого, не хотят понять отец с матерью?

Паня выросла в Салехарде.

Семнадцать лет назад, годовалой девчонкой, привезла ее сюда мать из Витебска, оставив там все и убегая от настигавшей войны.

Ничего этого, конечно, не помнила Паня. Тут собственная ее жизнь сливалась с туманными, доисторическими, на ее взгляд, временами. Только по рассказам знала она о том, как они шли пешком по шоссе, как попали на грузовик с инкубаторными цыплятами и витебским пивом, об эшелоне, в котором эвакуировались они с матерью из Москвы и который близ Ярославля был атакован «юнкерсами». Только неясно брезжила в сознании память о вздрагивающей земле, свистящем воздухе, об ударах, похожих и непохожих на грозовой раскат грома, о чем-то пугающем вскрике, раздавшемся рядом. Почти чужим казался отец на фотографии тех времен — в гимнастерке с погонами старшего лейтенанта, с орденом Красной Звезды, среди ломаного кирпича и обрушенной черепицы какого-то восточно-прусского фольварка. Настоящие ее воспоминания начались позже. В них всегда был Салехард; отец и мать вместе; мать, уходящая в больницу и возвращающаяся с дежурства, отец, которого она почти никогда не видела за завтраком, потому что до консервного завода ему надо было добираться долго и приходилось спозаранок торопиться к автобусу, чтобы успеть дойти пешком, ежели автобуса сегодня не будет. Когда Паня пошла в школу, разговоры родителей о ней в пору общих встреч за столом стали касаться главным образом ее школьного дневника. Оказалось, что отметки у Пани должны быть только отличными; «хорошо» оставляло отца снисходительно-равнодушным, но мать попрекала Паню тем, что она непоседа, — не поторопилась бы вчера убежать от уроков на лыжах, вот и было бы «отлично»; трудно ли дотянуть? После троек отец вычитывал неизменное назидание о том, как плох человек, идущий в жизни «на троечку», недаром же отметка эта расшифровывается словом «посредственно» — значит, тот, кто ее получает, и сам посредственность. В этом слове Паня лишь по интонации улавливала обидное значение, но, вероятно, именно оттого, что слово было непонятно, оно запомнилось; запомнилась и вся нотация — Паня и теперь могла бы повторить ее наизусть. Случайно услышанные обрывки родительских воспоминаний, уходивших в глухие, незапамятные времена, позволяли Пани понять, что родители ее сами не так уж прислушивались к тому, что им твердили в их собственных отчих домах. Но это ничему их не научило. От дочери они добивались одного: чтобы Паня и не подумала сама строить свою судьбу и чтобы не утоньшались

нити, связывающие эту судьбу с родительским домом. «Ты же совсем сосунок,— с нежным отчаянием сказала Пани мать в один из бесконечных споров перед самым ее отъездом.— Разве ты сможешь одна?» Пани жестко ответила: «А ты хочешь, чтобы я на всю жизнь сосунком оставалась?»

Все это она вспомнила в пионерском лагере, прочитав фельетон, напечатанный в «Комсомольской правде». В фельетоне говорилось о маленьких сынках, которые окончили вуз и не захотели уезжать, куда им было предложено. «Героями» фельетона были москвичи, а среди мест, куда они побоялись ехать, поминался Панин родной Салехард. Вышло, что оттуда, из далекой московской квартиры, глядели на Салехард с такой же точно опаской, какую здесь, в Салехарде, испытывали ее собственные «предки» при мысли о том, что их Пани может отправиться в оленеводческий чум. Оттуда, издали, ее Салехард — пугало. Эта мысль не обидела, а развеселила Панию. Конечно, в Москве она не бывала. Она видела Москву только в кино, на открытках и на цветных фотографиях в «Огоньке». Вероятно, это самый лучший город на свете. Но однажды Пани была в Ханты-Мансийске, а в прошлом году одна отправилась к маминим родственникам в Челябинск. В Челябинске она видела очень большие шестиэтажные дома, и там она ездила в троллейбусе и ходила в настоящий театр на пьесу «Такая любовь». Все это было очень интересно. Когда она была в Ханты-Мансийске — стояли очень теплые дни. Там Пани впервые бродила по «дремучему лесу» близ Иртыша. Но ни в Челябинске, ни в Ханты-Мансийске ей вовсе не хотелось оставаться насовсем. Вернувшись в Салехард и рассказывая подружкам о поездке, она чувствовала себя куда лучше, чем в гостях. В Салехарде Пани любила долгую зиму с цветной игрой сполохов в негустой темноте сплошной зимней ночи, с жарким домашним теплом после дальней лыжной прогулки, любила болтовню с девчонками, любила школьные вечера, ледоход на Оби, наступление короткого лета, приход к пристани первого теплохода с верховьев, лодочные походы на Полуе, пса Шайтана и речку Шайтанку... Лидка Полуянова, которая приехала в Салехард три года назад и училась вместе с Паней в техникуме, всегда повторяет: «У нас в Свердловске...» Эльмира Бойко вспоминает про Харьков. Она говорит, что там двадцать киношек, не считая клубов, и что когда у родителей окончится договорный срок, она наконец вернется в Харьков «из этой дыры». Но ведь про Эльмиру все знают, что она дура. Да и не в этом дело. Наверно, на улице, где стоят шестиэтажные дома и ходит троллейбус, тоже можно интересно прожить свою жизнь. Не выдумывают же Эльмира и Лидка! Но то, что вспоминает Пани про себя, то, что нравится ей вспоминать, кажется ей интереснее, чем рассказы подружек: только у нее одной могло быть такое, и только здесь; жаль, однако, что Пани не умеет рассказывать. Да и нельзя рассказать об этом. То, о чем расскажешь, перестает быть твоим и сразу становится хуже. Все-таки интересно — каким же должны представлять Салехард те, кто испугался сюда поехать?

Привязанность Пани к Салехарду не была, понятно, безмятежной и неколебимой. Случались и у нее приступы сомнений, минуты тоскливой хандры. «Ну что мы тут видим?» — задавала она тогда себе один и тот же вопрос. В такие минуты заносчивость Лидки и безудержное бахвальство Эльмиры подчиняли ее воображение, и Пани начинала мечтать о какой-то неведомой и недоступной ей жизни, освещенной огнями двадцати киношек, переполненной бесшабашной танцевальной музыкой, летучими мальчишескими поцелуями и некончающимися пестрыми шариками мороженого. «А что еще?» — вдруг спрашивала она себя. Однако ни из Лидкиных воспоминаний, ни из болтовни Эльмиры ничего больше вытащить не удавалось.

Как-то Пане попался напечатанный в журнале дневник московской студентки, которая во время войны стала летчицей. Там Паня нашла выписки из знакомых книг и мысли, которые показались ей подслушанными у нее самой. Она переписала в свою тетрадку: «Не давай поцелуя без любви». Потом пересказала содержание прочитанного в журнале «Звезда» романа писателя Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». Сбивчивыми словами, но с прямолинейной жесткостью Паня осудила глупую Алевтину-Валентину с ее добытчиком Додиком и умного, опустошенно-циничного Женьку с его телкой Ираидой. А Варя она позавидовала. Вот если бы ей, Пане, повстречался такой мальчик, как герой этой книги Володя Устименко, она сумела бы понять его гораздо лучше, чем Варя. Паня не стала бы огорчаться и упрекать Володю за то, что он так увлечен медициной. Именно Володина одержимость больше всего и понравилась Пане. «Он замечательный, — решительно записала она в тетрадку. — Вот у кого надо бы поучиться П. С.»

За инициалами «П. С.» скрывался Пашка Силаев.

Пашка был весельчак. Он любил повторять о себе:

— У меня исключительно исправный организм.

При этом он высоко закатывал рукав и демонстрировал бицепсы — такие, будто он специально их развивал, сверяясь с учебником анатомии.

В будущей самостоятельной жизни можно было его представить кем угодно — строителем, геологом, речником, но только не педагогом, хотя именно к этой специальности готовил Пашку облюбованный им техникум.

Прошлой зимой «П. С.» провожал Паню с катка и всю дорогу болтал. Возле дома, где жили Полозовы, он вдруг сказал, проникновенно приглушая свой ломкий голос почти до шепота:

— Ты хороший парень, Паня. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Паня не поняла, но не успела про это ответить. Пашка обнял ее, от неловкости стукнув Паню по спине связанными ботинками с коньками, и торопливо поцеловал как пришло, между глазом и носом.

От неожиданности Паня остолбенела. Пашкин конек больно упирался в ее дубленый болгарский полушубок. Пашка не разжимал рук. Он ужасно жарко дышал и старался найти ее рот быстрыми и настойчивыми губами. Паня вдруг не то рассердилась, не то испугалась. Изловчизшись, она сильно оттолкнула Пашку — тоже конькобежными ботинками, зажатыми в руке.

— Дурак! — сказала она и рванулась на трескучее обледенелое крыльцо.

— Чего ты? — огорчился Пашка. — Я же..

Она не слушала, с трудом закрывая за собой дверь, под которую намело сугроб снега.

«А может быть, она не замечала, что ей нравится Пашка?» — проверяла себя Паня с некоторой даже надеждой, долго потом не засыпая и все еще чувствуя на своей щеке горячее Пашкино дыхание. Она заставляла себя рассуждать с невозмутимой трезвостью: «А если и нравится? Симпатия и любовь — не одно и то же. Понравиться могут многие. Что же, целоваться со всеми? Это черт знает что такое получится!»

Возмущение не было искренним. То, что произошло у крыльца, заставляло ее думать о Пашке так, будто он и теперь был тут, рядом, и так и останется, и никуда от него не деться. Ботинками от Пашки было теперь не отмахнуться. Паня попробовала примерить его ко всем героям своих любимых картин и книжек. Не получилось. Никак не вязался с книжными героями этот «исключительно исправный организм». И это скорее огорчало, чем радовало Паню; скорее волновало, чем успокаивало. Чтобы все обрубить и отделаться от неотвязного Пашкиного присут-

ствия, она нарочно силилась припомнить про него что-нибудь плохое. Но вместо этого вспоминалось почему-то, как складно выступил Пашка на курсовом собрании.

«А что такого сказал он?» — пыталась спорить с собой Паня. Выходило, что верно, ничего такого он не сказал, но говорил уверенно, остроумно, и не только ей — всем его речь понравилась. И, кроме того, он всегда веселый. И хорошо бегаёт на коньках... Рассердившись на себя, Паня мстительно подумала: «С ним не о чем говорить».

На другой день в техникуме Пашка старательно избегал Паню и виновато отводил от нее глаза. На катке он тоже бегал вместе с ребятами и ни разу не подошел к ней.

Так и не пришлось им разговаривать друг с другом до самого Паниного отъезда в пионерский лагерь. Они встретились, только когда она забежала в техникум за справкой. Пашка подошел и сказал, что его уже распределили. Он назвал селение на реке Таз.

— Младшие классы? — спросила зачем-то Паня, хоть и без того знала, что из техникума всех молодых педагогов направляют в младшие классы.

— Я уж тебя, наверно, не увижу, — сказал Пашка вместо ответа.

— Наверно, нет, — подтвердила Паня.

— Ты окончательно на ликбез решила? — спросил Пашка.

Она кивнула.

— Трудно будет, — сказал Пашка.

Она пожала плечами.

— Зато потом в институт.

— В Тюмень?

— Куда направят.

Пашка помялся. Кроме них, в комнате была только секретарша. Она стучала на машинке. Пашка сказал:

— Ты была права. Я дурак. И я тебе очень желаю счастья.

Пане показалось, что Пашка никогда еще так серьезно не разговаривал. Она спросила:

— Ты сейчас куда?

— Никуда. Мне нужно Шилкина дожидаться. Характеристику взять.

— Тогда — всего.

Она протянула ему руку, а потом, от дверей, сказала:

— Я тебе тоже счастья желаю.

Наутро она уехала с ребятами в лагерь на старом маленьком пароходике.

В лагере она вспоминала Пашку. И, когда прочитала «Комсомольскую правду» и начала думать про все, что было у нее в Салехарде — в городе, которого испугался неизвестный ей московский чудака-студент, — она вспомнила про «П. С.» тоже.

Когда пионерский лагерь закрылся и Паня возвратилась в свой город, Лидка сказала ей, что Пашка уже уехал на реку Таз. Только несколько человек из их выпуска оставалось в Салехарде. Остальные разъехались по округу. Еще семь человек, кроме Пани, должны были в течение недели отправиться в стойбища оленеводов. Каждый ожидал своей оказии. Пане нужно было сперва добираться с почтовым катером на Ямал, а оттуда предстояла поездка на нартах. Дома отец сказал Пане:

— Если ты за лето стала умнее, ты еще можешь отказаться. Я говорю с кем надо. Сейчас тебя отпустят. А если поедешь — потом будет поздно. Бросать начатую работу никто не разрешит. И у нас в заводском поселке в школе сейчас есть для тебя место.

— Нет, я поеду, — сказала Паня.

Отец походил по комнате.

— Не знаю, девочка, может, ты и права...

— А отпуск у тебя будет? — спросила мать.

Паня объяснила, что работать-то в тундре ей всего два года. Какой тут отпуск?

Она поняла, что не зря уезжала на лето. Что-то переломилось за время ее отсутствия, и сами «предки» будто помолодели в своей печали. Пане стало проще и легче с ними в последние дни, а они словно впервые узнавали в дочери то, что сами в себе позабыли.

Почтовый катер забрал Паню из Салехарда в конце августа. В Белоярске она не задержалась. Чумы первой бригады, в которую ее назначили, она отыскала на самом берегу Байдарацкой губы.

Когда наша «аннушка» села на озере у Константинова Камня — прошло с того времени больше десяти месяцев.

Юра снимал Анну Патранхасову за швейной машиной. Табунок молодняка подошел совсем близко к чумам; Юра увидел оленят и, хотя съемка уже была окончена, Юру одолела операторская жадность, он захотел снять Анну еще раз — так, чтобы и молодые олени тоже видны были в кадре. Подогнать оленят ему помогал маленький Семен и девушка, которую Юра сперва не разглядел, а присмотревшись, удивился: откуда взялась в кочевье девчонка с таким русским лицом? Так он и познакомился с Паней Полозовой. Тут же Юра отправил ее переодеваться для съемки и теперь говорил с тем же охотничьим азартом, какой недавно вызвало в нем зрелище швейной машины перед ненецким чумом:

— Это мы снимем!

О том, что восемь молодых ликвидаторов неграмотности ушли с оленеводами в тундру, мы с Юрой услышали еще в Салехарде, зайдя в окрестном комсомола. Но можно ли было надеяться на встречу с кем-либо из этой восьмерки после первой же случайной посадки нашего самолета? Оказалось, бывают и такие удачи.

Семен Валея был снова вовлечен в бурную деятельность.

Юра не собирался терять ни минуты. Пока Паня переодевалась, он хотел закончить подготовку «съемочного павильона».

— Как же у вас тут учатся? — накинулся Юра на Семена.

Тот не понял вопроса.

— Ящики ставят? — продолжал наступать Юра.

Когда Юра потащил к чуму второй ящик из-под молдавского фаршированного перца, Семен обрадовался. Он понял, что речь идет не об отвлеченной стороне дела, а о конкретной обстановке учебы. Это понять было можно. Семен привычно расставил ящики-парты в тундровом классе. Только Юрина возбужденная торопливость удивляла его: Семену казалось, что дядя из-за чего-то рассердился. Но дядя вовсе не был сердит. Дядя просто торопился «накрутить» сцену, которая виделась ему в воображении. Всякий замысел всегда овладевал им, как припадок. Только закончив съемку, можно было отделаться от этого. Для Юры все уже выстроилось в привычные рубрики. Сюжет: «кочевье оленеводов». Эпизод: «урок в тундре».

Юра был прирожденный хроникер. И, как каждому кинохроникеру, ему хотелось добиться того, чтобы правда, предложенная ему на пути самой жизнью, выглядела чуточку прилизаннее и наряднее, чем на самом деле.

Он послал Паню в чум — переодеваться в запасенное девушкой «выходное» платье, — потому что выгоревшей свитерок и линиялая юбка показались ему слишком уж невзрачными.

— Тебя же весь Советский Союз в кино увидит, — наверно, сказал он Пане. Юра всегда говорит это в таких случаях.

Паня вышла из чума.

— Вот это годится,—удовлетворенно сказал Юра и познакомил нас.

Невольно я тоже вместе с Юрой обратил сперва внимание на платье, в котором вышла девушка, а не на самое Паню. Вероятно, слишком помнил, что она сейчас только нарочно переодевалась в лучшее из всего взятого в долгую дорогу — для съемки, которая покажет ее «всему Советскому Союзу».

Паня была в очень свежей капроновой блузке и в плиссированной юбке со множеством несмятых аккуратнейших складок. Высокие каблочки городских туфель вонзались в мох. Из украшений—только недорогая, но не безвкусная брошка приколата к блузке. Да еще узкая черная тесемка с часами была на крепкой ширококостной руке. Лицо и руки Пани Полозовой были очень белые, а ноги ровно загорели; не сразу я догадался, что это не загар, а чулки. Скажу правду: я не сумел себе представить зрителя будущего нашего документального фильма, который поверил бы в то, что вот так и одевается комсомолка-учительница, чтобы провести урок грамоты с пастухами-оленеводами, усевшись на земле подле пустых консервных ящиков. Но Панины ученики уже пришли. Спорить с Юрой было поздно. А просить Паню, чтобы она снова приняла обычный, будничныи вид, было бы даже жестоко. И кроме того, вдруг стало понятно, что весь Панин облик удивительно прочно связывается с отглаженной белизной и девичьей свежестью не просто даже «выходного», а торжественно-заветного ее платья, которое за год еще ни разу ей здесь не понадобилось, могло не понадобиться и второй год, но путешествовало в чемодане на нартах, от стоянки к стоянке, и жило в чуме не только приметой нерушимой человеческой цельности, но и свидетельством неистребимой веры в счастливую внезапность, в возможность неожиданных праздников,—вот произойдет что-то очень хорошее и не застанет Паню врасплох...

Женская красота совсем еще не развилась в Пани. Но было в ней такое девическое обаяние, что от него словно бы светлел каждый, кто к ней приближался. Вот и сейчас: подошел пожилой исполкомовский работник, были у него, верно, свои дела, разговоры, а он так и остался у чумов, пробуя перебрасываться с Паней легкими, лишенными значенья словами.

Ученики сели к ящикам.

Это были старые пастухи Иван Филиппов и Андрей Валеи, Анна Патранхасова, невестка Валея — Евдокия и ее сын, восьмилетний Семен.

— Однако, учились мы уже сегодня,—удивился Иван.—Опять читать скажешь? Я еще новый урок не выучил.

Паня попробовала объяснить ему суть предстоящей процедуры. Лицомно-желтое личико Ивана Филиппова весело сморщилось. Он весь затрясся от смеха. Вот так пошутила Паня-учительница! Может, она думает, будто он никогда не видел кино? Раз шесть видел, не меньше. Кино всегда привозят готовым, в железных коробках, на самолете. Как же он поверит, что кино можно сделать здесь, возле их чумов? Шутит Паня-учительница. Ей просто нужно, чтобы он во второй раз сел сегодня учиться.

Муж Евдокии — малорослый Михаил Валеи — шагнул к Ивану с внезапной горячностью, которая, казалось, вовсе ему несвойственна. Он засвидетельствовал, что кино вот так-то и делают. В позапрошлом году, когда они с бригадиром возили оленей в Москву на сельскохозяйственную выставку, их тоже снимали там для кино. Как раз так и снимали. Правда, картину он никогда потом не видел. Но снимали его точно так же. Велели ловить оленя тынзеем и наводили черную трескучую машинку.

Юра рассадил учеников.

— Они — что? — спрашивал он у Пани.— Пишут? Читают?

— Пусть читают,— сказала Паня.

Юра согласился.

— Попробуем записать синхронно,— предложил Юра-директор. И побежал за дорожным репортерским магнитофоном.

Но ветер относил слова, и лента воспроизводила лишь смутный, неясный шум.

Обилие приборов и треск аппарата привел всех — и участников съемки и зрителей — в состояние благоговейного оцепенения. Учительница и ученики проглотили невидимые, негнущиеся аршины и застыли, как солдат на побывке, с родителями, у намалеванных декораций на старой деревенской фотографии. Я с ужасом думал о том, как безвозвратно пропадает возможность показать на экране действительно своеобразно-неповторимый кусочек жизни в сегодняшней Ямальской тундре.

— Ты подойди к Семену,— придумывал Юра, стараясь хоть немного развязать Паню и избавить ее от скованности.— Наклонись к тетрадке!

Та подходила, наклонялась. Но действовали в ней не нервы и мускулы, а несмазанные рычаги и шарниры.

— А как вы тут живете? — спросил я у Пани, когда съемка окончилась и Иван Филиппов ушел, чтобы отвести вчерашнего выздоровевшего быка к стаду, отошедшему уже от стойбища за добрых полтора километра.

Паня пригласила меня к тому же чуму, где полчаса назад я нечаянно спугнул ее. У входа встретилась Анна Патранхасова. Она снова выносила швейную машину, чтобы исправить то, что пришлось ей напутать во время недавней съемки.

— Здесь сплю,— показала Паня на одинокую аккуратную постель у берестяной стенки; потом кивнула на сложенные, как и в другом чуме, напротив входа вещи, на три широко разложенные у стен постели.— По-зырянски живем. Три семьи здесь и я...

Старое слово продолжало существовать только как прилагательное, определяющее от века сложившуюся форму быта. Людей, которых когда-то звали «зырянами», теперь зовут так, как они сами себя называют: «коми». А про свою собственную жизнь в кочевье говорят: «живем по-зырянски». В этом чуме только Филипповы — коми. Остальные две семьи — ненецкие. А живут все по-зырянски. Это следует понимать так, что чумы у бригады попросторнее, чем бывали обычно у более бедных, чем коми, ненецких оленеводов; что порядок распределения вещей внутри чума другой; что стирка почаше. И женщины одеваются иначе, чем ненки: в жаркие дни они ходят в легкой одежде, напоминающей старинные паневы русских северянков, а на головах намотаны темные платки с торчащими в стороны рогатыми завязками (не под подбородком, как у мужчин, а наверху).

— Чего тут смотреть,— сказала вдруг Паня, поскуцнев.— Лучше я вам оленят покажу.

И она показала мне то, о чем уже рассказано.

Оленята спасались от слепней на льдине, плавающей в овражке.

Юра успел снять, как прыгали они туда, толкая друг дружку, и как сердилсЯ на них Бетон. Как Семен поймал Паню тынзеем, он уже снять не успел.

— Старые олени еще не обронили рога?—спросил он у Пани.

— Нет. У них сейчас как раз рога большие,— ответила Паня радостно, угадав, чего ищет Юра.— Есть очень красивые рога.

— Это мы снимем,— деловито пробормотал Юра и пошел по следу Ивана Филиппова, проваливаясь в выступающую меж кочек болотную

воду. Голова его временами терялась в черном кружащемся облачке налетевшего гнуса.

— Не скучаешь ты здесь, девушка? — спросил у Пани исполкомовский работник, когда та сыпала стрептоцид, отогнав оводов и привычно разговаривая со своим олененком.

— Некогда тут скучать, — сказала Паня. — Бывает, и захочется. А тут снова каслать надо. Вот вчера пришли, завтра снимемся. А может, еще и сегодня уйдем.

Пришел Яптэко Салиндер, молодой пастух, присланный по просьбе Пани Семеном. Голова его была открыта, но прямые черные волосы сами лежали шапкой. Лицо, если глядеть сбоку, казалось вырезанным жесткими, прямыми движениями ножниц по темно-коричневому пергаменту. Живые глаза смотрели весело и открыто.

— Не проломится льдина? — спросила у него Паня.

Он оценил картину в овражке с обстоятельной пристальностью.

— Однако, может и проломиться.

Яптэко спустился к воде и закричал резко и коротко.

Оленята на льдине забеспокоились.

Яптэко дождался, чтобы вода принесла льдину поближе к краю овражка, и снова крикнул, долго вытягивая ту же пронзительно-высокую и резкую ноту. Олешки выскочили на землю. Дружные удары копытец заставили льдину переломиться в тот самый момент, когда она опустела. От толчка тонкие пластины пошли ко дну. Погружаясь в воду, лед зеленел и потом исчезал, будто растворившись.

Яптэко обежал овражек, догнал оленят; с ним вместе кинулся к табунку и тот отдохнувший олененок, которого выхаживала Паня. Яптэко обернулся.

— Нарядная ты сегодня! — крикнул он Пане с наивно-открытым восхищением. Резкости уже не было в его голосе. Яптэко спросил: — Читать сегодня будем? На лодке от комаров уйдем и на озере читать будем.

Он предлагал тот же путь спасения, каким воспользовались оленята на льдине.

Мне показалось, что Паня обрадовалась и тут же смутилась от своей радости.

Нам Паня торопливо объяснила:

— Мы с ним сейчас «Как закалялась сталь» читаем. Конечно, многое ему понять трудно. Объяснять приходится на каждой странице. Но он очень способный. Ему учиться надо.

— А хочет он учиться?

— В Ленинград в будущем году поедет. Окружком обещал.

Не то легкая зависть, не то грусть была в этом Панином ответе.

Похоже было, что и исполкомец уловил эту интонацию. Он пытливо взглянул на девушку и принялся расспрашивать ее с грубоватой отцовской заботливостью. Паня отвечала охотно. Примерно так, как уже было рассказано, вырисовывалась несложная ее салехардская жизнь. То, о чем она не говорила, угадывалось и без слов.

Но вдруг Паня остановилась.

— Опять э т и идут, — сказала она, поглядев в сторону дальних холмов, и сразу отвела глаза.

Вдалеке показались две фигуры. Они шли сноровистым спортивным шагом, и расстояние сокращалось быстро.

— Приветик, — сказал первый из «этих», высокий узколицый парень в пестрой рубашке навывпуск.

Второй, росточком поменьше, был в ковбойке и штормовых брюках, застегнутых у щиколотки, над промоченными в дороге сандалиями. Из-под белой шапочки с похожей на траурный креп откинутой черной сет-

кой накомарника выбивались рыжие волосы. Парень сказал с излишней аккуратностью, скрывающей едва уловимый акцент:

— Здравствуй, Паня. Мы целых три дня не виделись. Ты очень переменялась за это время. Конечно, к лучшему.

Говоря, он наклонял голову к плечу. Сразу можно было заметить, что в его повадке малость переложено сахару.

— Мне там поговорить надо,— не слишком находчиво уклонилась Паня от долга гостеприимства.— Хотите, подождите часок.

Исполкомовец после Паниного бегства тоже недолго оставался. Он заметил старика Филиппова и ушел к нему. «Эти» сидели на нартах, отдыхая с дороги.

Вскоре я узнал, что они пришли из третьей бригады. Каслают с бригадой второй месяц.

Узколицый отреккомендовался Эриком Огурцовым. Спутник его — Хусаином Мурадовым. Первый окончил в Москве ветеринарную академию и не стал бунтовать, когда его направили научным сотрудником оленеводческой научно-исследовательской станции. Потом разговор показал, что за этой покладистостью таился свой расчет — потоньше и по-противнее, чем в грубом отказе. Но это не сразу стало понятно.

Хусаин приехал из Казани. Он начинал учиться в двух институтах и оба раза вылетал после первого же семестра, даже и не пытаясь сдать зачеты. Так выходило из рассказанных им количностей. Сахар первоначальных его фраз предназначался для Пани. В «мужском разговоре» оставалась прогорклая циничная опустошенность, сдобренная мальчишеским бахвальством. «Как попал в Салехард? — переспрашивал Хусаин.— Очень просто. Положил перед собой карту, поглядел в потолок, ткнул пальцем. Старался забирать покруче на Север. Вот возле Салехарда и пришлось. Надо же где-нибудь начинать». Он и работ перепробовал уже несколько. Теперь служит лаборантом на той же научно-исследовательской станции.

В бригаду их обоих послали, чтобы испытать новый метод лечения болезни, именуемой в просторечии—«копытка», а по-научному—«некробациллёз». Эта болезнь бывает у различных животных, а северный олень особенно ей подвержен; случалось, целые стада падали от этой болезни, и наука нынче решительно взялась за нее.

Выходило, что Эрик и Хусаин — объективно — делают здесь большое и нужное дело. Но Эрик не скрывал своей подлинной цели:

— Поработаю тут два-три года — пусть попробуют потом не принять меня в аспирантуру и не пустить обратно в Москву. Специально выбирал: чем глуше, тем лучше...

А Хусаин жил попроще: день прожит, и ладно. Завтрашний тоже как-нибудь пройдет. А до послезавтрашнего так еще далеко, что о нем и заботиться нечего.

Знакомая «философия». Это мы на Ханмэе у Витальки встречали. Но опыт говорил и другое: трудно и вообще прожить так жизнь, а уж на Севере-то с такой «философией» долго продержаться никак нельзя...

— Что же, сюда тоже из-за копытки ходить приходится?— спросил я.

— Нет, копытки у нас-сейчас-ни в одном стаде нет,— не без гордости заверил Эрик.

Хусаин ухмыльнулся.

— Женское общество облагораживает,— сказал он.— Вот и ходим.

«Опять эти идут»,— сказала про них Паня. Теперь понятно, почему она так говорила. Она знала, зачем «эти» ходят, чего ищут, и это ее начинало беспокоить.

Потом мне рассказывали, как недели три назад пришел сюда из третьей бригады старик Филиппов.

В чуме ужинали.

Паня уже привыкла к тому, что ели в чуме, сама научилась строгать оленину и нельму. Она держала в коленях медный таз; розовые ломти сырой рыбы падали из-под ножа, сразу обливаясь золотым жиром. Филиппов подсел к очагу и принялся неторопливо рассказывать нехитрые бригадные новости. Сперва, конечно, говорил про олешков: какие важеньки отелились, какие бычки крепенькие растут. Потом, сузив в щелочки и без того узкие веселые глаза, прихлебывая чай из большой кружки, Филиппов заговорил о событиях, случившихся наемни в их чуме.

— Рано мы спать легли. Тепло в чуме, собачка у огня жарится, за́снул я скоро. И не то сон мне видится, не то слышу я: «Над моей женой тебе дела нет». Полёжал, послушал — не сон это. Тепан пастух из стада пришел, и это он мальцу бает: «Над моей женой тебе дела нет». А жонка Тепанова на постели сидит, молчит. И малец молчит, стоит посередь чума, слушает. Вот, гляжу я, Тепан мальцову постель выдвинул да из чума на улку и поволок. Малец за ним. Недолгое время не было их, потом приходит Тепан обратно—один. Слышу, собачка бизджит. Это Тепан рассердился да обуткой ее. А меня смех душит. Я Тепану шутейно: «Ты,—баю,—возьми верви поядреньше и стегани обоих, чем собачку-ту обижать». А Тепан: «Нет,—бает,— и так будет хорошо». Глянул я на улку: бегают малец, будто черти его гоняют, раз сопку окружил, другой окружил. После свою постель с болота вздвинул и — в другой чум...

— А теперь?

— Там и живет, в другом чуме. Где Егор Пырерко — там и живет. Старухи в том чуме одни. Спокойно теперь мальцу...

«Мальцом» он называл Эрика.

А Паню старик Филиппов звал «йгрицей». Веселое печорское словцо: девушка, за которой ухаживают парни. «Есть тут у вас игрица, вот и бегают мальцы...» Про Эрика он рассказывал, чтоб и Паня слышала. Пусть знает.

Михаил передавал нам об этом происшествии без затей и «морали»: был, мол, такой забавный случай — и все.

Но работника исполкома не рассмешил рассказ о похождениях «мальца» в чуме первой бригады.

— Старым книжкам небось поверил,— проворчал он.— Или от горепутешественников врак наслушался. Закон, мол, гостеприимства... Гостю в чуме жену предлагают... Нарвать бы уши! Живут в чуме люди как люди. Может, и бывало что, когда жена ненцу рабой бессловесной была. А теперь и в чум жену по любви приводят. Счастливо, выходит, отделался ваш малец.

Что счастливо — это верно. Да только счастье не пошло Эрику на пользу. Ничему он не научился. Про свои визиты в первую бригаду они с Хусайном говорили с казарменной откровенностью. «Читать мораль» дружкам, говорить про то, что живут они нехорошо и за девушкой бегают гадко, было бессмысленно и даже вроде бы глуповато. Вероятнее всего, «мальцы» посмеялись бы и только. Научить тут может лишь — рано или поздно — сама жизнь. Но день, который начинался хорошо и светло, был этим разговором загажен, настроение испортилось; я оставил «мальцов» у овражка и поторопился вернуться к чумам, где исполкомовский работник толковал с Филипповым, записывая в книжку, что нужно пастухам прислать из Салехарда, отмечая для доклада сведения о состоянии оленьего стада и выслушивая нелестные слова о работе почты и кинопроката.

Вот ведь и Паня, думал я, в тундру тоже пошла, как говорится, «с целью». Проживет два года в бригаде и в награду за двухлетний отказ от привычного образа жизни получит право на поступление в инсти-

тут. Не так ли рассуждает и Эрик: «Два-три года в Салехарде, а тогда пусть попробуют не принять в аспирантуру»? Но стоит только подумать об этом, чтобы понять, как глубоки здесь различия. У Эрика — окольный ход. У Пани — живой отклик на услышанный ею призыв к учительской молодежи. Для Эрика аспирантура — только начало «карьеры», синоним обеспеченного заработка и возвращенной московской прописки. Для Пани педагогический институт — призвание, мечта жизни. Нынешнее кочевье продлится для Эрика одно лето. Это короткая командировка, и, несмотря на это, легко представить себе, как превратится она в его будущих рассказах в цепь подвижнических лишений, за которые и следует ему платить сполна — аспирантской ставкой. Паниа год прожила с пастухами; проживет и второй. Она стала не только «своей» в чуме, где стелется ее постель; для тех, кто ее окружает, она человек нужный и дорогой. Она первая повела десяток взрослых людей в незнакомый им прежде широкий и пестрый мир, открывающийся для них через книги. Может, кто и пожмет тут плечами: «Десяток людей? Подумаешь! Стоит ли это разговора?» На такой вопрос, пожалуй, не ответишь словами; хорошо бы привезти скептика в тундру, познакомить с Анной Патранхасовой, с Яптэко Салиндером, с семьей Валеев. Там, где статистики числят людей единицами на площадях в сотню квадратных километров, — там и счет десятками воспринимается по-иному, и мера тепла, излучаемого человеком, тоже другая, и как же возрастает эта мера, когда ширится у людей кругозор и зажигаются новые мысли!

С этими раздумьями подошел я к нартам, и настроение, испорченное знакомством с «мальцами», начало исправляться.

Филиппов рассказывал про оленей.

Что означает олень в жизни северянина, можно понять уже из самого количества слов, существующих в ненецком языке для того, чтобы можно было всякий раз по-своему называть почти неразличимые для непосвященного разновидности олешков. Вот олень с белой грудью — это одно, а совсем белый — уже другое. Для каждого из них есть свое слово. Домашний олень — третье, дикий — четвертое. Олень, сбросивший первые рога, — это «малк», а вообще взрослый, шестилетний упряжной бык — это «мáтась»...

И есть еще слово «йилебць»; у него два значения. Это и «олень» и «средство к жизни». Олень — это еда, одежда, дом, заработок, достаток. И все это и есть «йилебць» — вместе и отвлеченное понятие сытости, тепла, доброй жизни и вот этот совершенно конкретный, живой небольшой олешек. Непонятно, как несет он на тонкой и милой своей голове такие непомерно большие и, вероятно, нелегкие кусты-рога; непонятно, как может он на этих стройно-поджарых и маленьких ногах бежать с такой неожиданной быстротой, таща груженные нарты...

Филиппов жалуется на то, что зима «сэйгод» была снежная. Из-под глубокого снега ягель оленю добывать трудно. Глубокий снег — беда. Зато теперь ягельники хороши, отъедается стадо. Ну, и работы олешкам хватает тоже. Ачкасов по сто упряжек заказывает, а когда и больше. И топографам олени нужны, и Академии наук тоже...

— Академик один ко мне приезжал, — хвастает старик. — Пойдешь, бает, сам в проводники? Коль пойду, ножик свой отсулил. Хороший у него нож, чего только нету. Надо быть, сходить придется...

Он замечает дочь Анны.

— Ань-дорово-те, Пилька, — окликает ее серьезно старик и, заметив у девочки в руках какой-то пестрый предмет, заводит беседу: — Ну-тко, подай бабúшку.

«Бабúшкой» он, как здесь принято, зовет тряпичную куклу.

Пяля на старика Филиппова большие неподвижные глаза, Пилька протягивает ему свою игрушку; тот преувеличенно восторгается, как

делают это все старики на свете в разговоре со всеми на свете детьми. Выясняется, что Пилькину бабушку — ситцевую толстуху с разрисованным цветными карандашами лицом-подушечкой — делала Паня. Она сидит тут же, только бы не идти к «этим». Старик усмешливо взгляды-вает на девушку.

— Тебе бы самой бабушку нянчить, — беззлобно ворчит он, и тут же добавляет: — Пока что другое не завелось... Игрица...

Паня заливается краской. Выручает ее Михаил Валей.

Он появляется, гоня перед собой молодняк к большому стаду.

— Ехе, хэй-хэй-хэй! — покрикивает он чужим, дурным голосом, но, поравнявшись с нами, обрывает резкий гортанный крик и говорит обыкновенно и ровно: — Олешки, однако, далеко отошли. Ягельник там богатый. Надо бы и чумы поближе поставить.

— Опять каслать? — негромко не то спрашивает, не то покорно от-мечает Паня, и в этой покорности можно уловить еще незнакому интонацию, которой не было у нее до сих пор. Видно, и товарищ из исполкома почувствовал эту интонацию и тоже удивился ей.

— Как же тебе тут живется, девушка? — спросил он вдруг.

Разно можно отвечать на такой вопрос. Бывает, вовсе незнакомый человек спросит — попутчик в дороге или случайный сосед где-нибудь на берегу реки. Видишь его в первый раз и знаешь, что никогда больше с ним тебе уже не повстречаться. А почему-то хочется все ему выложить — глаза у него, что ли, такие, душа в них, как говорится, видна и видно, что не просто так спросил человек, а в самом деле ему интересно: как же тебе, другому человеку, живется? То ли в вопросе попутчика моего не уловила Паня такого живого интереса, то ли просто самой не захотелось распространяться. Она ответила так, как чаще всего на этот вопрос и отвечают, — одним словом, теряющим в таких случаях содержание и цвет:

— Хорошо.

Но попутчик мой продолжал смотреть на нее, и Паня повторила убежденнее, возвращая слову смысл:

— Хорошо живу. — Она помолчала, очень низко опустила голову и добавила совсем тихо: — Каслать только надоело.

И снова — после паузы, с полным уже убеждением:

— А так — живу хорошо.

Пожалуй, все тут и было. Всем бы хороша была здешняя Панина жизнь, если б не тяготил непривычный кочевой ритм, лишенный прогн-женности времени и вместе с тем нескончаемый; ночь в чуме, день в нар-тах — сборы и новоселья. Только в «новосельях» как раз и нет ничего нового: всякий раз выбирается место, похожее на вчерашнее; ле-том — озерко рядом, невысокие холмы, серебряная ягельная тундра во-круг; а зимою — все белое, чернеют только проталины, которые дыш-шали олешки, добираясь теплым носом до прикрытого снегом мха. Сборы и новоселья; от моря и к морю; короткое время стоянок, корот-кие переходы, а вместе — течет кочевье, как медленная река без истока и устья. Вероятно, привыкнуть к этому можно только с рождения. А в остальном — все хорошо. Доверчивые глаза людей и оленей. Ненавязчивое дружелюбие. И то, что всего дороже: чувствуешь, что дело твое нужно другим, что сама ты нужна и что тебе благодарны.

Паня вслух читала с Яптэко «Как закалялась сталь» и должна была объяснять самые, как ей казалось, простые вещи. Что такое степь? Или: как убирают хлеб? (Она сама недавно увидела это впервые из вагона, по дороге в Челябинск; объяснять «простое», которое как бы само собой подразумевалось, человеку, привыкшему во всем, что ему незнакомо, искать ясной конкретности, было очень нелегко.) Зато, слушая про Пав-ку, Яптэко не требовал никаких объяснений: тут ему все было понятно.

Павка словно сам входил в Яптэко; темное скуластое лицо пастуха было неподвижно, Яптэко слушал, полураскрыв жестко вырезанные крупные губы, никак нельзя было представить, что он может поцеловать этими губами, как целовал Паню «П. С.» в Салехарде после катка или как попробовал раз поцеловать Эрик, придя из третьей бригады без Хусаина. Не потому ли Пание было с Яптэко так странно — спокойно и беспокойно, будто она должна сама что-то сделать и неправильно, что ничего она не делает, а только читает и читает...

Как-то Яптэко остановил Паню, положив на страницу маленькую заскорузлую руку.

Она читала тогда, как ослепший и парализованный Корчагин твердо решил, что сумеет оставаться в строю.

Паня решила, что Яптэко не понял слова.

— Понимаешь? — спросила она. — Ну, так жить, чтобы быть полезным. Строй... Это — все люди работают. Ну, и Павка. Он очень болен. Но он может делать то, что нужно людям...

Но сбивчивое объяснение не нужно было Яптэко. Он и без него все по-своему понял.

— Павка уже был мертвый, — сказал Яптэко, будто катая тяжелые, недающиеся слова. — Он уже был мертвый, но он не хотел в страну предков. Он остался с живыми потому, что он мог писать.

Так это понял Яптэко. Но он заговорил не ради того, чтобы объяснить Павкины мысли. Он думал о себе.

— Я тоже, когда умру, не захочу уходить, — сказал Яптэко. — И я, однако, писать тоже умею. А голова у меня пустая. Ничего еще со мной не было. Что я знаю, то и все люди знают. Не нужно им это. Чтобы так сделать, как Павка, — надо жить иначе, однако...

Первое, совсем смутное стремление к подвигу — вот что это было у Яптэко.

Наверно, ему и раньше хотелось чего-нибудь необычайного. Встретиться, например, один на один с медведем, убить его, а потом вернуться в чум, таща тяжелую шкуру, и сказать между прочим, как ни в чем не бывало:

— Медведя, однако, убил. Туша там лежит. Нарты запрягать надо. И пусть кто-нибудь со мной едет. Одному не взвалить на нарты. Медведь большой, однако...

Но сейчас было другое. Сейчас Яптэко впервые понял или, вернее, начал понимать подвиг как поступок, совершаемый не ради собственной гордости, а для других и вместе с другими — «в строю», как говорил Павка.

Про это могла бы Паня записать в свой дневник: так близки были неуклюжие пока раздумья Яптэко к тому, о чем сама она — тоже еще по-ребячески смутно — думала и мечтала. Но Паня ни строки не записала об этом в тетрадку. Она совсем забросила здесь свой дневник. Писать только о прочитанных книжках было неинтересно, а событий вокруг, на ее взгляд, никаких не происходило. Только знай раскидывай чум да собирай его снова в дорогу. Сборы и новоселья. Остановись, отдышись и каслай дальше...

Того, что стремление к подвигу, зародившееся у Яптэко Салиндера, было также и началом ее собственного, Паниного, подвига, она не заметила. А если бы ей и подсказать — отнеслась бы строго: зачем смеяться? Разве подвиг таким бывает?.. Вот появленье Валея с напоминаньем о том, что стадо ушло на дальние ягельники и, значит, пора каслать дальше, — это и есть правда ее каждодневной нынешней жизни. Какой уж тут подвиг?!

Зато с легким сердцем смогла она сказать Эрику и Хусаину:

— Некогда мне сегодня, мальчики. Перекочевывать скоро будем.

Хусаин предложил: день хороший, пусть трогается аргиш, а они пойдут пешком, не торопясь, проводят Паню.

Но на этот раз Паня Красная Шапочка не поверила Волку.

— Неохота,— протянула она лениво. И сказала, что «мальчикам» будет слишком далеко возвращаться. Кто знает, снимется ли сегодня и третья бригада? Вон и Гавриил Васильевич будет возвращаться туда. Шли бы лучше с ним вместе...

Километров десять в один конец да пятнадцать обратно — так обрисовала Паня молодым ветеринарам реальный масштаб легкомысленно задуманной ими прогулки. Пришлось согласиться: многовато — по мокрым болотным кочкам.

Но прежде чем они ушли, прежде чем первая бригада начала разбирать свои чумы, старик Филиппов успел еще повспоминать недавнее прошлое. Это началось с разговора «мальцов» о копытке и с филипповского замечания, что, мол, олени меньше болеют теперь и потому колхозное поголовье увеличивается быстрее, чем прежде, когда стада, принадлежавшие богачам самоедам, ходили розно.

«Помнишь, сделали мы оленей в одно стадо?» — такими словами обозначают Филиппов и Николай Патранхасов возникновение их колхоза.

Оленей в одно стадо «делали» тут не так уж давно. На Ямале этот процесс начался незадолго до войны, а заканчивался уже в послевоенные годы. Значит, всего только десять лет назад мои собеседники были батраками. Хозяин мог бить их хореом. И не только мог, — знаю по многим рассказам, — бил, калечил, забивал до болезни, до смерти. Разумел, конечно, что власть не похвалит, если узнает об этом; но знал и то, что батрак сам никому не пожалуется, вековая привычка не позволит, вековая боязнь лишиться куска оленьего мяса, лепешки, чашки спирту — всей малости, что дает батраку хозяин. Наверно, еще и старые синяки увидеть можно под малицей. Но возле оленей, «сделанных в одно стадо», выпрямился человек, обрел достоинство, другой жизни уже себе и не представляет. И потребовался на это всего лишь десяток лет. Прав был Курдов, говоря на Ханмэе об относительности чисел и сроков.

До сих пор и там, на Ханмэе, и в Речной, и в самом Салехарде мы встречались по преимуществу с новичками на Севере и приглядывались: как же они здесь привыкают? У Константинова Камня мы очутились среди людей, которые в здешнюю трудную почву уходят всеми возможными корнями. На первый взгляд, кроме «сделанных в одно стадо» оленей, кроме иной организации древнего их хозяйства, не так уж много переменялось в обстоятельствах жизни пастуха-оленевода. Та же скудость природы, те же долгие и темные зимы, то же однообразие каслааний. И вместе с тем — все другое. Даже и для тех, кто по-прежнему никогда за всю свою жизнь не покидал родной тундры, кто даже и Салехарда не видел, — даже и для них приоткрылся весь широкий мир в бесчисленных сложных связях. Будто новое измерение появилось в прежде плоскостной жизни. Постель такой Пани Полозовой в кочевом чуме — знак нового. Записи в книжке работника исполкома (по этим записям достанется почте; Берсенёв спустя несколько дней повезет сюда кинопередвижку; салехардскому торгу придется раскататься и переслать в бригаду сушеную картошку, консервированный компот и кирпичный чай) — тоже новое.

— Ехе, хэй-хэй-хэй! — ухарски кричал уже вдалеке Михаил, поощряя молодых оленят.

Отец и сын Патранхасовы, скликая женщин, пошли к чумам, чтобы приняться за разборку.

Юра возвратился от стада. Он устал, но был счастлив. Паня сказала правду. Он радостно подтвердил: «Это удивительно, какие я там рога

видел. Просто дерево на голове растет. Сам -на-экране увидишь и то не поверишь...»

У работника окружного исполкома были еще дела в Байдарацкой губе и на Карском побережье Ямала, в пункте, отмеченном на карте маленькой точкой: Марре-Сале.

Жена Валея повезла нас на той же оморочке к «антону». Неподалеку молодой пастух тащил на берег сетку. Женщина окликнула его, ненец приподнял сетку, чтобы похвалиться уловом, и одинокая рыба, свисавшая из ячеи, сорвалась-таки и весело плюхнулась в воду. Евдокия Валея шумно поддразнила парня, не переставая орудовать тонким веслом с двумя небольшими круглыми лопастями. Парень смущенно отшутился. Он снова потащил к берегу сеть, и в ней блеснула еще одна рыба, покрупнее первой.

Потом «антон» побежал по воде. Брызги ударили в плексиглас, закрывавший окошки. Сквозь текущие по окну потоки я разглядел Паню. Она прибежала на берег, еще не сменив «выходного» платья, и махала отрывающейся от озера машине.

Чумов уже не было видно, их успели разобрать, наверно. Еще можно было различить движение фигурок у нарт, а оленье стадо вдаль снова слилось в сплошное пятно: будто сама земля колебалась.

Опять показался Константинов Камень, и за ним — битый лед Байдарацкой губы. В полете мокрый плексиглас обсох сразу, все теперь выдилось отчетливо, ясно. Несколько строений и большой двор открылись спустя недолгое время. Это и были Яры — пушная фактория. Летчик сел на разводье. Довольно широкая полоса льда не подпускала нас ближе к берегу, но тут оказалось мелко и, раздвигая руками лед, к нам пришел работник фактории, обутый в высокие резиновые сапоги, сращенные с непромокаемыми, завязанными на груди штанами. Шагах в пятнадцати от машины ему пришлось остановиться; вода подошла под завязки и, заглядывая издали в открытые дверцы «антона», он прокричал, что заведующий факторией ушел вчера по охотничьим избам и возвратится только через три дня.

— А кто на фактории? — крикнул работник исполкома, высунувшись из дверки.

— Я! — отозвался человек, так орудженный льдом, что стал похож на бюст, сооруженный на плавучем поле. Странное сходство становилось еще очевиднее оттого, что низкое солнце било человеку прямо в лицо, делая бронзовыми и трех, и верх черного овчинного полушубка, и поднятое к самолету лицо с прищуренными от солнца глазами, с окладистой всклокоченной бородой и дремучими усами.

— Так ты Гаврилов?! — удивился наш спутник, разглядев лицо над водою.

— Гаврилов! — подтвердил бюст и в свою очередь опознал исполкомовца, называя его по имени-отчеству.

Выходило, что в тысячеверстной околице наш попутчик знает каждого коренного старожила точно так же, как знает всех земляков любой сельсоветчик в своей деревне. Ничего удивительного. Народу на этой просторной земле было, вероятно, не больше, чем в одной среднерусской деревне, а заглядывать исполкомовцу приходилось повсюду. Только Гаврилова он прежде видел без бороды. Сам его не так давно направлял сюда, на факторию.

Переключка продолжалась.

— Чего вам тут надо? — допытывался исполкомовец во весь голос.

— Мы радировали! — откликнулся бюст Гаврилова, бронзовым рупором сложив ладони. — Мука кончилась, и газет давно не видали!..

— Всё?

— Всё!

— Тогда ясно! Бывай, Гаврилов!

Бюст попрощался.

Снова раздвигая перед собой лед и постепенно вырастая над морем, Гаврилов зашагал к фактории, а летчик включил мотор, поднял «антона» над Байдарацкой губой и повел к Марре-Сале.

Там вода была чистая, ничто не помешало нам сесть у берега, принять к борту лодку и потом выкарабкаться на круто срезанный каменный откос над водою. Но попутчика нашего и здесь постигла неудача. Он летел к геологам, а их, как и заведующего факторией, тоже не было на месте.

Марре-Сале — пункт, который вы можете увидеть даже на не слишком подробной карте, — оказалось селением, состоящим из трех домиков и пяти-шести чумов.

В домиках жили геологи, в чумах — рыбаки.

Рыбаки-то нас и встречали. Среди ненцев оказалась московская — измайловская — разбитная девчонка, сверкающая двумя золотыми зубами.

— А как там наши, в Аксарке? — сразу спросила она у исполкомовского работника с той же приятельской радостью узнавания, какая послышалась недавно и у Гаврилова.

Ловецкая бригада заброшена сюда из Аксарки — с другой стороны полуострова. Уходит из речек лед, скоро начнется путина. Те, кто остался в Аксарке, для кинувшейся сгоряча на Север («Вербанулась», — напустив беззаботность, сообщила она тогда московским подружкам) и прожившей на Ямале уже три года девчонки успели стать «нашими». Но и Измайлово, оно тоже, конечно, оставалось «нашим».

— Стадион у нас не достроили?

Этот вопрос обращен к нам.

Стадион в Измайлове не достроили, зато метро там ушло дальше прежнего — узнать об этом в Марре-Сале непосредственно от очевидцев тоже приятно, даже если из писем это и было давно известно.

— В этом году в Москву с мужем в отпуск приедем...

Муж — ненец. Он стоит рядом, будто навсегда замороженный золотозубой улыбкой жены. Над верхней губой — маленькие усики. Голова не покрыта. В капюшоне жарко, а носить платок, наверно, жена не дает. И во рту — тоже золотой зуб.

Исполкомовец уже достал записную книжку. Расспросы. Бригадир — муж землячки — отвечает про нужды бригады. Говорит обстоятельно, советуясь с рыбаками. Жена на него покрикивает, поправляет, немного рисуется. Спутник наш делает пометки для памяти...

Прощание.

И снова — «антон» — над морем.

### Гостиница «Север»

Чем дальше уводит дорога, тем милее для сердца становится путевой пристанок. Можно неблагодарно забыть безликий уют краснодеревых городских номеров, с их равнодушными зеркалами и ванной белизной, с чужими квитанциями, оставленными в пустых ящиках стола, с возвращенными отпечатками чужих писем на пропускной бумаге. Но никогда не забудется свежий, прохладный, круто-хрустящий вкладыш, вложенный в спальный мешок гостеприимным хозяином палатки, рассветное умыванье в ледяном ручье, прогорклый запах костра, примешанный к заваренному в котелке крепкому чаю.

И с благодарностью вдохнешь постоялый дух поселкового общежития с отсыревшими в своей перестиранной чистоте бязевыми простын-

ками, с теплой жесткостью солдатского одеяла, с мгновенным провалом в непробудный сон, хоть железная койка чересчур коротка и узка, хоть затекший кулак всю ночь подпирает под головой тощую и плоскую подушку.

Сколько уж раз — мечтой, исполнением самых заветных желаний — вспоминался вдруг где-нибудь в тундре тот же, годами настоянный, невыветриваемый дух двухэтажного деревянного дома на улице Республики — салехардской гостиницы «Север». И когда тряслась в вездеходе по бессонной дороге — во сне, не во сне — отяжелевшая голова, когда в пути от стойбища к стойбищу мелкий холодный дождь просекал «непромокаемую» штормовку, — как же мила была тогда далекая комнатка в этой гостинице, оставленная и ожидающая, знакомая до последних мелочей: тесно составленные койки под облупившейся стенкой; голая лампа на коротком шнуре, которую, слава богу, не к чему зажигать, потому что и без нее светело круглые сутки; расшатанный гвоздь у дверей, ожидающий твою зашлепанную в болоте штормовку; торфянистая желтоватая вода в пузатом графине.

Четырежды возвращались мы уже в эту комнату с дорог, пройденных по Ямалу и Заполярному Приуралью.

В некоторых номерах постояльцы менялись. Из комнаты, возле которой мы привыкли встречать сухонького старичка с тонкой серой кожей, так туго обтягивающей кости лица, что даже страшно бывало: а не лопнет ли вдруг эта усталая иссохшая оболочка? — выходил неожиданно ражий молодец; и тельняшка на нем была молодецкая и светлый чуб — молодецкий; наверно, молодецкими были бы и пронзительно синие глаза его, если бы не легла на них мутная похмельная поволока. Старичок был не то контролером, не то ревизором, и к нему спозаранок тянулись поникие бухгалтеры местных строительных организаций. Парень же в тельняшке оказался механиком пришедшего с верховьев речного буксира; перед новым рейсом выдалось у него двое свободных суток, и он решил провести их на берегу. Корреспондента областной газеты сменял рыбозаготовитель; заведующий сберкассой из Кушевата, дождавшись своего самолета, улетал на юг, и его койку занимал ютившийся на диванчике рядом с дежуркой аккуратный ленинградский специалист по пушнине; он приехал отбирать шкурки для международного аукциона, а вечерами беспринято бродил по гостинице, отыскивая партнеров на преферанс. Утром появлялись вдруг на лестничной площадке немолдые майоры и капитаны в казенных нижних рубахах, заправленных в форменные синие галифе; резкий запах ваксы распространялся по всей гостинице: новые постояльцы, став шеренгой, начищали сапоги и дружно уходили в буфет. Это были районные военкомы, прибывшие для получения «ростовок» — досок с делениями, чтобы измерять рост новобранцев. В два дня заканчивали они свое дело и уезжали — с пристани, с аэродрома, на попутных грузовиках. Хлопали дверями, перекликаясь из номера в номер, голосистые физкультурники; в их компании попался нам как-то Лепешкин, гимнаст с Ханмэя. «Завтра домой еду», — сообщил он. Наш Анатолий ахнул: «Куда домой? В Ленинград?». Лепешкин обиделся: «К себе, на Ханмэй». Скрипела деревянная лестница досками, протертыми до вмятин. Чужая жизнь текла сквозь дом, как река в трубе. Но иных сносило к сторонке, и они застаивались, задерживались, и, вернувшись домой, мы снова встречали знакомые лица в нижней кухне, где на просторной печке кипятилась в ведрах вода для чая и для бритья и где гастролирующие в местном театре тобольские актрисы в запахнутых ситцевых халатиках торопливо жарили рыбу и варили лапшу в игрушечно-лиллипутских синих кастрюльках, а мужья в полосатых пижамах напоминали им о репетициях, наигрывая усталое мученическое долготерпение поставленными голосами.

— А-а, ты все еще здесь, Песечек?! — кричал вернувшийся Юра-директор намыленному животноводу, подпоясанному полотенцем.

Животновода звали Радием, но Юра называл его «Песечек», потому что песцы были его специальностью. Радий приехал месяца два назад и дожидался комнаты от научно-исследовательской станции. Иногда его выгоняли, очищая гостиницу для делегатов какой-нибудь конференции. Радий ночевал в лаборатории, потом оказывался в гостинице снова.

— Вернетесь — новоселье устроим, — грозился он всякий раз перед новым нашим отъездом.

Но мы снова заставляли его в том же номере, где стояли три койки; на двух постояльцы то и дело менялись, а Радий оставался.

— Только-только начал радиодело узнавать, — жаловался он, — а радист и уехал. Теперь консервщик живет. Но не узнаешь от него ничего путного. Днем молчит, а ночью храпит.

Открытый нараспашку, весь вынесенный на люди шатучий дорожный быт возвращал взрослым людям полузабытые мальчишеские привычки и вносил в гостиницу озорной дух школьничества.

«Нянечка» — называли здесь уборщиц.

— Тетя Зоя, — говорил молодец в тельняшке, обращаясь к массивной рыхлой буфетчице и блуждая глазами по полускрытым могучей ее спиной полкам, уставленным кагором и плодоягодным: — Крепенького чего нет ли?

— Тебе бы сейчас кваску порезче, — жалостливо откликнулась тетя Зоя.

Но и кваса у нее не было.

Не только гостиничные постояльцы сидели в буфете. Здесь бывали и захожие завсегдатаи. Они тоже звали буфетчицу «тетей Зоей», забегали второпях, обсаживали маленький столик вшестером или ввосемьмером, брали на все бутылку «морсу», имеющего цвет воды, слабо подкрашенной фиолетовыми чернилами, и много стаканов. Резали на газетке копченую рыбу и заедали ею морс, почему-то терявший в стаканах свой анилиновый цвет и приобретавший просветленную прозрачность. Бутылка оказывалась бездонной.

— Ой, будет мне из-за вас, — вздыхала тетя Зоя.

— Порядок! — возражали из-за стола. — Полный порядок!

И возвращались к зычному, но невнятному обсуждению собственных дел. Поминался гараж, экономия бензина, какая-то дорога, которая всем насолила, и диспетчер — с неизменным добавлением к его имени недвусмысленно кратких осуждающих слов.

— Ты бы, Гена, потише, — опять вздыхала тетя Зоя.

— Порядок! — с готовностью соглашался Гена и тут же выкрикивал в полную силу легких то же слово, без которого все остальные слова сразу теряли для него окраску и смысл.

В гостиничных коридорах мелькал круглый, крепкий, рано лысеющий человечек. Фамилия его была Соколов, но все звали его не иначе, как Бишкой. Он и сам так представлялся, и даже друзья так и не успевали узнать, каким было его настоящее имя. Тетя Вера — дежурный администратор, — и та сообщала о нем:

— Вас тут Бишка спрашивал.

Тетя Вера была сухая старушка, всегда в черном, с высоким узлом седых волос, с чопорно подобранным лицом и неожиданными на этом лице нечистыми — под старомодным пенсне — глазами монашки, принявшей поздний постриг, когда грешить уже не позволяли годы.

— Меня зовут Вероника Феликсовна, — сообщала она постояльцам.

Но на другой день они все равно начинали звать ее «тетей Верой». Не из симпатии, а просто подчиняясь поветрию, всеобщей привычке.

— У вас вчера очень поздно была женщина,— сухо отмечала она, принимая ключ от парня в тельняшке.

— Так, тетя Вера, это же у меня Маркин с жинкой был. Кореш.

— Все равно. Я не знаю «жинка» она или не «жинка». Нужно подчиняться порядку. После одиннадцати гостям в помещении находиться не разрешается.

Вникать она ни во что не желала.

Сменщицей тети Веры была тетя Варя — женщина такого же возраста, но совсем иного склада.

— Куда же я тебя, голубь, полóжу?— сокрушалась она при появлении нового проезжего.— Все щелочки же у нас забитые...

А тетя Вера отрезала в таких случаях как бы даже и с удовольствием:

— Нет мест, гражданин.

Суть-то была одна и та же, но ощущение оставалось разное. Обогретый радушием тети Вари, человек смирялся: «Бывает в дороге. Можно и подождать». А встреча с тетей Верой будила в нем раздражение и ответную враждебность ко всему окружающему.

Но про Соколова и тетя Вера и тетя Варя говорили с одинаковой пренебрежительностью:

— Вас Бишка спрашивал.

Бишка сводил знакомства с приезжими и становился при них гидом и добровольным шутком. Он готов был вылезть из кожи, только бы весело и легко было с ним новому знакомцу. Я думаю, что он не искал корысти, хотя и любил присматриваться к ярким вещам. Не стяжательство, а первобытное дикарство просыпалось в нем, когда Бишкин взгляд падал на чью-нибудь яркую сорочку, затейливый ремень, пестрые носки или даже не совсем обычную расческу.

— Махнем? — алчно спрашивал он, и тут же принимался подбрасывать на ладошке вечную ручку или другой какой-нибудь предмет, добытый в свое время тем же путем: Бишка «махнул» этот предмет с каким-нибудь приезжим и уже успел пресытиться им, и жаждет нового блеска, чтобы питать свою неутолимую гордыню.

Бишка встречал столичного приезжего так же, как когда-то океанийский туземец выходил на берег, завидев парус Маклая: тот дивился бусам и погрешкам, а когда бусы были уже и у других соплеменников, радовался табакерке или подзорной трубе, которые один он успел «махнуть» за кокосовый орех или деревянного идола.

Бишка мог внезапно стать на руки и спуститься так по гостиничной лестнице. Он мог вдруг пойти на руках по улице, по доскам лежневки.

— Ну чисто клоун! — забавлялась тетя Варя, высунувшись из администраторских дверей.

Но это не мешало ей осуждать Бишку в глаза:

— Нестоящий ты человек...

Резвясь, Бишка орал на всю улицу полупристойные куплеты и шутки навстречу девчонкам-портнихам из комбината бытового обслуживания или смазливый няням из детских яслей.

— Вот дурак! — радостно удивлялись юные портнихи и няни.

Конечно, тетя Варя была права. Сейчас Бишка был «нестоящим» человеком.

Но девчонки в простодушии ошибались. Дураком он не был.

Бишка приехал на Север лет шесть назад — так же, как недавно приехал сюда Хусаин: что-то в жизни надо было делать. Почему бы не поискать удачи на Севере? Говорят, будто деньги валяются там прямо на мерзлой земле: бери — не хочу!

Нужда в людях была тогда здесь поострее, чем нынче, и не в какие-нибудь коллекторы или лаборанты, а сразу в начальники угодил Бишка

Соколов. Да и не Бишкой звали тогда его, а Борисом Григорьевичем. Но он заваливал дело за делом, из начальников переходил в замы, из замов в «хозяйственники». Из Бориса Григорьевича он превращался в просто Бориса, из Бориса стал Бишкой. Выяснилось, что работать он не любит и не умеет.

— Судить тебя надо,— сказал ему прошлым летом начальник строительства, у которого Бишка был тогда агентом по снабжению.

— Отчетность у меня в порядке,— возразил Бишка.

— Отчетность, может, в порядке, да толку что?

— Значит, плохо спрашивали,— нахально подвел Бишка, не отводя глаз.— Если судить, так обоих.

После этого разговора Бишка погулял недолгое время без работы и, когда кончились его небольшие деньги, оказался преподавателем физкультуры в кооперативном техникуме.

Новое дело не обременяло Бишку. Расписание уроков держало его в узде. Свободного времени тоже хватало. Но не за таким делом ехал Бишка на Север. Он представлял, что деньги здесь будут доставаться без труда, без обязанностей — за одно то, что он решил жить за Полярным кругом. Теперь он убедился, что такого в нашей жизни нигде не бывает.

Втайне он обозлился.

Он винил друзей.

Друзья были у Бишки разные: завмаги и почтари, лодочники и счетоводы, баянисты и газетчики. Но были ведь среди них и начальники, ворочающие большими делами,— директора, главные инженеры. Они охотно звали Бишку к столу: «Веселый парень, с ним не заскучаешь». Любой из них — только захоти — мог бы выручить Бишку, когда тот нуждался в работе, но, как доходило до этого, никто для него палец о палец не хотел ударить. Один прикидывается, что нет у него никаких штатов, другому и поговорить некогда, третий резал напрямик: «Ты же, Бишка, лодырь. Тебе же ставка нужна, а для работы надо при тебе отдельную штатную единицу заводить».

— А ты мне только возможность дай, я сам заведу,— отвечал ему Бишка.

Но собеседник не поддержал разговора. «Прикидывается. Агитирует»,— неприязненно подумал о нем Бишка.

Он считал, что руководство и работа — вещи разные. Чьи-то происки, злая случайность, казалось ему, не позволили самому Бишке в свое время закрепиться там, где и он мог бы руководить, не надрываясь. А теперь те, кто ходит в его друзьях, сами не пускают его к лакомому пирогу. Так рассуждал про себя Бишка, и выходило, что не он сам, а друзья во всем виноваты: не дали развернуться, пустили под откос незадачливую Бишкину жизнь.

Так сложилась его нынешняя форма существования: приживал при заезжих.

Бишка ходил на руках, чересчур много смеялся — понарошку, визгливо, заходясь дурным бабьим голосом и распуская мокрые красные губы. Он предлагал Юре «махнуть» нейлоновую «бобочку» на ненецкие «чижи» — меховые олени чулки. Он обещал достать моторку, звал ехать на ночную рыбалку и варить на островах рыбацью уху; звал, тем временем, в баню: «Пойдем, попарю!» Но вдруг Бишка начинал торопиться, неизвестно куда и зачем, жестоко ударяя себя по лбу и неистово вопя: «Дурак я, дурак, дурило, башка лысая!» Искал напоследок расческу, не находил, хватал кисточку для бритья, прилизывал ею редкие волосенки, наспех скусывал зубами железную пробку с бутылки буфетного морса, жадно глотал из горлышка и стремглав выскакивал за дверь. Это был самый деятельный бездельник из всех, каких доводилось

мне видеть. Только глаза у него не участвовали во всей этой суматохе, — странные, тоскующие глаза скоморошествующей «порченой» бабы.

Верно говорила про него тетя Варя — нестоящий, вышибленный из колеи, сам себя окалечивший человек. Легкой мутненькой пеной продолжал он удерживаться на поверхности жизни. Подует ветер посильнее, — глядишь, и сдуло пену неизвестно куда, пропал Бишка, даже след потерялся... В начале такого пути стоит сейчас, пожалуй, и Хусаин Мурадов: не одумается — пропадет.

Бывает, увидишь мимоходом, как строит незнакомый человек для себя избу, и остановишься, залюбовавшись. Ложатся бревна, как строчки в стихи, и венцы вяжутся, будто строка ударяет рифмой. Усталая стружкой, празднично светлеет земля, смолистое дерево пахнет разогревшимся солнечным утром; пахнет здесь истовым и добрым трудом; уже, слышишь, и птица поет над белым срубом. Постоишь, вдохнешь это чужое смолистое счастье, и легко понесут тебя ноги своею дорогой.

А иной строит без толку, без вдохновения и цели — все известно ему, кроме самой последней малости: каково же будет житье людям в этой избе? Проходя, не птичий щebet различишь тут над бревнами, а только черное слово со злого устатку; и стружка на земле не покажется белой — увидишь на ней одну грязь, натасканную сапогами. И не знает такой плотник, что и бревна у него уже больные, уже тронутые мертвящим грибок. А когда пойдет такой дом коржиться и валиться, простояв недолгое время, — будет хозяин клясть не себя, а «судьбу», станет винить недоброжелателей, завистников и лиходеев да так и доживет век свой в разваленной, бесприютно-сиротской хибаре.

На Севере, как везде, по-разному строит человек свою жизнь.

Быть может, после всего слышанного и прочитанного об этих местах самым удивительным было неожиданное, но простое «открытие»: живут здесь люди, как везде, и сами они такие же, как и в любом другом месте. Есть Паня Полозова, а есть и такой вот Бишка. Но только и у таких, как Паня, и у таких, как Бишка, на приметном здешнем — целинном — деле все черты становятся резче и характеры как бы очевиднее. Но, может, и это так только казалось, потому что в начале долгого пути приглядка к людям была особенно пристальной.

В гостинице «Север» люди перед глазами менялись все время.

Собирался уезжать и Радий-Песечек.

Он все звал нас с собой:

— Сперва полетим. Потом на олешках поедем. Снег лежит. Крайний север Ямала. Песцовая ферма. Такого еще никогда не снимали.

— Всё уже снимали, — безжалостно разочаровывал его наш директор.

Он не мог соглашаться на приглашения. Пора было и нам трогаться из Салехарда к востоку.

Радий уходил к себе в номер огорченный. Он глядел в окно, за которым низко стояло неуходящее солнце, и изрекал неизменную прощальную формулу:

— Лучший спорт — это баиньки.

И не забывал перед уходом напомнить, что ежели захочется кому-нибудь кислого молока, то у него оно есть: вчера была поставлена большая кринка...

Из последней поездки мы возвратились в гостиницу поздней ночью. Дежурила тетя Вера, и когда мы вошли к ней за ключом, то увидели в дежурке необычное зрелище. Белесый, не дающий теней свет солнечной ночи освещал тесную комнатку. Посредине плясал парень, одетый в длинную черную куртку, какие носят здесь летчики и геологи, и пистолет, висящий на ремне по-морскому, жестоко хлопал парня по заду. Это

не была безалаберная пьяная пляска. Парень был совершенно трезвый и беспредельно счастливый. Не положенная на рычаг телефонная трубка болталась у аппарата. Разбуженная шумом nenка «нянечка» проснулась на узкой кушетке, а тетя Вера укоризненно скрипела:

— Шуметь не положено.

Но остановиться парень не мог. Мы его уже знали: молодой геолог, впервые назначенный начальником самостоятельной партии. Какие-то транспортные неполадки удерживали его до сих пор здесь, в гостинице.

— Самолет разрешили! — крикнул он нам навстречу. — Только что с Москвой говорил. Будем срочно перебрасываться на самолете!..

И, конечно, он тоже позвал нас с собой и тоже сказал, что отправляется в места, каких еще никто никогда не видел.

Но и на этот соблазн мы тоже не могли поддаваться.

Здесьние сроки наши решительно уже выходили. По вечерам Юра и Толя, окунув руки по локоть в черные плотные мешки, шуршали там черной бумагой, пакуя снятую пленку. Уже много жестяных коробок с этой пленкой громоздилось под гостиничной койкой, и пора было думать о том, что впереди ждет еще большой и долгий путь, а будущая картина должна весь этот путь вместить в один час, и все, что мы видели в здешних местах, пройдет на экране не больше, чем за десять минут. Не так это просто. Если всерьез об этом подумать, выходит, что кино всякий вечер может предложить зрителю чудо: путешествие со скоростью света. Пришел человек в дом с зимней, морозной улицы; вошел, не снимая шубы, в большую комнату, сел в кресло, среди многих других людей, — и в одно мгновение конический луч, пройдя от стены к стене, перенес всех их в жаркое лето, куда-нибудь в Африку, к — черт возьми! — крокодилам. А еще один миг — и уже расстояния в десять тысяч километров как не бывало; мороз, оставленный на улице, — пустяк, свистит навстречу буран над антарктическим льдом, китобой наводит гарпунную пушку, вышагивают по торосам пингины... Но невероятно уплотненное, устремившееся со световой скоростью время имеет свои законы. Чтобы чудо ощутилось как чудо, надо уплотнить и жизнь, которую показываешь на экране. Там, где часы укладываются в секунды, а годы — в минуты, надо чертовски обострить зрение, научиться видеть очень конкретно, хватать в объектив самое характерное. И тут каждый день путешествия с киноаппаратом приносит множество огорчений. Ускользают неповторимые вещи. То «свет не тот». То человек перестает быть самим собою, увидев следящий за ним глазок кинокамеры. То убедишься, что вдруг узнанная и покорившая тебя жизнь чужой души тут же безнадежно от тебя ускользает, становясь недоступной, едва захотел ты перенести ее на кинолентку. Поди докажи тому, кто будет смотреть на экран, что человек, задумавшийся за столом над каким-то исчерченным листом ватмана, занят в этот момент такими делами, от которых голова может закружиться. И лицо и непонятный чертеж мелькнут на секунду, ничего не раскрывая.

— Ну и что? — кисло скажет Юра, если заговоришь с ним о таком «сюжете». — Скучно!

И верно. Скучно.

Как-то в годы войны случилось мне провести месяц с лишним на подводной лодке, посланной в автономное плавание к дальним чужим берегам на перехват фашистских морских конвоев. Мы ходили в указанном штабом квадрате, день за днем повторяя все ту же рутину. В дневные часы — под водой. Ночью — на несколько часов на поверхность, чтобы зарядить аккумуляторы. Зарядку чаще всего обрывал голос вахтенного: «Самолет по носу слева!» — и команда: «Срочное погружение!» Стуча сапогами по стальному трапу, обрушивалась сверху в отсек верхняя вахта и с нею — курильщики, которые дорывались до закурки

раз в сутки, когда им разрешалось в очередь, по двое, подниматься на верхнюю палубу. И вот уже снова появлялся над водой перископ; по зеркальцу дымчато зыбилась морская пустыня, и только редко показывался над водами рыбацкий парус или дымок какого-нибудь нестоящего катеришки. Постоянно влажный, сырой воздух отсеков давно уже превратил одежду подводников в компресс. В трех тесных ярусах коек, висевших во втором отсеке, угнездился повальный насморк. Уже на десятый день похода весь кубрик чихал и кашлял. Лодка ходила взад и вперед, и на штурманской карте изо дня в день прочерчивались одни и те же курсы. Для торпед не было цели, а с невыстреленными торпедами нельзя было возвращаться на базу.

В одну из ночей, дождавшись очереди на перекур, мы поднялись на мостик с торпедистом Бахтиаровым. Было темно. В черноте багрово загорелась зоря. Короткий и сильный накат штормовой волны клал лодку с борта на борт. Прикрывая сигарку от брызг, Бахтиаров стал честить газетчиков и кинематографистов:

— Вот показывают же, как подводник живет. Поверь, так и выйдет: «Товсь!» «Пли!» Ура! Победа!.. Вот и вся наша жизнь. А ты возьми наш поход. Третья неделя кончается. Только раз и слышали: «Товсь!.. Отставить!..» Акустику шум винтов слышался, да и то, оказалось, ошибся... Так ведь жизнь-то наша, если всерьез говорить,— это и есть такие вот недели. А читал ты про них где-нибудь?

На тридцать второй день похода вахтенный офицер увидел в перископ два транспорта, небольшой танкер и несколько конвойных судов. Был немедленно разбужен и вызван в центральный отсек командир лодки, дремавший в своей каютке; вскоре торпеды вышли из аппаратов и перископ еще не был убран, когда можно было увидеть на зеркальце, как один из транспортов, накренившись на борт и на корму, медленно уходит ко дну, удерживаемый вздувшейся на поверхности воздушной подушкой. Один из конвойных эсминцев исчез из виду.

Потом по записям в вахтенном журнале выходило, что от первого возгласа о замеченных вражеских кораблях до стремительного погружения на большие глубины после успешной атаки — не прошло и семи минут.

Все вошло в это короткое время — и скрытное сближение с неприятелем, когда прятался, на миг показывался и снова прятался перископ, и торопливый поиск угла атаки, и никогда прежде не испытанное ощущение такой напряженно-наполненной, такой взрывчатой тишины, какая, наверно, только и бывает в центральном отсеке подводной лодки в секунды атаки...

На седьмой минуте — пока еще вдалеке от нас — взорвалась первая глубинная бомба, сброшенная с немецкого конвойного тральщика. Потом бомбы начали рваться чаще и ближе. Методически сменяя друг друга, в квадрат входили то три тральщика, то четыре катера-охотника. Они выслушивали море и бросали бомбы в разных местах и на разную глубину. Отбомбившись, уходили на базу за новым грузом бомб, и тут их сменяли тральщики. Это продолжалось сорок шесть часов без передышки. Оказалось, что накрыть лодку прямым попаданием не так-то легко. Впрочем, это был сорок второй год; позже появление радаров несколько изменило обстановку. Но тогда радаров еще не было. Прямое накрытие было делом случая, и командир говорил, что у немцев не более десяти шансов из ста на то, чтобы утопить нас. Штурман накидывал им еще десять. Но он был скептиком, так мы все считали. Промежутки между взрывами были почти одинаковыми. Я опять очутился рядом с Бахтиаровым. Он сидел у опорожненного, плотно задраенного торпедного аппарата с мелком в руке и автоматически ставил на стальной переборке короткие черточки при каждом взрыве. Никто ему этого

не поручал. Просто мелок попался под руку. Потом, на базе, Бахтиаров сосчитал черточки. Их оказалось триста шестьдесят две: по одной бомбе на каждые семь с половиной минут. В воде звук взрыва усиливался, эхо скрежетало по обшивке. От сильного толчка погас свет, потом не то слегка разошлись швы, не то выскочило несколько заклепок, и началась неопасная, но противная течь. Дышать становилось труднее, регенерационные патроны тоже вышли, и несколько человек уже лежали на койках, хватая ртом воздух, лишенный кислорода. Вдох не давал ощущения вдоха, это было трудно. Лица посинели. Оставалось пойти на старый трюк: через торпедный аппарат выпустили на поверхность несколько бесхозырок и две-три поломанные «рыбины» — куски деревянного настила, лежавшего на палубе отсека. Потом отправили вдогонку хорошую порцию соляра. Он должен был разойтись по воде приметным жирным пятном. Я не думал, что этим можно обмануть преследователей. Слишком часто я читал о таких уловках. Но то ли немцы в самом деле поверили и решили, будто подводная лодка потоплена, то ли просто обрадовались поводу для возвращения на свою базу с положенным красивым рапортом. Бомбежка прекратилась. Лодка поднялась на перископную глубину. Кругом было пусто. Мы рискнули показаться на поверхность, чтобы набрать хоть немного воздуха, а потом легли на курс и пошли домой. При входе на рейд были даны два традиционных залпа в знак потопления двух вражеских кораблей. На берегу была встреча, начались рассказы, и я услышал, как Бахтиаров вспоминал о походе. О первых тридцати днях, о сырых ватниках, о всеобщем насморке не было сказано ни слова.

— Понимаешь, — говорил Бахтиаров электрику с береговой базы. — Сижу в отсеке, слышу — ревун! Только поставил аппараты на «товсь» — еще ревун! «Пли!» Сперва — долго не слышать ничего, уже думаю «все, промазал», потом слышно — взрыв. Прибегает из центрального Степан Балашов. «Есть!» — кричит...

Я не утерпел, засмеялся.

— Так чего же, — спрашиваю, — ты газетчиками недоволен? Сам ведь рассказываешь: «Товсь! Пли! Победа!..»

Бахтиаров вспомнил разговор на палубе и тоже засмеялся.

— Да он-то остальное и без меня знает, — сказал Бахтиаров про своего собеседника. — Сам наших щей два года хлебал. А если кто не знает, тому надо так говорить, чтобы все понял: и то, как ждешь, и то, как в атаку идешь.

Это было сказано не вполне ясно, но главную мысль его я теперь понял, и она показалась мне верной.

Бахтиарову претила привычка показывать только удачи, умалчивая о буднях, которые эту удачу предворяли. Семь минут предельного напряжения, смертельного риска, вдохновенного ощущения победы существуют не сами по себе. Нет правды в одном апофеозе — без драмы, которая ему предшествовала. Те же семь минут атаки наполнены и месяцем ее ожидания. Вот что думал Бахтиаров.

И если показывать главное в жизни человека — это нужно делать так, чтобы его самые дорогие «семь минут» не показались блестящим парадом, легкой удачей. Но времени на развернутый рассказ кино не дает. Нужно искать емкий, стремительный образ, который сумел бы выразить вместе — характер, действие, время. Это не просто. Вот мы снимали Паню Полозову: чудесный солнечный день, чумы эффектно чернеют броским коническим пятном на чистой голубизне; славная (это видно), в веселом праздничном платье девчужка занимается с группой пожилых ненцев. И продержится этот эпизод на экране ровно столько, чтобы диктор успел сказать, что по комсомольскому набору сколько-то молодых учителей пошли в тундру — на ликвидацию самого последнего

очага неграмотности. Получится не рассказ, не очерк; это трехстрочная газетная информационная подпись под фотографией — и не такой уж выразительной фотографией. И Паня сможет сказать, как Бахтиаров, что правды о ней не рассказали. Вероятно, не следовало велеть ей переодеваться, надо было снимать чум, переход, усталость...

— Нам нужно снимать так, чтобы было красиво,— убежденно возражает Юра, молодой парень, вышедший два года назад из операторского факультета.— Надо, чтобы человеку, когда он посмотрит картину, захотелось поехать туда, где мы были.

Справедливо и это.

Но ведь грош нам цена, если мы в своей картине будем этого человека соблазнять внешней красотой. Увлекать надо красотой дела. В преодолении трудностей куда больше настоящей красоты, чем в смазливом пейзажике. И нужны здесь не отдыхающие экскурсанты, но люди, которым хватит силы духа для суровой жизни и терпеливого труда.

Об этом мы думали и спорили, собираясь двинуться дальше.

Оба Юры уже отправились на аэродром с ящиками пленки и грузной осветительной аппаратурой.

Путь наш отсюда лежал к верховьям Оби — в Новосибирск, а потом дальше, на восток и на север.

Я пошел прощаться с гостиничными соседями, с которыми мы успели свести знакомство.

Молодой геолог — тот, что недавно плясал среди ночи, — набирал рабочих: ему нужны были два коллектора и подрывник. Какие-то ребята сидели на его койке, а сам он стоял перед ними и объяснял:

— Вылет в шесть ноль-ноль. Барахла как поменьше. К самолету являться трезвыми, иначе тут же спишу. Ясно?

Сказано было со строгостью, но вид у геолога был при этом такой, будто он собирается снова тут же пуститься в пляс.

— От настоящего дела летишь. Еще пожалеешь,— сказал он на прощанье...

Напротив нашего номера жил Константин Вануйто, председатель колхоза «Коммунар», депутат окружного Совета.

Еще месяца три тому назад был напечатан в газетах указ о награждении группы ямальских колхозников званием Героев Социалистического Труда. Был среди них и Вануйто. Но с зимы и до сих пор большинство дальних колхозов было отрезано от Салехарда весенним заполярным бездорожьем, и только теперь удалось собрать награжденных, чтобы вручить им Золотые Звезды.

Я постучался к Вануйто. Он был дома и вел депутатский прием. У него сидел некто Чанышев, техник из работающей в Салехарде землеустроительной экспедиции. Дело было квартирное.

Чанышев приехал сюда с семьей, а жить пришлось в общежитии. Где-то на «втором отделении» кто-то уехал, освободилась комната, Чанышев успел занять ее, никому не сказавшись; тут же принялся за ремонт.

— Утеплить,— говорил Чанышев.— Крышу починил.

Он повторял:

— Развалюху застал, а теперь — куколка.

Но Чанышева выселяли оттуда, и он просил депутата разобраться и помочь.

Вануйто слушал, перечитывал заявление, делал пометки.

Он сказал, что пробудет в Салехарде еще три дня; за это время пойдет к Чанышеву, посмотрит на месте, и, если все так и есть, будет разговор с кем надо. Может, и удастся помочь.

Они условились, и Чанышев ушел.

Потом пришел знакомый председатель колхоза — тоже ненец.

Ему нужны были кирпич и железо, и он стал советоваться с Вануйто: не поможет ли депутатское письмо в совнархоз?

Но железо и кирпич нужны были и самому Вануйто, и он пока не мог их добыть.

— Трактор еще прошу, — сообщил Вануйто коллеге. — Если получим, можно будет быстрее рыбаков перебрасывать, улов вывозить...

Заботы у них были общие.

Гость одет был в малицу, а Вануйто — по-праздничному: в ловко сидящий на прочном торсе городской синий пиджак, в брюки навывпуск и в светлую рубашку с галстуком. На лацкане была привинчена полуценная вчера Золотая Звезда. Ему было тридцать восемь лет, он родился в том же стойбище, где теперь председательствовал, — в чуме охотника Але Вануйто. Рос, как и все ненецкие дети, на подстилке из ягеля и молодых веток. У него было три сестры и два брата. Косте исполнилось десять лет, когда он убил первого песца, пойдя с отцом на охоту; с двенадцати он охотился сам. В сороковом году ненцы из стойбища «сделали оленей в одно стадо», назвали колхоз «Коммунар»; отец стал бригадиром, а Костя — колхозным пастухом. Русский зоотехник научил его читать и писать. Через восемь лет оленей стало столько, что пришлось их разделить на два стада, и в обоих бригадирами были Вануйто: в одном — старый Але, в другом — его сын. А в пятидесятом году Константина выбрали председателем. Он учился потом в Салехарде на партийных курсах, закончил в Тюмени курсы экономики колхозного труда. Теперь в его колхозе пять стад — в каждом по тысяче с лишком оленей. Девять звеньев рыбаков-колхозников выходят из «Коммунара» на пугину и добывают за лето около тридцати тонн рыбы. Пятьдесят охотников промышляют зимой песца и лисицу.

— Шел сюда, — говорит Вануйто, — смотрел в тундре норы. Много нор сейгод. Пришел, однако, песец...

Он рассказывает, как строится «Коммунар», и снова сводит разговор на лес, железо, кирпич, которые изо всех сил добывает он сейчас в Салехарде. Опять новой своей стороной показывается старый Ямал в этом прощальном разговоре. И Вануйто вдруг — так же, как Радий, так же, как молодой геолог из соседнего номера, — говорит, прощаясь:

— К нам, однако, поехать надо было. Что я тебе расскажу? Самому надо смотреть.

То, чего мы здесь не успели увидеть, жгло теперь, перед самым отъездом, на каждом шагу.

Оказывалось, лишь самую малую часть открыл нам Ямал в три прожитые здесь недели.

Но спутники мои уже вернулись за мною; пора было отправляться на аэродром и лететь дальше, на Восток.

Тетя Варя выглянула из дежурки и пригласила приезжать снова.

Улицу Республики и гостиницу «Север» мы вскоре увидели с воздуха.

Снова открылась Обь, тундра, невысокие горы Пай-Хоя. Теперь мы уже знали, кто ходит по тропам этой земли, мы видели Сергея в Речной, Паню у Константинова Камня, Вануйто у новых изб колхоза «Коммунар».

Светило навстречу незакатное солнце, и человеческим теплом дышала ответно земля.



---

---

ВИКТОР ЖУКОВ

★

## БАЛЛАДА О ТАБАКЕ

Опять дорога (каждый о своем).  
Она вела к далеким перевалам.  
Мы шли по кручам, спуск сменял подъем —  
Карабкались, ползли по скалам.

На нас кидалась дикая вода,  
Змеились трещины на снежных кромках.  
Мы шли крутой тропой. Мы никогда  
О дружбе слов не говорили громких.

Но как походной верности залог  
И братства, что не верило в прикрасы,  
Я нес в кармане тощий узелок  
С остатками табачного запаса.

Мы отдыхали на камнях в кругу,  
И самокрутка, тлея, шла по кругу...  
Не пожелаю худшему врагу  
Без табаку тужить, но тот, кто другу  
Не уделил его, сказав, что нет,—  
Пусть потеряет, скряга, свой кисет!

Осталась пыль. Она была горька,  
Горька, как желчь! Она едва дымилась,  
Но весь маршрут до первого ларька,  
Как драгоценность, в узелке хранилась.

Где ты, веселая, смешная нищета  
Последней высохшей табачной горсти!  
Мы снова привыкаем не считать  
Слова и хлеб, шаги и версты...

Но кто прошел по трудному пути,  
Берег кусок и с песнею сдружился,  
Тот ни себе, ни другу не простит  
Ни скупости, ни шумного транжирства.

И ты пойми: здесь ни при чем табак,  
Ведь в сущности не в нем же дело.  
Цигарка, побывав во всех губах,  
Давно дотлела.

Курить мы бросили. Но не об этом речь!  
Пока ты жив, покуда дружба длится,  
Тебе всегда найдется, что беречь  
И чем с друзьями поделиться.

### К ЗВЕЗДАМ

Под обрывом река кипит.  
Груды скал застыли вразброс.  
Ночь разбита звоном копыт,  
В темноте огоньки папирос.

На поводьях лежит рука,  
И, борясь с набежавшим сном,  
Едут с лектором из ЦК  
Зоотехник и агроном.

Горный ветер кровь леденит.  
Камни сыплются под откос.  
Вдалеке — кочевий огни  
Перепутались с блеском звезд.

И похоже: хлестнуть сплеча,  
Отпустить ремешок узды —  
И как раз взлетишь сгоряча  
До ближайшей большой звезды.

Может, нет на земле чудес,  
Но скачи, забывая страх.  
Если есть чудеса, то здесь:  
На коне, в темноте, в горах.

Кони залпом глотают высь,  
Задевая за небеса.  
Кони мчатся, чтобы сбылись  
Все надежды на чудеса.

Выше, выше летит тропа,  
Прямо к звездам. Дай поводá!  
Стой, приехал: колхоз «Чолпан»,  
В переводе на русский — «Звезда»!



---

В. ФИРСОВ

★

## МОЯ БОЛЕЗНЬ

Моя болезнь зовется ленью,  
Она сильнее день ото дня.  
Оставь меня, успокоенье!  
Моя болезнь, забудь меня!  
Забудь!  
И не являйся в гости  
До самой смерти,  
А потом —  
На неизвестном мне погосте  
Ищи мой дом.  
Не будет в нем ни слез, ни смеха,  
Он полон мрака до краев.  
Вот там не будешь ты помехой,  
Успокоение мое!  
А здесь, на этом белом свете,  
На жизнь не закрывая глаз,  
Я перед Родиной в ответе  
За каждый день, за каждый час,  
В ответе даже за мгновенье,  
Бесцельно прожитое мной.  
Уйди, уйди, успокоенье.  
Пока живой!

## ПО ВОЛГЕ

Над нами — чайка, это добрый вестник,  
Под нами — воды молодых морей.  
Негромкие, взволнованные песни,  
Простые песни наших волгарей!  
В них есть слова о Родине, о долге,  
В них слышатся раскаты давних гроз.  
Плывем по Волге,  
И поем о Волге,  
И друг от друга не скрываем слез.  
Закат играет на воде упругой,  
И песня уплывает далеко.  
И я сквозь слезы  
Вижу слезы друга,  
И на сердце становится легко,  
Легко-легко!..  
Ведь это слезы счастья  
И гордости за мой родной народ...  
Уже мигают бакены все чаще,  
И полночь над просторами встает.

Пора уснуть. А нам не спится долго,  
Мы смотрим вдаль, волнуемся, поем.  
Кормилица и труженица Волга  
Задумалась о чем-то о своем.

### ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Петушинный крик все тише,  
Бабье лето позади.  
Третий день стучат по крышам  
Равнодушные дожди.  
Третий день по всем дорогам  
Не спеша ручьи бегут,  
Третий день пастух не трогал  
Звонкий рог и хлесткий кнут.  
Третий день в избе-читальне  
Книги, игры — нарасхват,  
Третий день путем недалгим  
Едет киноаппарат.  
В небе пасмурном, бездонном  
Ветер носится, трубя.  
Третий день жду почтальона,  
Нету писем от тебя.



---

---

И. ИСАКОВ

★

## КРЕСТИНЫ КОРАБЛЕЙ

(Из невыдуманных рассказов)

**Ц**уть подальше очень далекого, но все же «нашинского» Владивостока в виде геологического привеска к полуострову Муравьева-Амурского расположен Русский остров, один из самых больших в прилежащем архипелаге.

Гористый и высокий, он прорезан почти по всей длине красивой и глубоководной бухтой Новик.

В дореволюционное время весь Русский остров входил в эспланадную зону Владивостокской крепости и, помимо городка из солидных кирпичных казарм, было на нем несколько батарей и подземных складов, соединяющих их потерн, туннелей и других крепостных и инженерных сооружений. Все это сложное хозяйство принадлежало военному ведомству.

Но в бухте Новик, благодаря ее исключительным гидрографическим условиям, была сооружена минно-пристрелочная<sup>1</sup> станция морского ведомства со своими складами и мастерскими, а удобным рейдом пользовались боевые корабли Сибирской флотилии, проходившие здесь часть летней программы учебной подготовки.

Чтобы избежать, вернее чтобы сократить количество споров и раздоров, избегать которых никто не умел, а может, и не хотел, каждое министерство старалось заводить свои автономные обеспечивающие технические средства: суда, пристани, сигнальные посты, казармы и даже водопроводы и дороги. Еще со времен войны 1904—1905 годов не удалось объединить все хозяйство крепости в одних руках и установить рациональные порядки для совместного пользования владивостокскими землями и водами — очевидно, у начальства не хватало организационных талантов. Да иначе и быть не могло. Как-никак, но и это отражало общее положение в огромной, но гнивающей империи.

Больше всего страдало от этих порядков само Российское государство.

Бухта Новик, так же как и Золотой Рог и подходы к нему с моря — Босфор Восточный и Западный, — периодически замерзает. Не помогают «теплые» названия, и на короткое время (два—четыре месяца в году) они все-таки сковываются льдом. На эти случаи торговый порт, принадлежавший министерству торговли и промышленности, имел свои ледоколы. Военный флот — свои. А чем хуже комендант крепости?

И вот наряду с инженерными катерами, баржами и буксирами в составе крепостного управления появился свой ледокол изрядной мощности, крепкий, сильный и с полными обводами. Эдакий пузатый красавец на полторы тысячи тонн, прекрасной корабельной архитектуры, с машинами в тысячу двести лошадиных сил. Одним словом, крепыш-мореход, делавший на чистой воде до одиннадцати узлов<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Торпедная станция.

<sup>2</sup> Построен и принят в Шанхае по договору с частной фирмой.

Ну, а поскольку деньги из казны на расширение и оборудование крепости текли через руки военного министра, а всякому богобоязненному коменданту хочется увековечить имя своего благодетеля, ледокол был наименован «Генерал-адъютант Сухомлинов». Длинновато для судна такого тоннажа, зато внушительно. Можно подозревать, что было желание назвать корабль полным титулом и прибавить еще «генерал от кавалерии», но для кавалерии явно не хватало длины корабля. Сделали покороче, но зато солидно. И чтобы все это знали и чувствовали еще издали, по обим бортам корабля и на его корме были наклепаны соответствующие надписи из больших и красивых накладных литер чистойшей бронзы, толщиной до двух сантиметров и высотой до фута каждая.

Ежедневно боцманская команда драила эти литеры, предварительно намазав их каким-то составом, рецепт которого не был запатентован, но хранился в тайне его автором — боцманом, попавшим сюда с далекого Днепровского лимана. Благодаря такому уходу за рельефным наименованием корабля носовая часть и корма ледокола, особенно в солнечный день, светились золотым сиянием так сильно, что даже трудно было прочесть его название. Двадцать девять знаков, считая упраздненные впоследствии твердые знаки, сливались в одну сплошную золоченую опоясь.

Чтобы большую часть года судно не стояло без дела, ему был штабом крепости придуман постоянный рейс — из города на Русский остров (и обратно), — на который всегда были и грузы и пассажиры. И вот ежедневно можно было наблюдать в положенное время, с точностью хронометра, как, гоня перед собой пенистый вал лобовой волны и разгоняя гудком низкого тона портовую мелюзгу, трудится «Генерал-адъютант Сухомлинов», переходя на Русский остров или возвращаясь с него.

Командовал ледоколом маленький, коренастый блондин, алешкинское<sup>1</sup> происхождение которого не оставляло никаких сомнений даже до того, как он открывал рот. То ли комендант крепости не хотел подыскивать запасного или оставшего флотского офицера, заранее сомневаясь в его ведомственной лояльности, то ли не было другого выбора, но командование, по сути, доверили каботажному шкиперу, переманенному из Амурского пароходства и имевшему только диплом капитана малого плавания. Однако выбор оказался на редкость удачным.

Единственная странность, которая сопутствовала этому решению, заключалась в том, что не прошло и двух месяцев, как незаметно для штаба крепости сперва должность боцмана, потом механика (вернее, старшего машиниста), а затем и все остальные командные позиции оказались занятыми выходцами из Алешек, несмотря на то, что от них до Владивостока не менее девяти с половиной тысяч километров по суше и более двенадцати тысяч миль, считая по морям и океанам.

В начале лета 1916 года группа юнкеров флота была высажена с учебного корабля на берег, недалеко от комендантской пристани, с целью выполнения зачетной задачи по так называемой «описи берегов».

Это значит, что офицер — начальник смены — исчез сразу, вспомнив, что где-то в крепостном городке должен обитать с женой приятель-инженер. Вслед за ним исчезли три или четыре гардемарина, занявшиеся купанием и нырянием на том основании, что в задачу входил также и промер глубин бухты; двое улеглись в тени какого-то навеса, с тем чтобы наверстать недоспавшее прошлой ночью; один занялся рыбной ловлей, и только трое, оставшихся по жребью, установили большой полевой зонт и под ним мензулу, то есть планшет с теодолитом, сухой котелок компаса

<sup>1</sup> Алешки — Херсонской губернии, из которых, по традиции, вся молодежь уходила в торговый флот.

на треноге и, оперируя секстантом и шпаргалками прошлогодних учебных съемок, начали выполнять работу за всю смену, ибо последняя обучалась не только гидрографическим наукам, но и методам традиционной взаимной выручки.

Невдалеке над стенкой возвышалась верхняя часть надстройки и трубы красавца ледокола и ослепительно сияла золотая полоса накладных букв. Там же, где развал борта давал на нем тень, судорожно бегали и исчезали световые блики, отраженные от водной поверхности бухты, чем-то напоминающая не зайчиков, а светящихся моллюсков.

На фоне знойно-белесого неба проектировался абсолютно неподвижный капитан, который, облокотясь на поручни верхнего мостика, сосал короткую украинскую люльку и не столько смотрел, сколько прислушивался к происходящему за бортом. Кто-то из команды, полуголый, на беседке, спущенной через планшир фальшборта, копошился около генеральского великолепия, которое начиналось сейчас же над якорным клюзом и заканчивалось почти под мостиком.

Глазам было больно смотреть, а лень, расплавленная всепроникающей жарой, не давала сосредоточиться на чем-либо. Несмотря на это, надо было хоть через силу постыть сделать съемку до возвращения офицера, но кто-то из будущих светил навигации, приблизившись к ледоколу, чтобы проверить направление азимута гранитной стенки, врезанной в береговую черту, поманил остальных. Постепенно у причала собралась вся смена, преодолев ради любопытства ленивую истому и жару.

Висевший за бортом на раскачивающейся беседке матрос небольшим зубилом и слесарным молотком пытался отбивать бронзовые литеры, которые еще вчера ему же приходилось драить до солнечного сверкания. При этом главная трудность для «перста судьбы», той самой, которая стирает одни имена и возносит другие, заключалась в том, что хозяйственный капитан приказал отклепанные буквы собирать в парусиновую кису, подвешенную рядом с беседкой.

Но — увы! — из семи или восьми уже отбитых литер, вместо которых зияли раны, не менее двух находилось на дне бухты.

Как ни старался «перст судьбы», бронзовые литеры, закрепленные на совесть, не хотели постепенно отходить с насиженных мест и сначала делали вид, что не поддаются вклинивающимся ударам зубила, а затем вдруг срывались с гужонов, отскакивали от борта и плюхались в воду, угрожающе стремительно пронсясь мимо головы матроса.

Самым досадным было то, что, хотя с крыла мостика из-за фальшборта капитану не было видно работающего и его успехов, коварная пауза после удара молотком и характерный всплеск абсолютно точно сигнализировали о происходящем.

— Обрато... сукин ты сын, литеру мне утопил?! — спокойно, но зловеще-внушительно говорил шкипер в пространство, отлично зная, что его слова доходят по адресу, хотя самого адресата и не было в поле зрения.

Эта своеобразная картина настолько заинтересовала будущих морских волков, что они, забыв свои гидрографические дела, постепенно расположились полукольцом против носовой части ледокола с таким расчетом, чтобы одновременно видеть и невозмутимого капитана, возвышавшегося на мостике, и матроса, подвешенного на беседке.

Жара была невыносима. Нагретый воздух стоял почти недвижимо. От раскаленного борта корабля и гранитной облицовки стенки дополнительно обдавало зноем отраженного тепла. Влияние моря как будто вовсе не сказывалось. Но происходящее было так необычайно, что никакое пекло ада не смогло бы погасить разгоревшегося любопытства.

«Перст судьбы», принимаясь за следующую букву из слагающих звание генерал-адъютанта свиты его величества, подмигнул нам и, показав

дулю в том направлении, где должен был находиться его капитан, врубился в основание буквы «Ю».

Кто-то из молодых друзей не выдержал и, стараясь придать своему голосу интонации почтительности, задрал голову к небу, обратился к невозмутимо молчавшему шкиперу:

— Позвольте полюбопытствовать, господин капитан, что происходит? Может, военный министр новое звание получил?

Пауза. Плевок. Затычка из люльки... И только после этого:

— Под зад ваш министр получил!

Ответ был настолько же неожиданным, насколько непонятым. Понадобилось много пауз, плевков и зычек, пока мы наконец поняли, что Сухомлинов снят с должности и чуть ли не арестован.

Надо напомнить, что эта фигура, длительное время блиставшая не только на бортах ледокола во Владивостоке, но и в салонах Петрограда, не пользовалась никакой популярностью. Поэтому известие, сообщенное капитаном, было принято весьма сочувственно и вызвало оживленный обмен мнений, далеко не лестных для бывшего «генерал-адъютанта свиты его величества, генерала от кавалерии».

Не знаю, в какой мере мы выражением своих чувств были виновны в том, что отвлекли от дела матроса, но следующая литера опять полетела в воду. Неудачник замер и как-то сжался, ожидая соответствующей тирады с мостика. Замолчали и мы, также выжидая реакцию хладнокровного капитана.

Капитан медленно вынул из кармана свисток и, заменив им люльку, свистнул условный сигнал, после которого на палубе появился двойник капитана, только в боцманской фуражке.

— Боцман!.. Перестроить беседку дальше к штевню, чтоб он, подлюга, мог «адъютанта» кончить. Потом сменишь... А насчет утопленных литеров, то я его, поросычьего сына, пять суток нырять заставлю, пока все не вынимет!.. Понятно?

— Так точно, понятно! — пробурчал боцман и, согнувшись над фальшбортом, не без ехидства сказал: — Ну, ты там... Вылазь! Что, я с тобой вместе беседку переносить буду?!

И когда голова матроса поднялась над планширом, боцман спросил:

— Яки ж литеры ты потопил?

— «Сы» да «Лы», а что касается до «Ю», так это они тут разговоры под руку завели, она возьми и сигани в воду... Так что я тут ни при чем.

— «Сы» да «Лы»?! А знаешь ли ты, дурья голова, что в каждой ей не меньше как по два фунта чистой бронзы будет?.. Одно хорошо — на базар не стащишь... Сразу вещь видно! Сама за себя говорит откудова!

Все-таки событие, несмотря на дальность расстояния от места происшествия, на самом деле казалось настолько значительным, что мы не расхотелись и продолжали его комментировать и так и эдак.

За что? Почему? Кто будет новым министром? Ряд подобных вопросов, никакого отношения не имевших ни к нам самим, ни к флоту, продолжал подогревать прения, происходившие на без того сильно нагретой стенке.

Капитан опять замер.

Ясно было, что он слушает все сентенции, выкладываемые юнцами внизу, но то ли не хочет, то ли считает ниже своего достоинства вступать в эту дискуссию. Но неожиданно одна реплика бойкого Краяна, сказанная нарочито с ироническими интонациями, вывела капитана из состояния демонстративного равновесия, причем так, что он рванулся в нашу сторону и жестом руки заставил всех замолчать.

Краян съязвил в том духе, что, мол, хорошо, что старое наименование было такое длинное — теперь, при предстоящих вторых крестинах, возможно удастся новое название составить из старых букв. Вот тебе и экономя!

Очевидно, автор этой идеи уже готов был подтвердить ее условными примерами, решив в уме какие-то номограммы, но, взглянув на капитана, осекся.

Покраснев и, видимо, сдерживая себя изо всех сил, шкипер, машинально выбивая трубку о поручни мостика, с гневом и горечью в голосе произнес такую тираду:

— Вам хорошо смеяться... Молодо-зелено. Но даже и таким сосункам пора соображать, что нельзя у корабля менять имя!.. Ведь это все равно, если бы крестили Миколаем, а потом, когда подрос и все давно привыкли, за какую такую провинность перекрестили бы в Игната или Опанаса? Чего зубы скалите?.. Судно... оно, что дитё. Как рóдится, ёго крестят. С этим именем оно всю жизнь живет и либо славу покупает, либо погибает — аварийно на море, или тихо на портовом кладбище, опять же как человек. И экипаж, и семья, и даже люди в портах к этому имени привыкают, да и в списки, в пачпорт оно заносится навсегда; опять же как у человека. И как некий деятель может имя свое прославить или посрамить, так и его — вроде как «Варяга» и «Потемкина» — еще веками помнить будут! Если же утром одно имя дать, а к вечеру сменить на другое, то с этого ничего хорошего, кроме плохого, не получится. Тьфу! Будь они прокляты!.. Как вспомню, что ледокол заново крестить придется, так все нутро выворачивает! А вам смёшки!

Сила и особенно искренность, с которой была произнесена эта речь с высоты мостика, произвели на всех впечатление. Само собой вдруг стало ясно, что старик прав, и даже странно, что сами не могли додуматься до такой очевидной истины.

Как воспитывать экипаж? Как создавать традиции корабля, если его имя может меняться от случая к случаю?

Длительное молчание прерывалось сопением капитана и его возней с трубкой, которую он заряжал из кисета новой порцией какой-то смеси. Уже отвернувшись от нас, прищуренными от солнца глазами он смотрел куда-то вдаль, явно ничего не видя, но, очевидно, продолжая обминать ту же основную мысль, которую в сердцах выложил молодым носителям традиций русского флота.

Даже перевешенный на новое рабочее место матрос заскучал на своей беседке и ждал конца не только этой импровизированной речи, но и паузы после нее.

Тогда наивный Борис Гаврилов, по прозвищу Гаврюшка, смущенно и заикаясь, возведя очи горе, спросил:

— Так как же быть, чтобы избежать такие случаи?

И бысть глас с небеси (как говорится в писании):

— Никогда не надо корабль называть именем живого человека!.. Пусть самый распрознаменитый и заслужонный! А мало ли что в течение жизни приключиться может?

И, взглянув на нас прищуренными глазами, в глубине которых как будто была запрятана хитрая усмешка, шкипер, медленно посасывая свою коротенькую трубочку, продолжал с перерывами:

— Уж ежели чешется человеческим именем назвать, то... лучше брать покойника...

Пауза.

— Да и не всякий покойник годится.

Пауза.

— И того с умом выбирай. Чтоб промашки не было!<sup>1</sup>

Пожалуй, самым пикантным в этой истории является то, что указ о снятии с должности Сухомлинова был издан 14 июня 1915 года, когда ледокол стоял на верфи в Шанхае. Понятно нежелание русских властей в чужой стране менять имя недостроенного корабля и «выносить сор из избы». Но ледокол пришел во Владивосток и еще красовался сияющей надписью почти восемь месяцев после этого — так страшно было поднять руку на бывшее начальство. Когда же был опубликован указ об отдаче под суд бывшего военного министра<sup>2</sup>, то пора была отрезаться от него даже коменданту далекой владивостокской крепости.

Рассказанное является фактом и произошло в начале кампании 1916 года в бухте Новик, на Русском острове, во Владивостоке, и, конечно, скоро было забыто как относительно незначительное происшествие, оставившее слабое впечатление, тем более что оно было вытеснено обилием и значимостью исторических событий 1917 и 1918 годов.

Однако ранней весной 1920 года на другом конце нашей огромной Родины, где расположен так называемый двенадцатифутовый рейд Каспийского моря (на подходах к Астрахани), неожиданно вспомнились знойный день в бухте Русского острова и назидание капитана ледокола, воспроизведенное в сознании до мельчайших подробностей. Тогда только полностью стали понятными мудрость и значение сказанного и с тех пор никогда не угасали в памяти.

И вот почему.

В качестве командира эскадренного миноносца «Деятельный» Астраханско-Каспийской военной флотилии рано утром поднялся я на мостик, с тем чтобы осмотреть рейд, дислокацию остальных кораблей и заодно запросить семафором начальство о сроках готовности машин, так как накануне этот вопрос остался открытым.

Небо не то. Хоть и весеннее, но сумрачное из-за низкой и сплошной облачности. Море не то. Не голубовато-зеленое, а свинцово-серое, с легкой мутью, приносимой взвесями невидимой Волги. Воздух сырой и прохладный, упруго давящий от знойд-веста. Казалось, все не так, как во Владивостоке четыре года назад. И все-таки сразу повеяло Владивостоком.

Дело в том, что в зиму 1919 года на корабле разморозили цилиндры шпилевой машинки, что исключало подъем якоря при помощи пара. Завод Нобеля в Астрахани не сумел заменить или заварить рубашки цилиндров, а ранняя весна заставила преждевременно уйти дивизион миноносцев на двенадцатифутовый рейд с расчетом упредить английского противника.

Чтобы не мучить каждый раз баковую команду выхаживанием якоря вручную, вымбовками, мы завели не совсем культурную традицию: с вечера становиться на бакштов (буксир) к какому-либо кораблю, имевшему надежные якоря и командир которого не очень ругался на просьбу постоять у него за кормой на длинном пеньковом тросе, заведенном серьгой. В большинстве случаев этот номер удавался в течение всей кампании. Так было и на этот раз.

Хорошо помню, как вечером договаривался о совместной стоянке с командиром заградителя «Фридрих Адлер», приспособленного из какого-то коммерческого судна, причем со сменой назначения. Не знаю, по чье-

---

<sup>1</sup> Трудно сейчас восстановить, насколько именно шкипер повлиял на дальнейший ход событий в крепости, однако его идея восторжествовала, так как ледокол после вторичного крещения получил имя «Казак Хабаров».

<sup>2</sup> Указ от 24 апреля 1916 года.

му вдохновению, судно заодно переименовали, дав ему имя одного из вождей австрийской социал-демократии<sup>1</sup>.

Представьте мое удивление, когда под подозром любезно приютившего нас заградителя оказалась беседка и на ней матрос с ведерком краски, который старательно замазал пензелем «Фридриха» и уже принялся за «Адлера».

На окрик: «В чем дело?» — новый «перст судьбы», или, точнее, «перст» политотдела флотилии, нехотя ответил:

— А кто его знает?.. Приказано, ну и замазываю!.. Наверное, к соглашателям этот Адлер подался...

Как жаль, что житейская философия владивостокского капитана не получила в свое время универсального признания!

Она бесспорно заслуживала этого, тем более что обычай, против которого выступал шкипер, оказался очень живучим и пережил во времени даже и самый ледокол «Казак Хабаров», погибший во время Великой Отечественной войны.

---

<sup>1</sup> Фридрих Адлер после австрийской революции 1918 года был председателем Всеавстрийского исполкома Совета рабочих депутатов. Очевидно, этот факт послужил основанием для работников политорганов в 1919 году, чтобы увековечить его имя в РККФ. Но, будучи правым социалистом и «махистом, желающим быть марксистом» (Ленин, т. 14, стр. 297), он стал клеветать на РСФСР, был одним из организаторов 2½ Интернационала и сторонником «аншлюсса» с Германией.



---

---

ДЖОН УЭЙН

★

## СПЕШИ ВНИЗ\*

*Роман*

6

**С**анфлауер Корт оказался весьма претенциозным и безобразным сооружением со множеством наемных квартир «люкс». Поднимаясь по ступеням парадного хода, Чарльз почувствовал себя как-то необычно, что-то жало ему правый бок. Это был бумажник. А необычное ощущение объяснялось тем, что бумажник его был туго набит. Кроме двадцати пяти фунтов, которые ему передал Бандер как долю за провоз контрабанды, там лежал и полученный накануне заработок.

Лифтер сказал ему, на каком этаже живет мистер Блирни, и он поднялся наверх. Дверь в квартиру Блирни похожа была на вход в солидный особняк: застекленная, с решетчатым свинцовым переплетом и почтовым ящиком. Сквозь нее доносился сильный шум. Дожидаясь, пока мистер Блирни откроет, Чарльз подумал, какая чудная штука эти развлечения. За дверью были люди, собравшиеся, чтобы развлечься, но голоса их можно было воспринять как вопли отчаяния и муки. Скрипучий голос мистера Блирни, развлекавшего общество одной из своих историй, напоминал тягучий бред тяжелобольного. Глухо раздававшиеся в ответ сквозь двойную дверь взрывы хохота казались ревом стада, загоняемого на бойню. А в перерывах какая-то женщина взвизгивала так, словно ее потрошили. Интересно, пришли ли уже Родрики?

Открыл ему не мистер Блирни, а человек в белом. Чарльз догадался, что это слуга мистера Блирни, одетый так потому, что он подносил гостям напитки. Слуга принял от Чарльза пальто и провел его в комнату, где собрались гости. Мистер Блирни, только что кончивший рассказывать, повернулся к буфету, чтобы промочить глотку, и, стоя спиной к двери, не заметил, как вошел Чарльз. Гости, посмеявшись веселой развязке, еще не возобновили болтовни и стояли, глядя друг на друга, перед тем как разбиться на группки. Они обернулись и поглядели на Чарльза, который тут же оробел. Слуга не объявил о его приходе — не тот был случай да и не тот слуга, — и на минуту произошло общее замешательство. Чарльз сделал два-три шага вперед и попытался одним взглядом оценить обстановку.

Ему удалось только отметить, что здесь, кроме самого мистера Блирни, было, кажется, девять человек. Большинство из них стояло посреди комнаты с бокалами в руках. С виду они производили впечатление богемы, но без тех черт, которые искупают типичные недостатки этого рода людей; они держались искусственно и театрально, без непосредственной эксцентричности, и, в общем, не казались ни тонко чувствующими, ни мыслящими.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 8 с. г.

Чарльз подумал о Фроулише и Бетти, но какая пропасть лежала между этими людьми и той чердачной парой! «Эти» были жестче, грубее, лишены всяких исканий.

На время отдыха мистера Блирни душою общества стал плотный мужчина средних лет в кричащем клетчатом костюме. Таких размеров лица Чарльз еще никогда не видел. Оно было непомерно крупным, и каждая черта его была крупной. Огромные брови нависали над выпученными глазами. Рот был просто необъятен, даже сейчас, когда он его на минуту закрыл. Нос его был одновременно длинный и причудливо шишковатый, с ноздрями вроде кратеров, откуда торчали пучки черных волос. На руках росла не менее длинная щетина. Рядом с ним стоял молодой человек в серых замшевых туфлях. Чарльз поглядел на эти туфли и решил, что по крайней мере об одном из гостей он знает совершенно достаточно. В дальнейшем он старался уже не глядеть в эту сторону.

Бернард Родрик стоял у камина, опершись о его мраморную полку. Вероника Родрик сидела неподалеку в высоком деревянном кресле.

— А, приятель! — обернувшись и заметив Чарльза, заорал мистер Блирни. — Как раз вовремя! Теперь-то и можно начинать веселье — все в сборе! Братцы, это Гарри Лампи, молодой инженер-автомеханик из Мидленда. А это Джимми, Стэнли, Элси, Джуди!

Поток имен оплеснул его мозг, словно ушатом помоев.

Чарльз кивал и улыбался, как в тумане. Ему не терпелось поскорее покончить с представлением и подойти к Веронике. Несколько минут он простоял возле центральной группы, а тем временем мистер Блирни уже начал новый рассказ. Появился слуга в белом с подносом, уставленным бокалами, и стал обносить гостей. Чарльз взял виски и выпил. Слуга сейчас же оказался рядом с ним и снова подставил поднос. Мистер Блирни, очевидно, вытенировал его согласно своему принципу: первый — залпом, второй — глоточками. Чарльз постарался сосредоточить внимание на рассказе, вернее на цепочке рассказов, которые снова стал нанизывать мистер Блирни, но это ему не удавалось. Он искоса наблюдал за Вероникой Родрик. Она держалась особняком. Слуга только что поднес ей напитки, но она не притронулась к ним. В одной руке она держала сигарету. Тоненький белый цилиндр казался толще и неуклюжей пальцев, в которых он был зажат. Спирали дыма выглядели менее изящными и притягательными, чем ее тонкая, гибкая фигурка.

Она подняла глаза и увидела, что он на нее смотрит. Без всякого замешательства она мимолетно ему улыбнулась.

Чарльз стал неприметно отходить от центрального сборища. Только бы ему добраться до нее, пока мистер Блирни еще не окончил своего повествования, тогда им удалось бы побыть несколько минут вместе и никто бы не вмешивался в их разговор. Но только он двинулся к ней, как почувствовал на плече чью-то руку. Это был молодой человек в серых замшевых туфлях.

— О, не уходит! — проворковал он выразительным полушепотом, и рука его обхватила Чарльза за талию. — По идемте, поговорим со мной. Как только вы вошли, я сейчас же подумал: какое интересное лицо, я непременно должен познакомиться с этим молодым человеком.

— Потом, потом, — нетерпеливо пробормотал Чарльз, стараясь прощмыгнуть мимо него: Но человек в серых замшевых туфлях обнаружил неожиданную силу и не отпустил руки Чарльза.

— Нет, нет, нам непременно надо как следует поговорить, — настаивал он. — Мы поедем ко мне и, если захотим, можем проговорить всю ночь. А я уверен, что мы оба захотим. Но расскажите мне что-нибудь о себе. Вы автомеханик — как это неожиданно! Вот уж никогда бы не подумал.

Чарльз резко остановился. Ну, теперь незаметно от него не избавишься! Таких типов надо осаживать сразу. Просто надо преодолеть еще одно препятствие на пути к Веронике Родрик.

Сделав над собой усилие, он посмотрел прямо в глаза человеку в замшевых туфлях.

— Ладно,— сказал он успокоительно,— мы поедem к вам и поговорим как следует, и станем добрыми друзьями, и обменяемся фотографиями, и расскажем друг другу, что нам снится по ночам, и, когда вы уедете на каникулы, вы мне оставите ключ, и я буду приходить каждый день и кормить вашу канарейку, но ближайшие десять минут у меня заняты разговором с другим, так что уберите вашу мерзкую лапу с моего плеча, если хотите сохранить в целости зубы!

Человек в серых замшевых туфлях отпустил его руку и сказал:

— По крайней мере дайте мне номер вашего телефона.

Не задумываясь, Чарльз сказал номер. Это был номер прачечной, куда он сдавал белье. Человек в замшевых туфлях записал его в маленькую книжечку, на отдельной страничке.

Теперь между Чарльзом и девушкой были только клубы табачного дыма. Вот он уже пододвинул к ней стул, и они заговорили. И ни следа смущения или робости, никаких тормозов. Все казалось наконец таким простым и естественным.

— Здравствуйте,— сказал он.

— Здравствуйте,— ответила она.

— А когда вас можно застать по этому номеру, днем или только по вечерам?— спросил человек в серых замшевых туфлях, который никак не мог от него отстать.

Чарльз встал и обратился к Веронике с чопорным полупоклоном:

— Прошу извинения, но я должен вывести этого джентльмена и спустить его с лестницы.

— Пожалуйста,— серьезно ответила она.

— Я позволю вам как-нибудь в субботу,— сказал человек в серых замшевых туфлях и ретировался.

Чарльз опять подсел к ней. Они снова заговорили, и снова, несмотря на перерыв, все казалось так просто и естественно. Времени у них было в обрез — через несколько минут мистер Блирни закончит свой рассказ и непременно явится дразнить их, и на этот раз не без основания. Хватит прятаться в кусты.

— Хватит прятаться в кусты,— сказал он громко.

— А что, собственно, это значит?

— То самое!— Он посмотрел на нее.— Рано или поздно я должен был сознаться, вот и сознаюсь... Когда мы с вами встретились в «Гранд-отеле» в Стотуэлле, это не было случайностью. Я часто приходил туда с тех пор, как впервые вас там увидел. Я не знал, что даст мне, если я вас увижу снова, но я — я все-таки приходил.

Она опустила голову и с минуту помолчала, потом спросила:

— А почему вы рано или поздно должны были сознаться в этом?

— Потому что я вас люблю,— сказал он.

— Как ты себя чувствуешь, Вероника? Ты что-то притихла, может быть принести тебе чего-нибудь выпить?— сказал Бернард Родрик, подходя к ним.

Мистер Блирни кончил рассказывать, и окружавшие его начали разбредаться.

— Нет, спасибо, дядя. Мистер Ламли любезно заботится обо мне.

Она улыбулась чуть напряженно, но довольно спокойно. Только рука ее, державшая сигарету, должно быть слегка дрогнула, потому что дымок заколебался.

— Ну, я тоже посижу с тобой, поболтаем,— мирно сказал мистер Родрик и опустился в кресло юю другую сторону.— Эта вечеринка начинает мне надоедать. Так много шума. Вы правильно сделали, что уединились,— тут он слегка улыбнулся,— в этот тихий уголок.

Чарльза так и подмывало двинуть его в живот.

Последовало короткое молчание. Вероника сидела, не шевелясь, и полный бокал стоял рядом с нею. Она вся была словно выточена рукой какого-то старинного мастера — искусно, любовно — из цельного куска слоновой кости.

К ним подошел мистер Блирни в сопровождении большелицеого человека.

— Хэлло, друзья! — кричал он.— Всем довольны? Выпивки хватает? Послушай, Бернард, Джимми жаждет, чтобы ты рассказал Элси о том, как вы с Алфи Бинером проводили время в Рио. Она еще не слышала этой истории. Элси, милуша, идите к нам! Джимми только что открыл мне, что вы никогда не слыхали о том, как Бернард проводил время в Рио с Алфи Бинером. Как можно не знать этого! Алфи Бинер, да. Я-то был уверен, что все на свете знают эту историю!

— А это забавно? — медленно произнесла Элси, притом без всякого энтузиазма.

Она уже достигла той степени опьянения, когда ей трудно было следить за сколько-нибудь связным рассказом, и она прикидывала, стоит ли ей делать это усилие.

— Нет, не думаю, чтобы это было забавно,— сказал Бернард Родрик с категоричностью, которая как будто не вызывалась обстоятельствами. Он, казалось, твердо решил не поддаваться уговорам. Но ничто уже не могло выбить мистера Блирни из седла.

— Не забавно!— возмущенно завопил он.— Да ты в уме, Бернард? Сколько моих друзей ты буквально довел до колик своей историей! Ты забыл, как тот раз, когда с нами был Питер Филип, он поспорил со мной, что не засмеется, и держался до того самого места, когда, помнишь, вошла старуха и говорит... Черт возьми, нельзя же портить тебе весь эффект! Но помнишь, как ты имитировал старуху, как она вошла и спрашивает: кофе джентльмены будут пить здесь или под дождем на улице? — ну, помнишь? — и как Пит чуть не лопнул со смеху...

— Ну, конечно, это очень забавная история,— сказал большелицкий.— Элси непременно нужно ее послушать.

— А с какой стати они собирались пить кофе под дождем?— угрюмо спросила Элси, начиная этим свои усилия понять, в чем дело.

— Да нет, это только маленькая подробность,— ревел мистер Блирни.— Вовсе они и не собирались, и во всяком случае не в этом дело... Бернард, тебе надо непременно рассказать ей, идем!

Хохоча, они обступили мистера Родрика, а к ним тут же присоединились другие охотники послушать еще раз историю о старухе, и увлекли мистера Родрика на середину комнаты.

Чарльз встал, освобождая свой стул для Элси. Она была в таком состоянии, что едва ли вынесла бы двойную нагрузку — устоять на ногах и выслушать еще одну историю. Она с такой поспешностью плюхнулась на стул, что едва не подмяла Чарльза, но ему все-таки удалось увернуться. Оглянувшись, он увидел, что Вероника тоже незаметно ускользнула и находилась сейчас на другом конце комнаты, рассеянно разглядывая тарелку маслин. Он подошел к ней.

— Вам нравится эта компания? — сказала она, внезапно полуобернувшись к нему.

— А я об этом не думал,— ответил он.— Я пришел только из-за вас.

Она промолчала, и Чарльза стало покидать недавно возникшее в нем чувство непринужденности и решимости. Он всячески старался держать

себя в руках, зная, что если он соскользнет, то покатится вниз до самой трясины молчаливого идиотизма.

— Могу я называть вас Вероникой? — выпалил он первое, что пришло ему в голову.

На этот раз она широко улыбнулась с неподдельной приветливостью. По-видимому, это было для нее самое крайнее проявление веселости. Он не мог представить себе ее хохочущей до упаду.

— Как это мило — заявить, что любите меня, а потом спрашивать, можно ли называть меня Вероникой, — именно в таком порядке!

— А что же тут такого? В таком порядке это и случилось. Я любил вас, не зная вашего имени.

— Всех моих имен, — сказала она. — У меня их три.

Он опять почувствовал, что скользит. И опять поддался свѐей старой злостной привычке выпаливать первое, что взбретет на ум.

— А вам эта компания нравится? — спросил он.

Она с неожиданной злостью мотнула головой.

— Ненавижу. Ненавижу все эти вечеринки мистера Блирни, да и мой дядя тоже. Но он дорожит им из-за каких-то деловых соображений.

Чарльз попробовал представить себе, какие деловые связи могли быть у солидного промышленника мистера Родрика с мистером Блирни и его развлекательной антрепризой. Представить себе он ничего не смог, но инстинктивно чувствовал, что тут дело нечисто. Он заставил себя вернуться к прерванной нити.

— Так зачем же вы пришли сюда? — услышал он вдруг собственный вопрос и ужаснулся своей дурости.

Вместо ответа она посмотрела ему прямо в глаза, в третий или четвертый раз с первой встречи, но на этот раз с неопишущим робким призывом, с застенчивой теплотой, которая в одно мгновение сказала ему больше того, на что он мог надеяться.

«Я пришла, чтобы увидеть вас», — сказали глаза. На секунду все словно покачнулось в неустойчивом равновесии. Он был в двух шагах от нее, и какая-то неодолимая сила обрушилась на него и готова была либо швырнуть его вперед, чтобы обнять ее, или повалить его в беспамятстве назад, на ковер. Он ухватился за край стола.

— Послушайте, прошу, прошу вас, послушайте. — Голос его звучал хрипло и отрывисто. — Я только что сказал вам, что люблю вас, я вовсе не собирался делать это так, ну так грубо, что ли, но все обернулось так — так странно, что...

Он приостановился, пытаясь взять себя в руки.

— Вы и представить себе не можете, как все это было странно и невероятно! Я был мойщиком окон, когда впервые увидел вас, а потом, увидев вас, сразу понял, что мне нужно рвать, рвать со всем этим...

Что он говорит? Час от часу не легче, ужасная ассоциация со рвотой так и резнула его ухо.

— Я что-то путаю, — сказал он. — Но вы понимаете, я был мойщиком окон.

— Что это еще за анекдот про мойщика окон? — прокричал большелицый, подходя к ним и уловив только последние его слова. — Так вот зачем вы увлекаете молодую леди в самый дальний угол! Вот какие истории вы ей рассказываете! — Он хохотал, очень довольный собой.

— Прошу, уйдите, бога ради, уйдите, — резко оборвал его Чарльз, глядя на него, как затравленный зверь.

— Ну нет. Вы должны и меня посвятить в эти истории, — хихикал большелицый, показывая все свои тридцать два зуба. — Я сам люблю истории про мойщиков окон.

Вероника Родрик отошла в сторону, не обнаруживая ни раздражения,

ни гнева. Просто отошла. Чарльз стоял неподвижно, лицо его мертвенно побледнело.

— Молодая леди чем-то расстроена?— спросил большелицкий тоном сочувственного изумления.

— Да, это вы расстроили ее, вы, дубовая вы башка, и меня вы расстроили тоже,— тихо выговорил Чарльз.

По непонятной причине большелицкий вовсе не обиделся на дубовую башку. Но зато он избрал самое худшее с точки зрения Чарльза. Он стал громогласно оправдывать свое поведение.

— Но помилуйте,— лопотал он.— Я просто веду себя общительно, как и полагается на вечеринках, и, услышав, что вы рассказываете ей анекдот о мойщике окон...

— Молчите, да замолчите же,— угрожающе прошипел Чарльз.

— ...и как большой охотник до анекдотов,— блеял большелицкий,— я, конечно, не удержался и попросил принять и меня, как и каждый поступил бы на моем месте...

Вокруг них начинали собираться остальные гости.

— Я не знал, что прерываю... э... так сказать, прерываю...

— Прерываете что?— мягко спросил Бернард Родрик.

— Ну, собственно, не прерываю,— мялся большелицкий.— Просто, ну, я просто не знал, что дело обстоит так...

— Вы не знали, что дело обстоит как?— снова мягко прервал его Бернард Родрик.

— Послушайте,— в отчаянии вмешался Чарльз.— Этот джентльмен просто не понял, в чем дело. Я рассказывал мисс Родрик о своих прежних профессиях и упомянул, что в том числе был одно время мойщиком окон, а этот джентльмен...

— Мойщик окон, нет, вы подумайте!— воскликнула Элси, которой после стольких трудов нужна была встряска.— Ну, конечно, я знаю, зачем вы им стали. Расскажите же нам свои наблюдения.

— Ручаюсь, он именно это и рассказывал ей,— в полном восторге прохрипел мистер Блирни.— Не мудрено, что он не хотел, чтобы его прерывали!

Слова эти потонули в раскатах общего хохота.

Чарльз, почти не помня себя, растерянно озирался вокруг. На глаза у него навертывались слезы ярости и унижения. К тому же он понимал, что окончательно восстановил против себя ее дядю, потому что Бернард Родрик был явно раздосадован. Теперь она, конечно, не пожелает его видеть никогда.

— Кажется, мне пора уходить,— холодно произнес он.

Он протиснулся сквозь строй гостей и вышел. В передней он стал разыскивать свое пальто. Скорей бы, скорей бы отсюда, и навсегда! Жизнь его кончена.

Он яростно перерывал ворох одежды, но никак не находил своего пальто. Взбешенный, он распахнул дверь в маленькую комнатку, сообщавшуюся с гостиной. Он искал слугу, принявшего у него пальто. Слуги там не было. Но на спинке стула висело его пальто, а рядом стояла Вероника. Она, очевидно, проскользнула сюда через вторую дверь.

— Простите! Простите! — забормотал он, но, прежде чем он успел выбежать, она протянула ему пальто, кинув тихо и скороговоркой:

— Заходите за мной в четверг, и мы проведем где-нибудь вечер. Дяди не будет дома.

Чарльз стоял как вкопанный, вцепившись в пальто, но ее уже не было. Пока он соображал, что ему делать, в комнату ввалились искавший его мистер Блирни, Элси, большелицкий и еще кто-то из гостей.

— Ну, приятель, так нельзя!— гремел мистер Блирни.— Черт побери! Веселье еще только начинается!

— Очень жаль,— сказал Чарльз, стараясь быть как можно вежливее.— Мне очень не хочется уходить, но надо на работу. У меня ночная смена.

— Это похоже на ночной грабеж,— серьезно разъяснила Элси.

— Нет, что вы, крошка, просто он собирается помыть несколько окон,— не унимался большелицкий.— Он находит более выгодным мыть их по ночам. Ему платят за то, чтобы он не заглядывал в них ночью.

Новый взрыв хохота. Чарльз вежливо раскланялся и вышел на лестницу, хлопнув за собой дверь.

Спускаясь в лифте, он старался припомнить, где ее руки дотрагивались до его пальто, и касался этих мест своими руками. Но только он не был уверен, те ли это места.

Бандер каждый раз улыбался, вручая Чарльзу его двадцать пять фунтов. Именно эта улыбка вызывала у Чарльза острую неприязнь и отвращение. Бандер как-то по-особому топорщил усы и обнажал длинные белые зубы, придававшие ему сходство с каким-то животным. И действительно они походили на собачьи клыки.

Но не столько зубы, как глаза ужасали Чарльза,— случалось, он не в силах был даже протянуть руку за деньгами. Белки у Бандера были красноватые, и не от разгульной жизни, потому что у него, как у настоящего гуляки, это ничем внешне не проявлялось, а просто оттого, что он подолгу водил открытую машину без защитных очков. Слегка выпуклые, они напоминали Чарльзу глаза Джун Вибер. И, что хуже всего, они смотрели ему прямо в зрачки, и он видел в них пугающее выражение сообщника. «Мы друг друга знаем, и мы два сапога пара» — говорили они так же ясно, как два вечера назад глаза Вероники сулили ему надежду. И два этих взгляда вытесняли друг друга: Бандер — наркотики, Вероника — счастье... Любовь, пакетики в ватерклозете, огромные черные глаза, песьи зубы, мне джину с сиропом, пожалуйста, а ну, выпейте, приятель, полегче с тормозами, чтобы за вами кто-нибудь приглядывал, не так ли, Бернард?..

— Что, нездоровится, старина?

Усилим воли Чарльз овладел собой.

— Да, что-то голова закружилась.

Он протянул руку и, принужденно улыбаясь, взял деньги.

— От этого лекарства все пройдет.

— Это, должно быть, глаза, старина. У меня тоже так бывает после дальнего рейса.

— Да, должно быть, от глаз.

— Вам бы отдохнуть, старина. Ну, всего.

— Всего.

К р у т я с ь , л ю б л ю я с к у д н о т о , ч т о н е н а в и ж у .

Они танцевали, потом сидели за столиком, потом снова танцевали.

— Мне лучше не задерживаться после одиннадцати.

— Ничего. Я довезу вас за сорок минут.

— Как приятно, что у вас своя машина.

— Это наемная, но скоро будет и своя. Еще несколько рейсов, и накоплю на машину.

— Ваша работа, должно быть, хорошо оплачивается?

— Да, хорошо.

— А что, она опасна?

— Бывает,— сказал он.— Иногда и опасна.

— Всегда хорошо оплачивается именно опасная работа.

— Да, как будто.

Она сжала его руку.

— А мне это не нравится, Чарльз.

— Что не нравится?

— Что вы на опасной работе.

— Ну, обо мне не беспокойтесь.

Они вернулись за столик.

— Я люблю вас,— сказал он.— Это тоже опасно.

— Почему опасно?

— Вы бы поняли, если бы любили.

После обычной для нее короткой паузы, она подняла глаза и спросила:

— А почему вы думаете, что я не люблю?

— Вы бы сказали об этом мне, ведь сказали бы?

— Не знаю. Я не обо всем говорю, вы это знаете.

— Да,— сказал он.— Вы не обо всем говорите.

В десять минут двенадцатого они вышли. Сели в машину. Прежде чем включить мотор, он обернулся и посмотрел на нее. Они были близко от фонаря, его свет, проникая сквозь стекло, бледным пятном выхватывал ее щеку, блестел на ее темных волосах.

— А почему вы не обо всем говорите? — спросил он.

— Когда-то говорила. Но отучилась, уже очень давно.

— А можно мне спросить, что заставило вас отучиться?

— Не спрашивайте,— сказала она и вдруг крепко его поцеловала. Весь дрожа, он включил мотор. Они доехали за сорок минут.

Все шло совсем не так, как он себе представлял. Он мечтал о том, что неожиданно увеличившийся заработок позволит ему добиться положения, которое откроет доступ в круг Родриков. Вот он входит в их общество, посещает их и принимает их у себя, становится привычной фигурой в их обиходе и наконец... Тут мечты его теряли определенность: что же он сделает наконец? Он мог бы рисовать себе, что, уже солидный и достойный жених, он делает предложение, как это сделал бы Тарклз, озабоченный тем, чтобы иметь семейный очаг, к которому он мог бы пригласить своего управляющего на обед или ужин. Но, по правде говоря, он никогда и не думал об этом; он не осмеливался заглядывать так высоко.

Вместо этого он столкнулся с фантастическим переплетением удач и зловещих препятствий. Хорошее, конечно, перевешивало плохое; он никогда бы раньше не поверил, что такая девушка, как Вероника, могла почувствовать к нему — опять начинались сомнения, — ну, словом, чувствовать то, что она по отношению к нему чувствовала. Что она по крайней мере позволяла себе бывать в его обществе (обычно не менее одного раза в неделю) и хотя бы делать вид, что это ей нравится и что она с удовольствием ждет следующей встречи. Но дело было не только в этом, и он знал, что далеко не только в этом. Прежде всего совершенно очевидно, что вместо всякого сближения с Бернардом Родриком, наоборот, принимались всяческие предосторожности, чтобы дядя даже не знал об их вечерних свиданиях. Вероника никогда не говорила об этом прямо, но это было ясно с самого начала. Она редко разрешала ему заезжать за ней, разве что в тех случаях, когда Родрик был в отъезде. Но и тогда он должен был только звонить у двери, и она тотчас же появлялась, уже готовая к прогулке, — войти в дом его никогда не приглашали. Чаще же она встречала его в заранее условленном месте, и опять-таки он отметил, что это никогда не была Дубовая гостиная, излюбленное место ее дяди.

Временами он не обращал на это внимания, сознавая нелепость мыслей о будущем, когда она с ним в настоящем, и с изумлением обнаруживал, что он вполне счастлив и так, без того, что Фроулиш

называл «позабавиться». Изумление его было тем более неожиданным, что он никогда не считал себя склонным ко всяким романтическим иллюзиям; он отлично сознавал, так же как любой юноша, что лежит в основе разделения человечества на два пола. И тем не менее шли недели, весна сменила зиму и обещала впереди лето, а ему достаточно было быть с ней, слушать ее голос и смотреть в ее черные глаза.

Но иногда в фокус его сознания попадало ощущение зыбкой неуверенности, и тогда все бремя огромной вины обрушивалось на него. Он выбросил на свалку все человеческое, он обманул доверие, оказанное ему другим, и за свои тридцать сребреников купил... но что он купил?

Однажды вечером, засидевшись за стаканом пива в баре рядом с конторой «Экспорт экспресс» и мрачно раздумывая о своих затруднениях, Чарльз был внезапно возвращен к действительности голосом, резко пролаявшим ему в самое ухо:

— Что я вижу! Да это Ламли!

Еще прежде, чем мускулы шеи сжались и повернули голову в сторону нового нарушителя спокойствия, мозг Чарльза уже узнал, чей это голос. В нем было то знакомое, что свойственно лишь голосам, звучащим рядом с вами в годы вашего формирования.

— Хэлло, Догсон! — сказал он. — По-прежнему лакаешь из чернильниц?

Гарри Догсон захохотал. Лет десять назад, когда они оба учились в школе под тяжелой ферулой<sup>1</sup> Скродда, кто-то пустил шутку, в которой фигурировал он сам и какие-то чернильницы. В чем была суть — все скоро забыли, соль шутки растворилась, но осталась привычка в присутствии Догсона упоминать чернильницы и заливаться хохотом. Добродушный парень принимал это как знак своей популярности и охотно служил мишенью для шуток.

— Нет, теперь пью из стаканов, — осклабился он. — А ты? Что же это у тебя пусто?

Заказали еще по одному, раскурили по сигарете, разговорились. Оказалось, что Догсон служит репортером в местной вечерней газете. Без сомнения, это весьма влиятельный орган, но он, конечно, мечтал попасть на Флит-стрит<sup>2</sup>.

— Только одним способом можно добраться до верхушки, — объяснял он, и его толстошеекое лицо светилось фанатичной преданностью своей навязчивой идее. — И способ этот — сенсация. То, что действительно приковывает взгляд читателя. Ну, например, серия статей о каком-нибудь сногшибательном происшествии. То, что заставляет говорить о себе всю нацию...

Было что-то обезоруживающе-подкупающее в бескорыстном рвении, с которым Догсон поклонялся могуществу бульварной прессы. Он стремился приобщиться к ее культуре в самых его низменных проявлениях. Чарльз смотрел на него, на его потрепанную спортивную куртку с кожаным кантом, на его обкусанные ногти, на его жеваный галстук и замусоленную панамку и мысленно отмечал: вот она, жизнь ради идеала!

— По правде говоря, у меня наклеивается одна такая серия, только бы раздобыть материал, — признался Догсон. — Я уговорил нашего редактора по внутренней жизни дать мне местечко — конечно, если у меня получится, — и опубликовать всю серию за моей подписью. Вот это может сразу меня выдвинуть.

— А о чем? — спросил Чарльз просто так, из любопытства.

<sup>1</sup> Буквально — линейка, в переносном смысле — руководство.

<sup>2</sup> Улица в Лондоне, где расположены редакции крупных столичных газет и журналов.

— О чем? — откликнулся Догсон. Он всегда был легко возбудим, и сейчас ясно было, что температура у него подскочила при одной мысли о вынашиваемой им идее.— О чем? Самые мерзкие махинации в сегодняшней Британии! Тень, нависшая над нашим юношеством! Гнусные подонки отравляют основы нашего общества!

Чарльз посмотрел на него — не шутит ли он? Такой водопад газетных заголовков мог означать неожиданный для него дар самопародии. Но Догсон говорил всерьез. Отравленный воздух, которым он дышал изо дня в день, лишил его даже той ничтожной доли критического чутья, которой наградила его природа. Его профессиональное будущее представлялось действительно блестящим.

— Наркотики,— сказал Догсон, опускаясь на землю.— Тайная торговля наркотиками. Правда, об этом уже писали. «Парад Порока» — целая серия в «Ключе» и еще три статьи в «Кашалоте» с цветными вкладками.

Человеческое несчастье и безумие были для них предметом торговли! А для него? Как низко ни упал Догсон, сам он пал еще ниже.

— Но, по-моему,— продолжал Догсон, воодушевленный своей темой,— можно написать еще одну серию под особым углом. Сосредоточив внимание на одном аспекте.

Чарльз почувствовал, как нестерпимо пересохло у него во рту и в гортани. Он отхлебнул пива. Но едва он сделал глоток, как гортань опять пересохла. Он закурил новую сигарету.

— А в каком аспекте? — спросил он.

— Ну,— сказал Догсон,— я во всем этом разобрался, и мне кажется, что слишком много внимания уделяют распространению наркотиков внутри страны — по всяким, знаешь ли, «джаз-клубам» и прочее. Конечно, тут можно состряпать кричащую статью — с фотографиями наркоманов под действием наркотиков, с внутренней обстановкой таких клубов и прочее. Но мне кажется, что недооценивают другой аспект, который труднее поддается обнаружению, но в котором, по-моему, и заложены шансы.

— Шансы на что?

— А на то, чтобы раскопать все это, добыть факты и преподнести их всей стране! — воскликнул Догсон. — Ты послушай, что я имею в виду. Это момент проникновения зелья через границу. Вот она, моя мишень.

— Да, но видишь ли,— Чарльз говорил с большим усилием,— обо всем этом заботятся таможенные власти и портовая полиция. Они, конечно, разбираются во всех уловках. Но от них ты, конечно, ничего не выудишь.

— А-а, таможня! Полиция! — презрительно фыркнул Догсон.— Подумаешь, много они знают. Во всяком случае, я пойду не к ним. Я буду действовать самостоятельно. Я уже кое-что придумал. Но придется заниматься этим в свободное время: ведь этот скряга Ричардс не дает мне ни фунта на расходы. Но все равно. Я не отступлюсь!

Он помолчал, потом внимательно посмотрел на Чарльза. Очевидно, ему что-то пришло в голову.

— Послушай, Ламли,— сказал он.— Насколько я понял, ты можешь мне помочь. Ты говоришь, что перегоняешь машины на экспорт. Значит, ты должен бывать во многих портах страны.

Чарльз молчал. В первые минуты их разговора он действительно сказал, где работает, и теперь хотел бы проглотить эти слова вместе с языком. Но как мог он предположить, что затеял этот маньяк? Он с отчаянием ожидал какого-нибудь сумасбродного предложения. Сердце у него отчаянно билось.

— Ты послушай,— снова начал Догсон.— У меня, понимаешь, нет никакой официальной поддержки. Я предоставлен самому себе и не

смогу проникнуть в порт, где разгружают суда. Напрасно было бы убеждать тамошние власти, что, как всякий член общества, я имею право проследить, нет ли контрабандного провоза вредоносных наркотиков.

— К тому же,— жестко добавил Чарльз,— ты вовсе не член общества. Ты просто газетная ищeyка и вынюхиваешь след грязной сенсации.

— Ну, конечно, от тебя только и жди что оскорблений,— дружелюбно заметил Догсон.— Ты еще в школе всегда по-свински издевался над товарищами. Но, послушай, ты, конечно, понимаешь, к чему я клоню. Тебе же ровно ничего не стоит захватить меня с собой в одну из твоих поездок. Посадишь меня в машину и...

— Невозможно,— нервно прервал его Чарльз.— Нам строжайше запрещено брать пассажиров.

— Ну что ж, придется мне потратиться на билет,— вздохнул Догсон.— Но там-то мигни мне, когда отправишься в доки, и в какой именно. Я пойду к воротам, а ты пусти в ход свою магическую палочку и проведи меня.

Он, словно фокстерьер, заглядывал в глаза Чарльзу. По-собачьи молил о дружеской услуге. Чарльз смял сигарету и наклонился к нему.

— Слушай, Гарри,— медленно сказал он.— Мне очень жаль, но ты должен выбросить из головы самую мысль об этом. Я не могу провести тебя в доки, я не могу снабжать тебя какой-либо информацией, я не могу обеспечить тебе место на ринге, где развертывается борьба вокруг ввоза наркотиков... Вообще я ничем не могу помочь тебе по части твоих статей. Понял?

— Нет, ни черта не понимаю!— воскликнул Догсон.— И почему ты придаешь этому такое значение, вот чего я в толк не возьму! Можно подумать, что я прошу тебя рискнуть своей головой, а не оказать маленькую дружескую услугу.

Рисковать головой. Эти слова сразу перенесли Чарльза в темную подворотню рядом с закуской Гарри Снэка, напомнили того лысого, что тыкал ему в нос кастетом. Первый раз сошло. А во второй дожدهшь, что тебе свернут шею. Потом он увидел тяжелый сапог, топтавший руку с кастетом. Насилие, муки, побои и раны — хватит с него всякого такого, он уже был на грани этого мира и не хотел больше приближаться к нему. Если Бандер или кто-нибудь из многочисленных членов его организации заподозрит, что именно он навел на их след твякяющего фокса Гарри Догсона, это неминуемо приведет к насилию такого размаха, какой трудно себе представить, и он окажется его жертвой. И принесла же нелегкая этого наивного олуха!

— Не сердись, Гарри,— сказал он, принуждая себя смягчиться и растянуть рот в улыбке.— Давай прекратим этот разговор. Я долго искал себе работу и не хочу ее терять, не хочу, чтобы про меня говорили, что я допускаю неизвестных людей приглядываться к условиям нашей работы. Я не хочу ничем способствовать твоим планам стать магнатом Флит-стрит. Делай свое дело, а я — свое.

— Делать свое дело? — с горечью повторил Догсон.— Да бог мой! Как раз это я и стараюсь делать. А как же действовать газетчику без личных связей? Ты меня огорчаешь, Ламли, очень огорчаешь!

— Дорога на Флит-стрит,— с насмешливой торжественностью произнес Чарльз,— вымощена огорчениями. Я только преподал тебе полезный урок.

Догсон допил пиво и ушел. Чарльз сидел, уставившись в стакан. Сердце его сжимало смутное ощущение опасности. Что-то внутри его с гнетущей уверенностью твердило, что пагубные последствия его падения не могут долгое время оставаться тайной для окружающих и что, когда наступит для них срок прорваться и поразить его, за ним захлопнется еще одна железная дверь.

Жаркое солнце, впервые проглянувшее в этом году, пробудило птиц, вызвало к жизни насекомых, растения и согрело их своим благословением; только люди, засевшие в конторах, стоявшие у верстаков и станков, пробиравшиеся в забой при свете рудничных ламп, были лишены его живительного сияния... Однако в университете к полудню прекращалась даже видимость работы. Студенты, подобранные из большого числа абитуриентов в силу своего происхождения, особых дарований и способности поддерживать шестисотлетние академические традиции, скинув рубашки, расположились на траве газонов, неуклюже и неумело заигрывая с хихикающими девицами. Кое-кто даже снял ботинки и носки. Солнце отсвечивало на стеклах их очков, а звук голосов, извергавших залпы пошлых шуток на десятке грубоватых провинциальных диалектов, заглушал птичий гомон, звучавший над их головами. Условная красота газонов, кустарников и клумб, подчеркнутая захватывающим дух совершенством серой каменной громады университетского здания, в меру своих сил противостояла и старалась сдерживать и смягчить людскую грубость, но терпела поражение перед потрясающим умственным и физическим уродством тех, кто валялся на траве или слонялся взад и вперед, куря папиросы, разбрасывая по шелковистым газонам окурки, обертки, спичечные коробки, обрывки бумаги. То и дело какой-нибудь преподаватель, уже не чувствительный ни к красоте, ни к уродству окружающего, торопливо проходил через сад резким, начальственным шагом дежурного администратора крупного универмага — хоть ничто из выставленных богатств ему не принадлежит, но все же что-то уделяет из собственного великолепия.

Чарльз и Вероника сидели на плетеном шезлонге под букowym деревом. Его нижние ветви смыкались над их головами, и зеленая прозрачность молодой свежей листвы полностью соответствовала пылкой чистоте их чувства. Хорошо, что ему пришлось в голову привести ее сюда. Когда он в первый раз заехал за ней в собственной машине и они решили при удобном случае уехать на целый день, Чарльз предоставил выбор места Веронике; но когда она захотела увидеть университет, в котором он учился, беспокойное чувство овладело им при мысли, что он снова вернется туда, где испытал столько мук, безрассудств и смятения. Он уже готов был объяснить ей, как ненавистно ему и самое место и те люди, стараниями которых он оказался столь удручающе не приспособленным к жизни. Но он подавил в себе это, и теперь все было как нельзя лучше. Машина шла замечательно, день был превосходный, один из не по времени жарких дней конца апреля, — а вот и университет покрасовался перед глазами, как будто стараясь возместить все то, чего он его лишил. Сад принял гибкую фигурку Вероники в раму такой пышности, что не оставалось желать большего совершенства. И солнце освещало своими жаркими лучами исполнение его чаяний.

Они сидели счастливые, примолкшие, как вдруг мимо них шаркающей походкой медленно прошествовала по лужайке высокая сутулая фигура. Это был Локвуд; его чело бороздили морщины — знак того, что сходило за мысли. Что-то вскипело в Чарльзе и толкнуло его на необдуманный вызов.

— Локвуд! — крикнул он резко и грубо.

Нескладно скроенная фигура нерешительно приостановилась, водянистые глаза глядели поверх роговой оправы. Мозг наставника вяло постигал, что это еще за новое беспокойство. Локвуд пожевал губами — ясно было, что он старается вспомнить прежде всего, кто это, а затем, принадлежит ли он к числу теперешних воспитанников или из уже выпущенных. Потом он заметил Веронику, и голодное выражение сменило обычную его озабоченность.

— Э!.. Э!.. — протянул Локвуд и сделал длинную паузу.

Он снял очки и, вытащив коричневый металлический очечник, положил их туда. Потом засунул футляр в карман, достал еще один такой же. Оттуда он извлек другую пару очков, на этот раз в блестящей металлической оправе. Они так и остались у него в руке. Два маленьких яйцевидных зайчика, отражаясь от их линз, мягко запрыгали по траве у самых сандалий Вероники. Чарльзу показалось, что если один из них попадет и хоть на секунду задержится на ее ноге, то опалит кожу.

— Так это вы, Ламли,— сказал наконец Локвуд.— Не видал вас с самого выпуска.

— Я вас также,— решительно заявил Чарльз.

Тут наступила новая пауза: двое из большой компании юных соискателей ученых степеней развалистой походкой проследовали мимо, и так как Локвуд стоял шагах в семи от шезлонга, они прошли перед самым носом Чарльза и Вероники, прервав начавшийся было разговор. Сделали они это без всякого стеснения или извинений. Один из них рассказывал скользкий анекдот, но ни на йоту не приглушил своего зычного голоса. «А когда они стали возражать,— говорил он,— она только заметила: «Что же вы хотите, чтобы я держала это в гостинной?»

Когда они отошли, Чарльз сказал:

— Ну, само собой, я должен был зарабатывать на жизнь.

Он не спешил представлять Веронику: пусть Локвуд подождет этой чести.

— Зарабатывать на жизнь? — осторожно переспросил Локвуд.— Ну, это всем нам приходится делать,— прибавил он с намеком на добродушие.— А в какой... а... области, в какой?..

— Ну да, зарабатывать,— сказал Чарльз, делая вид, что он хочет быть точным.— Но, конечно, пока я получаю только основной оклад, пока я еще прохожу курс усовершенствования.

— Да?

— И, конечно, пройдет еще некоторое время, пока меня не переведут на полную ставку.

— Да? — сказал Локвуд, уже несколько нетерпеливо.

— Но в несколько месяцев курса не пройдешь!

— Какого курса? — раздраженно вскричал ученый муж.

Овальные зайчики дернулись, скользнули по икрам Вероники и оставились на подоле ее юбки. Пора было вставать.

— Позвольте представить вас,— сказал Чарльз, вставая с шезлонга.— Вероника, это мистер Локвуд, о котором я вам столько рассказывал. А это мисс Родрик.

— Очень рад,— произнес ошарашенный Локвуд.

Он стоял в лучах солнца, покачиваясь и переводя с одного на другого взгляд обалделого быка.

Вероника ответила ему соответствующим приветствием. Затем последовало молчание, и, прежде чем они нарушили его, какой-то молодой человек с преждевременной лысиной, обогнув цветочную клумбу, приковылял к ним на коротких ножках.

— Что касается этих бумаг, Локвуд...— продолжал он, видимо, начатый прежде разговор, совершенно не обращая внимания на Чарльза и Веронику. Очевидно, это был коллега Локвуда с другого факультета.

Чарльз и Вероника медленно двинулись с места. Лающий голос молодого преподавателя еще долго сопровождал их, далеко разносясь в солнечном воздухе.

Готовясь к сегодняшней прогулке, он никак не думал, что они проведут «день на реке». Чересчур обычное и доступное, штамп в действии: молодая любовь, журчание воды, уединение в лодке, которая невольно сближает друг с другом своими тесными жесткими бортами. Он уже вы-

шел из того возраста, когда его влекло такое сочетание. Но действительность еще раз показала, насколько он неправ, опять проявляя пошлую глупость своего юношеского отрицания всех романтических аксессуаров, которые далеко не утратили ни своей силы, ни значения. Бродя по сырым луговинам, они незаметно для себя очутились на берегу реки, которая манила их к себе; лодочник дал Чарльзу шест, записал номер их лодки в книгу и оттолкнул ее на середину реки — и обычная банальная обстановка сейчас же оказала свое действие, готовая еще раз вызвать обычные, банальные чувства.

Впрочем, ни обстановка, ни чувства не были ни обычны, ни банальны. После стольких неуклюжих попыток, стольких случаев, когда, казалось, все уже шло как надо, но выдыхалось и терпело неудачу, — теперь наконец смесь дала вспышку. Магические заклинания, которые повторялись в его устах все более вяло, внезапно зазвучали ярко, они по-сказочному превратили лягушек и крыс снова в людей, фея спорхнула с рождественской елки, соломинки обратились в золотые нити. Было ли это просто потому, что он был с ней? Чарльз не мог решить, но, конечно, был в этом момент удачи или магии (не синонимы ли это?), который смешал воедино все скучные слагаемые и сделал все таким живым и прекрасным. Солнечный свет на воде знал, что делать; умудренный опытом многих столетий, он умел произвести желаемый эффект, отражаясь на затененной поверхности листьев, нависших над рекой как раз на должной высоте. Хор птиц был прекрасно сретирован, цветы и трава в точности знали свои роли, прохладные серые громады вековых зданий на заднем плане с точным расчетом уравновешивали своим контрастом спокойное стадо грузных коров, расположившихся на лугу. Утонченно вкрадчивое, многократно фотографированное, закрепленное в стольких путеводителях и календарях очарование всего ансамбля, казалось, должно было приесться и не производить впечатления. Однако оно действовало, и Чарльзу пришлось признать, что это был все тот же испытанный метод: как и все прекрасные иллюзии, все было преисполнено непоколебимой уверенности в себе, и эта уверенность была в конце концов неотразима.

Позднее он обнаружил, что не может припомнить ни одной подробности из этих двух часов, проведенных на воде. Ничего, разве только сумочку Вероники, лежавшую на дне лодки. Она была несколько необычной формы, жесткая и квадратная, с застежкой, которая напоминала свернувшуюся золотую змею. Перед каждым толчком мокрый шест, скользнув по ладоням, упирался в каменистое дно, а сам он, нагнувшись вперед, невольно останавливал взгляд на сумочке, спокойно и доверчиво лежавшей у ног хозяйки и с собачьей преданностью готовой держать и носить ее вещи и открывать свои секреты только хозяйской руке.

В том, что произошло дальше, забавнее всего была полная естественность, непринужденность, отсутствие всего показного и каких-либо стараний. Всегда, когда он позволял себе об этом думать, он представлял, что, если когда-нибудь они станут любовниками, это произойдет после решающего, тщательно подготовленного разговора, формального и откровенно обсужденного предложения или по крайней мере после какого-то периода натянутости и взаимной стесненности. Но на самом деле действительность не требовала от них ни слов, ни сознания, что надо что-то сделать обдуманно и сурово, переступив какой-то порог. Нет, это было совсем не так; они словно долго смотрели друг на друга сквозь стеклянную преграду, мгновенно ослепленные закрытыми глазами, а открыв их, обнаружили, что между ними нет этой прозрачной, но непреодолимой преграды, что она рассеялась в воздухе.

Они поняли это еще до того, как снова заговорили. Они знали это, идя между полуобвалившимися каменными изгородями, освещенными золотистыми лучами заката, знали, сидя со стаканами в руке на замыз-

ганной деревянной скамье и разговаривая друг с другом не словами, а мыслями.

Наконец он растерянно сказал:

— Пожалуй, нам пора возвращаться...

Она поставила стакан спокойно и тихо и сказала:

— Вы же знаете.

— Что знаю? — все так же растерянно спросил он, но тоже спокойно, без обычной неприязни к себе.

— Что мы не вернемся, — сказала она.

— Да, не вернемся, — повторил он. — Сегодня не вернемся. Мы здесь, мы вместе, мы счастливы и мы не вернемся.

— Идите, договоритесь, — сказала она. — Я подожду вас здесь. Но только не задерживайтесь, Чарльз.

Он встал и пошел договариваться.

— Так не задерживайтесь, — повторила она.

— Взгляните в окошко, — сказал он. — Это я уже возвращаюсь обратно.

Он пошел и договорился.

## 7

В тот день надо было пригнать в порт девять машин, и они вели их под легким летним дождем, держа дистанцию примерно в сто шагов. Чарльз был последним. Он отдыхал за рулем, движение было небольшое, и только краем сознания он был здесь, за рулем; все существо его со всем жаром умиротворенного поклонения было полно мыслью о Веронике. Горделивое сознание — будь что будет, а он победил, — было для него внове. Ища какого-нибудь сравнения, чтобы определить то, что он переживал, Чарльз представил себе не классного игрока, скажем теннисиста, который каким-то образом сравнялся, а потом сверхчеловеческим усилием переиграл на несколько очков своего сильного партнера, и вот внезапно объявляют, что хотя игра еще продолжается, но очков больше засчитываться не будет. Теперь, что бы ни случилось, какие бы ошибки он ни допустил, он все равно победитель. И от этого чувства беззаботной уверенности игра его может подняться до неожиданного блеска и совершенства — и такой, думал Чарльз, будет отныне и его жизнь. Победа за ним. Ему удалось достичь того, чего он так добивался и что не оказалось иллюзией. Тому свидетельство — как легко было у него на душе, как жил и веселил его каждый вдох, — словом, он был счастлив!

Однако какое-то внешнее впечатление все же пробило с периферии его мозга. Вот уже с четверть часа его смотровое зеркало время от времени отражало какое-то движущееся пятно. Сейчас это пятно обозначалось резче, и, хотя машина шла с довольно большой скоростью, Чарльз слегка посторонился, чтобы пропустить мотоциклиста. В зеркале он увидел переднее колесо и щиток мотоцикла. Это была одна из больших и обильно разукрашенных американских машин. Кремового цвета, она была снабжена всяческими рефлекторами, щитками, сигнальными рожками. На месте седока за рулем громоздился куль каких-то одежек.

Еще через минуту, приглядевшись, Чарльз увидел, что куль этот имеет голову. А переднюю ее часть, как обычно, занимает лицо. И лицо это повернулось, чтобы взглянуть Чарльзу прямо в глаза со злорадной ухмылкой самодовольного торжества.

Чарльз со злостью нажал тормоз до отказа. Машина заскользила по мокрой дороге и, резко вихляя, наконец стала. В тишине кабины послышался стук дождя по крыше и приглушенная работа мотора. Мотоциклист, не ожидавший остановки, проскочил шагов на пятьдесят. Он притормозил гораздо осторожнее, круто повернул машину и медленно подъехал. Чарльз опустил стекло, и они оказались лицом к лицу.

— А ничего машина, послушная,— с напускной развязностью сказал смущенный Догсон.— Купил ее в рассрочку, разумеется.

— И куда собрался? — спросил Чарльз, не давая тому увилить.

— Да так, вообще,— ответил Догсон.

Он замолчал, не желая уточнять. Но Чарльз, не давая ему опомниться, продолжал наседавать.

— Сказать тебе, куда?

— Ну что ж, скажи,— хихикнул Догсон с деланным добродушием.

— Брось дурака валять, Гарри. Ты собрался в доки, чтобы разножить и пакостить нашему брату. Не рассказывай сказок. Ты следовал за мной уже много миль, возможно с самого выезда, но я заметил тебя, только когда движение стало меньше.

— Ну и что же такого? — буркнул Догсон, и его наигранно сердечный тон мигом стал мрачным.— А что ты думаешь, мне так уж сладко трястись на этой чертовой штуке и гнаться за тобой миля за милей по мокрым дорогам и все из-за того, что ты не захотел оказать мне услугу и захватить с собой?

Вода струйками стекала с его гладко зачесанных волос.

Чарльз в отчаянии посмотрел на него. Ясно было, что это глуповатое и добродушное лицо скрывало твердую решимость и, пусть это всего лишь дурацкое упрямство, все равно с ним приходилось считаться. Догсон, вдохновленный удвоенной силой — честолюбия и своей навязчивой идеи,— доведет дело до конца.

До конца! А каков будет этот конец? С болью в сердце Чарльз высунулся из окна и сказал, не сдерживая больше своей ярости:

— Повторяю тебе, выкинь эту затею из головы. Тебе будет стоить невероятных трудов проникнуть в порт и затесаться к водителям экспортных машин. Ты причинишь уйму неприятностей и себе и другим, а в конце концов ничего не обнаружишь и только подтвердишь свою репутацию безмозглого дурня.

Догсон прищипорил своего коня. Мотоцикл оглушительно взревел. Из средоточия шума и дыма на Чарльза глянул откровенно враждебный взгляд Догсона.

— А почему ты знаешь, что я ничего не обнаружу? — прокричал он.

Слова эти донеслись, словно адское заклинание. Он круто повернул и исчез вслед за головными машинами.

Чарльз дал газ и стал в свою очередь нагонять товарищей. Недавнее ощущение неслыханного счастья было омрачено. Игру придется вести, внезапно почувствовал он, в условиях новых и зловещих осложнений.

К полудню он добрался в порт и присоединился к остальным у ворот указанного им причала. Пока происходила таможенная процедура, шоферы толпились у входа, куря и болтая. Бандер был в прекрасном настроении и рассказывал какой-то анекдот, который его слушатели встретили оглушительным хохотом. Джек Саймонс, прислонившись к стене и сбив на затылок свою серую кепку, стоял в стороне от других. Ближайшие дружки Бандера даже с излишней старательностью делали вид, что они не составляют отдельной группы, держались врозь и не затевали между собой разговоров. Все они были явно рады, что сегодня не предвидится очередной «операции». Бандеру на этот раз не дали указания принять товар, и все они были на положении свободных и честных людей. А что касается его, думал Чарльз, то ему это было безразлично. Жизнь его уже давно перестала течь нормальным руслом, а счастье теперь целиком в одних только отношениях с Вероникой, и это как-то вытесняло из его головы сознание вины. А вместе с тем, как это ни странно, исчез страх. Хотя разоблачение и арест тотчас же вызвали бы величайшее из возможных несчастий — разлуку с Вероникой,— он на-

столько привык к мысли, что лишь преступление делает возможным доступ к ней, что все его страхи были как бы усыплены наркозом. Он не разделял с другими того нервного напряжения, которое явно угнетало даже Бандера. Это было еще одним проявлением того, насколько сузился круг его мыслей. Лишь одна-единственная мысль безраздельно владела им, и это наваждение давало ему силу и упорство, в которых он так нуждался.

Он прислонился к стене. Сейчас его заботила только возможность, даже более того — уверенность, что Догсон уже где-то здесь, поблизости. Он с раздражением огляделся, но нигде не видно было ни самого фанатика, ни его мотоцикла.

Саймонс прервал его размышления каким-то вопросом о сегодняшнем рейсе. Чарльз ответил нехотя, и Саймонс снова замолчал. Теперь он редко заговаривал с Чарльзом. Он был слишком наблюдателен, чтобы, несмотря на все предосторожности Чарльза, не понять, что тот не воспользовался его советом держаться подальше от Бандера. Когда глаза их случайно встречались, Чарльз замечал у того выражение укора; как ни старался Саймонс скрыть упрек, — по-видимому, он решил не ввязываться в это дело, — его честность, столкнувшись с двойной игрой, давала вспышку осуждения. Чарльз до встречи в Дубовой гостиной тяжело переживал бы неодобрение такого человека, но теперь оно было ему безразлично, даже когда он его замечал.

— А ну, уходите-ка отсюда, — произнес чей-то голос громко, но не сердито.

Все в изумлении оглянулись.

— Я имею право и могу доказать это... моральное право... Народ должен узнать! — закричал в ответ другой, визгливый голос.

Чарльз весь сжался от приступа тоски и отвращения. Из-за шеренги блестящих черных машин появился полисмен, ведя под руку Догсона. Вся сцена имела столь комический вид, что большинство шоферов, да и все присутствующие заулыбались, а то и захохотали. Полисмен, разнеженный такой внезапной разрядкой, соблаговолил объяснить, проходя мимо:

— Застукал его, когда он лез в одну из ваших машин. Хотел, видите ли, проникнуть в доки, схоронившись на дне.

Вдруг Догсон заметил Чарльза.

— Послушай, Ламли, — крикнул он, выглядывая из-за спины уводившего его полисмена, — замолви за меня словечко! Видишь, какое недоразумение.

— Так вы знаете этого человека? — спросил полисмен, останавливаясь. — Если так, попрошу вас, как только освободитесь, зайти в контору инспектора и удостоверить его личность.

— Хорошо, — пробормотал Чарльз.

Комическая пара проследовала дальше. В тот же момент дали сигнал, что шоферы могут подводить машины к причалу. Они сели за руль, и следующие полчаса ушли на привычную работу.

Освободившись, Чарльз прошел в контору инспектора и заявил, что нахолившийся Догсон — человек ему известный и безвредный. Чарльза тут же отпустили и продолжали опрос Догсона; он ушел уверенный, что его показание спасло Догсона от штрафа и тот отделается внушением.

Направляясь к воротам доков, он заметил, что кто-то идет за ним по пятам. Это был Бандер. Чарльз хотел было заговорить с ним, но у него язык словно присох к гортани, и он никак не мог начать. Бандер со своей стороны тоже хранил молчание. Они вышли на улицу. Бандер придержал для Чарльза дверь в первый же кабачок, и вот они уже сидели в укромном уголке за бутылкой пива. Ни один из них так и не произнес пока ни слова.

Бандер в упор посмотрел на Чарльза. Они сидели неподвижно, не притрагиваясь к стаканам, стоявшим перед ними на столе.

Сомневаться не приходилось — Бандер был хозяином положения. Как раз в тот момент, когда их молчание стало напоминать игру «кто кого перемолчит», Бандер небрежным жестом дал понять, что дальше тянуть нечего, что он имеет право спрашивать, и сказал:

— Так значит приятель?

— Ну какой там приятель! — неуверенно попробовал защищаться Чарльз. — Просто он знает, кто я, вот и все.

Уже произнося эти слова, он с ужасом почувствовал, насколько они бесполезны.

— Он знает, кто вы, вот и все, — спокойно заметил Бандер. — И он знает ваше имя, вот и все, и вы идете выручать, когда его задержали, и он знает, что сегодня должна была прийти партия машин, вот и все.

Чарльз отхлебнул большой глоток. Это звучало, как злое повторение бог весть сколько времени назад происходившей сцены с миссис Смайт. Я частный сыщик. Ну, вот и сыщи сейчас что-нибудь. Сыщи что-нибудь в ответ Бандеру, чтобы спасти себя от ножа в горло или от удара кастетом темной ночью.

— Послушайте, надо же понимать, — сказал он порывисто.

— Я-то все понимаю, старина, — серьезно сказал Бандер. — А вот вы, сдается мне, ничего не понимаете. А в нашем деле понимать надо.

— Ну, чем я виноват, что знаком с этим полоумным? — отбивался Чарльз.

— Не в этом ваша вина, — согласился Бандер, — а в том, что вели себя не лучше полоумного. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. В нашем деле гласность ни к чему. И вот каким-то образом этот полоумный старается проникнуть в док, спрятавшись в одной из наших машин. Каким-то образом он узнает, что именно сегодня прибудет наша партия. Когда его обнаруживают, он обращается за помощью к вам, и вы идете и ручаетесь за него или еще там что-то делаете. В конторе инспектора вы позволяете лицезреть свою персону целой своре контролеров и полисменов, которые теперь навсегда запомнили ваше лицо и узнают вас при всех обстоятельствах. И все из-за того, что какому-то полоумному вздумалось проникнуть в доки без пропуска. А что, собственно, ему там понадобилось?

Вдруг Чарльзу почудилось, что Бандер, к счастью, не догадывается о всей правде. Ну, конечно! Догсон для него это просто бродяга, межкий воришка или сущий идиот, обуянный сумасбродным желанием попасть туда, куда его не пускают. Он перебрал в голове все обстоятельства. Не сболтнул ли Догсон, что он газетчик? Да нет. Выкрикивая свои невнятные протесты, он, правда, сказал: «Народ должен узнать!», но этот кусочек его никому не известных риторических разглагольствований, конечно, непонятен для случайного человека. Бандеру ничего и никогда не надо говорить о том, кто такой Догсон, какова его цель. Это означало бы конец для них обоих.

— А вы слышали что-нибудь о... Свидетелях Иеговы? — отрывисто произнес он.

За продолговатым недобрим лицом Бандера показалась хмурая физиономия миссис Смайт. Теперь надо разыграть это как следует.

— А какое это имеет отношение? — услышал он тихий, но злобный голос Бандера.

— А вот какое. — К Чарльзу постепенно возвращалась связность речи. — Он как раз член этой секты. И у него пунктик, что им необходимо завербовать как можно больше моряков. Он не раз старался выступать с проповедью на вечеринках в разных портах и, конечно, без всякого успеха. Он вбил себе в голову, что единственный шанс — это

пробраться на самый корабль, когда он стоит в доке, и раскидать свои брошюры и листовки по кубрикам. И вот он упорно атакует причалы, особенно закрытые для посторонней публики.

Бандер отпил из своего стакана. Казалось, он раздумывал.

— Что-то не заметил я, чтобы у него был портфель или какая-нибудь сумка для брошюр.

— Ну, на этот счет он стреляный воробей,— уверенно ответил Чарльз.— Он боится спугнуть свою добычу, неся ружье на виду. Он носит их на себе. У него все карманы набиты листовками.

— Вот как?

— Битком набиты,— убежденно повторил Чарльз. Сердце у него бешено колотилось.

Бандер бросил окурок, хитро и твердо посмотрел Чарльзу прямо в глаза и сказал:

— А знаете, что я думаю обо всех этих рассказах?

— Понятия не имею,— едва прохрипел Чарльз, у которого сразу пересохло горло.

— Думаю, что все это выдумки.

Пауза казалась нескончаемой.

— То ли он выдумывает все это, то ли вы. Не знаю, кто именно. И только этого я пока еще и не знаю.

Чарльз беспомощно молчал.

— Этот фрукт вовсе не Свидетель Иеговы, и никакой он не сектант. Просто он пронырливая крыса, которой понадобилось пробраться в порт одновременно с нами. Не знаю еще зачем, не знаю, провел ли он вас своей болтовней или вы знаете, кто он, но не смеете сказать об этом, потому что по вашей вине он попал на наш след. Потому что вы чересчур много болтали.

Опять молчание. Миновали столетия, геологические эры сменялись одна за другой, горы вздымались из морей и погружались в них снова. Мелькали законченные циклы эволюции. А стрелки часов, повинувшись смехотворной иллюзии, отметили вереницу эр как сорок пять секунд.

— Так,— наконец вымолвил Чарльз.— И что же вы теперь намерены делать?

— Ничего я не намерен делать,— пробормотал Бандер.— Во-первых, это не мое дело. Если у вас действительно завяз коготок, это уже должно быть известно тем, чья обязанность следить за такими вещами. Они вами и займутся. Потому что,— закончил он неожиданно резким тоном,— мы все нуждаемся в надежной защите.

— Защите? — устало переспросил Чарльз.

— Да, защите от всякого, кто по любой причине, по любой причине, мог бы впутать нас в беду. И что интереснее всего — обе покрывки были совершенно одинаковы по качеству.

— Одинаковы по качеству? — растерянно пробормотал Чарльз.

— Да, и в эксплуатации одинаково надежны. А на этот раз — поди ж ты! Вот это меня и поражает.

Чарльз краешком глаза заметил субъекта в котелке, который подсел к ним и прислушивался к их разговору. Вот за что можно было восторгаться Бандером. Во всяком случае за способность приспособляться к специфике своего дела. Сейчас его можно было представить грудным младенцем, высунувшимся из детской коляски, чтобы стянуть упавшее яблоко, и обвинившим в этом свою сестренку.

Они вышли из кабачка и направились в разные стороны.

— Знаете, не будем танцевать,— сказал он.— Давайте посидим.

— У вас ужасно утомленный вид. Бедняжка,— сказала она,— вы что, больны или обеспокоены чем-то?

— Нет, просто нездоровится. И устал немножко.

— Ну, конечно, вы нездоровы. Или чем-нибудь очень встревожены. Ну почему, почему, милый, почему вы не хотите сказать мне?

— Что сказать? — спросил он.

Она нахмурилась.

— Я рассержусь. Вы меня рассердите. Почему вы скрываете от меня что-то важное?

Он не знал, что ей ответить. С некоторых пор она стала до такой степени частью его самого, что ему все труднее становилось прятать от нее хоть какой-нибудь уголок своего существа. В обычное время это не имело значения, потому что, когда они были вместе, все остальное исчезало и не было мысли, которой он не мог бы полностью и без утайки открыть ей. Но разговор с Бандером потряс его.

— Милая, — горячо прошептал он. — Я доверяю вам, как самому себе. Просто есть заботы, которыми я не хотел бы вас обременять.

Она изумленно посмотрела на него.

— Как вы можете так говорить? Разве вы не знаете, что, когда женщина любит мужчину, она хочет разделить с ним все, все, вплоть до того, что вы называете заботами? Да. И заботы тоже. Разве вы не понимаете, что больше всего ее пугает, если он от нее что-то утаивает?

— А вы выйдете за меня замуж? — внезапно спросил он.

Она резко вдохнула воздух, как бы готовясь сказать что-то важное, но не говорила ни слова.

— Я спрашиваю, выйдете вы за меня замуж? — снова повторил он, но как-то вяло, без одушевления.

Официант, услышав его слова, скромно отошел.

— Не спрашивайте меня об этом. Не сейчас, — медленно сказала она.

— Но, Вероника, ради бога, почему же?

— Есть вещи, — сказала она все так же медленно и уперевав взгляд в ножку своей рюмки, — вещи, о которых не следует говорить.

— А разве вы не знаете, — с горечью сказал он, — что, когда мужчина любит женщину, он хочет разделить с ней все, и больше всего его пугает, если она от него что-то...

— Молчите! — вдруг вскрикнула она.

Они взглянули друг на друга тревожно и вопрошающе.

— Уведите меня отсюда, Чарльз. Куда угодно, мне все равно. Если хотите, в какую-нибудь гостиницу.

Направляясь к двери, он чувствовал и знал: она понимает, что они бегут слепо, панически от чего-то, чего они еще никогда не видели и не слышали, но о чем знали только одно — это нечто ужасное.

Вечер был пронизывающе сырой, какие иногда выдаются в конце мая, с моря дул холодный солоноватый ветер. Чарльз не захватил с собой пальто и, бродя под прикрытием угрюмых уродливых сараев, дрожал в своей тонкой куртке. Холод занимал сейчас его мозг больше, чем нервное напряжение, которое — не будь у него иммунитета сумасшедшей бесчувственности — было бы оправдано обстоятельствами, потому что в этот вечер предстояла очередная «операция». Им надлежало собраться в условленном месте с номерными знаками и получить необычно большую партию товара.

Все это вместе было для него неожиданно. Уже почти три недели ни Бандер, ни кто-либо другой не заговаривал о таких делах в его присутствии. Он не знал и старался не узнавать, проходили ли за это время «операции». Во-первых, он вовсе не был уверен, что его еще раз используют после случая с Догсоном, и, вполне понятно, предполагал, что некоторое время за ним будут наблюдать, чтобы убедиться, опасен ли он и не предаст ли их. С безнадежным фатализмом он в иные минуты при-

знавал возможность того, что его убьют. Слова Бандера: «Мы все нуждаемся в надежной защите» — конечно, намекали на эту возможность. Но он и не думал о самозащите. Бросить работу? Но об этом тоже нечего было и думать. Единственным шансом на спасение было держаться на таком месте, где бы за ним могли наблюдать, пока не улягутся подозрения. А что еще можно было сделать? Даже сейчас, после трех недель честного заработка, он уже начинал ощущать нехватку денег. А потом без всяких упреков и даже не намекая на то, что произошло со времени последнего задания, Бандер преспокойно передал ему сегодня утром перед самым отъездом обычные инструкции.

Налетевший дождь загнал его под прикрытие ближайшего навеса. Полуторка, которую он пригнал, тотчас же была принята к погрузке, и, прежде чем покинуть док и согреться в каком-нибудь баре или кафе, им еще предстояла обычная процедура получения квитанций. А кроме того, «операция». Глаза его нервно скользнули по двери в цементной стене с надписью «Для мужчин», сделанной темными корявыми буквами рядом со входом.

Наконец квитанции были получены; складывая и пряча их в карман, шоферы по одному, по двое потянулись к воротам. Чарльз зашел под прикрытие большого контейнера, чтобы не торчать на виду несколько минут, оставшихся до срока. Еще одному из их партии пришла та же идея, и он уже стоял там, доставая сигарету. Чарльз положил свои знаки на землю и долго возился, доставая спички, чтобы дать и тому прикурить. Если кто-нибудь случайно оказался бы рядом, он увидел бы только, что двое шоферов спасаются здесь от ветра, задувающего спичку. Через минуту другой шофер, человек с глубоко посаженными глазами, черневшими из-под кепки, посмотрел на часы и кивнул головой в сторону уборной. Он пошел, а Чарльз последовал за ним. Его подташнивало, фланелевые брюки намокли и спереди потемнели от дождя, хлеставшего им прямо в лицо.

Они пришли последними. В уборной было темно и сыро, из всех труб и бачков капало, словно и тут шел дождь. Ну же, скорее, — и Бандер, казавшийся еще тоньше и долговязей, собрал номерные знаки под мышку и направился к одной из кабинок. Вдруг все озабоченно задвигались и как-то необычно подобрались. Вошел посторонний. Чарльз, который стоял спиной к двери у писсуара, сейчас же с отчаянием почувствовал, что произошло нечто ужасное. Он сильно вздрогнул. За спиной ни звука. Не спеша, он застегнул пуговицу и обернулся. Бандер стоял неподвижно со знаками под мышкой, другие шоферы собрались в кружок, глядя в упор на постороннего. Догсон, такой же напряженный, смотрел на шоферов.

Он не взглянул на Чарльза. Нельзя было понять, сознает ли Догсон его присутствие. Единственное, что он сознавал, что сознавал каждый из них, — неминущая быстрая развязка.

И все-таки она разразилась так внезапно, как это бывает только в кошмарах. Бандер рванулся вперед и распахнул дверь одной из кабинок. Приземистый плотный мужчина в черной кожаной кепке, подойдя сзади, заломил Догсону руки за спину. Рот толстощекого недоуменного лица был широко раскрыт, но не издавал ни звука. Свободной рукой Бандер ухватил Догсона за плечо и помог приземистому втолкнуть его в кабинку. Дверь захлопнулась. В кабинке они втроем едва помещались стоя.

— Беги! Все врозь! — раздался чей-то голос.

Чарльз не мог определить, чей именно. Но все мгновенно шарахнулись в разные стороны. В панике, панике, которую он разделял со всеми, Чарльз протиснулся в дверь и выскочил под дождь. Оказавшись снаружи, большинство приостановилось на секунду в нерешительности, а по-

том каждый заставил себя спокойно идти, только не бежать, нет, идти обычной походкой и в разных направлениях. Лишь некоторые с разбегу промчались несколько шагов, прежде чем совладали с собой, и тоже зашагали. Полное молчание, при котором все это происходило, только подчеркивало нереальность случившегося, похожего на сон.

Задышавшись, Чарльз брел к воротам, машинально нашаривая в кармане пропуск. Ни в одном уголке мозга не возникало волевого импульса, который побудил бы его вернуться и помочь Догсону, хотя он знал, что он оставляет человека на верную гибель. И все же он уходил прочь, и колени у него не слушались и обмякали при каждом шаге. Тело, а может быть, какая-то подсознательная часть существа, призывало Чарльза вернуться, взять Бандера за глотку, заслонить Догсона от его немой, волчьей хватки, от которой, он знал, спастись уже было поздно. И над всем прокатывалась знакомая и привычная волна гнева. Так ему и надо, дураку! Сам напорсился.

Двое спасавшихся в другом направлении и уже добравшихся до ворот вдруг побежали обратно, лица у них были искажены страхом. Они тяжело пробежали мимо него, и он, отскочив в сторону, бессознательным движением спрятался за те самые контейнеры, которые уже раз сослужили ему службу. Выглядывая в узенькую щель, он заметил несколько человек в черной форме; они нарочито размеренно прошагали мимо него от ворот с видом людей, обязанность которых не преследовать, а просто явиться на место происшествия и навести порядок.

Чарльз отшатнулся. Через минуту они начнут прочесывать весь док и непременно его поймут.

Сознание его на мгновение затмилось, потом заработало четко и ясно. Обычная штука. Его всегда поражало это прояснение, а сейчас больше чем когда-либо. Попав три недели назад в контору инспектора, чтобы выручить Догсона, он еще тогда машинально отметил, что это святых вместе со многими другими конторами, которые теснились и лепились друг к другу, помещается в большом ветхом здании, снаружи напминавшем торговый склад. Там было несколько выходов. Некоторые из них вели прямо на улицу. Но был и выход в док, где он сейчас находился.

Предстояло выбирать между невероятным шансом, с одной стороны, и полной уверенностью, что его поймут, — с другой. Стараясь держаться в тени, он подошел на расстоянии шагов двадцати от двери, которую он наметил. Начинало темнеть, но он знал, что ему это не поможет. Через несколько минут, когда подойдет полицейский резерв и они раскинут сеть по всей территории доков, всякий подозрительный человек будет задержан, хотя бы его скрывала непроглядная тьма. И все же пока еще не было сигнала общей тревоги и незаметная, немая драма разыгрывалась на фоне нерушимого порядка и спокойствия. Рабочие, укрывшись под навесом сарая, с насмешливым любопытством поглядывали на отряд полицейских, шествовавших по пирсу, а в остальном все шло обычным чередом, в полном неведении о каких-либо беспорядках и тревогах.

К удивлению Чарльза, никто не остановил его, никто не выследил его, никто не погнался, никто даже не обратил на него внимания. Несколько секунд полного затишья, прежде чем хорошо смазанная машина преследования придет в действие. И по счастливой случайности он именно сейчас обрел то чудесное ощущение времени, которое позволило ему воспользоваться этими немногими секундами. Он вошел в здание через запыленную матовую дверь. Она имела такой запущенный вид, словно ею пользовались редко и лишь как запасным выходом. Лестница, ведущая наверх. Длинные, темные разветвления коридоров. Служащие уже давно разошлись по домам, но еще не наступило время уборки и об-

хода перед тем как запереть помещение на ночь. Опять-таки ему повезло попасть сюда в какой-то наиболее благоприятный интервал.

Он заблудился и, выглянув в окно, увидел, что находится уже на внешней стороне, выходящей на улицу. Ближайшая дверь, если только она уже не охраняется,— и он свободен, хотя бы временно!

Вверх по лестнице зашлепали шаги, и согбенная фигура с ведром в одной руке и щеткой в другой заковыляла по направлению к нему. Но голос был равнодушный, не сердитый.

— Что так заработались, дружище?

— Да все кетгут. Отчет о кетгуте,— подсказала Чарльзу ответ его бурлящая память.

— Вот оно что,— с полным равнодушием сказал сторож, уже не слушая, что говорит Чарльз.— Так вы спускайтесь по этой лестнице. Там дверь еще оперта. И вам лучше тут выйти. Если пойдете на главный ход, мне придется вас провожать. Знаете, сейчас уже полагается, чтобы никого не было. Так вы спуститесь тут, я буду знать, что никого больше не осталось. Вы последний.

Чарльз не очень-то понимал его путаные объяснения, но уловил, куда ему идти. Уже не скрывая своей поспешности, он сбежал вниз по лестнице (в самом деле ретивый юный клерк, который засиделся за отчетом о кетгуте и опаздывает на свидание с девушкой) и нашел наконец дверь в узкий проход. Выскочив на улицу, он круто свернул в сторону от главного входа и пошел как можно быстрее. Дождь ослабел, но ветер налетал пронзительными порывами, и он чувствовал, что дрожит, словно среди всего этого кошмара тело его шло как бы рядом с ним, требуя немножко внимания и к себе, ожидая, когда же он наденет пальто.

Он пересек улицу, держась подальше от фонарей. Когда он проходил мимо темной подворотни, чья-то рука схватила его за плечо.

— Пустите,— проговорил он, а потом: — Как вам удалось вырваться?

— Вплавь,— коротко ответил Бандер. Он был мокрый с ног до головы. Чарльз не мог представить себе, каким образом ему удалось укрыться в воде и выйти из нее незамеченным.— Не будьте дураком. Пешему отсюда не выбраться. Они уже подняли на ноги весь город. Единственный шанс — машина, и такая, которую не ищут.

— Оставьте меня в покое.

Чарльз часто задышал. Мокрая рука стиснула его запястье. Он попытался вырваться.

— Не будьте дураком,— повторил Бандер.

Он отчаянно цеплялся хоть за кого-нибудь, кто разделит бы с ним опасность, словно только при этом условии он мог вынести положение травмированного зверя.

— Где Догсон? — не мог не спросить Чарльз, хотя он знал, до ужаса, до тошноты ясно.

— Догсон?

— Ну да, тот, кто пришел.

— Он пришел,— сказал Бандер,— но не вышел. И не выйдет. Им придется доставать его оттуда.— Он тяжело дышал, и его выпуклые глаза, которые всегда были ненавистны Чарльзу, казалось, светились в темноте, как глаза волка.— Им придется доставать его оттуда,— повторил он.

Несколько секунд они простояли неподвижно. Вода тяжело стекала с одежды Бандера. Потом, не выпуская руки Чарльза, он потащил его из подворотни. Чарльз наконец вырвался, но продолжал идти рядом. Что ему оставалось делать, и, кроме того, не все ли ему равно? Он замешан в убийстве, и рано или поздно его поймут. Одно было для него ясно:

тем или другим путем он добьется, чтобы его повесили. Он не допустит приговора, который на долгие годы разлучит его с Вероникой.

— Надо брать первую же, какая попадется, иначе будет поздно,— сказал Бандер.— Если мы еще на двадцать минут задержимся в городе, нам лучше явиться в полицию и заявить, кто мы такие.

Они выбрались из переулка на более оживленную улицу, застроенную опустевшими на ночь конторами. Три пустые машины стояли почти рядом. Чарльз невольно восхищался самообладанием Бандера; не спеша тот заглянул в окно самой сильной из них, потом преспокойно вынул связку ключей.

— Заходите с той стороны,— сказал он Чарльзу небрежным обыденным тоном, в точности как владелец машины сказал бы знакомому, предлагая подвезти его домой.

Чарльз обогнул машину. Через стекла он видел, как Бандер сделал вид, что выбирает ключ. Но открыл дверь он не ключом. Вместо этого он быстро и незаметно нагнулся к ручке и сделал движение словно рычагом от локтя. Что-то хрустнуло, и в обшивке появилась рваная дыра. Бандер просунул в нее руку, открыл дверь, шагнул в машину и открыл дверь Чарльзу. При этом обнаружилось, что у него в рукаве кусок свинцовой трубы — старый способ похитителей машин. Через несколько секунд он закрепил сорванный замок, запустил мотор, и они покатали по улице.

— Ну, повеселилось! Теперь по главной и прямо на магистраль. Спихнуть машину в канаву и сесть где-нибудь на промежуточной станции в поезд или укрываться в полях,— говорил Бандер, словно разговаривая с самим собой.

Чарльз сидел скорчившись и чувствовал, как его охватывает тяжелое оцепенение. Что-то случилось с той частью его существа, которая должна была ощущать страх, жалость, раскаяние, взвинченность,— ничего этого он не чувствовал. Только мертвенное оцепенение, которое было много страшнее.

Потом, когда они завернули за угол и стали подыматься на холм, неподалеку от района доков, он увидел чудную, кривобокую штукуну, выкрашенную в кремовый цвет и прислоненную к стене. Два мальчугана важно стояли возле нее с пригоршнями грязи и методично лепили комья по всей ее блестящей поверхности.

Это был мотоцикл Догсона. Он дождался, что хозяин придет и уедет на нем, но тот никогда не придет.

— Черт! Выследили! — вдруг крикнул Бандер.

В смотровом зеркале появилась черная закрытая машина с маленькой светящейся надписью на передке — «Полиция».

Даже странно было, как равнодушно воспринял это Чарльз. Это маленькое, умилительно неуклюжее существо, терпеливо, как мул, ждущее, что его поведет по дороге, привело в действие весь клубок чувств, вызванных смертью Догсона. Это было как серия взрывов, порождающих дальнейшую детонацию. Целые участки его мозга, которые вот уже многие месяцы были заморожены или подавлены, освободились теперь в результате ряда рывков. Он напоминал собой человека, просыпающегося после наркоза. С фантастической яркостью, теперь, когда уже поздно было задавать вопросы, один вопрос вставал неотступно перед его глазами: «Что он здесь делает? Как мог он, по каким путем безумия и ступеням слепоты позволить себе дойти до того положения, в котором сейчас очутился? Здесь, рядом с этим высоким, тощим преступником в насквозь промокшей пиджачной паре, здесь, в украденной машине, отслеженной полицией, здесь, повинный в контрабанде наркотиков и в убийстве,— он ли это, Чарльз Ламли?»

— Вероника! — сказал он громко.— Вы не знали, вы не знали...

— Само собой не знали,— отозвался Бандер, который не разобрал первого слова.— Должно быть, они патрулировали и заметили нас, как только приняли тревогу по радио. Черт бы их побрал! Ну, да еще бабушка надвое сказала: если поднажать, мы делаем миль на шесть в час больше, и, во всяком случае, живым меня им не взять.

И меня им не взять живым — простучало его сердце, и образ Вероники колебался перед его взором. И Гарри они не взяли живым — отозвался мотоцикл откуда-то из глубины сознания.— Он вошел, но не выйдет.

Уже совсем стемнело. Ужасающе белый свет уличных фонарей по тротуарам освещал мелочные лавки, рекламные щиты, автобусы, плетущиеся один за другим. Они были сейчас на одной из тех длинных, уродливых улиц с рядами дрянных лавчонок и запущенных домишек, которые неизменно соединяют центр всех английских городов с загородными кварталами. Бандер гнал машину по самой середине улицы, увертываясь то от одного автобуса, то от другого, потому что каждый из них закрывал ему видимость. Когда дорога постепенно стала пустынной, он еще прибавил ход и бешено понесся, делая последнюю ставку на то, что преследующая машина должна будет считаться с безопасностью движения. Ставка смерти своей собственной и смерти других была единственным шансом на спасение.

Ужасающе белые пятна, мерцавшие под фонарями на мокром асфальте, ритмично мелькали под ними. От мокрой одежды Бандера пахло распаренной шерстью. Машину качало и дергало на бешеном ходу. Чарльз сидел сгорбившись, вглядываясь вперед через ветровое стекло, и мозг его отвечал на призывы пробуждающихся чувств. Время от времени он встряхивал головой, словно стараясь прояснить ее, как боксер, приходящий в себя после нокаута. Потом он весь как-то сжался, мускулы его напряглись; теперь он сидел подобравшись, стиснув зубы и уставившись прямо вперед. Казалось, что-то рождалось в нем, и он в муках боролся, стараясь освободиться от того, что должно было родиться в нем или убить его. Когда-то, лежа в канаве и чувствуя, как прежняя жизнь изрыгается потоком теплого пива, он чувствовал и то, что судьба толкнула его на новый путь. Но тогда суть была в расторможении. Просто он отрицал борьбу за бессмысленные цели. Теперь же все было — усилие. Что-то новое, позитивное, с огромным напряжением прорывалось из его подсознания.

Они вынеслись на развилку, отсюда дорога шла в трех направлениях. Бандер швырнул машину в головокружительно крутой вираж, мягкие рессоры, не рассчитанные на такую езду, позволили массивному кузову резко качнуться и накрениться набок; машину сильно занесло. Колесо попало на обочину и обо что-то циркнуло. Один момент казалось, что их перевернет. Страшной силы толчок отбросил Чарльза в угол, к двери. В глазах у него на секунду померкло, а когда он пришел в себя, они уже выровнялись и снова бешено мчались по асфальтированной дороге, по обе стороны которой дома становились все реже.

Физический толчок разрядил его полупаралич, и с этой минуты мучительные роды кончились. Все снова становилось на место. Пора с этим кончать. Тюрьма, виселица — все это логично, здраво, целительно по сравнению с тем адом, в котором он жил многие месяцы. Он действовал быстро и спокойно. Бандер, конечно, никогда не даст себя уговорить, не согласится на сдачу. Но сдаться надо. Он слегка пригнулся вперед и ухватился за ручной тормоз.

Бандер тоже действовал быстро и спокойно. Он перегнулся перед Чарльзом, не спуская глаз с дороги, которая в этом месте слегка заворачивала, и, открыв дверь, внезапно и сильно толкнул Чарльза плечом.

Чарльз судорожно сжал руки, но пальцы его ухватили только пустоту. В его мозгу, когда он падал, четко отпечатались темно-зеленая трава и мелькающая мимо белая полоска каменной обочины. Потом вспышка света, и все ощущения сразу оборвались.

— Не думаю, что переносного будет достаточно,— говорил мужской голос.

— И я не думала,— сказал женский голос.— Но я выполняла указания доктора Булкасла.

Он не слышал, что ответил на это мужской голос.

— Доктор Булкас (не слышу, не слышу!) не имеет опыта, а случай трудный.

Ему казалось, что они придавили его ноги чем-то тяжелым. Он попытался освободиться, но, как только он пошевелил верхней половиной туловища, это причинило ему острую боль в левом плече.

— Ну что ж, тогда продолжим и посмотрим, что можно сделать,— сказал мужской голос.

Голова Чарльза была туго набита ватой. Когда он пытался закрыть глаза, под веками он тоже чувствовал вату. Вращающиеся слои толстых ватных одеял через каждые несколько секунд наваливались на него и душили. Кровать его тоже медленно вращалась. Но все эти тягостные ощущения, даже стреляющая боль в плече, беспокоили его уже меньше, чем невнимание людей — все равно каких, ведь они свалили на его ноги тяжелый дубовый ящик или еще какой-то груз. И, должно быть, уже давно, потому что ноги его совсем онемели.

Он попытался заговорить. На третьей попытке его голосовые связки слегка завибрировали и послышался хриплый шепот:

— Снимите с моих ног...

Женщина услышала и подошла ближе.

— Он пришел в себя, доктор. Ну, как себя чувствуете? Очень больно?

— ...С моих ног,— повторил он.

— Он что-то говорит о ногах,— сказала она.

— Ничего удивительного,— сухо возразил мужской голос.— Но нельзя же нам возиться всю ночь. Приведите Перкинса, и попробуем с этим, переносным.

За несколько последующих минут Чарльз умер, снова родился, пережил долгие годы мук и бреда, столетиями изучал источенные червями стенки своего гроба. Полная потеря сознания наступила еще до того, как они кончили.

Наполовину очнувшись, он услышал:

— Единственное, что остается, это доставить его в рентгеновский кабинет. Очень не хотелось бы трогать его с места, но это неизбежно. Зовите снова Перкинса.

Потом они ушли, все ушли, и он остался один. Туман отступил, и он огляделся. Ширмы возле кровати: значит, зеленое — это ширмы. А ведь ширмы ставят только у кровати умирающих. Отгородят кровать, чтобы тебе спокойнее было умирать. Ширмы вокруг — и сыграешь в сундук. В ящик... и вдруг.

— Снимите же с ног, тяжело ведь!

Ему казалось, что он кричит, но получился только плаксивый стон.

— Лежите спокойно, и все будет хорошо,— сказал женский голос, но не тот, что прежде. Ему показалось, что возле подушки движутся накрахмаленные манжеты.— Сейчас за вами придут.

— А зачем ширмы? — спросил он, и вдруг у него получилось совсем связано.

— Ширмы? — повторила она.— А это чтобы вам было удобнее. Уютней и удобней.

— Только осторожно, Перкинс,— сказал мужской голос. — Случай тяжелый.

Голоса тихо переговаривались, потом вдруг его стали разрывать на две части. Верхняя часть туловища корчилась от боли и отрывалась. Ватные одеяла снова навалились на его лицо. Смерть, распад и новое рождение, и снова надвигающаяся смерть, весь цикл сначала. И смутно позади всего этого ощущение, что его куда-то катят. Потом его сбросили внезапно и грубо в глубокую шахту. Он рухнул на дно ее, в угольную пыль. Туда же ворвалось море, и голова его, слетевшая с плеч при падении, стала захлебываться и тонуть.

— Ну как, не спим больше? — сказала сестра резким скучающим тоном. — Вот это доктор Булкасл. Он вас осмотрит, чтобы скорее поставить на ноги.

Серые глаза глядели на него поверх полулунный очков. Потом они опустились и сквозь очки стали обследовать его ноги.

— Скажите, вы что-нибудь чувствуете? — услышал Чарльз тягучий, слегка усталый голос. Но доктор ничего с ним не делал.

— Что чувствую? — сказал Чарльз.

Он хотел только, чтобы его оставили в покое. Хотел спать, потому что был уверен, хотел верить, что смерть поджидает его и все дело в том, чтобы как следует уснуть.

Идея смерти все еще владела его умом во всей своей притягательности и необходимости.

— Значит, ничего не чувствуете, не так ли? — сказал тягучий голос.

Чарльзу показалось, что по его левой ступне ползет муравей.

— Нога,— сказал он.

— Значит, чувствуете ногу, не так ли? — Тягучий голос звучал теперь почти повелительно. — А какую?

— Вот эту,— движением глаз указал он.

— Хорошо. Значит, прогноз благоприятный.

— А что со мной? — слабо спросил он.

— С вами? — Голос опять звучал устало. — Ну что ж, помимо ссадин, сломанной ключицы и порядочного сотрясения мозга — оно-то уже, конечно, проходит,— главная беда заключается в том, что поврежденные поясничные позвонки давят на спинной мозг. А это вызывает паралич нижних конечностей. Но тот факт, что вы ощущаете прикосновение к ступням, позволяет надеяться на успешный исход операции. А вы не можете сказать, что, собственно, с вами случилось?

— Случилось,— устало повторил Чарльз.

Он закрыл глаза. Скажите, что, собственно, случилось. Вероника. Бандер не даст себя взять. Скажите, что случилось с Догсоном. Надо кончать со всем этим. Скажите, что случилось, приятель. Бернард! Вам надо, чтобы кто-нибудь за вами приглядывал. Не так ли?

— Какое-то время с ним еще не следует разговаривать,— услышал он голос. — Так вы его подготовьте как следует, сестра. Я назначу его часов на двенадцать.

После все опять смешалось надолго, может быть на многие дни. Он смутно чувствовал, что ему что-то впрыскивают, передвигают с места на место. Одеяла снова туго окутывали его лицо, и вата выбивалась у него из ушей и заполняла рот. Вокруг кровати по-прежнему были ширмы. Иногда, когда он просыпался, горели лампы. Была ночь. Случалось, лампы не горели и без них было светло — это был день. Обрывки каких-то разговоров причудливо перепутывались со снами, реальность все еще не могла одержать победу.

Наконец пришло время, когда он совсем проснулся. Теперь он мог сказать, что больше не спит. Все было ясно и нормально, лампы не горели.

ли, был день — должно быть, утро. И все как полагается утром. Сиделка заметила, что ему лучше.

— А вам, кажется, лучше,— сказала она.

Он протянул правую руку вниз к пояснице и животу. Гипс, тяжелый и жесткий. И в нем его ноги в полном покое и в ожидании того момента, когда выяснится, будут ли они служить ему. Бедные ноги, ему стало жаль их. Никому они не причинили зла. Несколько слезинок навернулось ему на глаза.

Потом у его кровати остановились сестра и человек, которого он никогда не видел. И опять тот же вопрос: можете ли вы сказать, что, собственно, с вами случилось?

«Ну нет,— подумал он,— меня не подловите. Я не вспомню. Я забыл все начисто».

— Видите ли,— сказала сестра,— вас нашли на обочине, но ваши повреждения не того типа, какие получают люди, сбитые машиной. Они скорее похожи на результат падения из прицепной коляски мотоцикла.

— Не помню,— сказал он.

— Ну хоть что-нибудь вы помните? — быстро спросил мужчина.— Что вы делали там до этого?

«Не надо перегибать палку».

— Ну конечно,— сказал он.— Я помню, кто я. Я помню свое имя.

Он назвал его.

— Ну, это мы знаем,— сказала сестра.— Мы узнали ваше имя и адрес по документам в кармане. Но о самом происшествии что вы помните?

— Вы были выпивши? — вмешался мужчина.

— Нет,— упрямо повторил он.— Я не пил. Не помню, что я делал. Не помню происшествия. Я был трезв, но ничего не помню.

— Вы определенно утверждаете, что были не выпивши? — спросил мужчина.

Он закрыл глаза.

— Я устал,— сказал он.

— Думаю, что больше не следует его беспокоить,— решительно заявила сестра.

Они оба ушли. Чарльз ощутил опьяняющее чувство маккиавеллиевского торжества. Как легко: просто говоришь, что устал, и тебя оставляют в покое. Он будет уставать каждый раз, когда его будут расспрашивать. Каждый раз, как спросят, не выпали ли Бернард Родрик и Вероника из коляски мотоцикла Догсона, не выпрыгнул ли мистер Блирни на мотоцикле из облаков, не сшиб ли Гарри Догсон на своем мотоцикле Фроулиша, причинив ему повреждения, непохожие на те, какие получают люди, способные вспомнить, что они были выпивши.

Однажды сиделка, пришедшая умывать его, сказала, что он счастливчик.

— Вы счастливчик,— так и сказала она.

Он спросил, что это значит.

— А вас переводят в платный корпус и дают отдельную палату,— сказала она.

— А как же деньги? — спросил он.

— Платит ваш друг,— сказала она, вытирая его полотенцем.— Вы разве не слышали?

— Тут, должно быть, какая-то ошибка,— сказал он сквозь складки полотенца.— Никто из моих друзей не в состоянии платить за отдельную палату, и, кроме того, они не знают, что я здесь.

— Прекрасно знают. О вас было напечатано в газете,— возразила она.— Мистер Перкинс вырезал заметку. Я вам ее покажу, когда приду после обеда.

После обеда она принесла ему маленькую вырезку из одной вечерней сплетницы. Он посмотрел газетенку и прочел: «Шах заявил на пресс-конференции, что волею Аллаха он берет десятую жену. Мисс Уоддер сообщает по телефону из Лос-Анжелеса, что свадьба назначена на Четырнадцатое».

— Да вы не ту сторону смотрите,— сказала она.

Он перевернул на другую сторону и прочел:

«С ш и б л е н и И з у в е ч е н. Чарльз Ламли (23 лет) был доставлен прошлой ночью в больницу с тяжелыми внутренними повреждениями, после того как был найден в бессознательном состоянии на обочине дороги.— Тут газета была прорвана, и он не мог разобрать одной-двух строчек.— Считают, что это еще один случай, когда шофер не подумал остановиться, сбив пешехода».

— Что это тут о внутренних повреждениях? — спросил он сиделку.

— А это они всегда так пишут,— сказала она,— когда не знают. Репортер ничего не знал о вас, кроме того, что вы пострадали, но подумал, что будет звучать как будто он знает, если добавить «внутренние». Они часто так делают.

— А было что-нибудь о...— Он споткнулся о злополучное слово.

Он готов был спросить, не было ли в том же номере газеты чего-нибудь об убийстве в доках. Но какое ему до всего этого дело? Это ведь прошлая жизнь, она оборвалась, кончилась, и он забыл о ней. С тех пор он умирал и рождался несчетное число раз.

— О чем? — переспросила она.

Он тупо поглядел на нее.

— Что о чем? — пробормотал он.

Она решила, что он устал.

— Вы, должно быть, устали? — прервала она разговор.

— Ну, а как же с платным корпусом?

— Это завтра. Завтра вас туда переведут.

— Но все-таки кто это устраивает?

— Кто-то из ваших друзей,— нетерпеливо отозвалась она, ведь это его дело знать имена своих друзей.— Я не знаю, как его зовут. Вам скажут завтра, когда будут переводить вас.

Наутро Чарльза перевели из проходного двора общей палаты, с ее радио и гулким резонансом, в высокую узкую комнату с большим окном и единственной кроватью. Он тревожно глядел на весь этот блеск и комфорт, на удобную умывальную раковину, на вазу с цветами, на тумбочку с радиоприемником у кровати. Мистер Перкинс, который доставил его сюда, ровно ничего не мог ему объяснить. Но как только его уложили в постель, пришла сестра.

— Вы, должно быть, хотите продиктовать письмо вашему другу и поблагодарить его,— сказала она.

— Я бы сделал это, только не знаю, кому писать,— отвечал он.

— А разве вам еще не сказали? Боже мой, как глупо! Я думала, вы знаете. Это некий мистер Родрик. Мистер Бернад Родрик из Стотуэлла.

Он откинулся на подушку и промолчал.

— Можете продиктовать письмо мне, если желаете,— сказала она.

— А вы уверены, что там не перепутали фамилии? — спросил он.

— Конечно, нет. Мы с ним улаживали все это дело и по телефону и письменно. Он подробно оговорил все детали, вплоть до того что радиоприемник будет оплачивать еженедельно, а счета посылать ему. Да разве вам не передали его записки?

— Записка, мне? — Он недоумевал.

— А то кому же? — сказала она тоном человека, которому годами приходится то сдерживаться, то тщательно соразмерять свое нетерпение.— Вот она, на столике.

Она подала ему маленький щеголеватый конвертик с карточкой внутри, вроде той, какую вкладывают цветочные магазины в букеты, посылаемые по заказу на дом. Он вынул карточку. На ней стояло: «Надеюсь, что вас устроят со всеми удобствами. Бернард Родрик».

— Как хорошо иметь таких великодушных друзей,— не унималась сестра.

Ее любопытство, как и ее нетерпение, всегда находилось под контролем, но все же она была человеком.

— Да, хорошо,— сказал он.

— Должно быть, вы с ним давно знакомы,— допытывалась она.

— Давно,— повторил он.

— Хотите сейчас продиктовать письмо? — спросила она.

— Я устал,— сказал он.

Это подействовало: она ушла.

Условия, в которых он теперь находился, укрепили его в решении ни о чем не думать. Попытки разгадать тайну неожиданной щедрости Бернарда Родрика привели только к отчаянной головной боли; безопаснее было сдать и это в тот же архив, куда были сложены эпизод с Бандером и все то, что привело к нему. Если даже он выкарабкается и вернется к нормальной жизни, столько еще придется ему забыть, что один или два пункта из списка не имели значения.

Изумительнее всего было то обстоятельство, что он без особого труда мог не думать о Веронике. Да ведь легче и покойнее было не думать о ней. Раз или два, когда он позволял своему сознанию вызывать моменты глубочайшего счастья, радости, такой жгучей и глубокой, что почти не было границ между воспоминанием и переживанием,— боль становилась просто нестерпимой. Испуганный, он вытягивался плашмя и позволял себе погружаться в пустоту. Если в этих снах наяву он представлял ее со всей ясностью — мучительное сознание, что он лежит беспомощный и не может пойти к ней, было непереносимо. Если ее присутствие ощущалось лишь смутно — это приносило даже облегчение. Его упорное отгораживание от самой мысли о ней было чисто физическое. Тело его в борьбе за жизнь и восстановление нуждалось в помощи мозга, и, когда врывалась прежняя одержимость, оно принимало быстрые меры — и все обрывала сонливостью или рвота. Так случилось невероятное: он длительное время, иногда часами, не думал о Веронике.

Радиоприемник, его бесперывное еле слышное бормотание, сильно ему помогал. На второй день после его перевода в отдельную палату он дремал после обеда, слушая детскую передачу. Четкий бесполоый голос только что успел объявить: «А теперь мы будем передавать из Бирмингама для младшего возраста новую сказку, которую прочтет Джеремми», — как вдруг дверь отворилась, и сиделка ввела посетителя. Это был Бернард Родрик.

Распростертый в кровати, от поясницы до колен закованный в гипс, Чарльз более чем когда-либо почувствовал неравенство в своих отношениях с этим человеком, который и всегда-то неприметно подавлял его своей вкрадчивой самоуверенностью и учтивостью. Весь клубок его двойственных чувств к Родрику, его неприязнь к ревнивому опекуну Вероники и желание хорошо относиться к ее родственнику и благодетелю, как в зеркале, отражались в его неумении приспособиться к Родрику, так сказать играть в его ключе. Но все прежние затруднения были ничто по сравнению с теперешними. Его физическая беспомощность и неподвижность были усугублены моральными кандалами, в которые заковал его Родрик своими великодушными щедротами. Он хотел бы ощущать благодарность, но весь механизм его реакций был слишком сложен и слишком раздражен, чтобы в нем могло возникнуть такое простое и

доброе чувство. Он окаменело, но явно беспомощно взирал на того, от кого он теперь так зависел.

Родрик, со своей стороны, был сама обходительность. Он показывал первоклассное исполнение роли самого себя в самом обходительном расположении духа. Он неслышно подкатился к кровати, словно имитируя с большим искусством свою собственную мягкую походку. Его голова была слегка наклонена вперед, он изображал спокойную, добродушную озабоченность о благе ближнего.

— Как вы себя находите после всех ваших испытаний?

— Очень просто, — ответил Чарльз неуклюжей попыткой отшутить ся. — Заглядываю под гипс и нахожу себя.

И сразу прозвучала раздраженная нота. Родрик, как обычно, добился своего, выведя его из равновесия, сделав абсолютно неспособным найти верный тон, выставив его каким-то олухом.

— Мне, конечно, следует поблагодарить вас за ваше огромное одолжение, — продолжал чопорно Чарльз, опрометью кидаясь в другую крайность.

Похоже было, что одряхлевшая вдова благодарит какое-нибудь благотворительное учреждение за назначенное ей в этом квартале пособие.

Родрик разыграл блестящую, довольно импрессионистическую имитацию самого себя, слегка огорченного, но в то же время растроганного и удовлетворенного. «Посмотрите в мои глаза, — говорил весь его вид, — и отметьте смесь смущенного удовольствия от сознания, что моя забота оценена, и искреннего сожаления, что я не мог помочь вам анонимно». После того как Чарльзу было предоставлено достаточно времени, чтобы воспринять все это, выражение лица Родрика сменилось другим; оно подчеркивало ответственность персоны, сознающей свой долг перед человечеством.

— Просто я узнал о случившемся с вами несчастье — собственно, прочитал об этом в газете, — сказал он, — и, как только разузнал точнее, где вы находитесь и так далее, я сейчас же, конечно, сделал все, что мог, чтобы облегчить ваше положение.

«Я», а не «мы», и подчеркнуто. Ладно, сукин сын, если ты не упомянешь о ней первым, промолчу и я, если тебе так угодно. Проведем весь разговор, не упоминая о ней, потому что ты делаешь это преднамеренно.

— Сравнить нельзя с общей палатой. Там внизу очень шумно, — сказал Чарльз.

Родрик утвердительно кивнул. Глаза его блуждали по комнате, проверяя все ли в порядке. Его лицо сохраняло выражение ответственной персоны несколько дольше положенного, потом он дал ему расплыться в выражение приязни. Чарльз, как замороженный, наблюдал за этой игрой: она обогащалась и обогащалась все новыми оттенками — сочувствием, окрашенным некоторой мужественной бодростью, как у человека, который понимает страдание, даже разделяет его, но который явился как вестник надежды.

— Сестра сказала мне, что она убеждена в вашем полном выздоровлении, — заявил он уверенным тоном. (Если она сказала это мне — значит, это правда. Я не из тех людей, которым лгут.)

— Да, они надеются поставить меня на ноги, когда снимут гипс, — сказал Чарльз.

Механически повторяя все, что говорил Родрик, он пытался удержаться в рамках одной темы, и это было для него ужасно тягостно и утомительно. Им овладевала апатия. Когда же наконец позволят ему сказать, что он устал?

— Я не собираюсь долго оставаться у вас: я знаю, вам нельзя утомляться, — сказал Родрик. Он приподнялся в кресле, как будто намереваясь встать, но тут же сел снова. — Еще минутку. Давайте подумаем,

не надо ли прислать вам еще чего. Я старался ничего не упустить, но ведь всего не предусмотреть. Вот, например,— добавил он,— не надо ли что-нибудь передать?

Чарльз весь сжался. Последние слова были первым признаком вызова: конечно, Родрик не мог удержаться. Инстинктивно он отверг возможное (теоретически) объяснение. Не станет такой человек предоставлять ему шанс подать ей весточку о себе да еще так деликатно предлагать это. Нет, это оскорбление. Передать! То единственное, что хотел бы передать ей Чарльз, никак нельзя было доверить такому человеку.

— Нет, мне передавать нечего,— слабо ответил он.

В любой момент он мог сказать, что устал, и этим магическим заклинанием отогнать от себя вампира.

— Странно,— сказал Родрик, вставая.— А меня просили передать вам вот это.— Он достал из кармана конверт.— Не знаю, знаком ли вам почерк?

«Чарльзу Ламли, эсквайру» — рука Вероники. После такого длительного и такого иллюзорного покоя сердце его снова застучало в ребра под пижамой.

Передавая конверт, Родрик не старался изобразить себя ни в каком виде. Лицо у него стало бессмысленное, безразличное, без единой характерной черточки.

Чарльз порывисто разорвал конверт. Всего один листочек бумаги, и всего несколько тщательно выписанных слов.

«Все, что скажет вам Бернард,— правда. Ничего не поделаешь. Мне очень жаль. В.»

Он взглянул на Родрика, и все в нем напряглось в ожидании ужасного удара.

— Ну что ж,— сказал он,— говорите то, что она считает правдой.

Родрик посмотрел на него сверху вниз. Лицо Родрика смахивало на тыкву, в которой ребенок небрежно вырезал рот и проткнул две темные дырочки вместо глаз.

— Если вы минуту поразмыслите, Ламли, вы сами догадаетесь.

Огромная усталость охватила Чарльза, обратила все его кости в студень, мускулы — в воду, грязную воду.

— Да,— сказал он, и голос его прозвучал откуда-то издалека.— Мне кажется, я догадываюсь.

— И вы хотите сказать, что до сих пор не догадывались? Что вы думали, будто она действительно моя племянница?

Чарльз молчал. Догадка, что Вероника — любовница Родрика, уже давно таилась в его костях, в его руках и ногах, в крови и нервах. Теперь наконец она проникла в мозг, прорвавшись сквозь жалкую преграду его самовнушения, которым он подавлял ее все эти месяцы.

— В глубине души,— сказал он,— я все знал с тех самых пор, как впервые увидел вас вместе. Разговоры о том, что она ваша племянница, могли обмануть только того, кто хотел быть обманут.

— А вы, значит, хотели этого?

— Да,— сказал он просто.— Хотел.

Родрик двинулся к двери. Но, не дойдя до нее, остановился и решительно повернул свое лицо-тыкву к Чарльзу.

— Больше мы не увидимся. Вероника сказала мне, что она никогда больше с вами не встретится. Чтобы вам напрасно не ломать голову, могу добавить, что этот маленький подарок,— он обвел рукой комнату и ее убранство,— был сделан по ее просьбе. Она согласилась со мной, что вам следует сказать об истинном ее положении, и сказать к тому же прежде, чем вы достаточно окрепнете, чтобы снова строить планы в отношении того, что произошло между вами, и питать надежды на

будущее. Но она пожелала, чтобы я проинформировал вас уже после перевода вот в это помещение. Она считала, что вам потребуется эта небольшая помощь, чтобы перенести новый удар.

Чарльз молчал.

— Не хотите ли вы еще что-нибудь сказать перед тем как я уйду? — спросил Родрик, сбрасывая тыквенную маску и принимая маску скучающую, которая на этот раз была уже пародийна по гриму и напоминала скорее шарж.

Он стоял, дожидаясь. Чарльз все-таки заставил себя ответить:

— Да. Уходите прочь.

Родрик спокойно вышел и закрыл за собой дверь.

Сиделка заметила в шесть часов, что у него поднялась температура.

— У вас повышенная, — сказала она.

— Да. Ничего не поделаешь, — ответил он.

Она поглядела на него в недоумении, но ничего не сказала.

Она ушла, а он лежал совершенно неподвижно, роясь в огромной пустоте своего мозга, надеясь, что в каком-нибудь закоулке он найдет силу, способную сохранить его разум, волю начать все сызнова. Он знал, как много нужно было ему изменить, а теперь изменять надо и это — самое основание, на чем покоилось все остальное. Лежа один, притихший и напуганный, он знал, что следующие несколько часов решат наконец, чему быть — здоровью или безумию. Потеря Вероники, и не только потеря, но и потребность отвергнуть всякую мысль о ней, либо убьет его, либо выпустит его на свободу и как-то оправдает его решение вымести все безрассудные и бессмысленные порывы прочь из своей жизни.

За окном был сияющий летний вечер, и прежде чем опустится ночь и уснут птицы, он закончит борьбу со своим ангелом. Полное значение вести, принесенной Родриком, постепенно просачивалось в сознание, круша его, взрывая, опаяя, по мере того как ее замедленное действие накатывалось волна за волной болью непереносимой муки. И все-таки за всем этим брезжила надежда на прилив новых сил. Ночная сестра была предупреждена при вступлении на дежурство, что Ламли ведет себя странно, бредит. Она подошла подбодрить его, но в ответ услышала бессвязные, вялые фразы, и, еще до того как она ушла из палаты, началось опять бормотание, из которого она разобрала только «новая жизнь». Она не слишком обеспокоилась, зная по опыту, что в серьезных случаях бывают временные рецидивы.

А сам он знал, что спасение его — в новой жизни, если только, пробиваясь к ней, он не сойдет с ума или не умрет. Долгие часы медленных летних сумерек были свидетелем огромности его борьбы: все, что скажет вам Бернард, — правда, вперед к новой жизни, ничего не поделаешь. Временами он засыпал, и в его путанные сны вплетались мгновения невообразимого успокоения. Ничего не поделаешь, время уносит его вперед, без передышки вперед, к новой жизни, все правда, все правда, мне очень жаль.

## 8

Чарльз поправлялся. Когда сняли гипс, оказалось, что ноги слушаются его, скоро ему дали палку с резиновым наконечником, и он ходил, опираясь на нее, кругом по комнате.

Его не перевели в Дом для выздоравливающих, то ли в округе не было такого учреждения, то ли оно было переполнено — он не спрашивал; но это послужило причиной того, что он дольше обычного находился в полуинвалидном состоянии в той же самой больнице. Несколько оправившись, он сейчас же убедил сестру написать Родрику, что покидает больницу и что взносов за отдельную палату больше не требуется. Его

перевели в одну из небольших общих палат, и он жил там на положении полубольного, полуслужащего, выполняя от нечего делать всякие мелкие услуги.

Когда курс лечения был полностью завершен — а это было уже в середине июля — и когда ему пришлось подумать о работе, как-то само собой вышло, что он остался здесь работать санитаром. Он освоился, привык к атмосфере больницы — одновременно и фабрики здоровья и гостиницы, поля битвы за жизнь и мертвецкой — и, во всяком случае, не имел ни малейшего желания покидать свое убежище и снова начинать попытки найти свое место в мире, попытки, которые дважды терпели такой крах. Курс лечения его тела был закончен, но еще долго надо было лечить его дух, а для этого больница тоже предоставляла известные возможности.

Он поселился в грязноватых, но тихих меблированных комнатах, расположенных поблизости. Там он только ночевал, а остальное время проводил в обширных пределах больницы. Работа его была далеко не так приятна, как мытье окон, уже потому, что в хорошую погоду нельзя было находиться на воздухе, но она была несложной и не особенно утомляла его — как раз то, что ему требовалось для удовлетворения элементарного чувства общественной полезности.

Подметая и убирая, вызывая и принося, иногда помогая доставлять пациента — и в сознательном и в бессознательном состоянии, — он делал все это под руководством мистера Перкинса, и время текло незаметно. С удовлетворением он отмечал, что среди служащих больницы все считают его своим и отводят ему соответствующее место в архаичной пирамиде социальной иерархии, не допускающей никакой неопределенности. Он находил, что все здесь непохоже на внешний мир за больничными стенами, и это ему нравилось. Здесь не могло быть неоправданных претензий, потому что ранги, авторитет и привилегии были раз навсегда установлены. На верхушке пирамиды были врачи — у них была своя иерархия, но они были слишком далеко от наблюдателя, находившегося у подножия; интересы их соприкасались лишь с интересами разве что наиболее заслуженных представителей среднего медицинского персонала, которые именовались сестрой-экономкой и старшими сестрами и в некоторых отношениях приравнивались к врачам. Затем шли сиделки, опять-таки с точно разработанной иерархией от старшей сиделки до простой санитарки или сверхштатной стажерки. В самом низу пирамиды были повара, технический персонал и уборщицы. И между каждой специальностью была четкая граница. Чарльз очутился где-то возле основания. Как санитар, он не имел опыта, да и вообще не обладал практическими навыками. Скоро обнаружилось, что от него мало толку при срочной починке повреждений электрической или водопроводной сети, а также и в прочих хозяйственных таинствах. Его терпели и держали на мелких поручениях, так сказать разнорабочим, а это его вполне устраивало. Несложная работа не на виду, отдых от постоянного напряжения последних месяцев — все это было как раз то, что он прописал себе. В конце концов он с благодарностью отметил, что жизнь больницы, разительно непохожая на то, что творилось за ее стенами, не признавала обычных социальных перегородок. Никому здесь не казалось странным, что он занят черной работой, а говорит, как интеллигент.

Ежедневным ритуалом в его корпусе был утренний кофе. Согласно давно установившейся традиции полагалось по полной кружке каждому пациенту и каждой сиделке и служащему, оказавшемуся при его распределении. Это было для Чарльза получасом социального общения. Разнеся подносы с кружками, затем собрав их и вымыв, он сидел в малень-

кой комнате между плитами и раковинами и болтал со стряпухами и судомойками, которые угощались свежей заваркой.

Женщины эти представляли бы большой интерес для социолога, особенно если проследить за ними вне больничных стен, в изменчивой обстановке внешнего мира. Хотя их работа ограничивалась приготовлением и подачей пищи, лишь немногие из них походили на простых поденщиц. Для большинства из них это был способ приработать немножко денег, занимаясь единственным делом, которое было им знакомо, но каждая из них скорее умерла бы с голоду, чем пошла бы в домашние работницы к другой женщине со всеми проистекающими личными взаимоотношениями. В больнице у них был ограниченный круг обязанностей, но по части социальной атмосферы это было нечто неизмеримо более интересное, романтическое и, по сути дела, достойное.

По крайней мере одна из собеседниц кофейного кружка именно так расценивала свою работу. Роза поступила в больницу потому, что это «более походило на жизнь — можно встречаться с людьми, больше видеть и слышать», как она признавалась Чарльзу, пока они вместе мыли кружки. Это была девушка лет двадцати, довольно плотная, некрасивая, но живая, даже с задоринкой, что заметно было по ее крупному рту с подкрашенными полными губами и по ее оживленным интонациям. Все ее интересовало, хотя она не была любопытна и не старалась разгадывать загадки. Что есть, то есть — и дело с концом. Но она жила в состоянии нескончаемого изумления, граничащего с экзальтацией, перед тем, что люди и вещи так непохожи друг на друга. Чарльза освежали и даже забавляли разговоры с ней. Она в свою очередь, как он заметил, относилась к нему чуточку теплее, чем это допускал ее интерес к человечеству в целом. Она находила его интересным, не стараясь разобаться, чем именно он был непохож ни на одного из знакомых ей молодых людей. Он знал, что, когда пылкая девушка в ее возрасте находит человека интересным, отсюда уже недалеко до того, чтобы найти в нем и все прочие достоинства. Зная это, он, однако, не знал, как бороться, да и не уверен был, хочет ли он бороться с этим.

Однажды, катя по коридору пустые носилки, он едва не сшиб молодого человека в белом халате, который окликнул его:

— Ламли, вы ли это?

Это был его однокурсник по университету, ставший затем студентом-медиком. По странной случайности Чарльз никогда не знал его фамилии. Да и вообще они мало знали друг друга. Теперь надо было либо сразу спросить, как его зовут, либо делать вид, что он это знает.

— Хэлло! — сказал он.

Стоит ли труда спрашивать его имя, назову его просто «вы».

— Чем вы тут занимаетесь?

— А вот качу эти дроги в анатомичку.

Тот слегка вспыхнул, услышав такой ответ.

— Нет, я имею в виду, каким занятием вы здесь занимаетесь? — Досада отразилась на стиле его речи.

— Надо чем-то жить, как вы думаете? — сказал Чарльз тоном человека, который готов терпеливо обсуждать причины такого падения.

Его подчеркнутая холодность отшатнула бы всякого, но, очевидно, у этого молодца были свои соображения. Может быть, он чувствовал себя здесь одиноким и ему приятно было увидеть знакомое прежде лицо. А может, он считал, что Чарльз сбился с пути, и хотел взять его под свое покровительство. Хотя последнее было менее вероятно.

— Ну, расскажите о себе, — сказал он. — Где вы живете?

Чарльз уже подумывал, не будет ли логично, с точки зрения его угрюмой защиты своей самостоятельности, ответить словами одного из персо-

нажей У. У. Джэкобса<sup>1</sup> — «живу дома», но потом решил, что это уже будет неоправданной грубостью, и сообщил свой адрес.

— У меня на днях соберутся друзья за кружкой пива,— сказал молодой человек, записывая адрес.— Приходите. Будут двое-трое из тех, кого вы знаете. Мы проходим здесь практику.

— Я тоже прохожу практику,— сказал Чарльз, но его собеседник уже спешил дальше.

Чертыхнувшись про себя, Чарльз покатил носилки по коридору.

В тот же день в одной из платных палат, которые он обслуживал, появился новый пациент: худой бледный мужчина средних лет, с птичьим лицом. Он говорил слабым голосом и лежал плашмя, словно был смертельно напуган и хотел стусеваться, чтобы всем казалось, будто в кровати никого нет. Убирая комнату, Чарльз всячески пытался заговоривать с ним, чем-то его подбодрить, и человек с птичьим лицом благодарно отзывался на эти попытки.

За утренним кофе Роза сказала:

— Вам не мешало бы не жалеть труда, убираясь в третьей палате. Там такая важная персона, что ему ничего не стоит озолотить кого угодно.

— А кто он такой?

— Вы ели «Шоколад Брэйсуэйта»? Так вот это сам Брэйсуэйт. Говорят, богат, каких мало. Ну, словом, настоящий миллионер!

Она вся горела от сдерживаемого изумления при мысли, что человек, изготавливающий шоколадки, может стать богачом и может заболеть и притом очутиться в их больнице, и что Чарльз убирает палату, где тот лежит в страхе и мучениях. Все это волновало ее чрезвычайно.

Даже Чарльз с новым интересом стал теперь приглядываться к этому хрупкому напуганному человечку. Время от времени он встречал людей, которые искренне верили, что деньги не имеют никакого значения, что они ничто, но, когда при них говорили: «Мистер Икс — миллионер», — никто из них не пропуская случая взглянуть на того с глубоким интересом, во всяком случае более глубоким, чем если бы сказали: «Мистер Икс — известный ветеринар» или «У мистера Икса забавное увлечение — он вытаскивает шахматы». И все же некоторое время результатом наблюдений Чарльза было лишь недоумение: он не открыл в мистере Брэйсуэйте никаких из ряда вон выходящих или притягательных качеств. Даже принимая во внимание, что тот беспомощно лежит в кровати и лишен таких внешних средств, как одежда, ореол богатства, авторитет дельца, которыми человек утверждает свою личность, — все же Брэйсуэйт, казалось, не обладал никакими характерными чертами. Он откровенно боялся предстоящей операции — ему должны были удалять миндалевидные железы, что не всегда легко переносят пожилые люди. Страх этот сдерживало не мужество, а неспособность выразить себя сколько-нибудь значительно и приметно. А потом, при выздоровлении, радость его — явная и понятная — также лишена была яркости и едва теплилась.

В конце концов Чарльз понял, что как раз близость, так сказать отсутствие реального Брэйсуэйта, именно эти обстоятельства и принесли ему могущество и богатство. Не обладая волевым характером, он охотно пошел на то, что всю жизнь применял рутину купли-продажи, а его защитная окраска позволяла ему в полной безопасности пробираться сквозь джунгли жизни. Чарльз понял, что не сам он создал себя: в его

<sup>1</sup> Джэкобс Уильям Уаймарк (1863—1943) — известный английский писатель, автор юмористических рассказов из быта моряков.

случае была излишня та борьба, которая превращает победителей в легендарных гигантов — полукалек, полугеркулесов. Попросту он унаследовал хорошо налаженное дело и с помощью своего безликого упорства развернул его до неслыханных масштабов. Чарльзу он нравился, в нем была слабая, но неподдельная привлекательность безобидного и ординарного человека. А он, со своей стороны, видел в Чарльзе единственный проблеск надежды. Доктора его утрашали, сиделки подавляли, уборщицы были слишком крупны и здоровы для его умонастроения, а Чарльз не попадал ни в одну из этих категорий. Брэйсуэйт осведомился, как его зовут, и неукоснительно именовал мистером Ламли, он доверял ему все перипетии своего извилистого пути к выздоровлению. «Как вы думаете, мистер Ламли, могу я попросить их не давать мне «каскара саграда»<sup>1</sup> сегодня на ночь? А может, у них так полагается?» Или: «Мистер Ламли, что это у вас правило такое, что, когда сиделки изменяют температуру, они не говорят больному, какая она? Мне по крайней мере никогда не говорят». Чарльз успокаивал его, прибегая к той мягкости и некоторой неуверенности речи, которую воспитал в нем университет. Он давно отказался от такой речи, сменив ее на более сжатую, более агрессивную манеру нашего века, но что-то в беспомощности мистера Брэйсуэйта опять, помимо воли, вызвало к жизни прежние интонации и снова заставило его понять, что это была речь, свойственная людям, выведенным из строя.

Молодой человек в белом халате, руководствуясь своими неясными соображениями, прислал обещанное приглашение, и вот Чарльз вечером после дежурства очутился на пригородном шоссе. Он ничего не ждал от этой вечеринки, но ему надоело извиняться и отговариваться; проще было пойти и разом отделаться. Подходя по замощенной дорожке к большому, отдельно стоящему дому («банкирский «Тюдор»), где жил или снимал помещение его знакомец, он увидел освещенное окно второго этажа и услышал взрывы резкого хохота. «Атлеты!» В университетские годы он держался в стороне от временами вспыхивавшей войны атлетов и эстетов, но, оглядываясь назад, чувствовал, что, одинаково не одобряя позиции обеих сторон, он, тем не менее, делал это по совершенно различным причинам. Он не доверял воркующим розово-голубым эстетам, потому что в самом себе замечал бактерии той же болезни и боялся дать волю их развитию. Атлетов он просто не терпел, как можно не терпеть туманную погоду или дурной запах. И вот теперь он шел в их осиное гнездо.

Все оказалось в точности так, как он предвидел. Невыразительная гостиная с сомнительными дубовыми панелями и четырехугольными креслами и диваном, претендующим на комфорт, была заполнена высокими подтянутыми молодыми людьми и девушками в шерстяных костюмах — и все они чем-то соответствовали эрзацному характеру обстановки. Хозяйка, блондинка лет сорока, очевидно страстно стремилась к шику тех «выше средних» кругов, которых она еще не достигла, и как раз этим определялся состав ее сегодняшних гостей. Зазвавший его сюда молодой человек, имени которого он не знал, был здесь, очевидно, на положении «скорее друга, чем жильца». Хозяйка, должно быть, держала дымчатых терьеров или ньюфаундленда, но, к счастью, ее любимцы на приеме не присутствовали.

Никто, конечно, не подумал его представлять, просто он был принят в компанию с глухим указанием, что некоторые из присутствующих его знают, что в свою очередь таило в себе намек: те, кто не знает, ничего от этого не потеряли. Пива было вдоволь, он взял в руки стакан и стоял, терпеливо дожидаясь удобного момента, когда можно будет уйти. Но его

<sup>1</sup> Распространенное слабительное средство.

спокойное смирение было неожиданно нарушено. Ухо его вдруг различило знакомый блеющий голос, и широкая спина внезапно повернулась, превратившись в широкую грудь. Та же мальчишески наглая физиономия, те же холодные глаза за стеклами очков. Да, это был Бёрдж, из той же группы студентов-медиков его университета. и, пожалуй, единственный из всех его сверстников, к кому он питал острую неприязнь.

В Бёрдже все неприятные черты и Роберта Тарклза и Хатчинса смешивались и преломлялись в одном ему свойственном наглом и грубом обличии. Чарльз слишком презирал его, чтобы питать к нему жалость, хотя он был тоже одним из выведенных из строя. Поначалу весьма смущенный переменой своего положения — из старшего и всемогущего в последнем классе школы он перешел на незаметную роль университетского первокурсника, — Бёрдж скоро избавился от этого чувства неуверенности отчасти тем, что не завязывал никаких новых связей. Бёрдж замкнулся в кружке школьных товарищей, пришедших вместе с ним в университет, используя для этого и особенность своей специальности: университетский курс для большинства студентов очень короток и длится всего три года, тогда как студент-медик проводит четыре-пять лет и легко становится значительной фигурой в общежитии первокурсников. К тому времени, когда Чарльз впервые появился в университете, Бёрдж вступал уже в четвертый год учебы и посвятил себя с немалым успехом насаждению здесь нравов, очень полюбившихся ему в бытность грозным классным старостой. Чарльз, с присущей ему склонностью к лени и терпимости, был очень рад университетскому укладу, и пожалуй, исключительно из-за того, что находил здесь разрядку после школьной атмосферы, с ее постоянным подчинением дисциплине и необходимостью вечно быть на людях. От этой «спячки» его пробудили несколько острых столкновений с Бёрджем, который и сейчас ограничился холодным кивком и продолжал разговор. Любопытно, что темой была как раз война атлетов с эстетамы, о которой думал Чарльз, подходя к дому.

— Помните Рэйли? — говорил Бёрдж. — Боже мой, что это был за олух царя небесного! Невыносимый олух. Помните его идиотский монокль?

Собеседники Бёрджа рассмеялись. Они были настроены добродушно; но Бёрдж явно злился. Когда он думал об этом Рэйли, который имел наглость носить монокль, он рвался к воображаемому противнику, готовый нанести ему любое физическое увечье. Что-то вспыхнувшее внутри заставило Чарльза пренебречь доводами здравого смысла и вмешаться в разговор.

— А может быть, он носил монокль потому, что у него с одним глазом что-нибудь неладно, — сказал он.

Бёрдж свирепо обернулся к нему.

— Черта с два, — сказал он резко. — Будь у него что-нибудь с глазом, он мог бы носить очки. С простым стеклом для здорового глаза.

Бёрдж говорил быстро и раздраженно, словно желая показать, что не стóит и оспаривать такое глупое возражение.

Чарльз безрассудно продолжал настаивать:

— Зачем ему было смотреть сквозь простое стекло здоровым глазом, когда он им и так хорошо видел?

Бёрдж наконец удостоил его связным ответом. Теперь он говорил таким тоном, что все гости прервали свои разговоры и прислушались.

— Могу объяснить вам, почему он мог бы смотреть сквозь простое стекло, если вы сами этого не можете понять, — сказал он. — Он должен был сделать это, чтобы не выглядеть сущим олухом. Нося этот идиотский монокль, он просто выставлялся. Все глазели на него, куда бы он ни пошел. Вот для чего он это делал. И вы это знаете не хуже нас. Просто он хотел привлечь к себе внимание.

Что-то вдруг подхватило и понесло Чарльза. Он почему-то почувствовал безумное желание поиздеваться над Бёрджем. Он не хотел прекращать спор. Четвероклассник бросал вызов старосте выпускников, больничный санитар восставал против почти законченного врача. Гостям стало не по себе.

— Слушайте, Бёрдж,— сказал он горячо и грубо.— Вы нападаете сейчас на этого беднягу Рэйли, просто чтобы привлечь внимание к собственной особе. Помните, вы были капитаном факультетской команды рэгбистов?

Бёрдж ответил небрежным кивком. Лицо его ровно ничего не выражало, кроме легкой усмешки, которая никак не разглаживалась даже ночью, когда он спал.

— Когда вашей команде везло,— настаивал Чарльз,— и зрители аплодировали, можете ли вы, говоря по чести, отрицать — ведь вы бывали рады, что это победа при зрителях и что часть их аплодисментов приходится и на вашу долю. Разве вас не радовало восхищение публики?

На этот раз не было даже кивка. Бёрдж только смотрел на него в упор с нескрываемой ненавистью.

— Иными словами, неужели вы не верили или хотя бы не старались поверить, что есть формы привлечения к себе внимания, так, кажется, вы это называете, которые и безвредны и даже хороши?

— Вот те на! — воскликнул какой-то юнец в желтом пуловере, поддельваясь под просторечье.— Да мы никак ведем спор по Сократову методу!

Кое-кто из гостей захихикал, стараясь ослабить напряженность. Но Бёрдж поставил свой стакан на стол и не сводил глаз с Чарльза. Лицо у него стало сизо-багровым.

— Вы всегда отличались способностью упражняться в идиотском остроумии. Когда вы покинули университет, я надеялся, что больше никогда не услышу ничего столь же идиотического.

— Нет, вы ответьте на мой вопрос,— огрызнулся Чарльз.

Он терял терпение: дело принимало серьезный оборот.

— Да, я отвечу на ваш идиотский вопрос,— сказал Бёрдж тем «зловеще холодным» тоном, которым он запугивал двенадцатилетних малышей, когда был старостой выпускников. («Если он говорит с тобой спокойно — жди встрепки, если орет — значит, все обойдется»,— поучали старшие побелевших от ужаса мальчуганов.)

Он приблизился к Чарльзу и, остановившись шагах в пяти, весь как-то неестественно вытянулся.

— Если человек и старается показать себя в такой приличной игре, как рэгби,— сказал он холодно и отчетливо,— это только доказывает, что он настоящий парень. И если зрители начинают аплодировать, то просто это их способ сказать ему: «Ты настоящий парень. И мы тебя ценим». А всякий настоящий парень должен хорошо играть в такую приличную игру, как рэгби. Если вы это называете «привлекать к себе внимание», то я держусь другого мнения. Я называю это поведением настоящего парня.

— «В такой приличной игре, как рэгби»,— сказал Чарльз, передразнивая Бёрджа.

Бёрдж шагнул к нему. Чарльз думал, что Бёрдж его ударит и чуть было не заслонился кулаками. Но Бёрдж сдержался: присутствовали женщины, женщины его круга.

— Полагаю, что люди, подобные вам, не назовут рэгби приличной игрой,— сказал он, вызывая Чарльза на какую-нибудь действительно оскорбительную реплику и надеясь, что тот разоблачит себя как ренегат.— И еще...— сказал он, повышая голос, когда вызов его был встречен молчанием.— Вообще что за идиотскую роль вы разыгрываете,

Ламли? Вот говорят, что вы работаете в больнице простым санитаром. Таскать помойные ведра и выносить горшки... Что за великая идея кроется за всем этим идиотством?

Чарльз был взбешен до предела. Сердце у него яростно колотилось, а глаза налились кровью.

— Следует ли мне считать, Бёрдж,— сказал он слегка прерывающимся от гнева голосом,— что вы вмешиваетесь в мое право, неотъемлемое право гражданина, выбирать себе работу по собственному усмотрению?

Двое из гостей придвинулись к ним вплотную и стали увещевать обоих, стараясь предотвратить углубление ссоры. Это были хозяйка дома, которая была, вероятно, и высокая девушка с землистым цветом лица, как видно, заинтересованная в Бёрдже, может быть даже его невеста. Но было слишком поздно. Все напряженно вслушивались, и теперь Бёрджа уже нельзя было остановить.

— Да, можете считать, если это угодно вашему идиотизму! — кричал он.— Такого рода работу должен выполнять тот, кто рожден для этого. Вы человек вполне определенного происхождения, определенного воспитания, хотя, судя по вашему идиотизму, этого не скажешь. Вы должны были избрать себе вполне приличную профессию, ради которой вам и давали воспитание и образование, и пусть выносят помои те, кто именно для этого был воспитан и обучен.

По толпе гостей прошел одобрительный шепот. Бёрдж выразил основной и главный из их символов веры.

— Так вы, значит, отрицаете, что труд санитаря в больнице — это полезная и необходимая работа?

— Вообще нет. Не думайте подловить меня каверзными вопросами. Да, это необходимо, как необходимо чистить мусорные ящики! — кричал этот образованный человек.— Но есть определенные слои общества, которые рождены и воспитаны для этого. И это не наше дело. Если вы избираете подобного рода работу, значит вы ренегат и... — он пошарил в своем скудном запасе метафор и вытащил неизменную: — значит вы изменили цвет. А я не люблю тех, кто меняет свой цвет. И никто из нас не любит перебежчиков. Мы уже обсуждали ваше поведение еще до того, как вы сюда явились, и, если хотите знать, пришли к общему выводу, что это позор и безобразие.

Пригласившему его молодому человеку, имени которого Чарльз не знал, было, видимо, неловко; его чувство неловкости разделяли многие гости. Не будучи столь непримиримыми, как Бёрдж, они были недовольны им: он выдал, что они обсуждали поведение Чарльза еще до того, как предоставить ему гостеприимство. Однако подружка Бёрджа, насколько заметил Чарльз, вовсе не была смущена и глядела на него с холодным презрением. Было уже слишком поздно мирить спорщиков, и она молчаливо стала на сторону Бёрджа.

— А я и не хочу этого знать,— возразил Чарльз.— И не желаю, чтобы мне тыкали в нос действительно идиотские эдвардианские<sup>1</sup> прописи об аристократии и расе господ. Под ренегатством вы разумеете, что помыкающий цветными саиб не должен проявлять хоть какую-либо человеческую общность с теми, кого он погоняет, с теми, кто такие же люди, как и он сам. Эти идеи давно устарели и отмерли на практике, они сохраняются только в мозгу таких ископаемых, как вы.

— Боже правый! — воскликнул Бёрдж с искренней и неутолимой ненавистью.— Вы говорите в точности как эти чертовы социалисты. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — заорал он, поднимая сжатый кулак.

— Я говорю только, что всякая работа, полезная и честная работа...

<sup>1</sup> Имеются в виду годы правления короля Эдуарда VII (1901—1910 гг.).

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — снова взвизгнул Бёрдж, потрясая кулаком.

Он казался одержимым. Продолжать с ним спор было бесполезно.

— На вашем месте,— с холодной ненавистью сказала Чарльзу землитолицая дева,— я бы сейчас же ушла отсюда, пока вы не накликали беды вашими красными взглядами.

Он уже готов был уйти, но что-то в нем прорвалось при мысли о неразумной, чисто животной нетерпимости этой публики.

— К черту красных! — воскликнул он.— Я и против вас в целом ничего не имею, господа. Вы собираетесь заниматься полезным делом, и, когда вплотную столкнетесь с ним, вы поймете, что такое жизнь, но я не могу не сказать вам, что такими, какими вы есть вот здесь, сейчас, вы способны вызвать во мне только презрение.

Все столпились вокруг него, теперь уже открыто враждебные.

— Я презираю вас по двум причинам,— продолжал он яростно и быстро.— Во-первых потому, что мое воспитание, которым вы меня попрекаете, шло такими путями, которые не оставили во мне ни малейших иллюзий насчет разделения человечества на спортивные команды, именуемые классами, и, во-вторых потому, что, пока вы живете вашей пустой жизнью — смешиваете коктейли, поглощаете пиво, на ночном дежурстве шлепаете по мягкому месту сиделок,— я живу, как все, в настоящем мире, кое-что узнал о нем, и главное...

Ему так и не удалось сказать про главное, потому что он слишком грубо наступил им на мозоли и они почувствовали себя оскорбленными. Даже когда они навалились на него, его разум подсказывал ему защищаться, и он не стал бы этого делать, если бы ненавистные узловатые руки Бёрджа не поспешили первыми схватить его за шиворот. Он ударил, ударил со всего размаху, и стоявший рядом с Бёрджем отшатнулся с восклицанием боли. Эх, не попал! Они поволокли его к двери и вышвырнули на лестницу. Он тяжело прокатился по ступеням, от увечья его спас ковер: он поднялся, яростно вызывая Бёрджа спуститься в сад и померяться силами, но дверь захлопнулась. Чужак был выставлен из дома наружу, а свои остались дома, внутри.

Чарльз побрел к себе, поражаясь глубине, силе и степени того чувства унижения, которое он переживал. Оно было так ужасно и гнетуще, так несонизмеримо с тем простейшим, почти добродушным оскорблением, которое они ему нанесли. В его беспокойных снах землитолицая дева холодно смотрела на него сквозь очки взглядом Бёрджа. «Одна линза — это простое стекло, простое до идиотизма стекло»,— твердила она.

*(Окончание следует)*

*Перевел с английского Иван Кашкин.*



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. БОНДАРЕЦ

★

## ЗАПИСКИ ИЗ ПЛЕНА

*5 июня этого года в Ялте после долгой и тяжелой болезни умер автор публикуемых ниже записок — Владимир Иосифович Бондарец. В 1942 году он попал в фашистский плен. Человек большого мужества и честности, В. И. Бондарец и в плену продолжал доступными ему средствами бороться за свободу: он стал членом Боевого Союза военнопленных. Плен не сломил его духа, но разрушил здоровье.*

*Несколько последних лет Владимир Иосифович мужественно боролся с тяжким недугом. Во время болезни он написал эти записки, начал работу над большим романом о военнопленных.*

*Записки В. И. Бондарца — это не только еще одна повесть о плене. В них читатель увидит образ самого автора, человека замечательной стойкости и безграничной преданности Родине.*

1

Это было 28 мая 1942 года под Харьковом. Несколько дней, находясь в плотном окружении, советские солдаты и офицеры мужественно сражались с численно превосходящим противником. Но силы были явно неравными. Многие из моих товарищей пали в бою. Многие попали в плен. В плену оказался и я.

Сарай длинный, приземистый, ободранный. Сквозь дыры в соломенной крыше заглядывает солнце. Колышется табачный дым.

Все тело пронизывает режущая боль. И тут же словно электрический ток ударяет по всему телу: в длинном прямоугольнике входа появилась серая фигура часового. Я в плену! Это спокойно расхаживает влево-вправо немец, гитлеровец. Вот он остановился, заглянул в глубь сарая. Мне показалось, что он ищет меня. Ворот его суконного мундира распахнут, подвернутые до локтей рукава обнажают покрытые густой золотистой растительностью руки.

Привалившись плечом к косяку, часовой насвистывает мотив какой-то песенки. Ему жарко, скучно.

Но вдруг лицо часового оживилось. Он шагнул вперед и, схватив за руку пожилого военврача, дернул его так, что полетели в сторону пуговицы гимнастерки. Доктор рывком высвободился, отступил назад и, тяжело переводя дух, закивал головой:

— Гут, гут...

Физиономия часового расплылась в довольной усмешке. Врач расстегнул ремешок часов. Немец торопливо протянул руку, но, отступив на шаг, врач с силой ударил часами о большой камень.

На лице грабителя еще блуждали тени растерянной, глупой улыбки. Он побледнел, тут же покраснел, в бешенстве схватился за автомат. Стало так тихо, что было слышно, как в ушах стучит кровь.

— Вас ист лос? — резко донеслось от входа.

Часовой обернулся, щелкнул каблуками, вытянулся, замер.

— Ахтунг!

В проеме входа, чуть пригнувшись, стоял высокий пожилой офицер, затянутый в безукоризненно пригнанный светлый китель. На плечах офицера — витые погоны; между концами воротника — черный разлапистый крест. Глянув назад, офицер что-то сказал и в ту же секунду будто раздвоился: из-за его спины возник другой, такой же высокий, поджарый, только значительно моложе. Под вздернутой бровью поблескивал монокль.

— Господин полковник спрашивает, нет ли у вас претензий к немецкому командованию,— обратился он к нам.

Молчание.

— Нет ни претензий, ни вопросов? — повышая голос, спросил переводчик. — Вы всем довольны?

Народ в сарае зашевелился, послышались отдельные возбужденные голоса. Из толпы вышел подполковник.

— В этом грязном сарае вы заперли более сотни русских офицеров,— начал он.— Среди нас есть раненые, нуждающиеся в немедленной госпитализации. Пищи нет. Воды нет. Оправиться не выпускают. В сарае, наконец, множество вшей. В нем невозможно содержать людей. Мы протестуем.

Переводчик скороговоркой пересказал все полковнику, и тот, презрительно улыбувшись, ответил:

— Для пленных есть специальные лазареты. Будут отправлены и ваши раненые. Всему свое время. Пищу получите вечером. Мы не имеем для вас специальных запасов продовольствия. Не ждали вас. Надеюсь, это вам понятно?

— Понятно...— ответил чей-то одинокий голос.

— Коммунистам и комиссарам выйти вперед!

В тишине слышалось только тяжелое дыхание сотни людей. Прошло несколько томительных минут. Полковник насмешливо улыбнулся и сказал почти весело:

— Напрасно. Позже этим вопросом займутся специальные люди. Лучше бы уж сразу.

Переводчик снова спросил:

— Коммунистов и комиссаров нет? Хорошо. Вопросы? Тоже нет? В ближайшие дни вас отправят в лагерь.

Четким шагом офицеры вышли из сарая.

— Да-а-а,— протянул доктор, присаживаясь рядом со мною.

Он достал пестрый кисет и стал сворачивать папиросу. Руки его дрожали, махорка сыпалась с косо оторванного клочка бумаги.

Немного успокоившись, доктор вдруг обернулся ко мне:

— Ну что, больно?

— Больно...

Я попытался приподняться, но он легким прикосновением ладони опрокинул меня на спину.

— Не спеши. Посмотрим, перевяжем... Врачи — верные помощники смерти. Так? — Он улыбнулся. У глаз собрались пучки добрых морщинок.— Присохло малость.

От боли потемнело в глазах.

— Та-та-та... Тихонько. Не дергайся.— Доктор согнулся над своей сумкой.— Темновато... И вовсе не больно. Это только кажется. Разве больно? — спросил он, заглянув мне в глаза.— Господь терпел и нам велел.

Он ковырялся в моей ране еще минут пять. Боль была очень сильной, моментами непереносимой, но врач все время что-то говорил, я невольно прислушивался и терпел.

Ловко вскрыв индивидуальный пакет, он наложил мне повязку, и действительно боли не стало, наступило состояние покоя.

— А вообще — пустяк. До свадьбы заживет.

— Нет, доктор, скажите серьезно: надолго ли?

— Да кто ж его знает, голубчик. Если б нормально... Закуривай.— Он протянул мне уже знакомый, чуть похудевший кисет.— У кого табачок — у того праздничек.— Доктор обернулся, и я заметил сидевшего в стороне командира нашей батареи Олега Осипова. Одна его рука была подвешена на грязном бинте к шее, другой он поддерживал ее, качивая, словно ребенка.

— Чего сидишь? — сказал ему доктор. — Разматывай бинт, пока покурю. Перевязать-то и тебя надо?

Он обошел всех раненых и только после этого устало опустился с нами рядом, бросив под голову опустевшую санитарную сумку. Подсиненные веки закрылись, плечи обвисли, и весь он стал как-то суше, меньше, точно съежился.

— А ведь он старик, — шепнул я Олегу.

— Кто? Доктор? Да, немолодой.

## 2

С рассвета по бесконечной степи вытянулась колонна пленных. Узкой серой лентой она связала противоположные концы горизонта.

Разбитый колесами грейдер, словно периной, покрыт слоем пыли, удушливым облаком пыль повисла в недвижном воздухе, смешиваясь с потом, она жжет до крови кожу и застывает на ней жесткой коричневой корой.

По обочинам — цепь конвоя.

Молодой раскрасневшийся унтер на буланом жеребце время от времени наезжает чуть не на колонну. Пленные шарахаются и оказываются под прикладами пешего конвоя. Солдаты хохочут, а возбужденный унтер снова и снова направляет вздыбленного коня на сломанный строй.

Бухают винтовочные выстрелы: это добивают тех, кто упал.

С самого начала марша меня тянут на своих плечах Осипов и доктор. Рана болит. Иногда сознание заволакивает красный туман, и тогда на какое-то время перестаю чувствовать свое тело. А когда вновь прихожу в себя, пытаюсь, чтобы как-нибудь отвлечься, вести счет пройденным шагам. Сто... Двести... Пятьсот...

Время тянется нескончаемо. Солнце будто за что-то зацепилось — почти не двигается. На зубах хрустит пыль, в горле пересохло, и язык шершав, как сухая тряпка.

Втянулись в село. Широкая улица заросла травой, только посредине лысеет мало-ежеженная колея. Ободранные хаты чернеют оконцами, кое-где торчат колья сожженного за зиму тына.

Из дворов выбегают женщины, тумачами загоняют в хаты детей и опять появляются, на ходу завязывая в тряпицы съестное. Конвой отгоняет их прикладами, но они перебрасывают еду через головы солдат и, стоя в сторонке, утирают углом платка слезы.

И вновь по колонне с остервенением замолотили приклады. Тихое село захлестнула ненстоявая чужая брань, слышались стоны, выстрелы. Глядя на нас, люди плакали, а мы, придавленные стыдом и усталостью, не могли поднять головы.

К вечеру показались красные крыши построек. Станция Тарановка. Перевалив через железнодорожное полотно, наша колонна влилась в огороженный колючей проволокой кусок поля. Каждому, кто входил за проволоку, толстый немец отмерял по горсти риса, перемешанного с мышинным пометом и глиной. Полицией в штатском, с белой повязкой на рукаве, сипло матерился, орал, что варить мы должны сами, кухню в лагере нет, и вообще кормить такую мразь — ненужная роскошь.

Люди падали на сырую землю.

Доктор опустился на колени, потом лег.

— Пришли...

— Пришли, доктор, — сказал Олег и стал срывать с лица марлевую повязку, открытую толстым слоем пыли. — Чтоб их черти в аду гоняли, собак! **Километров** тридцать отмахали без привала. А?

— Ладно, Олечка, отдыхай. Наговориться успеешь. — Доктор блаженно прижался щекой к земле.

В сумерках тот же долговязый полицай предупредил, что с наступлением темноты все должны лежать. По каждому, кто поднимется, будет открыт огонь без предупреждения.

Побежденный усталостью, лагерь притих, забылся в тревожном чутком сне.

И вдруг тишину разорвала автоматная очередь. С тонким свистом над спящими понеслись пули.

Мы вскочили. Где-то в углу лагеря захлебывался ручной пулемет. Сквозь россыпь выстрелов прорывались голоса солдат, отрывистая команда, лай овчарок. У проволочного заграждения суетился конвой. Лучи карманных фонарей на куски резали темень, выхватывая из нее то проволоку, то столбы, то белые лица ошалевших спронежь людей.

Спустя несколько минут все утихло так же внезапно, как и началось. У проволоки перекликались часовые, бряцая банками противогазов. Стонали раненые.

К утру все выяснилось. Пересыльный лагерь в Тарановке был построен наспех. Пленные сразу заметили и однорядную изгородь, и отсутствие костров, освещающих проволоку, и сравнительно слабую охрану.

Поздней ночью, подкопавшись под проволоку, кто-то выполз на волю. За ним другой, третий. Часовой услышал возню, автоматная очередь прикончила десяток человек, уложив их на самом пороге свободы.

Утром в сопровождении мотоциклистов к лагерю подкатил открытый легковой автомобиль. Из него вывалился толстый желтолицый офицер. Два других, худые и подтянутые, стали в отдалении, почтительно надломившись в поясных. Рыжий лейтенант — начальник пересылки — подбежал к толстяку, напряженно замер.

Чуть погода подъехал грузовик. Солдаты стащили с кузова трех пленных, уже мало похожих на людей. Вместо лиц — заплывшие маски, из-под бурых от крови лохмотьев проглядывали изуродованные кровоточащие тела. Привезенных подвели к месту ночного происшествия и, всучив им в руки лопаты, заставили рыть яму. Толстяк эсэсовец, с брезгливой миной осмотрев трупы у проволоки, что-то приказал коменданту.

Размахивая суковатой дубиной, по лагерю заметался долговязый полицай.

— Строиться! Строиться! Становись!

Мы построились лицом к проволоке. Вдоль нее, просунув пальцы рук за ремень и пытливо всматриваясь в лица угрюмо молчавших людей, медленно двигался эсэсовец.

— Мы не будем с вами миндальничать. За побег — смерть,— переводил его слова полицай.— Мы не дадим распространяться большевистской чуме! Сейчас поймали троих. К вечеру поймаем остальных. И все они будут расстреляны. Это же ожидает каждого, кто попытается бежать.

Через несколько минут на краю ямы поставили беглецов. Эсэсовец махнул перчаткой.

Строй качнулся, будто пули прошли сквозь него. По рядам пронесся приглушенный стон...

К вечеру следующего дня подали эшелон. Нас построили, отсчитали по двенадцать пятерок и, сохраняя между группами интервалы, повели на погрузку в «телятники». Казалось невероятным, что в эти маленькие двухосные вагончики собираются втиснуть по шестьдесят человек. Но это было так. Помогли приклады.

Громко провизжав блоками, закрылись двери. Нас не спешили отправлять. Эшелон не трогался.

Ночью было еще терпимо, но днем крыша раскалилась. Спертый, густой, неподвижный воздух, будто клейкой горячей простыней, обволакивал потное тело.

Эшелон отправили из Тарановки только через сутки. Все это время мы оставались без пищи и воды. На остановках пленные, пытаясь просунуть часовому сквозь проволочную сетку пустую флягу, просили:

— Герр постен, вассер... Вассер...

Солдат безучастно прохаживался вдоль вагона, а когда ему особенно надоедало это тягучее «ва-а-ассер», что-то бешено рычал и приставлял к окошку дуло винтовки.

Жажда стала непереносимой. Люди пристыли к окошкам. На стоянках стонали охрипшие голоса.

— Ва-а-ассер... Ва-а-ассер...

А за стеной однообразно тягуче пиликала губная гармошка часового. Он уже не сходил с тормозной площадки, и мольбы пленных пролетали мимо него в бесконечную раскаленную степь.

Андрей Николаевич — доктора уже все зовут уважительно, по имени и отчеству, — снял с шеи медальон, долго вглядывался близорукими глазами в его раскрытые створки, затем вытащил крохотную фотографию и спрятал ее в нагрудный карман. Несколько минут из ладони в ладонь переливалась тонкая вязь золотой цепочки. Доктор о чем-то думал.

На первой же стоянке он подошел к окну. Блеск золота магически подействовал на часового. Начался торг.

Доктор опустил за окно на ремне две фляги, и спустя несколько минут, наполненные свежей водой, стекавшей по почерневшему сукну чехла, они оказались в вагоне.

— Это больным и самым слабым из нас, — сказал Андрей Николаевич, и одна фляга исчезла в лесу жадно протянутых рук. — А это мне и раненым. — И он бережно поставил вторую флягу в углу вагона, добавив при этом: — Часовой сказал, что может дать воды еще... Если ему заплатят.

Четвертый день пути. Куда везут — мы не знаем. Знаем только, что на Запад. И вот долгая остановка. Кто-то говорит, что это Проскуров. Я смотрю в окошко. Жизнь кругом будто замерла, только одуревший от скуки часовой напоминает о ней маниакально однообразными звуками губной гармошки.

У стенки вагона один на другом лежат несколько трупов, около них в беспмятстве мечется белобрысый парень. Он скрипит зубами, мычит, тарашит налитые кровью глаза и, связанный по рукам и ногам, корчится в конвульсиях. Широкая грудь с хрипом и бульканьем выталкивает воздух. Вокруг разлетаются пузырьки розовой пены.

Как ни много нас — чуть ли не шестьдесят человек, — но мы пытаемся отжаться от этого парня и от трупов в другой конец вагона. Но и там стоит густой зловонный смрад гниющих трупов и испражнений.

Поезд дернулся, прошел, словно спотыкаясь, еще два-три километра и снова остановился. Послышались громкие голоса команды, визг открываемых дверей.

— Выходи!

Брезгливо морщась, солдаты влезали в вагоны, выбрасывали из них едва живых людей. Многие не могли подняться, и их добивали прямо на железнодорожном полотне.

Ноги с трудом выносили тяжесть тела. Мы держались друг за друга; казалось невероятным, что под непослушными ватными ногами твердая почва, а не зыбкий пол вагона.

Нас вновь построили пятерками, пересчитали, и заметно поредевшая колонна двинулась к лагерю.

Впереди виднелись большие кирпичные дома, огороженные рядами колючей проволоки. У входа пестрела полосатая будка и такой же черно-белый полосатый шлагбаум.

Меня вместе с другими ранеными отправили в лазарет. В длинном коридоре и в больших, как школьные классы, комнатах, на полу, вповалку, лежали больные — скелеты, обтянутые грязно-желтым пергаментом. Показалось, что мы попали в мертвецкую.

Но с нашим приходом «мертвецы» ожили, зашевелились, сдвинулись вокруг нас. С жадностью слушали они все, что мы могли рассказать, хотя «новости» были большой давности.

Постепенно разговор перешел на лагерные темы. С трудом можно было поверить тому, что пережили пленные в Проскурове. Но рассказы были так бесхитростны, вид людей так жалок, что не оставалось и капли сомнения: да, все, что говорят, страшная правда.

Немцы заняли Проскуров в первые недели войны. Казармы, находившиеся за городом, были выбраны для лагеря военнопленных. К моменту нашего приезда через лагерь уже прошли шестьдесят тысяч пленных. Из них чуть ли не пятьдесят тысяч оказались в братских могилах.

За беседой подошло время раздачи пищи. На четверых нам дали буханочку хлеба. Один из нашей четверки жадно ухватил ее, покопавшись, вытащил откуда-то тряпицу, какие-то деревянные палочки, связанные нитками, и похожую на нож железку.

Бережно разрезав хлеб на четыре пайки, он долго мерил их взглядом, потом в каждый кусок воткнул по колышку и стал вывешивать. Ничего не понимая, я нетерпеливо протянул руку за хлебом.

— Постой! — строго остановил он меня.— Отвернись!

Я отвернулся.

— Кому? — донесся из-за спины вопрос.

— Тебе.

— Кому?

— Олегу.

Пайки раздали, и только тогда я заметил, что все в палате делят хлеб одинаково. Стоял галдеж, отовсюду слышалось: «Кому?», «Кому?»

Потянулись ничем не занятые, однообразные дни.

По утрам трупоносы убирали тех, кто умер ночью, и посыпали пол барака удушливой хлоркой.

Потом раздавали еду. Люди несколько оживлялись, но вскоре снова впадали в полудремотное отупение до следующего утра. Впереди — ничего. Ничего, кроме новых смертей и ожидания еды.

Из персонала госпиталя особенно выделялась своей душевной мягкостью высокая молодая женщина — Розалия Исааковна. В лагере было всего две женщины, обе — врачи. Почти год они работали в лазарете, и не было, кажется, раненого или больного, который не сказал бы доброго слова о них.

Вскоре Розалия Исааковна исчезла.

Прошло три недели. Рана моя затянулась, зажила и рука Олега. По целым дням мы сидели теперь под солнцем на травянистом дворе за лазаретом.

Однажды утром к нам подсел Андрей Николаевич — его назначили на работу в госпиталь. Чем-то обеспокоенный, он хмурился, долго молча жевал губами. Мы насторожились.

— Ну, в общем, вот что, друзья, — наконец сказал он. — Пожили — хватит. Пора и честь знать.

— Выписываете нас, Андрей Николаевич?

— Выпи-и-сываете! — передразнил доктор. — Да что я здесь — хозяин? Завтра шеф будет лазить с обходом. Этот ученый троглодит мертвых предпочитает живым, а ваши физиономии еще не созрели до восковой спелости. Пойдете в карантин, а там уж как бог восхоцет.

День прошел тоскливо, как на похоронах. Прощаясь, доктор сунул Олегу буханочку лагерного хлеба и, глядя на нас грустными глазами, с наигранной бодростью сказал:

— Ничего, ребята, главное — берегите себя. Еще увидимся: плен завтра не кончится.

Из госпиталя мы попали в карантин — такой же грязный, чудовищно перенаселенный барак. Кормили здесь еще хуже. К карантину в обычном смысле он не имел никакого отношения. Судя по тому, что я понял в первые дни, цель его заключалась в проверке пленных — отбирали коммунистов, евреев, присматривались к пленным, нельзя ли кого-нибудь завербовать на службу немцам.

Карантинных тоже не брали на работу. Но чуть свет выгоняли из казармы во двор и по несколько часов держали в строю на поверке. Перед вечером снова строили на поверку и наконец загоняли в вонючий клоповник, где даже воздух, казалось, кишел паразитами.

Ко мне и Олегу присоединились еще двое. Один — низенький крепыш со светлыми вьющимися волосами и бородкой — оказался инженером-радиотехником из Сибири. Звали его Василий Васильевич Гуров. Второй — легчик-истребитель Гриша Адамов. Это был крупный парень с черным жестким чубом, постоянно спадавшим на глаза. По скулам и подбородку, опоясывая лицо, протянулся широкий багровый рубец недавно поджившего ожога. Гриша был молчалив, в разговоры почти не вступал, а если уж говорил, то веско, стараясь аргументировать каждую свою мысль.

Как-то утром к Гурсву вразвалку подошел полицей.

— Эй, борода, пойдем со мной.

— Куда?

— На кудыкину гору. Вставай!

Вернулся Гуров какой-то встрепанный, с пунцовыми пятнами на загорелых скулах. Молча лег на живот, уткнулся бородой в ладони.

— Сволочи! Чтоб вас...

— Что случилось?

— Да старший полицай решил меня осчастливить. В обмен на предательство он предложил мне место баландера. Ему, видите ли, позарез нужна информация о настроениях комсостава. Вербовал в осведомители.

— А почему именно тебя вербовал? — Олег сразу посерьезнел, насторожился.

— Конечно же, не из-за моей меньшевистской бородки, — вскипел Гуров. — Оказалось, земляки мы с ним.

Обычная лагерная похлебка сменилась в карантине магарой. Из мелких, отдаленно похожих на просо зерен этой травы варили густую баланду. Она создавала ощущение некоторой сытости. Но вместе с зернышками магары в желудок попадало большое количество неотвеянной шелухи. Она впивалась в желудок, и редкий организм мог с нею справиться. Наступали острые боли и часто смерть.

Полные бачки баланды стояли под стеной казармы, но никто уже к ним не подходил.

Дней через восемь магаровая баланда сменилась обычной грязной бурдой. К этому времени многие из карантинных были вынесены в заблаговременно отрытые могилы.

В эти же карантинные дни на утренней поверке появился комендант лагеря — пожилой обер-лейтенант в поношенном, неряшливом мундире. Пока тянулась поверка, он безучастно стоял в стороне, удерживая на поводке поджарую линяющую овчарку.

После проверки офицеров построили отдельно, остальным скомендовали разойтись.

На поверочном плацу осталось человек сто.

Комендант медленно пошел вдоль строя, прилиная взглядом к лицам пленных. Люди поеживались, переминались с ноги на ногу.

— Евреям выйти из строя! — скомендовал он по-русски. — На раздумье даю две минуты.

Строй не шелохнулся.

Две минуты прошли.

— Построиться в одну шеренгу!

Пока мы перестраивались, в карантин быстро вошли четверо автоматчиков. Комендант вновь пошел вдоль строя.

Против одного из пленных комендант задержался дольше обычного.

— Еврей?

Побелевший парнишка утвердительно качнул головой. В тот же миг, почуввав свободу, собака рванулась вперед.

В воздухе зазвенел исступленный крик. Хилый паренек, закатив глаза, замахал руками, пытаясь отбиться от собаки. Комендант бегал вокруг и рукоятью хлыста бил пленного по голове и рукам.

Так продолжалось несколько минут. Насладившись зрелищем, обер-лейтенант с усилием оттянул перепачканную кровью собаку. Фельдфебель спокойно выстрелил пленному в ухо. Трупоносы взвалили его на носилки. Собака длинным языком облизывала пасть, просила поводок.

Безжизненные щеки коменданта порозовели.

— Еще раз предлагаю евреям выйти из строя!

Вышли трое. Довольно ухмыльнувшись, комендант подал знак солдатам. Евреев увели.

В карантине нас долго не задержали: перевели в пересыльный блок. И здесь я неожиданно увидел давно знакомого человека. Это был старшина пересылки Фоменко — высокий брюнет атлетического сложения. Я знал его еще до войны.

Он был сдержан, корректен и казенно сух. Баланду раздавал сам, тщательно перемешивая ее, чтобы всем досталась одинаково густая.

Фоменко меня тоже сразу узнал, хотя долго не заговаривал. Молчал и я. Но однажды он остановил меня у входа в казарму.

— Харьковчанин?

— Да.

— С Чернышевской?

Я кивнул головой.

— Пойдем ко мне.

В маленькой комнатушке окно было широко открыто. Пахло свежeweымытым полом. У стены стояла узкая железная кровать, аккуратно застланная вытертым суконным одеялом. В другом углу — грубо сколоченный стол и трехногая табуретка.

Фоменко выдвинул ее на середину.

— Садись, поговорим.

— О чем?

— Разве не о чем? Что там делается, у нас?

Мне хотелось спросить: «Где это — у нас?» — но я промолчал. Передо мной сидел старшина пересылки. Знакомый-то знакомый, но что за птица? Служит у немцев и уже дослужился до начальника.

— Тяжело, конечно, трудно, — попытался я отделаться общими словами.

— Сам знаю, что не мед. Семья в Харькове?

— Не знаю.

— Давно оттуда?

— С сентября сорок первого.

— Давненько... — Фоменко вздохнул.

Мало-помалу беседа завязалась. Фоменко интересовался решительно всем, вопросы задавал коротко, четко, слушал, не перебивая.

Мы говорили часа два, и я не услышал от Фоменко ни слова осуждения в адрес наших, ни слова похвалы в адрес немцев. Он констатировал факты, не давая им никакой оценки и воздерживаясь от взглядов. Он не доверял мне, так же как и я ему, — это было ясно, наши довоенные встречи ничего не значили. Фоменко не мог знать, каким стал я, точно так же, как мне оставалось лишь догадываться о том, что сделал с ним год фашистского плена.

На другое утро я проснулся оттого, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Это был Фоменко. Приложив палец к губам, он кивком пригласил выйти. Я проворно вскочил и, ничего не понимая, поспешил за ним в коридор.

— Иди к окну. Смотри и запоминай! Да не высовывайся, не то пулю схватишь.

К изгороди пересылки прирос небольшой вытянутый дворик с узким проволочным коридором. Этот коридор вел на кладбище. Обычно дворик пустовал, а сейчас, несмотря на такую рань, в нем было тесно. Прижатые конвоем к проволоке, пленные раздевались, сбрасывали с себя в общую кучу тряпье и, перебежав на другую сторону двора, подстраивались друг другу в затылок.

Выворняв прикладами строй, конвой погнал нагих людей за проволоку. В первом ряду шли Розалия Исааковна и еще одна женщина; согнувшись, она как-то беспомощно семенила ногами и через каждые несколько шагов падала. Розалия Исааковна помогала ей подниматься.

Замыкал колонну комендант с овчаркой и вихлястым типом в черной форме.

Да, ошибиться было невозможно: вели на расстрел пленных евреев.

Метрах в двухстах от могилы колонна остановилась. С третьего этажа мне было отчетливо видно, как между шпалерами солдат, подгоняемые штыками, один за другим бежали к яме обреченные. Короткая остановка на краю, выстрел в затылок, и жертва исчезала, уступая место следующей. Молодчик из СД «работал» спокойно, ритмично и лишь время от времени менял в пистолете обоймы.

Когда расстреляли последнего, конвой возвратился в лагерь. Из подвала соседней казармы вывели еще одну группу, и все началось вновь...

Я больше не мог смотреть и отошел от окна. Но, до боли сжав мою руку, Фоменко силой вернул меня на прежнее место.

— Стой! Еще не все. Смотри и запоминай, да так, чтобы эти люди стояли перед твоими глазами, пока жив будешь! — Голос Фоменко был чужой, сиплый. — Двести тридцать один человек!.

Вернувшись в барак, я тихо улегся на свое место в углу и еще долго слышал приглушенные хлопки pistolетных выстрелов. Слышал их и тогда, когда они прекратились.

## 3

Владимир-Волынский — опрятный, тихий, типичный для Западной Украины городок. На окраинах — проросшие лишаями соломенные крыши, в центре — двухэтажные домики, церковь, костел.

Там, где обсаженная ветлами пыльная дорога уходит из города в поле, раскинулся лагерь для советских военнопленных офицеров. Сюда я был переведен в середине августа 1942 года.

Итак, за два с половиной месяца я уже попадаю в третий лагерь. Тарановка, Проскуров и вот теперь — Владимир-Волынский... Тогда я еще, конечно, ничего не знал о циркулярном письме Гимmlера, в котором указывалось на необходимость постоянно перемешивать состав лагерей, в особенности офицерских, с тем чтобы пленные не обрастали связями, не могли организоваться в тайные группы. Не знал и того, что мне еще предстоит побывать во многих-многих лагерях, и относительно «легких» и страшных — лагерях смерти.

Владимир-волынский лагерь именовался офицерским, но единственное его отличие от других состояло в том, что пленных обязывали здесь нашить знаки различия. В остальном все то же — голод, издевательства...

Сразу же по прибытии из Проскурова нас, человек около двухсот, загнали в вонючую моечную. Горячая вода шла из одного лишь крана, и около него сразу образовалась давка. Вместо тазиков на обросших зеленой слизью топчанах валялись красноармейские каски, покрытые слоем жирной грязи. Воздух затхлый, кислый, воняющий плесенью.

— Ну и банька! — возмутился Олег. — Порослячь лужа!

Да, тут не отмоешься. Двое суток нас везли в скотском вагоне. Поначалу мы просто стояли в коровьем навозе, но потом, кляня все на свете, стали садиться на пол: не держали ноги.

В пути погиб Гуров.

Неизвестно, как ему удалось пронести через все обыски косою сапожный нож. Едва поезд тронулся, он начал резать им пол.

О побегах через дыры в полу вагона ходило много толков. Пленные вырезали отверстие длиной в рост человека, на ремнях опускали в него беглеца почти до шпал и разом бросали. Если в момент падения все обходилось благополучно, побег можно было считать удавшимся.

Но перед отправкой у нас отобрали все, оставив одно нательное белье. На чем же опустить человека? Мы убеждали Гурова отказаться от бессмысленной затеи, но отговорить его не удалось. Он только обозлился, обозвал всех трусами и, пренебрегая осторожностью, продолжал свою работу даже на стоянках.

На одной из них дверь с грохотом откатилась, в вагон ворвались солдаты и вытолкали пленных.

На полу остались свежие стружки и брошенный Гуровым нож.

Была ли эта проверка случайной или, услышав у нашего вагона подозрительные звуки, часовой поднял тревогу — не знаю. Проверили все вагоны. Выстроив пленных вдоль эшелона, начальник конвоя в третий раз спрашивал:

— Чей это нож?

Я искоса наблюдал за Гуровым. Он был очень бледен. Под глазом непроизвольно дергалась мышца.

— В последний раз предлагаю владельцу ножа выйти из строя. Иначе расстреляю каждого пятого.

— Не надо! Нож мой. — Гуров шагнул вперед и очень тихо, но твердо сказал: — Я резал пол.

— Покажи руки! Мерзавец!

От удара Гуров упал, но сразу же поднялся. Из рассеченной скулы на рыжую бородку потекла темная кровь.

В следующий момент хлопнул выстрел. Гуров схватился за грудь, чуть постоял, словно примериваясь, куда бы упасть, и, не сгибаясь, рухнул вперед. Фельдфебель едва успел отскочить.

Про жарка вещей тянулась долго — несколько часов. Мы сидели нагишом в узком дворе бани. Голый до пояса дезинфектор из пленных жадно выпрашивал новости.

— Значит, говорите, бьют нас? Да-а-а... Тяжело. А вот еще одна новость.— Он выдернул из-под фартука газету.— Взяли они Севастополь. Удар тяжелый. Если почитать вот эту паскуду,— он ткнул пальцем в газетный листок,— станет совсем тошно, хоть вешайся.— Но он бодро посмотрел вокруг.— А все-таки нужно держаться!

— Аркадий Николаевич, готов, выдавай! — донесся голос из бани.

— Сейчас,— отозвался дезинфектор.— Основное, ребята, не вешайте носы.— Он подмигнул нам и, чуть пригнувшись, шагнул через высокий порог.

Потянулись длинные лагерные дни. Все здесь было так, как в других лагерях,— чуть продуманнее, чуть тоньше, но в итоге одно и то же: за прошедшую зиму погибло семь тысяч офицеров из десяти. Взгляд то и дело натывался на отечные лица цинготных. Ни мордобоя, ни дубины тут не применяли, зато очень легко было попасть на «кобылу» и получить двадцать пять палок. Все издевательства носили характер массовый и преследовали одну цель — унижение человеческого достоинства.

Сразу же после нашего приезда старшим офицерам выдали лоскут красной материи и приказали сейчас же нашить на воротники знаки различия. Потом нас построили на плацу. Затянутый в мундир комендант сказал:

— Я понимаю, что питание в лагере далеко не достаточное. Что-поделаешь? — Он развел руками.— Такова норма. Но я решил вам помочь.

Ряды чуть заметно оживились.

— Окрестное население обратилось ко мне с просьбой — вывозить на поля удобрения из лагерных уборных. Я организую несколько ассенизационных команд. В качестве вознаграждения за эту работу вы будете получать дополнительно по сто грамм хлеба на человека. Итак,— громко провозгласил капитан,— желающих прошу выйти из строя.

Строй настороженно притих.

— Мне нужно пятьдесят человек,— деловито продолжал комендант.— Пятьдесят добровольцев прошу выйти вперед.— Он выждал несколько секунд.— Что? Нег желающих? Или, может быть, это саботаж? Тогда я буду отбирать сам. Выходи вот ты и ты...— Комендант пошел вдоль строя. Гладкое лицо его налилось кровью. В холодном бешенстве он щелкал стеклом по жесткому голенищу сапога.— Очень хорошо! Вы не хотите работать? Это значит, что вы не повинуетесь моим приказам и по законам военного времени должны быть расстреляны. Фельдфебель!

— Слушаю!

— Взять вот этого! — Капитан указал на истощенного седого полковника.— Ты тоже не будешь работать? — спросил он его.

— Потрудитесь обращаться на вы, господин капитан. Кроме того, вы не вправе заставить меня идти на эту работу. Мой возраст и мое звание...

— Вот как? — прервал комендант.— Не впра-аве? Двадцать пять! — коротко бросил он стоящим поодаль полицаям.

Молодые здоровые полицейские замешкались. Даже этим типам, презревшим всякую человеческую мораль, было неудобно, видимо, пороть палками седого полковника.

— Я не доволен вашими людьми. Они плохо повинуются,— с нажимом процедил комендант, обращаясь к старшине лагеря.

На воротнике гимнастерки старшины были нашиты три «шпалы». Подполковник! Продажная сволочь. С какой ненавистью смотрел на него в эту минуту весь строй.

Старшина подскочил к старику полковнику, грубо рванул его за рукав и потащил к «кобыле». На помощь пришли ожившие полицейские.

— Подлец! — громко крикнул полковник.

Экзекуцию он перенес молча, но с «кобылы» подняться уже не смог. Его сняли, положили в стороне.

— Вы довольны? — продолжал издеваться комендант. — Теперь охотнее пойдете работать?

На следующий день в веревочную упряжь ассенизационных бочек впряглись отобранные накануне. Они опустили головы, тупо переставляли ноги.

После утренней поверки нас повели на плац, что почти всегда предшествовало отправкам крупных партий.

На этот раз особенно большое значение придавалось равнению по рядам и в затылок, и мы чувствовали, что готовится что-то торжественное.

Перед зданием клубного типа стоял рослый комендант, а рядом с ним — хилый старичок в тонком сером мундире с витыми серебряными погонами на сутулых плечах. Лицо желтое, в мешочках, левую бровь подпирает монокль.

Старик перебрисился фразой с комендантом. Тот важно качнул головой.

— Братцы! — Шагнув вперед, старик протянул к строю руки. — Я приехал к вам из Берлина по поручению командования русской освободительной армии. Я рад, что вижу столько русских офицеров вместе. Я не сомневаюсь, что все вы — достойные сыны многострадальной России.

Строй сдержанно загудел.

— В моем лице к вам обращаются люди, взявшие на себя священную миссию борьбы с большевизмом. Мы ждали этого радостного времени более двадцати лет. Теперь наш час настал. Вот, — старик поднял над головой большую листовку с портретом, — истинный борец за счастье своего народа — генерал Власов. Я зову вас под его знамена. Советам приходит конец. Ваш долг — ускорить его и вернуться к семьям, строить новую Россию, страну...

— Россию на немецкий лад! — звонко крикнул кто-то из строя.

Бросив взгляд на коменданта, старик ответил:

— Немцы получают свое и уйдут. Мы будем свободны!

Сзади поднялся шум.

Зашныряли полицаи, насторожились солдаты охраны и комендант. Когда шум несколько стих, старик продолжил:

— Напрасно вы шумите. У вас нет выхода. Нынешняя Россия считает вас изменниками. А для нас вы желанные люди. Мы ждем вас!

Приступ кашля заставил его схватиться за грудь.

— Доло-о-ой!

Свист, крики. Часовые на вышках повели стволами пулеметов — как еще можно заставить замолчать несколько тысяч человек?

Подошел конец августа. Немцы без умолку трезвонили о своих победах, о скором конце войны. Из репродуктора над плацем беспрерывно разносились то бодрые лающие голоса, то бравурные марши.

Настроение в лагере совсем упало. Оживились разные подонки — те, которым было все равно, какой ценой спасти свою шкуру.

Перед тем как нас отправили из Проскурова, Фоменко попросил меня отыскать во Владимир-волинском лагере Власенко, передать ему привет от Саши и пожелать спокойной жизни.

— Спокойной? — удивился я и тут же понял, что дело вовсе не в привете, а в чем-то значительно более важном, смысл чего для меня пока оставался тайной.

Отыскать в большом лагере человека было мало надежды. Сам Фоменко не очень-то рассчитывал на это. Может быть, Власенко вообще нет в живых или он находится в другом лагере.

На первых порах розыски ничего не дали, тем более, что приходилось искать осторожно, от случая к случаю расспрашивая людей. И все же постепенно я попал на ниточку, тянущуюся к Власенко. Выяснилось, что в лагере его уже нет. Он бежал. А до побега сначала работал при комендатуре писарем — был исполнительен, аккуратен, однако по личному распоряжению коменданта его за что-то высекли на «кобыле» и пе-

ревели в рабочую команду, в городское овощехранилище. В команде работало тридцать человек. В конце июня 1942 года несколько дней подряд лил дождь. Часовым не хотелось мокнуть, они загоняли пленных в сарай и сами отсиживались в нем по целым дням. В такой вот дождливый день пленные обезоружили, связали конвоиров и разбежались. Заводилой был Власенко.

Некоторых поймали сразу, других — спустя несколько дней. Всех расстреляли. И только о Власенко ничего не было слышно.

— Пойдем в клуб. Новичков привезли... Из Проскурова,— тормозил меня запыхавшийся Олег.— Может, и Андрей Николаевич там.

В клубном зале было полным-полно. К новичкам рвались обитатели лагеря, искали земляков, знакомых, жаждали услышать что-то новое.

Доктора среди прибывших не оказалось. Скалясь белозубой улыбкой, подошел не попавший с нами в прошлую отправку лейтенант Франгулян.

— Что нового, Гурген?

Франгулян рассказал проскуровскую сенсацию.

— Понимаешь,— волнуясь, говорил он,— если бы я не спал, теперь уже был бы на фронте. Дурной голова! Ишак! Не надо было спать. А я спал.

Оказывается, спустя несколько дней после нашего отъезда убежал Фоменко, а с ним еще десять человек и часовой с вышки. Они прорезали возле самой вышки проволоку и ушли на свободу. На другой день в лагерь привезли четыре труп. Остальных, в том числе и Фоменко, не поймали.

— Эх, черт возьми, и не везет же в жизни! — Олег шлепнул пилоткой о пол.— Задержишься мы там — может быть, уже были бы на воле.

Мы еще посидели и ушли в свою казарму. «Нет ли связи между побегими Фоменко и Власенко? Неспроста ведь Фоменко направил меня именно к нему...» Догадка мелькнула и погасла. Может быть, простое совпадение...

Отчаянно колотили в кусок рельса: сзывали пленных на плац.

Перед клубом собралась большая толпа. Никто не знал, зачем созывают.

В ворота лагеря вошла группа людей. Впереди — человек, руки которого заломлены за спину и туго стянуты. Грудь от этого неестественно выпятилась, походка деревянная. Вскосое лицо обросло густой бородой, один глаз заплыл синим кровоподтеком.

Почти упираясь в его спину штыками, твердо вышагивали два солдата. Последним шел унтер.

Перед клубом группа остановилась. Человек встал к подпорной стене. Напротив него, шагах в пяти, плечом к плечу застыли, передернув затворы винтовок, солдаты.

Я услышал фамилию Власенко. Кто-то сказал, что его поймали уже под Черниговом. Долго он все-таки скрывался от ищеек...

Унтер скомандовал. Вскинулись на изготовку винтовки, дула застыли на уровне груди осужденного, почти вплотную к нему.

Над площадью нависла могильная тишина.

Долгим тоскующим взглядом всматривался Власенко в лица людей и, видимо, не находил того, кого искал. Потом глаза его остановились на солдатах и вдруг сверкнули холодным, злым блеском. Грудь рывком поднялась, набрала до отказа воздуху, и над притихшими людьми, над широкой площадью пронесся страстный призыв:

— За Родину! За нашу советскую Ро...

Оглушительным дуплетом грянули выстрелы. Власенко упал на колени, медленно съехал по стене набок. Унтер выстрелил ему в ухо. Мертвое тело конвульсивно дернулось еще раз и застыло.

Мы разошлись по казармам.

Олег против обыкновения молчал. Гриша Адамов с грустью и легкой завистью сказал:

— Вот это человек! И умер-то как — гордо, красиво.

Подошла глубокая осень. Уже после того, как мы намерзли, нам выдали так называемую зимнюю одежду. Это было изрядно потрепанное солдатское обмундирование всех армий Европы со времен сотворения мира.

Мне достались ядовито-голубые бриджи с белыми лампасами, французская защитная куртка и длинная шинель неизвестного происхождения; знатоки уверяли; бельгийская. На голове красовался какой-то блин, на ногах — глубокие долбленные колодки.

Из склада нас увели в бараки основного лагеря. По асфальту грохотали колодки.

В бараках, под стенами, лежали истертые в труху вороха бумажных обрезков. Тронешь их — поднимется туча пыли. Но все же это было лучше телятника и лучше мокрой земли в палатке.

...Временами лагерь походил на биржу труда: по нему сновали какие-то типы в штатском, отбирали людей нужных им специальностей, формировали рабочие команды, иногда даже угощали пленных сигаретами.

Я угодил в группу, состоящую из тридцати человек. Ни Олег, ни Адамов в нее не вошли. Становилось очевидным, что нашей дружбе приходит конец. Горечь близкой разлуки отравляла и без того не сладкую жизнь. Мучило сознание совершенной оплошности: оказалось, в моей «тридцатке» все с высшим и средним техническим образованием.

— Черт тебя дернул! — пробирал меня Адамов. — Специалист! Вот привезут на завод, поставят к станку, что делать будешь?

— Откажусь.

— И получишь пулю в лоб. — ввернул Олег. — Лучше уж г... возить. Руки грязные, зато совесть чистая. Перемудрил, дружок! Эх, ты-ы!

Я смущенно молчал. Действительно, назвался же Олег поваром, а Адамов — черно-рабочим.

Мы прощались. Олег расчувствовался. В глазах у него стояли слезы. Мы троекратно наперекрест обнялись и расцеловались, как родные.

— До свидания, ребята! Плен завтра не кончается, еще встретимся, — повторил я слова доктора.

## 4

Померания. Север Германии. Городишко Вольгаст. Мглистое утро никак не может пробиться сквозь туман. Заканчивается проверка. Вдоль строя прохаживается фельдфебель. Несмотря на рань, он уже пьян. Фельдфебель разглагольствует, принимая опереточные позы, скопированные с многочисленных фотографий фюрера. Переводчик из пленных переводит его болтовню. Мы стоим с каменно-серьезными лицами, внутренне давясь от смеха.

— Ауф видерзейн! — наконец говорит фельдфебель.

— Ауф видерзейн! — гаркаем мы, и, как гигантские кастаньеты, шелкают две сотни колодок.

— Разойдись!

Из тумана неслышно выдвинулся инженер Мальхе, тот самый, что отбирал нас в лагере. Он шеф команды. Во всем черном, в очках, за которыми застыла словно сама пустота, он походит на мрачное привидение. Но это привидение превосходно говорит по-русски.

— Сегодня вы пойдете на работу. Немира!

— Я!

— В чертежку.

— Господин инженер, в чертежку я не пойду.

— Очень хорошо. Станьте в сторону! Семенов!

— В чертежку не пойду.

— В сторону.

Мальхе невозмутимо называет фамилии. В стороне уже стоит восемнадцать человек, в их числе и я.

— Так. Теперь с вами. — Шеф обернулся к нам. — Я предвидел все. Те, которые сейчас там, — Мальхе кивнул на ярко освещенную чертежку, — начинали примерно так же. Сейчас вы отправитесь на работу в лес, но если вам там не понравится, я разрешу вам поменять решение, и в тот же день вы пойдете в чертежку. Там тепло. До свидания!

Лес стоит темной стеной. Даже птиц не слышно. С ветвей срываются тяжелые капли. Наши долбленные колодки грузнут в податливой мокрой хвое, выжимая ледяную воду.

Я оказался в паре слевой Немирой. Обросшее слоем плесени бревно вырывается из рук. От натуги лицо Немиры становится фиолетовым. Я помогаю ему взвалить на плечо толстый комель, потом через силу поднимаю конец. Идем. Каждый шаг болью отдается в плече, в пояснице, где-то в позвоночнике.

Нас восемнадцать человек. По лесу плывут девять бревен. Это цепь. Бревна — звенья.

Колодки ожили, начали ерзать, проваливаться в снег. Ноги в них как поршни: выжимают струйки воды. Края колодок стирают кожу до крови.

Иногда кто-нибудь не выдерживает, опускает бревно. Тогда многоголосое эхо подхватывает злобную солдатскую ругань. Цепь останавливается. Кто-то вскрикивает от боли, и снова мы шагаем, согнувшись под тяжестью скользких, набухших бревен.

Через полкилометра выходим к асфальту, сваливаем бревна на обочину и без минуты передышки идем в обратный путь.

В середине дня один из пленных, шедший в паре сзади, споткнувшись об узел корневика, упал. Бревно догнало его, вмяло голову в землю, а вторым концом ударило по спине напарника, вырвало клоч куртки и от лопатки до поясницы спустило кожу.

Первому помощь оказалась ненужной.

К вечеру мы уже носили бревна по трое, по четверо, но сил все равно не хватало. Прогрошние конвоиры кляли все на свете и, не жалея палок, лупили нас — скорее всего только из потребности согреться.

На следующее утро нас построили отдельно.

— Ну-с, как работенка? — осведомился Мальхе.

Мы угрюмо молчали.

— Вижу, работа пришлась по вкусу. А сегодня будет еще получше... Я позаботился.

В тот день мы переносили те же самые бревна от асфальта обратно в глубь леса.

После работы, едва добравшись до койки, я забрался под жиденькое одеяльце и долго лежал без движения — на тело навалилась неимоверная тяжесть.

Сосед по койке Волин, опустив в проход длинные ноги, огрызком гребня плавно расчесывал удивительно красивую каштановую бороду.

— Не спите, сосед?

— Нет.

— Хочу с вами поговорить. Не возражаете?

— Я слушаю.

— Зачем себя гробить?.. Через несколько дней вам из леса уже не выбраться. Нужна ли такая жертва? Тем более...

— Что же, лучше продаться в чертежку? — перебил я.

Я еще не знаю толком, чем занимается конструкторское бюро. Но кто-то сказал, что там проектируют мосты, кто-то заметил, что это работа стратегического характера. Отдавать свою мысль, пусть в качестве чертежника, — нет, это невозможно. Я говорю об этом. Волин смеется.

— В чертежке же, по сути дела, никто ни черта не чертит, — говорит он.

— Агитируете?.. Катитесь-ка вы...

— Зачем грубить? Возьмите хоть меня: я за последние дни попросту перенес один чертеж со старой синьки на ватман. Я не знаю, к чему сведется в конце концов работа чертежки, но твердо уверен, что пока она мало полезного приносит немцам. Правда, в чертежке есть и предатели. Те работают. А мы им пригрозили: если они будут доносить, что мы отлыниваем от дела, то им тоже не поздоровится. Нас больше... Понимаете? А немцы уж не так часто заглядывают в чертежку. Вы слушаете?

— И слушать не хочу.

— Ну, дело ваше. — Волин замолчал и отвернулся, но спустя несколько минут встал и подсел ко мне, на краешек койки.

— Послушайте, — снова начал он, — мне будет жаль, если вы неразумно себя погубите. Я такой же русский и, смею сказать, такой же честный человек, как вы. В свое время я тоже таскал проклятые бревна.

— Нет уж, лучше я в лесу буду,— по-прежнему упорствую я.

— Как вам угодно.— Волин пожал плечами.— Только ослинсе упорство никогда не было признаком воли. Ясно?

Волин встал и отошел к гечке.

Я повернулся к стенке и неожиданно уснул, словно канул в бездонную пустоту.

Через восемь дней без помощи Волина я уже не мог подняться. В глазах все время плыли разноцветные круги, ноги опухли, и уже первые шаги приносили нестерпимую муку, словно в ступни забивали сотни гвоздей.

Как обычно в эти дни, после проверки подошел Мальхе.

— Ну что? Все еще упорствуете?

— Мы раздумали, господин инженер.

— Поздравляю! — Он насмешливо осмотрел нас с головы до ног.— Идите в чертжку. А вы,— Мальхе кивнул Немире,— в слесарную мастерскую.

Я подружился с Волиным, человеком большим, сильным, хорошо знающим жизнь. Мне казалось почему-то, что Волин — не настоящая его фамилия, что за нею он прячет другую, видимо имея на то особые причины.

Все, что он рассказывал мне о чертежке, оказалось правдой. По-настоящему работали только четверо: Будяк, Присухин, Скворцов и Степанян.

Будяк и Присухин — пожилые опытные инженеры — проектировали какую-то турбину. Скворцов и Степанян разрабатывали проект моста. Эти четверо имели право выхода за проволоку, на консультацию, в стоящий напротив барак. Все были убеждены, что «спецов» там подкармливали.

Мальхе в чертежке почти не бывал. Вместо него хозяйничали инженеры: унтер Пеллерт и рядовой Енике. Унтер щеголял крепкими, как скипидар, духами и бронзовой медалью «За Восточный фронт», а от высокого и сутулого Енике постоянно несло водочным перегаром.

В течение дня оба бывали в чертежке час-полтора, и в это время мы симулировали трудовой процесс. Остальные часы уходили на ничегонеделание и споры. Самыми злыми спорщиками были все те же Будяк и Присухин. Измена Родине, видимо, смущала их совость, и в спорах они пытались обелиться, выгородиться, убедить не только себя, но и других в своей правоте.

Ночью валил густой снег, перешедший к утру в унылый дождь. Белесой пеленой он затянул двор, бараки, тусклые электрические фонари. Мы стояли на поверке, подтянув к ушам острые плечи, прятали в рукавах разномастных шинелишек фиолетовые руки. Под ногами чавкало месиво мокрого снега.

Перед строем расхаживал фельдфебель по прозвищу Рыбий Глаз. Он был трезв и потому особенно зол. То и дело раздавался треск пощечины, сопровождаемый сиплой бранью.

— Рехтс-ум!

Мы вразнобой повернулись направо. Дружного щелчка не получилось, а по глубокому убеждению фельдфебеля строевая подготовка была нужна пленному, как хлеб насущный.

Мы месили колодками снежную кашу, а фельдфебель змием летал по двору, обучая нас сложным перестроениям в движении и на месте.

— Айн, цвай... Айн, цвай... Бистро, бистро! — кричал фельдфебель, подгоняя отставших клинком.

В хвосте едва плелся старый человек Жихарев; он задыхался в приступе астмы. Взбешенный фельдфебель налетел на него и, размахнувшись, ударил по лицу.

Жихарев остановился. Он хватал ртом воздух и налитыми страданием глазами смотрел на фельдфебеля, не в силах ни двинуться, ни перевести дыхание.

— Вперед, гы, лодырь, собачий сын!

В электрическом свете клинок сверкнул, как короткая вспышка молнии. Тихо вскрикнув, Жихарев опустился на снег.

— Вперед!

Окончательно озверев, фельдфебель сделал выпад. Клинок с хрустом прошел сквозь сухонького, тщедушного Жихарева. Он выгнулся дугой назад, схватился рукой за клинок и враз обмяк. Изо рта хлынула кровь.

В середине дня под конвоем подслеповатого солдата двое пленных отвезли Жихарева на кладбище.

После обеда Скворцов принес в чертежку «Фелькишер беобахтер». Первая полоса была окаймлена жирной траурной рамкой. Не обращая внимания на Енике, мы прочли сообщение о боях под Сталинградом.

Впервые гитлеровское правительство открыто признало, что война приняла затяжной характер. Геббельс не жалел слез, оплакивая двести тысяч своих соотечественников, павших в далеком, разрушенном и невообразимо холодном волжском городе.

Глядя на откровенно радостные лица пленных, Енике сморщился, как от кислого, и, по привычке безнадёжно махнув рукой, пробасил:

— Э-э... Дрянь...— И тут же вышел. За его сутулой спиной глухо хлопнула дверь.

— Пошел пить...

— Помяни их душеньки!

— Ну, что скажешь? — обратился Пушкарев к Присухину.— Будут вешать — попроси, чтоб веревку намылили.

К Пушкареву подлетел Будяк. Он заикался от злости, розовая лысина стала малиновой.

— А т-ты рано т-торжествуешь. Т-тебя скорей повесят, коммунист проклятый, м-может, и завтра.

— При твоём содействии — может быть, — уверенно подтвердил Пушкарев.— Только всех-то не перевешать. Будет кому и вами заняться.

— Иди к Мальхе! — Между Будяком и Пушкаревым встал Волин.— Ну, иди, Иуда! — Он подтолкнул Будяка к выходу.— Да не забудь себе гроб заказать. Марш!

В чугунной печи пламя лизало кубики брикета, и, весело потрескивая, он разлетался оранжевыми искорками. В чертежке было тепло. От ярких ламп разливались потоки ровного света. А за тонкой деревянной стеной разгуливал порывистый ветер, косые струи дождя секли пустой двор и жалкую фигуру человека, поникшего между рядами проволоки.

После убийства Жихарева фельдфебель почему-то стал бывать на поверках редко — не чаще одного-двух раз в неделю. Но его появление всегда сопровождалось новыми издевательствами, на которые фантазия этого кретина была поистине неистощима. Он ненавидел нас слепой, животной ненавистью и каждый случай насолить нам старался использовать возможно полнее. Действовал он в тесном союзе с погодой, которая тоже стала нашим врагом.

В то утро фельдфебель устроил осмотр на вшивость. Мы стояли под дождем, раздетые до пояса, держа вывернутое наизнанку, сразу намокшее белье. По спинам скатывались струи ледяного душа. Между шеренгами подчеркнуто медленно шествовал фельдфебель, а за ним — Рыбий Глаз, оба в плотных прорезиненных плащах.

— Это что? Почему одет? — Фельдфебель остановился перед капитаном Пасечным.— Ты лучше других? Что?

— Я болен. У меня туберкулез.

— У меня тоже туберкулез. Раздевайся!

— Я не могу, господин фельд...

— Не можешь? Не надо. Грюнблат, поставьте его за проволоку. Да-да, к нашим собачкам.

Рыбий Глаз рванул капитана за рукав, осмотрел кругом, будто впервые увидел, и, втолкнув в тесную загородку между рядами проволоки, оставил в обществе сторожевых псов. Ощерив клыкастые морды, они набросились на капитана, но поводки были коротки. Между псами и человеком оставалось несколько сантиметров. Пасечный стоял, прижавшись к проволоке.

Часа через два собак увели в барак. Оставшись один, капитан тяжело обвис на проволочной плетёнке, потем в изнеможении опустился прямо в мутную лужу.

Дождь все лил. Мы столпились у окон чертежки, жалели капитана, проклинали фельдфебеля, погоду и свое бессилие.

Перед обедом прибежал Пеллерт. Мы бросились по своим местам. Я ковырял в это время в печи проволочной кочережкой.

— Что вы висите в окнах? Почему не работаете?

Никто не ответил. В дальнем углу из-за доски показался Скворцов. Он пошел по проходу к Пеллерту.

— Почему не работаете? — Пеллерт обращался ко мне — я был к нему ближе всех.

И я отважился.

— Гляньте, господин Пеллерт, — сказал я, показывая на окно. — Разве это допустимо?

— Понятно. Протест против административных мер?

Подоспел Скворцов.

— Все в порядке, господин Пеллерт. Люди на местах и работают.

— Я доложу инженеру Мальхе. — Пеллерт крутнулся юлой и выскочил из чертежки.

— Черт вас дернул с вашими объяснениями! Идите на место! — Рассерженный Скворцов глянул на меня чертом и, бухнув дверь, выскочил за Пеллертом.

Минут через пять явились двое солдат и унтер.

— Иди сюда, — поманил меня пальцем унтер. — Оглох, что ли?

Я вышел в проход. Чуть откинувшись, унтер взмахнул рукой. Страшная боль пересекла лицо, а в следующую секунду от джоего пинка я вылетел из чертежки, открыв головой дверь. Новый толчок свалил меня на пол, и не успел я приподняться, как ураган тяжелых ударов смял меня.

В какую-то секунду все прекратилось. Беспамятство сменилось ознобом. Тело стало непослушным, дрожало, корчилось, сами по себе прыгали руки и ноги, бились об пол, причиняя все новую боль.

Усилим воли я заставил себя подняться и, придерживаясь за стену, стал продвигаться вдоль нее.

Прошло, наверное, не меньше часа. Ржаво взвизгнул замок, со света внутрь шагнул фельдфебель. На его боку блеснул эфес шпаги. Он отцепил ее, и уже одно это не предвещало ничего хорошего.

— Идем! Выходи!

Под дождем выстроилось четырехугольником каре солдат с винтовками наперевес. Один посторонился, дал мне дорогу.

Сердце ухнуло и тоскливо смолкло: такие каре я уже видел, и всегда только в одном случае — перед расстрелом.

Я оглянулся на чертежку. К стеклам прилипли расплюснутые носы. Лица пленных были вытянуты и бледны.

Встав впереди, фельдфебель широко зашагал к выходу. Мы пересекли двор, повернули к морскому побережью.

У вросшей в землю замшелой постройки нас уже поджидал Мальхе.

Меня поставили к стене. Сердце билось редко, сильно. Было жаль себя.

Напротив выстроились солдаты. Со мной повторяли то же, что было с Власенко. Он дорого продал свою жизнь. А я?..

Не изменяя своей обычной вежливости, подошел Мальхе.

— Что произошло в чертежке? Это бунт. Забастовка! Кто зачинщики?

— Не было никакого бунта! — крикнул я в отчаянии. — Ничего не было!

— Неправда! — Голос Мальхе прозвучал металлом. — За свою глупость вы поплачиваетесь головой.

Вскинуты на изготовку винтовки. Казалось, все они смотрят прямо в переносицу мне. Сердце отсчитывает последние долгие секунды.

— Отставить!

Мальхе подошел снова.

— Так кто же зачинщики? Я даю вам возможность поумнеть. Используйте ее. Не хотите?

Винтовки снова смотрели мне в глаза нестерпимой чернотой дульных отверстий.

— Считаю до трех с промежутком в пять секунд. Последний счет — ваша смерть. Раз!

Обрывки мыслей лихорадочно прыгали с предмета на предмет, и все это были сущие пустяки, не имевшие никакого отношения к происходившему.

— Два!

Отчетливо представилось, куда попадут пули: в сердце и лоб. И вдруг стало так больно, что я ухватился за грудь руками.

Снова команда:

— Отставить!

Ехидно сощурившись, откуда-то сбоку подкрался фельдфебель. Накинув на мое лицо пахнущую мылом тряпку, он стянул ее на затылке жестким узлом.

— Последние секунды, — донесся голос Мальхе. — Итак?

«Сейчас... Сейчас...» Ах, как хотелось жить! Хоть секунду еще, хоть взглянуть бы в последний раз на мир, а там...

Я судорожно рванул с лица повязку.

Мальхе вкрадчиво спросил:

— Что? Испугался? Хочешь жить?.. Так кто же зачинщики?

— Бунта не было.

— Упрямисься, осел? Мне тебя убить проще, чем клопа раздавить. Жаль Пасечного? Солидарность? Благодарни судьбу, что здесь я хозяин. Попади к другому — уже протянул бы ноги. Дурак!

Мальхе и толстяк в штатском несколько минут совещались. Потом все закурилось обратно: то же каре и я в центре, но шли уже к лагерю.

Когда переходили линию узкоколейки, за спиной ударил выстрел. Я инстинктивно шарахнулся в сторону, зацепился ногой за рельс и упал.

И снова ледящий холод карцера. С одежды стекали струйки воды. Схлынуло напряжение последних минут, и холод схватил меня в свои цепкие клещи. Крупный озноб колотил меня о щелястые доски пола, и остановить его я уже не был в силах.

Спустя полчаса меня потащили к Мальхе.

— Я считаю, что вы наказаны достаточно. Сегодня отделались легким испугом. — Он улыбнулся. — Но из всего происшедшего вы должны сделать вывод: Германия — страна, не подходящая для разных большевистских штучек. Вам понятно?

— Понятно.

— Идите в барак.

Меня накрыли одеялами, собранными с половины коек, но согреться я не мог. В ознобе плясала каждая жилка, и только к вечеру я кое-как успокоился, пришел в себя и увидел на краю койки Волина.

— Так-то, друг мой. — Он долго сидел, задумчиво опустив голову, большой, тяжелый и подавленный. Широкая рука гладила поверх одеяла мое плечо. — Считайте себя воскресшим из мертвых. И радуйтесь. Вот возьмите, подкрепитесь. — Он сунул мне под одеяло нарезанный тонкими ломтиками хлеб. — Ребята собрали...

В первых числах марта 1943 года — не знаю, по каким соображениям, — меня в числе одиннадцати человек, отобранных из тех, кто работал раньше в лесу, отправили в один из лагерей Польши.

## 5

Вздрагивая на рельсовых стыках, поезд куда-то увозил меня. За окнами пронеслись закопченные окраины Штеттина. Потянулись скучные, набухшие водой поля. Вдоль полотна дороги однообразно вышагивали телеграфные столбы.

Вокзалы были забиты военщиной. Серо-зеленые шинели, ранцы, винтовки, противогазы... На всех лицах одно выражение — озабоченность.

— Другие немцы стали, — сказал Немира. — Не те, что в прошлом году. Старье пошло под ружье. Посмотрите-ка!..

На вторые сутки небо стало проясняться.

Изменился и пейзаж. Вместо расчищенных лесов, точно выстроенных к параду, появились веселые березовые перелески. На взгорьях приветно размахивали крыльями ветряки, мелькали соломенные крыши хуторов...

Началась Польша. И хоть до родины было далеко, повеяло чем-то родным и на душе стало теплее.

В Познани задержались около часа. Против нашего хвостового вагона на перроне стоял небольшой опрятный барак, окрашенный веселой голубенькой краской. Дверь его то и дело пропускала деловито спящих женщин в форменных серых платьях и крахмальных наколках, спущенных по-монашески до самых бровей. На белоснежных передниках — красные кресты. А на стене барака висела надпись: «Питательный пункт Красного Креста».

— Для кого этот пункт? — спросил часового Немира.

Солдат был занят: разрывал сигаретные окурки и набивал ими трубку. Не глядя в окно, он молча пожал плечами.

Мимо вагона, семена лакированными туфлями, проходила сестра милосердия.

Немира постучал в окно. Сестра остановилась, недоуменно вскинула шнурочки бровей. Немира постучал вторично.

— Эссен... Эссен... — сказал он, сопровождая слова выразительными жестами.

— Кто вы?

— Русские военнопленные.

— Я спрошу. Только мы не кормим русских.

Вскоре к вагону подошла в сопровождении высокого красивого офицера пожилая дама в форме Красного Креста. Перед ними в почтительной позе застыл наш старший конвоир. Через открытую дверь доносились обрывки разговора.

— Но господин капитан знает, что мы не обязаны обслуживать русских! — возмущалась дама, бросая недовольные взгляды на офицера. Впервые я увидел немецкого офицера, который проявил человеческие чувства по отношению к пленным.

— Фрау Веллер, Красный Крест не станет беднее, если мы накормим десяток голодных людей, — настаивал офицер.

Мятое лицо фрау Веллер от возбуждения порозовело.

— У нас ничего нет!

— Неправда, — спокойно возразил офицер.

— Как хотите, господин Крамер. Я умываю руки.

Величественно вскинув голову, пожилая дама ушла в барак и бухнула дверь так, что звякнули стекла.

Немного погодя принесли алюминиевые тарелки, ложки и бачок с раздражающе пахнувшим варевом.

С заученной полуулыбочкой молодая сестричка раздала нам почти прозрачные ломтики хлеба и обидно малые порции гороховой похлебки.

Кто-то снова подставил свою тарелку. Сестра вопросительно поглядела на офицера. Кивнув на барак, тот отрицательно покачал головой: к оконному стеклу прилипла злая физиономия фрау Веллер.

Скудный завтрак только раздражил пустые желудки, но и за него мы были благодарны.

— Спасибо, господин офицер.

— Нитшево. Я знайт, что такой голод, — ответил он по-русски.

Вечером приехали в Лодзь.

Нас высадили на окраине города, и мы загромыхали колодками по булыжной мостовой. Встречные пешеходы жались к стенам. Где-то в конце улицы мы нырнули в длинный узкий проход и наконец вышли к ярко освещенному лагерю.

Была уже ночь. В пустом бараке стояли клетки двухэтажных коек. Бумажные матрацы были холодны, как лед.

— Немира! — позвал я. — Ты где?

— Тута!

— Давай сюда, вместе ляжем — теплее...

Далеко за полночь Немира доверительно прошептал мне в ухо:

— Немцы нас перетасовывают не зря. Они, сволочи, понимают: чтобы организоваться, нам необходимо друг к другу присмотреться, а перебросками из лагеря в лагерь они лишают нас этой возможности.

— Что же, значит, мы так и не сумеем ничего сделать?

— Погоди. Где-нибудь да остановимся, где-то зацепимся. А тогда... — Он прервал себя, а потом сказал: — Утро вечера мудренее. Спим.

Лодзинским лагерем, куда мы попали, ведали имперские воздушные силы. Контингент военнопленных состоял, за редким исключением, из сбитых летчиков: пилоты, штурманы, стрелки-радисты, техники...

На второй день нас начали «обрабатывать». Передо мной за широким письменным столом сидел светловолосый, рано облысевший лейтенант. Вежливо улыбаясь, он подвинул коробку польских папирос «Юнак».

— Закурите.

— Благодарю вас.

Душистый дым немецкой сигареты, которую курил лейтенант, смешался с тяжелой вонью папиросы, сделанной из бросового табака.

Огонек быстро передвинулся к мундштуку. Я разочарованно загасил эту папиросу и покосился на коробку. Перехватив взгляд, лейтенант любезно предложил:

— Возьмите себе несколько штук. Где вы попали в плен?

Я ответил.

— Назовите известные вам крупные военные объекты — аэродромы, склады, заводы...

— Пожалуйста. В Харькове на окраине города расположен ХТЗ — Харьковский тракторный завод. До войны он выпускал...

— Нет. Не это меня интересует, — прервал лейтенант. — Расскажите о тех объектах, что там, за Волгой. — И он махнул узкой кистью куда-то в угол комнаты.

Я с сожалением развел руками.

— Дальше Сталинграда я на востоке не был.

— Это правда?

— Правда.

Лейтенант помолчал, рисуя ниже текста протокола какие-то завитушки, потом, скомкав его, бросил в корзинку. Я заметил в ней уже не один такой комок. Сморгившись, он кисло процедил:

— Я вас больше не задерживаю. Пусть войдет следующий. Э-э-э, погодите минутку, — услышал я, взявшись уже за дверную ручку. — Положите папиросы на место.

После меня вошел Немира и вышел оттуда, откровенно смеясь.

— Разведчики... чтоб вы скисли.

Нас назначили на работу в город, в утильном складе.

Большой серый дом с узенькими бойничками стрельчатых окон был до краев загроможден армейским хламом, снятым с убитых. Все было свалено в огромные кучи, источающие удушливое зловоние. Мы сортировали и чистили эту дрянь.

В заднем кармане щегольских офицерских брюк с настроенными поверх сукна замшевыми леями я нащупал вдруг что-то твердое. Оказалось, записная книжка. В потертом кожаном переплете она хоть и разбухла от сырости, но все же неплохо сохранилась. Исписанные химическим карандашом страницы не затекли.

Слово за словом я перевел эти записи.

В них некий немецкий офицер, обращаясь то ли к жене, то ли к невесте Эльфриде, жаловался на свою судьбу. Письмо было написано искренне — это чувствовалось, и веяло от него полной безнадежностью. «Все перепуталось, — писал офицер, — потеряло привычную ясную, и мне временами кажется, что война — безумная авантюра, из которой единственный вероятный для нас выход — смерть». Значит, немец уже пошел не тот! Я помнил хвастливые заявления гитлеровцев в сорок втором году. Едва ли они считали тогда войну безумной авантюрой.

Изменив почерк, я переписал записи несколько раз и отдал их Немире. Через несколько дней мне под большим секретом передали один экземпляр, зачитанный до дыр.

Апрель растекался по земле волнами теплого воздуха. Пробивались робкие ростки весенней зелени. Вновь начинала бродить неистребимая мечта о воле.

Лагерь гудел, как пчелиный улей. Кое у кого появились обрывки карт, некоторые зашивали в брючные пояса компасы и адреса приятелей, иные ухитрились доставать гражданскую одежду. Впечатление было такое, будто сейчас все поднимутся и уйдут каждый своей дорогой.

Да и как не бродить весеннему возбуждению, если в лагерь вдруг, как взрыв фугаса, ворвалась новость: отправленные вчера из Лодзи, в пути бежали двадцать шесть человек во главе с Героем Советского Союза капитаном Козулей. А кто из летчиков не знал Козулю — ветерана парашютного спорта в СССР!

Ежедневно, а иной раз и по несколько раз на день, в лагере появлялся власовский поручик.

Он был строен и подтянут. Офицерский китель без морщинки облегал крепкую грудь, на брюках — острая, как нож, складка, и только на ногах были диссонирующие всему его лощеному виду простые солдатские ботинки на толстых подметках с подковами на каблуках. На левом рукаве пестрела бело-красно-синяя нашивка с тремя желтыми буквами: РОА — русская освободительная армия. Так величали себя власовцы.

Фамилия поручика мне так и осталась неизвестной, а звали его Лешей. Он власовский агитатор, официально прикрепленный к нашему лагерю.

Приходя в нашу комнату, Леша всегда приносил с собою власовскую газетку «Заря», свежие немецкие новости и какой-нибудь похабный анекдотец. При его появлении я уходил за дверь. Странно было, что никто не пытался меня удержать.

Однажды Леша остановил меня.

— Постойте, куда же вы?

— Пойду поброжу.

— А беседа? Неужели вам неинтересно?

Я молча пожал плечами.

— Садитесь с нами, — каким-то новым для него тоном предложил Леша. — Расскажите, как вас выводили на расстрел.

— В этом нет ничего интересного, — сказал я.

— Не бойтесь, рассказывайте, — настаивал Леша. — Тут народ свой..

Судя по навоящим вопросам, он был кем-то хорошо информирован о жизни в Вольгасте, и обо мне в частности.

— Кто вам рассказал? — спросил я с досадой.

— Земля слухами полна, — улыбнулся он. — Для вас в этом нет ничего худого, и скрывать не к чему. Я же вам сказал: вы среди друзей.

— Ну, знаете ли! — возмутился я, не выдержав. — Мы с вами, по-моему, в детстве не дружили.

— Дружить не дружили, — спокойно ответил Леша, и меня больше всего удивило это спокойствие. Если провокатор, то, видимо, опытный. А может быть... Что-то я переставал понимать, с кем имею дело. — Но мне нравится то, что вы делаете. Вы правильно сделали, например, что распространили записки убитого офицера. Это — не просто частное письмо. В наших руках такие письма приобретают большую политическую ценность. Только действовать надо не в одиночку.

— Никакого письма я не распространял.

— Понятно, понятно... — улыбнулся Леша и отстал от меня.

Дверь комнаты открыли настежь, и ароматный воздух широким потоком пробился в самые дальние затхлые углы. У стола, над раскрытой «Зарей», тесно склонилось несколько голов, рассматривая фотографию хозяйства какого-то преуспевающего бауэра. И вдруг я услышал, что Леша читает сводку «Совинформбюро», выписанную кем-то на тончайшем листочке папиросной бумаги.

«Итоги зимней кампании Красной Армии...»

Я вслушивался в официальные слова сводки, и в тихом голосе читающего мне чудился бас московского диктора.

«Всего противник за время нашего зимнего наступления потерял самолётов... танков... орудий...»

— Запомнили? — Обычно веселые глаза Леша прищурились. Он зажег спичку, папиросная бумажка вспыхнула и опустилась на псл невесомым комочком пепла.

— А для сравнения почитайте вот это, — сказал Леша и положил на стол «Фелькишер беобахтер». — До встречи.

Пружинистой походкой беззаботного повесы он вышел из барака, и тут-то я окончательно понял нелегкую роль, которую он так искусно и долго разыгрывал.

— Головой Лешка играет, — возмутился старожил лодзинского лагеря Мельниченко. — Что она у него — брюква, что ли?

— Хотел бы я, чтоб у тебя такая брюква была! — откликнулся кто-то.

— Зато я не хочу. Тоже мне дружки-приятели. Парень потерял всякую осторожность. — Мельниченко посмотрел на меня. — И хоть бы кто ему намекнул. Молчат, как...

— Брось ты страхи придумывать.

— Страхи? Считаешь, что лагерные шпики повыходили? А ты, друг, — Мельниченко положил на мое плечо тяжелую руку, — всё, что здесь слышал, забудь сразу, будто это тебе приснилось. И если что — знай: я тебе за Лешку башку сверну.

На следующий раз, придя к нам, Леша сказал:

— Был у меня серьезный разговор с начальством. Посоветовали запастись вёревой. Совет, конечно, дельный. Значит, кто-то донес на меня, следят.

— Я ж говорил! — ввернул Мельниченко. — Допрыгались!

— А ты не бойся. — Леша посмотрел на него с неприязнью. — Ранё ещё паниковать.

— Узнать бы...

— Вот это у вас и поручаю, — подхватил Леша. — Вот список записавшихся в РОА. Последите за ними.

Прошел день, два, целая неделя. Леша в лагере не появлялся. Он и прежде, бывало, исчезал на несколько дней, и к этому относились довольно спокойно. Но теперь тревога за него не оставляла нас ни на минуту, и в этой щемящей неизвестности дни тянулись бесконечно длинными, угрюмыми рядами.

Как-то под вечер в двери внезапно и незаметно вырос солдат. Он шагнул через порог, развязно улыбаясь, переделся по бараку и вдруг заявил:

— Альзо! Лешка вам передал гостинец.

На стол шлепнулась коробка «Юнак», а солдат исчез так же неожиданно, как появился.

Мельниченко предложил не трогать папиросы.

— Откуда вы знаете, что это за солдат? Может быть, Лешку схватили, и все это — провокация, на которую нас хотят поймать.

— Но если папиросы останутся целыми, будет вдвойне подозрительно, — с жаром возразили ему. — Ты только подумай: пленные — и вдруг не взяли папирос! И вообще ты брось!

На Мельниченко ополчились и остальные.

В мундштуке одной папиросы была спрятана записка.

«Меня отстранили от работы в лагере. Положение неясное. Возможны неприятности. Готовится большой транспорт».

— Я ж говорил! — закипел Мельниченко. — Допрыгались! Распустили языки, как коровье ботало!

Через несколько дней тем же способом Леша еще раз дал знать о себе: «Немцы ничего толком не знают. Спокойствие. Транспорт готовится в Моосбург».

Дальше в записке микроскопическими буквами была выписана сводка «Совинформбюро».

*(Окончание следует)*



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЕЛ. РЖЕВСКАЯ

★

## ГЕНЯ ПОПКОВ И РЕБЯТА ИЗ СБОРОЧНОГО

*(Репортаж с Московского завода шлифовальных станков)*

### Персональное дело

**З**аседает заводской комсомольский комитет. Разбирается персональное дело Гени Попкова. Присутствует повязанная платком пожилая женщина, мать Гени.

«Нам с ним жить страшно. Он сам не живет и нам не дает», — писала она в комитет.

Геня Попков всего несколько месяцев назад принят на завод, работает калильщиком в термическом цехе. Ему семнадцать лет. Землистое лицо, не по возрасту глубокие складки лежат по сторонам рта. О Гене известно из письма матери, что он не дает ей денег, бросил учиться, на замечания отвечает руганью, кидается с кулаками на сестру. Он стоит, перебирая пальцами кепку, в заношенном пальтишке, на голове замысловатые вихры.

— Источник всех недоразумений — ее нотации... — поясняет он, неестественно, в нос произнося слова.

— Что, разве мать не права?

— Она права, но это надоедает. — Он отчужденно разглядывает потолок.

— Как это скользко у тебя получается! А ведь когда поступал в комсомол, обещал быть образцом и не выполнил...

— Но образец мы ищем всю жизнь. — Это произносится в нос, с едва скрываемым высокомерием, и комната мигом накаляется. Горячее возмущение обрушивается на его голову.

Парень в бушлате, побледнев, говорит:

— Это эгоизм в высшей степени... Смотрим на тебя и на твою мать — трудового человека, всю жизнь работавшего, чтобы тебе было тепло и сытно. Шестнадцать с половиной лет жил на иждивении матери. И в семнадцать лет у матери завтракает, чай пьет, а денег не дает. Ты встань на ее место и посмотри на себя ее глазами. Ты девять классов окончил, у тебя выражения шикарные. А мать, может, не кончала, она говорит по-своему...

Не «маменькин сынок» — парень, выросший, как и они, в трудовой рабочей семье, стоял перед членами комитета, но они почувствовали в нем чужака.

Гене Попкову вынесли строгий выговор, обязали его отдавать деньги матери и вести себя в семье, как полагается комсомольцу.

«Не в вопросе о деньгах причина наших разногласий», — сказал на комитете Геня.

Мне показалось, он мог бы что-то объяснить о разладе в семье, но был безязыким. Нет, он не терялся, не нервничал. Но больше одной фразы логически связать не мог. Дальше шли бессвязные слова, обрывки фраз, смысл ускользал. Чувствовалось — утерян навык простого общения.

По словам матери, всего каких-нибудь полтора—два года назад Геня серьезно учился, честно вел себя дома, старался помочь матери, облегчить ее нелегкую долю. А теперь его словно подменили.

Что же произошло с ним?

Я взяла в комитете комсомола адрес Гени Попкова и поехала к нему домой.

Остановка трамвая «Соломенная сторожка». Дальше — уютное, обсаженное деревьями Новое шоссе. Стежка, протоптанная на черной весенней земле. В поредевшем лесном массиве — несколько строений дачного типа, доживающих последние дни: со стороны Бутырского хутора пододвигается сюда гигантская стройка жилых зданий.

Мечется за забором, зло лает овчарка. Крутая лестница, приставленная к дому, ведет вверх, на второй этаж.

До поздней ночи я просидела здесь в комнате, носящей следы недавней бедности ее хозяев. Сейчас, когда в небольшой семье Попковых все работают, — если взяться дружно, прорехи можно залатать быстро. Но согласия в семье нет, хотя Геня и стал отдавать матери деньги, как строго потребовали с него на комитете, пригрозив исключением из комсомола. Значит, действительно не в деньгах или, во всяком случае, не только в них дело.

Мать трет скомканным платком лицо и говорит одинаково негодуя о деньгах, и о том, что Геня никогда не принесет воды, дров на второй этаж, и о том, что часами вертится перед зеркалом, «оглаживается».

Ее слова гневно стынут, натываясь на безучастную позу Гени, на его молчание. Но лицо его, замкнутое, несчастное лицо, темнеет от раздражения.

У него оттопыренные, беспечно обмороженные в отрочестве красные уши и заботливо причесанные вихры. Геня сидит на кровати в майке, обнажающей грудь и крутые, сильные плечи. В кровать упирается маленький некрашенный стол, за которым Геня еще недавно усердно учился. Мастерил радиоприемник. А когда не хватило деталей, продал пальто, купил, что было нужно, и зиму проходил в плаще.

— Из него был бы человек, он по физике очень хорошо шел, — то скливо говорит мать.

А когда Геня вместе с сестрой летом работал в совхозе — он молча, по-мужски принес матери свой первый заработок, первую подмогу.

Над Гениной кроватью висит толково сделанная книжная полка.

— Хорошая полка, — говорю я.

— Сам мастерил. Руки-то ведь у него золотые, — загорается мать.

Только книги на полке, да стопка учебников на столе, да брошюрки по электронике, да недоделанный приемник — все это теперь мертво, оцепенело, ненужно.

Почему же отбился он от всего, чем жил, к чему собирался пристать?.

Отчетливо ответить на это Гене не удастся. Но из его слов можно все же кое-что понять.

Когда учился в девятом классе, стал задумываться о жизни, об обществе, о путях отдельной личности. Что-то томило, как это бывает с человеком в пятнадцать лет, хотелось многое понять, осилить. Открылся классному руководителю и натолкнулся на отдающий фальшью ригоризм. Заскучал, потерял интерес к школьной учебе. Заглянул в книги по философии — не по зубам. И вот тут появился друг — Петрунин с его «карманной» идеологией-справочником по всем вопросам бытия.

Смысл жизни — в наслаждении, отвечал этот справочник. Первейший интерес в жизни — успех у женского пола. Жить нужно, сообразуясь только со своими желаниями и своей выгодой. Не смешиваться с «ванятками», стандартными существами, не имеющими «собственного облика». Уметь примениться в любых обстоятельствах. Вырабатывать «стиль» — независимый, непринужденный; свободно держаться.

— Между друзьями образовывается привычка,— в нос произносятся слова, говорит Геня о своей дружбе с Петруниным.— Обстановка соответствовала. Я не перешел в десятый класс, и он также...

Геня схлопотал переэкзаменовку на осень; летом ему было не до учебы — «вырабатывал стиль», осенью завалился, бросил школу, на завод не попал, зато оказался в учениках у Петрунина, проболтался возле него целый год.

Петрунину с его бесцеремонностью, с его жадной «производить впечатление» нужен прихвостень, подражатель.

— На завод я его устроила, милиция мне в этом помогла, и работает он вроде неплохо, а и по сей день ничего не изменилось,— говорит мать.— Придет с работы, и все то же у них с Петруниным, все бродят, слоняются: танцы да кино, кино да танцы. Раньше он в отношении костюма там или пальто проще смотрел — серьезный был. А сейчас нет для него другого интереса — хуже барышни. И проводят они с Петруниным свое время все в ходьбе да в ходьбе. Потерял серьезную цель, и все стремления его заглохли, и жизнь его пустая. А ведь это его старит, сами взгляните на него.

Вернувшаяся с дежурства в больнице сестра Гени — белоголовая, белобровая, пухлая, с вытянутым в лодочку мягким ртом — вступает, волнуясь, в разговор и говорит толково, умно:

— Петрунин потянул Геню как что-то совсем новое для него. Ведь бывает, что человек тихий потянется к развязному, и ему хочется таким быть.

А вот как Геня говорит о своем друге и учителе жизни, о Петрунине:

— Он человек промежуточного значения. Очень пропорционально сложен. Любит пырять (то есть, как объясняет Геня, «несмотря на привязанность, проявлять противоположное»).

За его затрудненной, бессвязной речью чувствуется внутренняя пустота. В своем обиходе они с Петруниным довольствуются жаргонными словечками, жестом, насвистыванием или выстукиванием известных им ритмов, мимикой; этого достаточно, чтобы понять друг друга и придать мнимую, но импонирующую обоим значительность имеющимся в их обороте немногим понятиям, их обособленности.

Да, Петрунин вероломен, на него ни в чем нельзя положиться. Но:

— Я нахожу духовное удовлетворение с ним. Он стремится к красоте жизни.

У Петрунина волосы не прикрыты ни в дождь, ни в снег, и куртка-пальто при трех имеющихся пуговицах держится на одной. При его-то тщательности, аккуратности эта продуманная вольность, непринужденность тоже завораживают неловкого, неразбитного Геню. Он захвачен той «красотой жизни», какую, по мнению Петрунина, постигает человек, умеющий обольстить девушку с первого взгляда.

Подчинивший его себе друг освободил Геню от нравственного долга, от духовного поиска, от умственных занятий. Он обрек его на опустошение тем более быстрое, что Геня всего лишь подражатель.

Под обстрелом нашей печати находятся «стиляги». Они предстают в фельетонах чаще лишь в своем внешнем облике и проявлениях; это, как правило, бездельники и почти всегда дети обеспеченных родителей. По такой установившейся схеме Петрунина не сочтешь «стилягой». Он сын

уборщицы, работает на строительстве арматурщиком и не одевается так пестро, как это принято числить за «стилягами».

Но не слишком ли узка эта схема, построенная по чисто внешним, бросающимся в глаза признакам? Не окажется ли явление сложнее и шире, если мы попытаемся вникнуть в его идейное содержание?

Как бы там ни было, мать Гени Попкова инстинктом труженика чувствует потребительскую, зловеще эгоистическую суть образа мыслей и жизни Петрунина и тот опустошающий тупик, в который он тянет ее сына, и она бьется со своим губителем, бьется одна, безысходно, вьедливо, как умеет. Когда Петрунин приходит к ним, она принимается вытаскивать его из комнаты. На этой почве вспыхивают ссоры, о которых мать писала в своем письме в комитет.

Нет, это не просто семейная распря!

Уважение к труду, к знаниям, чувство своей общности с людьми, чувство товарищества — все то, что так неотъемлемо для его матери, отмечается Геней. Он не понимает матери. Но ведь и себя-то он не понимает. Однако ни среди домашних, ни наедине с собой, ни в обществе Петрунина Геня ни о чем не рассуждает, не спорит, ничего не доискивается. В качестве ученика Петрунина он уяснил: единственная ценность жизни — приятно развлекаться, доставлять себе наслаждение. И этого достаточно.

Мать никогда не примирится с такими понятиями и поведением сына, а Геня вооружен против нее себялюбивым презрением.

За его спиной, над кроватью, — школьная карта мира и на полке среди книг — неожиданно пара томиков Гегеля. Появившиеся здесь когда-то от искреннего порыва, они теперь лишь ублажают его высокомерие.

Рядом стоит белоголовая сестра с вспыхнувшим от волнения лицом. Она готова протянуть брату руку примирения, дружбы. Но Геня глух. Произошло что-то непоправимое, водораздел лег между ним и сестрой. Геня, такой, какой он есть сейчас, не может по-товарищески, доверчиво, не себялюбиво жить в коллективе и в маленькой его ячейке — семье.

Увел его Петрунин, увел в мир эгоизма, «красот жизни», в мир неизбежного оскудения, в пустоту ожесточения. И комсомол отдал Геню Петрунину без борьбы. Он вспомнил о Гене лишь тогда, когда понадобилось наказать его за то, что не давал матери денег.

— Но мне ведь не деньги нужны, — горько, со страстью говорит мать, — Мне сын нужен.

### «Куриль» запрещено»

Отсек термического цеха, где калильщик Геня Попков током высокой частоты закаляет резцы, находится под одной крышей со сборочным цехом. Отойдешь на несколько шагов от Гениного рабочего места и попадешь в столпотворение новеньких станков. Мелькает гаечный ключ монтажника, электрики оснащают проводкой станки, девушка-маляр в заляпанных нитрокраской брюках и белой косынке по брови, присев у чугунной станины, окунает в ведро кисть. А кое-где уже гудит испытываемый станок, и шлифовальный камень обрабатывает для начала его стол — так начинается жизнь станка, итог усилий всего завода.

Правее — молодежная бригада слесарей-сборщиков готовит узлы станков, поступающих на монтаж.

«Куриль» запрещено» — выписано черными буквами по красному полотнищу над этим участком узловой сборки. И все. Ни помпы, ни парадности. А я, когда первый раз шла в цех, думала — увижу плакат: «Здесь работает комсомольско-молодежная бригада, борющаяся за право на-

зваться бригадой коммунистического труда», или что-нибудь в этом роде.

Их четверо. Долговязый парень в куртке-спецовке, наподобие шахтерской, гладкие волосы прихвачены проволоочной скобой; редкая, белесая, юная щетинка на подбородке. Игорь Иванов. Самый молодой в бригаде, но он же ее основатель и бригадир. Рядом у верстаков — Нагайцев с упрямым, красивым лицом. Улыбчивый, яснозубый Владислав Белов. Коренастый Андриан Батов в черном берете.

Встретили незаинтересованно, замкнуто. Конец месяца — сдача станков, так что не до разговоров. Четыре парня сосредоточенно делали свое дело. Они собирали узлы плоскошлифовальных станков модели 372-Б. Поршень вставлялся в цилиндр, подшипники насаживались на вал, гидравлическое управление — сердце станка — обрабатывалось в кипящей эмульсии.

Лязгая, катил над нами кран-балка. Бурно искрила электросварка — шивали листы железа на подвесном мостке, и поток горящих звездочек устремлялся вниз, на цементный пол. Стоял грохот, скрежет, треск, и все это сливалось в несмыслкающий, могучий производственный гул.

Прежде чем прийти сюда, я побывала в редакции многотиражки «Станкостроитель». Я просила подсказать мне, о какой из молодежных бригад, вступивших в новое движение, стоит написать.

— Какую же бригаду посоветовать вам? — Старожил завода, ответственный секретарь многотиражки Ицков, задумался. — Токари, например, знаете, какое новшество ввели у себя? Станки на ходу сменщикам передают. Выигрыш — сорок минут рабочего времени! О них много бы рассказать можно, да вот надо срочно везти материал в типографию. — Разговор наш происходил под треск пишущей машинки — по ее клавишам сурово и нерешительно ударяла темноволосая девушка. — А все-таки какая же из бригад вызывает наибольший интерес? Электрики-монтажники Медведева? Прекрасная бригада. Но она еще только вступила в соревнование. Бригада слесарей-сборщиков Игоря Иванова? Хорошие ребята. Очень стараются. Два раза в кино ходили вместе. Но по части квалификации есть и посильнее их... Теперь вот еще бригада фрезеровщиков...

В этом месте девушка, бросив печатать, вмешалась в разговор.

— Бригада Игоря Иванова — это самая хорошая, это лучшая бригада на заводе. Самая лучшая!

— Чем же лучшая? — спросила я.

— Всем, всем, — с горячностью сказала девушка. — Как бы это вам объяснить... У них дружба... Понимаете — дружба!

Ицков не стал ей перечить, он торопливо засунул в портфель вычитанные с машинки страницы, одернул спортивную куртку и простился.

Убежденность девушки была так заразительна, что я оказалась тут, у чугунных верстаков этой бригады.

### Бригадир

Игорю Иванову двадцать лет. Из них четыре года он работает на заводе. Был учеником у слесарей Афанасьева и Калганова.

— Пришел совсем зеленый, щупленький, — вспоминают они. — Вон какой вымахал.

Кончилось ученичество, взяли его работать к себе в бригаду два других слесаря, но в прошлом году обоих перевели в конструкторское бюро.

На сборке слесари могут работать, не объединяясь в бригады, каждый сам за себя. Кое-кто так и работает. Но Игорь, оставшись один,

объединился с Беловым и Нагайцевым в бригаду. Вместе работать веселее, надежнее. Спустя время появился в бригаде четвертый человек — Андриан Батов. Он недавно демобилизовался и на заводе работал всего с полгода. Но ребята приметили его. Поначалу всех тонкостей, хитростей узловой сборки он не знал, а работать, видно было, может — трудолюбив и усерден. К тому же стрелок. А этот вид спорта особенно ценится в бригаде, полным составом отстаивающей на стрелковых состязаниях честь цеха и завода.

У Игоря походка размашистая, уверенная. За работой он углублен и серьезен. В нем чувствуется степенность рабочего, наделенного ответственностью.

Игорь окончил десятилетку при заводе, теперь готовится в вечерний станкостроительный институт.

Разговориться с ним нелегко.

— Дневное задание выполняем как обязались, — отвечает он на мои расспросы. — Работаем в один наряд. Что это значит? Сдаем узлы за всю бригаду вместе и общий заработок делим поровну, на четверых. Ну, что ж еще... Вообще, когда мы взяли это обязательство, интересней как-то стало жить, что-то новое... Ну и подтягивает, конечно...

Он помолчал, разглядывая свои большие кулаки.

— А мы вот с Нагайцевым джазовую музыку любим, — вдруг заговорил он с какой-то щетинистой прямоотой, задиристо. — А в бригаде у нас не обходится без ссор. Не ладим, бывает, ругаемся. Всяко бывает...

Я улыбнулась, поняв, как мужественно обороняется он от навязывания им надуманного «чистюльства», от выхолощенных представлений о нем и ребятах его бригады.

— Вот что. Вы бы лучше с Беловым поговорили. Со стариком нашим. Сколько лет? Да уж двадцать восемь исполнилось. Может, помогли бы нам раскатать его на учебу. Правда, поговорите, — горячо заговорил он. — Пропадет ведь. Кому он будет нужен, темный человек, через несколько лет тут, на заводе, при сплошной автоматизации. Я ему из дому книги носил, чтоб он читал, втягивался. И он читал охотно, особенно «Анну Каренину». А теперь вот Батов, сам любитель исторических романов и его увлек. Может, и пойдет дело, наладится на учебу...

### Солдатские дети

Игорь Иванов живет в Благовещенском переулке. В тот час, когда я пришла сюда, у входа в переулок копошились прямо на тротуаре малолитражные, тупоносые созданья, подметая черными щетками асфальт. И возле этой новой техники, нанявшейся в дворники, застревали прохожие.

Здесь, на углу, не так уж давно стояла церковь Благовещенья и гудели тяжелые колокола, и в переулке тесовые домики жались к каменным, с высокими крылечками. Один из деревянных домиков, принадлежавших некогда церковному причту, уцелел. Подъемный кран не выдернул его по той причине, что домик этот спрятался глубоко во дворе за многоэтажными спинами новых соседей. Путь к нему лежит мимо ребят, гоняющих шайбу, мимо детских колясок и прикрытого брезентом «москвича». Низкий домик глядит в три оконца, вверх под крышу, под сосульки тянутся ряды бечевки с застрявшими кое-где на них черными, истлевшими листочками вьюна.

Толкнув дверь и миновав узкие сени, я оказалась в небольшой, заставленной корытами и тазами кухне. У газовой плиты хозяйничал высокий пожилой мужчина в светлой рубашке, без пиджака — Иван Иванович Иванов, отец Игоря.

Мы познакомились. Я объяснила, что зашла заглянуть, как они живут.

— Ну что ж,— сказал он,— милости просим.

В комнате, кроме Игоря, находились младшие брат и сестра, близнецы-шестиклассники,— верткий, непоседливый Санька и строгая Наташа в больших очках в черной оправе. Втроем за покрытым клеенкой столом они отыскивали на исторической карте Европы IX века границы Болгарии.

— А живем как? Да можно сказать, один коллектив у нас. Я, по инвалидности, работаю сторожем, временем располагаю больше жены, так и хозяйство, считайте, почти все на мне. Деньги с полочки все складываем вместе и содержатся они у меня, и совместно решаем, кому что купить. Вот только, видите, тесно у нас. В войну сюда переселили как пострадавших от бомбежки. В этом году в новый дом переедем. А пока — утром встаешь и глядишь, как бы кому на язык не наступить. Старшему сыну, женатому, негде тут поместиться. А сами знаете, грубо выражаясь, как у тещи жить.

Иван Иванович сидел на стуле, положив ногу на ногу, в наглухо застегнутой светлой рубашке. Доброе, большое лицо, подстриженные в скобку волосы.

Иван Иванович до войны был строительным рабочим. С фронта вернулся инвалидом. Ранен был в бою за Ржев в сентябре сорок второго.

— Мы как раз на водокачку наступали...

Кто был под Ржевом в ту ненастную осень, навсегда запомнил эти страшные бои на окраинах города и водокачку, откуда по нас палили немцы...

У Ивана Ивановича на правой руке открытая рана все время дает себя знать.

— Бывает, есть совсем не хочешь, жуешь, как траву, безо всякого вкуса, но борешься сам с собой. Так и живем. А вот моя помощница!

Вошла вернувшаяся с эпидемстанции, где она работает лаборанткой, старшая дочь Галя, тоненькая, с миловидным, интеллигентным лицом. Игорь вскочил ей навстречу, и она о чем-то радостно шушукалась с ним. Игорь взял из рук сестры тяжелый сверток, и они вместе захлопотали, разворачивая его, а детвора сгорала от любопытства.

— Это уж точно что книги,— сказал Иван Иванович.

И верно, Гале посчастливилось купить Собрание сочинений Куприна.

— Книг у нас много,— сказал отец.— Вон что на этажерке, что в шифоньере, уж и класть некуда.

— Я лучше без платья останусь, только бы купить книги, какие люблю. Вот и Игорь к книгам равнодушен. Игорек, а Игорек, какая твоя настольная книга? — смеясь, спрашивала Галя.— Видите, молчит. Неразговорчивый молодой человек. А читает он много, больше любого из нас. Только без выбора. А прошлый год астрономией увлекался...

Игорь смущался и, улыбаясь, краснел и просил низким голосом:

— Ну уж ладно.— Степенность с него слетела, и дома он казался ребячливее, юнее.

— Как же — не унималась сестра.— Тебе папа из библиотеки свой «процент нагрузки» приносил — брошюрки...

— Мы иногда даже оговариваем ее,— сказал Иван Иванович.— Что это ты на книги тратишь, ведь на всегда хватает грошиков.

— Ну и что ж с того? — строго вступилась за Галю сестренка.

Санька толкнул ее предостерегающе в бок картой Европы IX века.

— Учи! — властно сказала она ему.

— А кто это в куклы играет? — спросила я. На этажерке прислоненная к книгам стояла спеленатая в одеялко большая кукла.

— Я, конечно,— решительно сказала Наташа и поправила за черную дужку большие очки.— Хотя это и считается мне не по возрасту.

Мне хотелось узнать об Игоре.

— Учился он без задержки, переходил из класса в класс,— рассказывал Иван Иванович.— Жалоб нам из школы не было никаких. А тут маленько закапризничал, не захотел десятилетку кончать, как и ребята во дворе. В молодости, знаете, бывает такой порыв. Но обещал нам работать и учиться. И выполнил.

Снова краснел до слез Игорь. А Наташа взяла с этажерки куклу и укачивала ее на руках, не стыдясь того, что это ей уже не по возрасту.

Я подумала о том, что в этой семье, где так развито нравственное чутье и все нечестное, несправедливое наверняка встретит дружный отпор, к различным вкусам, наклонностям и порывам относятся терпимо, без раздражения и насмешничества, без посягательства подавить, навязать свое.

Я спросила:

— А кто папин любимец?

— Я,— сказала старшая.

— Все любимцы. Кто навстречу попадет, тот и хорош.

— Ну скажи, что я.

— Ну ты, ты.

Мне хотелось побывать в семье у Игоря, чтобы понять что-то о нем, как он жил, формировался. И мне кажется, я поняла, почему он, выросший в этой семье, не мог работать «сам за себя», почему для него так органично участие в новом движении.

— А ведь обед у меня готов давно,— сказал отец.— Будем обедать или дождемся матери?

И вся его ребятня единодушно ответила:

— Подождем маму.

### Новые песни

Зажглись фонари, и каменные громады подступили теснее, и деревянный домик во дворе казался неправдоподобно маленьким. Ребята бросили гонять шайбу и стояли кучкой, переговариваясь.

Шустрые машины убрали тротуар уже возле Пушкинской площади, и еще больше любопытных толпилось вокруг этой новинки.

На Тверском бульваре горланили мальчишки, затеявая незнакомую мне игру в межпланетных пассажиров.

Здесь, на Тверском бульваре, прошло и мое детство... Бородатый человек приводил на цепи медведя. Китайские фокусники глотали косяные шары, продавали журчащие вокруг своей оси веселые цветные барабанчики и бумажные мячики на резинке. Здесь был первый книжный базар. Какой-то пионерский отряд проводил свои сборы и не подпускал близко. Бежавший из детдома паренек визгливо тянул: «Позабыт, позаброшен...» — и выпрашивал у прохожих деньги, чтобы укатить дальше, на юг. Подростки в пионерских галстуках собирали пожертвования для узников революции и людям, опустившим в щель банки монету, прикалывали красный флажок с буквами «МОПР». Цыганский табор, расположившийся на газоне, пел, голосил и кормил черноголовых малышей.

Здесь торговали мороженым всевозможных сортов, в мгновение ока вырезали из черной бумаги ваш силуэт-профиль, а за гривенник можно было взглянуть на звезды в подзорную трубу.

А когда где-то на стадионе проходил слет пионеров, здесь у нас, на Тверском бульваре, звучали фанфары, появлялись делегации: черномазые негрятя, немецкие мальчики в коротких штанишках, шотландские

гости в национальных костюмах. У памятников Тимирязеву и Пушкину они пели «Вставай, проклятем заклеянный...» — каждый на своем языке, незнакомыми словами, но на родной мотив.

Потом пионерские годы, костер в честь первого сталинградского трактора, сборы утильсырья для завода. Летом в поле всем отрядом мы обирали червей с колхозной капусты, и чем больше этих тварей перекочевывало в наши банки из-под консервов, тем крепче, казалось нам, становился колхозный строй.

В годовщину Октября на школьном вечере я была Каширой. Мне досталась по ордеру голубая майка — символ гидроэнергии. Мать сердилась — непрактичный цвет. В этой майке я выходила на сцену и кричала в переполненный зал: «Я — Кашира, первенец ГОЭЛРО, я работаю на подмосковном угле...» Потом, взявшись за руки с маленькой Шатурой, работающей на торфе, и долговязым старшекласником — мощным Днепростроем, мы говорили хором: «Электрификация плюс Советская власть есть коммунизм».

...Ребята моего детства ушли на фронт, когда им было столько же лет, сколько сейчас Игорю Иванову. Его сверстники становятся разведчиками коммунизма. А у новых мальчишек с Тверского бульвара — новые игры.

### Три кита

Когда с комсомольской путевкой в кармане отрываешься от привычной почвы и устремляешься вдаль, на новостройки, на целину, в веселый хаос созидания, в неизведанные просторы — это само по себе необыденно и проникнуто чувством новизны, ожиданием открытий, готовностью перелиться с головы до пят во что-то новое.

А как вот вдруг на том же рабочем месте, в своем цехе, под красным полотнищем с надписью «Курить запрещено» однажды решить, что ты человек, почти пригодный для коммунизма. Если к тому же у тебя в характере ни малейшей самоуверенности, а за плечами всего пять классов образования.

У Владислава Белова простодушное, голубоглазое, смешливое лицо. За работой он будто немного мешковат и в то же время азартен. Собирает он обычно гидравлику — сердце станка.

Он добр и раздражителен, теряется от несправедливости, от собственных вспышек. Его натуре бывает иногда вдруг в тягость ежедневная канитель без встрясок, праздничности. Но ненадолго. Его могли бы одолеть слабости, не будь бригадного содружества, которым он так дорожит, да стрелкового спорта. Дружба, узлы станка 372-Б, спортивная стрельба — на этих трех китах стоит его жизнь.

Куда деваются мешковатая непринужденность, когда в тире на огневой позиции он целится с колена в десятку. Здесь он, как монумент. Страсть, азарт, выдержка...

Но вот оказалось, что в бригаде, объединенной спортивной дружбой, капитан команды, лучший стрелок, должен подтянуться. До недавнего времени никому, в общем, не мешало, что Белов не учится. Парень-то уже взрослый, не комсомолец, — его дело.

В силу тех или иных причин, а скорее всего в силу нескладных семейных обстоятельств, Белов давно бросил учиться. А теперь тесняется: старше всех в бригаде, а так безнадежно отстал — Иванов и Батов готовятся в вечерний институт, Нагайцев учится в техникуме. Каково ему начинать сначала, да и под силу ли, да и неохота. Но три его товарища взялись за него и не отступятся. Они говорят: нам бы только довести его до седьмого класса, мы ему поможем, а там у него самого по-

явится желание учиться. Белов сдается, соглашается. Он с увлечением участвует в новом движении. Чем же оно так притягательно для него?

Его потребность в дружбе, его понимание товарищества нашли в этом движении общественное выражение. И он горячо отстаивает свое понимание от опошления. Он говорит:

— Я слышал, одна замуж вышла, ребенка ждет, так девушки ее из бригады турнули, хотят, чтобы в бригаде коммунистического труда все одинаковы были: мы замуж не идем, и ты не иди. Может, кто дружбу и так понимает. А я так понимаю, что не в том дело, если я, к примеру, хочу в парк на танцы пойти, а другой кто — в театр. Пусть себе идет. А вот если товарищ в беде, в затруднении, если ему, к примеру, материально трудно, надо ему помочь, одолжить ему или выбить ему талон на обед, чтоб он не заметил. Я так понимаю.

### На совесть

Мы сидели со слесарем Нагайцевым за длинным столом, на уютных скамейках в красном уголке, расположенном на антресолях цеха. В стороне от нас, у стены, под приколотой картой мира, испятнанной промасленными спинами, за таким же длинным столом сменившиеся рабочие забивали «козла». Отсюда, сверху, был виден цех и массивный зубошлифовальный станок в дальнем пролете.

Разговаривали о том, как будут люди работать при коммунизме.

Нагайцев сказал:

— Иной показывает себя у станка, так он, как ни говорите, сейчас за деньги работает. А придет коммунизм, может он станет с прохладцей работать. Или пусть даже неплохо будет работать, а мог бы лучше. А ты отдай обществу все, что можешь,— вот это и будет сознательностью.

В своей молодежной бригаде они не контролируют друг друга, не понукают — все на полном доверии. И каждый работает с полной отдачей, на совесть.

— Другой раз, может быть, и поленился бы немного, но не можешь, стыдно перед товарищами — получать-то деньги вместе. Каждый из нас кровно заинтересован, чтоб товарищ не хуже тебя умел работать, и стремится передать навыки, если он в чем больше преуспел.

### «Вопрос любви»

У Нагайцева кепка сдвинута на затылок, и маленький козырек ее стоит над высоким лбом, над темными волосами. Верхняя губа слегка заштрихована черным пушком. Походка у него легкая, стремительная, выработанная в борьбе с тяжелым недугом — в детстве нога долго была в гипсе. Вообще из детства вынес тяжелые воспоминания: пьяный отец, брань, нужда.

До седьмого класса учился хорошо, а потом как-то выломился, гонял с ребятами по улицам, бросил школу. Вернуть бы те годы, теперь нелегко наверстывать. Трудно, работая, учиться в вечернем техникуме, расходуя на дорогу два с половиной часа в день. Нагайцев живет под Москвой, на станции Катуары.

К тому же он член цехового бюро комсомола, привержен, как все ребята в бригаде, к стрелковому спорту, занимается в вокальном кружке. У Нагайцева хороший голос, он пел на заводских вечерах, уезжал в культпоходы в деревню. Ему знакомы успех, аплодисменты. «А вот любовь настоящая обошла. Да и есть ли она на самом деле?»

Из разных городов шлют бригаде письма. «Как вы смотрите на вопрос дружбы, любви?» — спрашивают девушки-продавщицы из Иркутска.

Эти письма приносит в цех темноволосая машинистка из редакции многотиражки. Она подолгу задумчиво наблюдает за работой сборщиков и, молча кивнув, уходит, унося какие-то волнующие ее чувства и раздумья.

Дружбу в бригаде чтут, дорожат ею. Ребята стали бывать друг у друга дома, проводить вместе выходные дни, обмениваться книгами. Почувствовали себя ближе друг к другу.

А по «вопросу любви» в бригаде преобладает скептическое суждение насчет женской верности. Есть ли они где, верные, бескорыстные девушки, и поди не ошибись в них.

Но есть в бригаде четвертый человек — Андриан Батов, не разделяющий подобного суждения. Это к нему в Солнечногорск, под Москву, взглянуть, как живет он у тещи, познакомиться с женой его Галей и новорожденной дочкой поехали в воскресенье всей бригадой.

Сидели в маленьком домике, отмечали появление дочки на свет, нагибаясь, старательно рассматривали ее красное личико, пели песни и невольно следили все время за тем, как движется по комнате, как говорит, что делает тоненькая женщина — батовская любовь. И единодушно решили: хорошая. Тронуло в ней ребят что-то такое, чего не было еще в их жизни, но что смутно волнует, чего ждут, прикрываясь бравадой.

Так, значит, есть все-таки на свете любовь?..

На заводском карнавале четыре «черкеса» в масках сопровождали свою гостью — Галю Батову.

### Узлы и доверие (со слов Андриана Батова)

— Мы друг друга немного узнали, когда я поначалу еще на монтаже станков работал. Свела нас спортивная стрельба. Вместе тренировались. Я ведь тоже страстный стрелок. Недавно вот первый разряд получил. Когда ребята позвали меня работать с ними, они предупредили: «Мы не считаемся между собой, работаем вместе и делим все заработанное поровну — подходит ли?»

Тут уместнее было бы спросить, подходит ли им со мной делиться, ведь они слесари с опытом, а я всего с полгода в цеху. Вижу — не корыстные ребята. Мне их предложение понравилось. Они мне оказали доверие. А ведь я их мог подвести, окажись во мне немного больше лени. Лично на меня их доверие подействовало так, что я крепко взялся за работу. А какой тон задашь сначала, так и пойдет дело. Тут и ребята мне, конечно, помогли в работе.

Сборка узлов — основной участок в рождении станка. Тут все грехи выявляются и, что возможно, исправляется. Наш станок модели 372-Б выпускается чуть ли не двадцать пять лет. Не одно поколение слесарей думало, какую еще операцию можно механизировать. Уж, кажется, все выжато. Стали и мы думать, чем еще можно поспособствовать увеличению выработки. И натолкнулись. Помогло нам то, что у нас не отдельный заработок. Нет нужды каждому весь узел собирать. Приладишься и сосредоточенно делаешь одну операцию, скажем, на двадцати узлах. Нечто вроде конвейера получается. И результаты хорошие. За восемьсот часов в месяц выполняем мы работу, рассчитанную на тысячу двести часов. Ну, и на зарплатке это сказывается.

Вчера, например, все шпонки, сальники, прокладочки приготовили. А сегодня я за полтора часа восемнадцать узлов подачи собрал. Неплохо, правда? Подачу и гидравлику — эти узлы мы с Беловым стараемся

взять на себя. Тут корпуса до сорока килограммов весом, а мы с Владиславом физически крепче других.

Дали мы обязательство освоить дополнительно монтаж станков. И выполняем. Тут на первых порах пригодился бригаде мой четырехмесячный опыт монтажника...

### О том, чего не было на слете

Состоялся первый районный слет бригад, борющихся за коммунистическое звание.

Бригады вкратце рапортовали о работе. Заверяли, что будут жить и работать по-коммунистически. Говорили о том, кто где учится и сколько раз сходили вместе в кино. И от знакомой мне бригады на трибуну вышел с тем же обязательством Нагайцев, заверил, говоря коротко и напевно, что с честью завоюют высокое звание.

Потом старый генерал с энтузиазмом рассказывал о первом субботнике. Доцент станкостроительного института призвал молодежь к учебе.

Вручали бригадам выпелы. Ремесленники, с горном впереди, промаршировали на сцену, хором в стихах приветствовали участников слета и водрузили на стол президиума свой подарок — действующую модель автомобиля. Им горячо хлопали.

В перерыве в фойе играл оркестр, кружились парни с девушками, «шерочка с машерочкой» и ремесленники с ремесленницами, зажавшими за щекой леденец. Во втором отделении Государственный струнный оркестр имени Осипова выступил с творческим отчетом перед рабочей молодежью.

Было празднично: выпелы, приветствия, музыка.

Но не было, как мне кажется, самого существенного на слете. Никто не проанализировал вдумчиво и разносторонне опыт вступивших в новое движение бригад целого района. Никто не принес на слет свои раздумья, поиски. Не раздался ни один вопрос. Все это даже не было предусмотрено устроителями. С трибуны слета все бригады района представляли благополучно, парадно и... все на одно лицо.

А разве нет необходимости порассуждать, поспорить? Разве все всем понятно? «Жить по-коммунистически...» Что это значит? Не пить, не сквернословить, повышать свой общеобразовательный уровень? Это все так. Но ведь можно, исполняя все это и даже посещая не индивидуально, а вместе со всей бригадой кино, быть, к примеру, человеком себялюбивым, корыстным, не способным поделиться с товарищем. Значит, дело не только в этом. А в чем же еще? Наверное, все же в нравственном, духовном облике человека. Вот в борьбу за него и вступает новое движение.

Люди ищут новые формы взаимоотношений, «примеривают» себя к коммунизму. Это широкое, творческое движение. Оно не терпит, чтоб к нему подбирались с шаблоном, с формальными установлениями. Соревнующиеся бригады сами вносят в него новые черты, каждая по-своему.

Слесари-сборщики Игоря Иванова, например, работают в один наряд. В такой бригаде человек индивидуалистического, корыстного склада или перевоспитается, или не приживется — просто применится в молодой рабочей среде невозможно, здесь все на виду, в маске не проходишь.

Дух коллективизма сплачивает бригаду слесарей-сборщиков, дух товарищеской ответственности, бескорыстного, чистосердечного отношения друг к другу. Болел в прошлом месяце Нагайцев, а ему выписано в получку так же, как всем остальным. Вернется из отпуска Владислав Белов — не придется ему тянуть до следующей получки, за него поработали товарищи — получит деньги вместе с ними.

Может быть, при таком расчете кто-либо и теряет сколько-то рублей. «Мы не считаемся», — говорят ребята, как о чем-то само собой разумеющемся. Видно, нечто более ценное приобретают они. А ведь у этих молодых рабочих, имеющих иждивенцев, каждый рубль на учете.

Было бы неверным механически перенимать этот опыт бригады. По характеру, условиям работы, по внутренней потребности членов бригады для них оказалось возможным то, что невозможно или ненужно для других бригад.

Каждое новое поколение не хочет довольствоваться одними готовыми образцами — как бы хороши они ни были, стремится привнести в жизнь что-то свое, новое.

Молодость — это не только завидная пора цветения, это пора исканий, иногда трудных, мучительных, но окрыляющих, раздвигающих горизонты, а иногда даже уводящих в тупик, как это случилось с Геней Попковым, с тем парнем, о котором рассказано в начале этого репортажа.

Геня Попков работает под одной крышей с бригадой Игоря Иванова. Можно было бы счесть за выдумку, но это именно так: на одном конце помещения трудятся слесари-сборщики, в противоположном его конце, там, где кончается пролет монтажа, в отсеке термического цеха — Геня Попков.

Два раза в день, утром, идя на работу, и возвращаясь через шесть несовершеннолетних своих рабочих часов, он проходит мимо верстаков Нагайцева и Иванова, Белова и Батова.

Когда я рассказываю ему об этих ребятах, глаза у Гени на мгновение недоверчиво и любопытно вспыхивают. И тут же гаснут. Он сторонится таких неожиданностей, нарушающих его стройное представление о взаимном безразличии человека к человеку.

В заводском «Крокодиле», что висит во дворе у проходной, появились стихи, оповещающие всех, что Попков — хулиган, «сопляк», «философствующий хлыщ» и «просто гнойный прыщ».

Разве этот окрик может помочь заблудившемуся Гене Попкову, скорее он способен ожесточить его, обречь на одиночество в цехе и тем самым еще больше обездолить.

Рассказала я о Гене ребятам. И Слава Белов со всей своей душевной непосредственностью, с верой в могучую силу их рабочей дружбы рванулся:

— Давайте возьмем его к себе, ребята. Пропадет ведь.

Но как взять, когда Геня не слесарь?

— Может, подойти к нему через спорт, — предложил Нагайцев.

— Тут обдумать надо, — сказал рассудительный Игорь. — К нему ведь не враз подкатиться. Тут поработать не один день придется. Только мы его так не оставим.

Если в самом деле ребята найдут пути к сближению с Геней, перед ним откроется увлекательный мир дружбы, стремлений, труда, и Геня высвободится от мертвящей души власти Петрунина.

Это будет большая победа бригады сборщиков.

В новом движении открылась для молодежи новая сфера поисков, приложения сил и интересов. Тем плодотворнее будет движение коммунистических бригад, чем ярче, самодеятельнее выявят себя в нем его участники. Оно станет тогда притягательным для всей молодежи, и поблекнут петрунины с их дешевой и ядовитой мишурой.



---

---

# ЖУБИЦИСТИКА

Архитектор Б. СВЕТЛИЧНЫЙ

★

## ГОРОДА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

**П**ерспективы прогресса страны, намеченные XXI партийным съездом, столь велики, а цифры хозяйственного роста за семилетие так необъятны, что их почти не в силах вместить представление человека.

Примерно 100 миллиардов рублей направляется государством на развитие черной металлургии, 100—105 миллиардов — на химическую промышленность, 170—173 — на нефтяную и газовую, 75—78 — на угольную, 80—85 — на легкую и пищевую, около 150 — на развитие сельского хозяйства. И уже совсем поразительна, даже на этом небывалом фоне, цифра по жилищному строительству и коммунальному хозяйству — 375—380 миллиардов рублей! Это больше, чем вкладывается в черную металлургию, химическую индустрию и сельское хозяйство, вместе взятые. Таких огромных масштабов строительства жилья никогда еще не знала ни одна страна в мире.

За семь лет жилищный фонд только в городах и поселках Советского Союза должен увеличиться на 650—660 миллионов квадратных метров. Это больше, чем весь городской жилищный фонд, созданный за годы Советской власти. В семилетке отдельные квартиры получают около пятнадцати миллионов семей, или примерно шестьдесят миллионов человек.

Жилого фонда, который предстоит возвести за 1959—1965 годы, хватило бы на шестьсот вновь сооруженных городов с населением по сто тысяч человек в каждом. Но ведь жилые дома будут строиться не только в новых городах. Подавляющая часть их расположится в уже сложившихся населенных пунктах, для чего потребуются не менее шести—восми тысяч квадратных километров территории. Площадь многих крупных городов при этом увеличилась бы в полтора-два раза. А ведь многие из них и без того чрезмерно велики.

Как же быть? Где наиболее целесообразно разместить эту новую жилую площадь? По каким путям должно пойти наше градостроительное творчество? Какие изменения произойдут в условиях жизни городского населения?

Попытаемся рассмотреть некоторые аспекты этой темы.

### ГОРОДА-ГИГАНТЫ

Одной из острых проблем современного градостроительства является неукротимый рост крупных городов. К этой проблеме вот уже много лет приковано внимание прогрессивных архитекторов всего мира, о ней говорят социологи, экономисты, философы и гигиенисты; вопрос обсуждается не только в печати, но и на международных конференциях и конгрессах.

Что же так тревожит архитекторов и градостроителей, а вместе с ними и миллионы горожан?

За последнее столетие и особенно в последние полвека повсюду наблюдается стремительное разрастание больших городов. Население целых районов трогается с мест и, подчиняясь велению неписаных законов, стягивается в гигантские фокусы. На всей земле уже сейчас насчитывается около семидесяти городов с населением от одного до

десяти миллионов жителей. Таков, например, супергород в Соединенных Штатах Америки, растянувшийся почти на 250 километров от Бостона до Филадельфии, центром которого является Нью-Йорк с его тринадцатью миллионами жителей. Население Большого Лондона насчитывает одиннадцать миллионов жителей и, по мнению некоторых английских специалистов, грозит в ближайшие десятилетия достигнуть двадцати миллионов человек; это значит, что здесь будет сосредоточена одна треть населения всей страны. В Шанхае проживает шесть миллионов, в Токио — семь, в Париже — свыше пяти миллионов человек.

Бурный рост крупных городов происходит и в нашей стране. Город в сто тысяч жителей всегда считался как бы рубежом, переступив который населенный пункт прощался с провинциальной ограниченностью и вступал на широкий путь индустриализации и урбанизма. Таких городов в 1926 году у нас было немногим больше тридцати, а теперь их число превышает полтораста.

До недавнего времени только Москва и Ленинград имели свыше миллиона жителей, а сейчас уже Киев и Горький, Баку и Ташкент, Харьков и Новосибирск стремятся превратиться в города-гиганты. За ними поспешают десятки других, население которых уже перевалило за полумиллион жителей. Здесь Ростов и Саратов, Тбилиси и Минск, Куйбышев и Свердловск, Рига, Сталино, Одесса, Днепрпетровск и многие другие.

Чем же плохи большие города? Разве мы сами не стараемся развивать и совершенствовать их, разве не гордимся их ростом?

Жизнь города, его путь от младенчества к зрелости — это сложный и противоречивый процесс. Желание жителей малого города сделать его больше, насытить всеми благами вполне понятно. Подрастающим гражданам такого городка часто негде применить свои силы, и они вынуждены уходить из него; здесь нет возможности поступить в институт или техникум, так как далеко не каждый город может иметь свой вуз, нет здесь и консерватории, где бы можно было стать музыкантом; нерентабельно содержать и цирк, и концертный зал, и постоянные выставки. Кому нужно доказывать, что жизнь в больших городах полнее, ярче, веселее, они больше способствуют всестороннему развитию нашего человека! Потому и стремится каждый городок поскорее раздаться в плечах, возмужать, сделаться богаче.

Для того чтобы встряхнуть малый город, преодолеть инерцию его покоя, вдохнуть в него жизнь и открыть ему широкую дорогу, нужны особые обстоятельства. Но уж если он «тронулся в рост», процесс этот, как правило, нарастает стремительно и бурно. В нашей стране первичным толчком для развития города обычно является создание в нем новых производств. На возникших заводах и стройках нужны люди, они стекаются сюда из окружающих районов, появляются обслуживающие учреждения, сеть их расширяется, требует новых работников, они переселяются из других мест, обзаводятся семьями.

Город — это магнит. И чем он крупнее, тем больше его притягательная мощь. Как снежный ком, он увеличивается в объеме, обрастает все новыми и новыми предприятиями. Почти всякий раз, когда встает вопрос, где строить новый завод — в неосвоенном районе, в малом городке или в крупном городе, — перевес неизменно остается на стороне последнего. И это понятно: сюда не нужно прокладывать шоссе и железные дороги, здесь есть все, что нужно для начала строительства, — и водопровод, и энергия, и строительные базы, и готовые кадры квалифицированных рабочих. Ясно, что в крупном городе построить завод можно и быстрее и легче.

Однако постоянное следование этой логике «сегодняшнего дня» привело бы в конце концов к стягиванию промышленности и населения в несколько гипертрофированных центров, к образованию ультрагородов в одних местах и к истощению градообразующих сил в других.

Бурный рост города идет ему на пользу лишь до определенного предела. Настает момент, когда он начинает ощущать свое бремя, тяготиться им. Город уже сам не рад своему росту, он готов завопить: «Хватит, довольно!» Но неуправляемые силы внутренней потенции гонят его вперед и вперед. Количество переходит в качество. Прежние достоинства и преимущества превращаются в свою противоположность.

Город-великан становится обузой для его жителей. Фабрики и заводы, иногда сплошным кольцом окружающие город, сбрасывают на него тысячи тонн золы и пыли. По подсчетам английских специалистов, количество твердых частиц, выпадающих за год из дымов и пыли, в некоторых промышленных центрах достигает почти пятисот тонн на квадратную милю. И все это попадает в организм человека, отравляя его, сокращая жизнь.

Не меньше вреда приносит и невидимая толща паров и газов, извергаемых заводскими трубами и сотнями тысяч автомашин. Эти зловередные потоки заливают улицы, ползут по кварталам, проникают в окна жилых домов. Особенно достается находящимся на улице детям, так как на уровне их роста концентрация газов наиболее велика. Здесь и углекислый газ, и сернистый, и окись углерода; все они, будучи тяжелее воздуха, занимают самые нижние слои городской «тропосферы», выжимая из нее живительный кислород.

В процессе неумеренного роста шероховатее и сам город. Ему становится тесно в прежних границах; жилищная застройка перешагивает через заводы и фабрики, вклинивается между складами и станциями железных дорог, разрезается путепроводами, линиями высоковольтных электропередач. Образуется непривлекательный, нездоровый и хаотичный конгломерат, который, к сожалению, мы можем наблюдать в ряде наших городов.

Но и этим далеко не исчерпываются недостатки непомерно разросшегося города. Становится все труднее обеспечить его транспортом, водой, канализацией, электроэнергией, отоплением. Нетрудно себе представить, в какую сложную проблему превращается необходимость ежедневно накормить и напоить миллионы жителей.

Как же оградить себя от неудобства жизни в крупных городах?

В двадцатых—тридцатых годах нашего столетия в Европе и Америке можно было наблюдать весьма примечательную картину. Спасаясь от скученности, тесноты и антисанитарии большого города, сотни тысяч жителей Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка хлынули в пригороды, ища лучших условий жизни и более дешевых квартир.

Тяжелые условия городской жизни, широкая реклама и организованное предпринимательство привели к тому, что предместья крупнейших европейских и американских городов оказались переполненными людьми, жаждущими избавления от тисков большого города. Однако их надежды не оправдались. Напротив, возникли новые сложные проблемы и новые трудности. Едва ли можно позавидовать судьбе жителей пригородов, этих вечных скитальцев, каждый из которых вынужден, подобно маятнику, «болтаться» между двумя полюсами своей жизни — местом, где он живет, но не может работать, и местом, где он работает, но не может жить. В темноте встает он с постели и с темнотой возвращается домой; недаром эти огромные пригородные поселения получили в мировой литературе хлесткое название городов-спален. По подсчетам западноевропейских специалистов, непроизводительные расходы времени у жителей пригородов составляют в среднем не менее двух-трех часов в день, а расход средств — около пяти процентов всей заработной платы.

Так складывается своеобразный «перпетуум-мобиле» — машина вечного и бесполезного движения людских масс в город и обратно, движения, не приносящего человеку ничего, кроме неудобств и лишений. Не приходится говорить уже о том, насколько расточительна эта система, заставляющая ежегодно попусту растрачивать на переезды десятки миллионов человеко-дней, строить и содержать огромную и совершенно излишнюю транспортную сеть с целой армией работников.

Противоречия городов в буржуазных странах порождены прежде всего пороками самой капиталистической системы — частной собственностью, стихийностью, конкуренцией, безработицей. Массовое переселение жителей сельских местностей в города связано там с постоянным разорением мелких земледельцев, которые, превращаясь в горожан, пополняют ряды безработных. Этот процесс породил, особенно в слабо развитых странах, очень острую социальную проблему «приспособления мигрантов к городским условиям». Не имея квалификации для работы в промышленности, подавляющая часть «мигрантов» попадает в самое бедственное положение. Они не имеют жилья, никто не заботится об их медицинском и бытовом обслуживании. Их заработок, если они даже находят его, так ничтожен, что нельзя выкроить плату за квартиру.

Вот и возникают на окраинах городов «дикие поселки» из домов, сколоченных из ржавых железных листов и всякого хлама.

В наших условиях процесс миграции в города имеет совершенно иной социальный смысл. Как известно, это вызывается потребностью в рабочей силе благодаря быстрому развитию промышленности и уменьшением этой потребности в деревне в связи с ростом механизации и повышением производительности труда в сельском хозяйстве. Проблемы же бедственного положения «мигрантов» у нас не существует вообще. В смете расходов на строительство любого предприятия непременно закладываются средства для строительства жилья и культурно-бытовых учреждений для будущих рабочих. Да и само привлечение и обучение рабочих происходит в плановом порядке, исключаям всяческую стихийность.

И все-таки нельзя отрицать, что некоторые закономерности развития городов имеют сходные черты повсюду. Ведь промышленность везде возникает и развивается главным образом в городах, а это — один из исходных вопросов. Разумеется, в наших условиях трудности, свойственные городам капиталистических стран, значительно смягчены разумной системой планового хозяйства. Но все же ряд проблем требует своего решения. Многие недостатки крупных городов и прежде всего несоблюдение принципов целесообразного их расселения существуют уже давно, они перешли к нам в наследство с дореволюционной поры и довольно чувствительно дают о себе знать.

Разве не тех же невольных кочевников можно видеть ежедневно в десятках поездов, мчащихся в Москву из далеких пригородов, вплоть до Раменского, Щелкова и Звенигорода, а по вечерам уносящих их обратно? Разве не пожалел бы каждый из них отказаться от этих вынужденных путешествий? Разве по Северной или Казанской железной дороге не тянется чуть не на полсотни километров сплошная застройка московских пригородов? И разве, наконец, сама Москва и десятки других больших городов не нуждаются в разуплотнении и общем оздоровлении?

### КАК ЖЕ БЫТЬ?

Радикальное средство не допустить чрезмерного роста городов — это правильное размещение промышленности в стране, строительство новых предприятий прежде всего в малых и средних городах. Еще XVIII партийный съезд отметил недопустимость чрезмерного нагромождения заводов и фабрик в крупных городах, подчеркнув, что нужно более равномерно размещать производительные силы в стране. Позднее партия и правительство указывали на это неоднократно.

Однако как же быть с теми городами, которые уже переступили порог нормального развития и продолжают расти дальше? Поддается ли лечению эта необычная болезнь или процесс необратим, и человеку остается лишь бессильно отступить перед колоссом, который он создал своими же руками?

Пути решения этой проблемы, на наш взгляд, ясны.

Весьма перспективной идеей является создание небольших городов-спутников, куда переместится ряд предприятий из города-метрополии.

Оговоримся сразу: обязательное условие состоит в том, что все трудоспособные жители города-спутника должны работать на месте. Только тогда может быть действительно решена задача разуплотнения крупных городов. Только в результате этого отпадет пресловутая проблема приливов и отливов, и тысячи горожан сбросят с себя тяжелое бремя «вечного маятника».

Идея, о которой идет речь, не так уж нова. Однако полностью она еще не реализована ни в одной стране мира.

Лидером в деле создания городов-спутников принято считать Англию. В 1946 году английский парламент принял закон о строительстве пятнадцати новых городов, восемь из которых должны были расположиться в пятидесятикилометровой зоне вокруг Лондона. Ныне несколько подобных поселений строится и в других районах страны — в окрестностях Кардиффа, Глазго, Эдинбурга. Ту же цель преследует сооружение многих новых городов различного типа, например, в США, Франции, Швеции.

Было бы неправильным думать, что в Советском Союзе строительство городов-спутников является новостью, лишь недавно занесенной к нам западным ветром. Уже существуют и успешно функционируют такие города, как Сталиногорск, Жуковский, Дубна, Видное — под Москвой, Сумгаит около Баку, Рустави возле Тбилиси и другие, по своему существу мало чем отличающиеся от городов-спутников. Население каждого из этих городов, не достигающее, как правило, ста тысяч человек, работает тут же, неподалеку от своего местожительства.

Однако сама по себе проблема социалистических городов-спутников имеет еще много неопределенных частей, в том числе немало существенных и принципиальных. Сюда относятся: количество населения, переселяемого из больших городов в города-спутники, характер размещаемой в них промышленности, расстояние спутника до метрополии, организация скоростных транспортных связей и так далее. Над решением всех этих вопросов предстоит еще много и упорно работать.

### ПРООБРАЗ БУДУЩЕГО

Какими же представляем мы себе наши города-спутники? В чем их особенности и преимущества?

Прежде всего эти города должны быть свободны от пороков современных перенаселенных центров и основаны на новых, разумных принципах организации жизни; они должны стать прообразами светлых, культурных и веселых городов нашего завтрашнего дня.

Города-спутники — это не мода, а настоятельная потребность современности. Однако если крупный город построит себе лишь один-два небольших «филиала» — это не сделает никакой погоды. Если мы хотим по-серьезному разуплотнить наши города, строительство спутников должно стать широкой и постоянной градостроительной политикой, рассчитанной на длительный ряд лет. Нужны смелые решения, способные вызвать к жизни новую, прогрессивную систему расселения с целым созвездием городов-спутников, отпочковавшихся от центрального ядра.

Принято считать, что оптимальный объем спутника это пятьдесят — восемьдесят тысяч жителей. При этом условии здесь можно разместить несколько средних по величине предприятий или один крупный завод на пятнадцать — двадцать тысяч работающих. В таком городе можно иметь дома культуры, клубы, кинотеатры, небольшие стадионы, свои техникумы и музыкальные школы.

Чтобы обеспечить населению города-спутника удобную связь с центром и имеющимися там культурными учреждениями, нельзя располагать его слишком далеко. При современных видах пригородного транспорта орбиту с радиусом до пятидесяти километров можно считать вполне нормальной. Вероятно, что дальнейшее улучшение транспортных средств и повышение скорости сообщения позволят увеличить радиус этой орбиты до ста и более километров. Видную роль в этом отношении может сыграть массовый вертолетный транспорт. Кстати, в английском городе-спутнике Харлоу, например, уже имеется первая опытная станция вертолетов.

Население спутника не должно быть большим еще и для того, чтобы небольшой была его территория. Так, город с населением в пятьдесят — шестьдесят тысяч жителей будет иметь в поперечнике не более двух с половиной километров, а это значит, что из любой его точки не дальше чем за двадцать минут можно будет по зеленой аллее, не торопясь, дойти до завода, расположенного на границе города, и также, отдыхая, вернуться домой. Такой же доступной станет и окрестная природа. Понятно, что места для городов-спутников должны выбираться самые здоровые, самые живописные — среди лесов, на берегах рек и водохранилищ.

Для правильного размещения городов-спутников требуется тщательное изучение всех городских окрестностей, нужно досконально знать их жизнь, характер, состояние, возможности. Город и его пригородная зона должны проектироваться вместе, как единое целое. Город не может жить без пригородной зоны, он неотделим от нее, связан с нею тысячами неразрывных нитей; он дышит ее воздухом, питается плодами ее земли, пользуется продукцией ее промышленности; на пространствах пригородной зоны размещаются санатории и дома отдыха, дачи и пионерские лагеря, спортивные

базы и лесопарки, водозаборы и поля орошения. Короче говоря — это гигантская плацента, питающая город кровью и воспринимающая продукты его жизнедеятельности.

Застройка спутников может производиться четырех- и двухэтажными домами с приквартирными участками; на каждую квартиру отводится сад. В этих городах должны быть не только удобные дома, но и вся их архитектурно-планировочная структура должна основываться на самых современных, прогрессивных принципах. В старых городах первичной структурной ячейкой был небольшой жилой квартал, пришедший к нам из глубокой древности. Такие кварталы были известны и в потонувшей на дне веков Вавилонии и в Египте эпохи создания великих пирамид. Более поздний квартал капиталистических городов представлял собой сумму домовладений, обращенных лицевой стороной на улицу и подсобными постройками — внутрь. Там, внутри квартала, сосредоточивалась антисанитария и создавалась непроходимая теснота.

Ткань нового города будет состоять из более крупных элементов, которые советские архитекторы называли микрорайонами. Микрорайоны намного больше кварталов, их размеры могут достигать половины квадратного километра. На такой территории можно просторно разместить и дома, и школы, и детские сады, и столовые, и небольшие магазины, и бытовые мастерские — словом все, что нужно человеку для повседневной жизни. Здесь хватит места и для игровых площадок, и для спорта, и даже для большого сада, в котором можно погулять и отдохнуть, не выходя за пределы своего квартала. Тенистый парк под окном квартиры — разве это не мечта каждого из нас!

Здесь не будет опасного транспортного движения — оно пройдет по границам микрорайонов, не заходя внутрь. Для этого создается сеть просторных транспортных магистралей. Бесчисленное количество никому не нужных улиц и переулков станет излишним. Вместе с ними исчезнет главный источник духоты и пыли, а расходы на строительство уличной сети сильно сократятся.

Не увидим мы в новом городе и шпалерной обстройки улиц в виде длинных тесных коридоров. Новые приемы планировки позволят разместить дома свободно и живописно, для того чтобы каждый из них получил максимум свежего воздуха и солнечного света.

Есть все возможности к тому, чтобы в наших новых городах люди тратили минимум времени на свое индивидуальное домашнее хозяйство, процесс, как известно, очень трудоемкий и малоблагодарный. В этой связи возникает вопрос: уместен ли в нашем обществе вообще тот культ домашней кухни, который неустанно развивается в капиталистических странах? Там преклонение перед идеальной кухней есть крайне выраженный буржуазный индивидуализм, мелкособственническое мещанство, стремление превратить женщину в придаток замкнутого домашнего очага.

Не следует ли архитекторам спросить у наших женщин, подавляющая часть которых хочет наравне с мужьями принимать всестороннее участие в производственной и общественной жизни, что им больше по душе: пусть даже ультрасовременная, комбайноподобная кухня, или хорошая, уютная, дешевая столовая и прачечная во дворе их дома, которые помогут им освободиться наконец и от картошки, и от авоськи, и от плиты, и от корыта?

### «ЛИХА БЕДА — НАЧАЛО»

Эта поговорка как нельзя лучше характеризует нынешнее положение с городами-спутниками.

Много трудных, непривычных дел предстоит совершить создателям городов новой формации.

Весьма сложным вопросом представляется перемещение на новые места промышленных предприятий. Ведь иногда переселить завод из одного города в другой обходится дороже, чем построить его заново: строения переносить нет никакого смысла, а старое оборудование при демонтаже часто выходит из строя, к тому же не всегда целесообразно в новых корпусах устанавливать устаревшую технику.

Надо полагать, что эффективным окажется следующий путь, по которому может идти строительство городов-спутников.

Контрольными цифрами на предстоящее семилетие предусмотрен рост производительности труда в промышленности в расчете на одного работающего на сорок пять — пятьдесят процентов. Это значит, что существующие в крупных городах предприятия могут обойтись намного меньшим количеством рабочих и служащих, особенно если учесть широкий размах автоматизации производства в соответствии с решением июньского Пленума ЦК КПСС. Следовательно, известная часть жителей может быть высвобождена и перемещена в города-спутники без перевода туда старых, уже действующих предприятий. Очевидно, здесь надо построить новые, небольшие заводы и фабрики местной промышленности, легкой и пищевой индустрии, обслуживающей население основного города и его пригородной зоны. Так как города-спутники будут размещаться в окружении сельскохозяйственных районов, то в них могут быть сооружены, скажем, сахарные, консервные заводы и другие предприятия по переработке продукции сельского хозяйства.

Все это, конечно, не снимает задачи вывода из крупных городов существующих предприятий с целью разуплотнения городов и улучшения их санитарного состояния. Два названных процесса могут идти параллельно, дополняя друг друга.

Проблема номер два: как быть с жильем для первых строителей городов-спутников?

В самом деле, бригады строителей, прибывшие на неосвоенную площадку в полсотне километров от города, уподобляются Робинзону, которому надо все создавать вновь на пустом месте. Первоначальные затраты получаются такими, что жилая площадь становится «золотой». Ведь для того, чтобы построить и заселить первый дом, нужно соорудить целую сеть подъездных дорог, строительную базу в составе нескольких заводов, построить мощные магистральные водоводы и канализационные коллекторы, систему электроснабжения, отопительные котельные и так далее. Все это стоит десятки и сотни миллионов рублей, которые первое время не приносят отдачи. Только после разворота строительства широким фронтом начинают оправдывать и окупать себя эти огромные средства.

Но и здесь напрашиваются некоторые соображения и рекомендации.

Прежде всего города-спутники, очевидно, следует проектировать вблизи существующих населенных пунктов и, может быть, даже включать последние в состав будущего города. Как ни мал городишко, он все же поможет строителям «зацепиться за землю», обеспечить себе плацдарм для успешного наступления. Появится возможность разместиться на квартирах у местных жителей, привлечь некоторую часть из них в число своих соратников, воспользоваться имеющимися дорогами.

Однако есть в таком варианте и слабая сторона. Она заключается в том, что поневоле придется считаться со сложившейся планировкой существующего поселения, что может серьезно затруднить поиски наилучшего архитектурно-планировочного решения нового города, которое можно было бы получить «на чистом месте».

Делаются попытки применить и другой способ — это доставка на площадку инвентарных, разборных домов заводского изготовления. После окончания строительства или после возведения некоторого количества постоянного жилья временные дома разбираются и перевозятся на другое место. Но и этот метод неудобен. Для сборных домов нужно возводить фундаменты, которые затем почти невозможно использовать, а сами дома при перевозках и демонтаже теряют комплектность, быстро приходят в негодность и обходятся очень дорого. Да и не создано пока еще нужного типа таких домов — теплых, удобных и дешевых.

На наш взгляд, есть более радикальное и перспективное предложение: создать для строителей типы передвижных домов «на колесах», то есть таких, из которых в любом месте можно было бы за несколько дней сформировать целый благоустроенный городок. Прототипом передвижного дома для строителей может служить современный многоместный автобус, троллейбус или железнодорожный вагон дальнего следования. Такие дома могут быть прицепами у автомобилей, а могут подаваться на площадку и по рельсам в виде целых железнодорожных составов-поселков. Вагоны эти должны иметь разные назначения: вагон-кварти-

ра, вагон-общезитие, вагон-столовая, вагон-магазин, вагон-баня, вагон-поликлиника, вагон-библиотека. Следовательно, из поездов, будь то железнодорожные вагоны или автобусы, скомпоуется поселок со всем комплексом культурно-бытовых учреждений.

Поселки на колесах можно было бы буксировать с места на место по мере постепенного продвижения строительства, подавать отдельные общежития непосредственно к месту работы. Они могут понадобиться и при строительстве гидроэлектростанций, нефтеперерабатывающих заводов и на других подобных стройках, где количество строителей во много раз превышает количество будущих постоянных эксплуатационных кадров. Ведь для строителей приходится иногда возводить сотни тысяч квадратных метров жилой площади, которую после окончания строительства очень трудно использовать, если поблизости нет города или других предприятий; все это вырастает в большую экономическую проблему, связано с затратой колоссальных средств. Конечно, подвижные дома тоже не будут дешевыми, но расчеты показывают, что они будут вполне рентабельными благодаря их многократной оборачиваемости.

При огромных объемах промышленного и жилищного строительства, намечаемых в семилетке, быстрое освоение строительных площадок приобретает серьезное народнохозяйственное значение, так как намного ускорит темпы и сократит стоимость строительных работ.

Госплану следовало бы дать задание автомобильным и вагоностроительным заводам разработать необходимые типы подвижных домов для строителей и наладить их широкое производство.

### НЕКОТОРЫЕ УРОКИ

В сорока километрах от столицы нашей страны, по Октябрьской железной дороге, расположилась малоприметная и доселе ничем не знаменитая станция Крюково. Здесь, у небольшого селения, на обширных и живописных полянах, среди березовых рощ и лиственных лесов суждено появиться на свет первому из сыновей древней Москвы.

В этом шестидесятипятитысячном городе-спутнике каждая семья сможет проживать в отдельной квартире. К услугам горожан будут все учреждения повседневного культурно-бытового обслуживания. Архитекторы хотят, чтобы спутник был полностью электрифицирован — электрическое отопление, электрический холод, электрические плиты, — все мыслимые в наши дни удобства, идеальные гигиенические условия.

Сначала на отведенной площади построят сеть городских улиц и дорог, проложат подземные коммуникации. Затем на этой канве «прорастут» массивы жилых и общественных зданий, появятся зеленые кущи бульваров, садов и парков. Несколько микрорайонов сгруппируется вокруг системы прудов, которые возникнут вдоль русла протекающей здесь речки. На берегу расположится городской центр, застроенный общественными зданиями, магазинами и зрелищными предприятиями.

В городе-спутнике будет создана «своя» промышленность. Состав ее должен быть достаточно разнообразным, чтобы каждый житель мог подобрать себе наиболее подходящую работу. Сюда из столицы «переедет» ряд предприятий электротехнической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности.

Связь города-спутника с Москвой будет осуществляться электропоездами и автобусами. Строительство города завершится в 1963 году.

Незаметно пробежит время, и вместе с новоселами в новый город хлынут тысячи экскурсантов со всех концов Советского Союза, чтобы перенять все лучшее, использовать опыт и построить свои городки, не менее удобные и красивые. А нужда в этом опыте уже назрела.

В двадцати пяти километрах от Новосибирска, на берегу огромного Обского моря, насквозь пронизанный лесами рождается другой спутник. Двенадцать научно-исследовательских институтов, университет и экспериментальный завод — вот база строящегося города, где будут жить и трудиться двадцать с лишним тысяч человек. Можно только позавидовать жителям завтрашнего научного городка Сибирского отделения Академии наук СССР. У них будет хорошее жилье и все необходимое для культурного

быта, отдыха и развлечений. На каждого из них придется в среднем более десяти квадратных метров жилой площади. Прекрасные дороги, транспорт, газ и теплофикация, электрические кухни, самая совершенная связь, радио, телефон... Здесь как бы впервые встретятся после извечной разлуки современное городское благоустройство и живое дыхание нетронутой природы.

В районе Сестрорецка, под Ленинградом, начинает строиться третий спутник. В тридцати пяти километрах от Харькова, в лесистой живописной местности, появится четвертый...

Ответственная и почетная задача выпала на проектировщиков этих городов. Ведь сколько бы ни было таких городов в будущем, они навсегда останутся первыми из них, подобно тому, как первые советские спутники Земли навсегда останутся самым большим событием Вселенной даже тогда, когда вокруг Земли будут кружиться сотни искусственных обитаемых планет.

Однако первый опыт проектирования у нас городов-спутников вызывает законную тревогу. В процессе работы над проектами появились некоторые тенденции, несвойственные советскому градостроительству, против которых необходимо своевременно предостеречь. Это особенно относится к первым вариантам проекта планировки города Крюкова, который подвергся справедливой критике московской архитектурной общественности.

Едва ли нужно убеждать кого-нибудь в недопустимости механического подражания зарубежным образцам. Мыслящие, прогрессивные урбанисты сделали многое для продвижения вперед мировой градостроительной науки. Но далеко не все, что делается за рубежом, годится для нашей социалистической страны. Известно, что большинство новых городов в капиталистических странах проектируется как сумма разрозненных микрорайонов, изолированных друг от друга большими свободными пространствами, в которых проходят транзитные автомобильные пути. Центр города подчас занимает случайное место в плане города и не имеет архитектурно-пространственной связи с различными его частями. В большинстве случаев это не средоточие общественной жизни, а всего лишь крупный рынок, сумма различных торговых зданий.

Таковы, например, почти все новые города вокруг Лондона: таков и Кроули, и Хэтфильд, и Стивенендж, и наиболее преуспевающий из них, ставший своего рода символом городов-спутников, Харлоу. Всех их роднит общая черта — территориальная обособленность и общинная замкнутость отдельных микрорайонов. И это не случайность — это определенная философская градостроительная концепция. Недаром один из выразителей этой концепции, англичанин Трипп, договорился до того, что город должен состоять из отдельных, совершенно изолированных друг от друга жилых районов. Дома следует обращать лицом внутрь района, а задами — на улицу, иначе говоря, вывернуть застройку наизнанку. Городские улицы, по Триппу, это лишь транспортные магистрали, доступ на которые, как на полотно железной дороги, жителям города должен быть запрещен.

Такая философия чужда нам с начала до конца.

Для нас город — это не только сумма улиц и домов, а прежде всего огромный человеческий коллектив, объединенный общим социалистическим трудом, единой и нераздельной общественной жизнью. И это должно быть отражено в самой структуре городского плана. Город, развалившийся на части, противоречит общественному укладу нашей жизни, нашему социалистическому бытию.

Но почему-то тенденцию именно такого рода видим мы и в первых вариантах города Крюкова и в генеральных планах некоторых других новых городов.

Странно выглядели бы и запроектированные улицы Крюкова. Это непомерно широкие транспортные дороги, проходящие по зеленым полосам, не объединяющие, а скорее разобщающие между собой части города. Городские районы, лежащие по сторонам таких дорог, живут как бы каждый своей жизнью, и соединить их можно разве только мостами. Не найдешь здесь и «главной улицы», изолированной от городского транспорта, на которой размещены общественные, зрелищные и торговые здания. По существу повторены трипповские транспортные коридоры. Зачем, во имя чего они делаются? Не так уж велик город, не большое в нем и движение, — по расчетам самих проектировщиков, всего лишь два автобусных маршрута!

В проекте транзитные автомобильные пути, ведущие к железнодорожной станции, промышленным районам и на внешние междугородные шоссе, разрезают город в разных направлениях и все проходят через жилые районы и городской центр. Это противоречит элементарным градостроительным принципам.

Одно из важнейших преимуществ малого города состоит в том, что он позволяет приблизить жилье к месту работы; жители по озелененным пешеходным «тропам» могут за какие-нибудь четверть часа попасть на свой завод, в учреждение. Однако этих возможностей авторы проекта также не использовали. Оба промышленных района они «посадили» в одной стороне, у железной дороги, и, чтобы попасть к ним из другой части города, нужно ехать на автобусе три-четыре километра. А есть и такие места, из которых и проехать не на чем.

В самом центре города почему-то запроектирована большая кольцевая транспортная развязка, разрушившая непосредственную и естественную связь центра с примыкающими улицами. Уж не стокгольмский ли пример вдохновлял авторов проекта, но ведь там подобная развязка была осуществлена как вынужденный выход из создавшегося положения.

Неудовлетворенность вызывает и намеченная в проекте организация застройки микрорайонов. Принципы создания микрорайонов для нас ясны, они обоснованы теоретически и воплощены во многих экспериментальных и реальных проектах. Это первичная социально-бытовая и архитектурно-пространственная ячейка, из которой формируется структура города. Что же предполагается в проекте? Беспорядочный набор или чрезмерно больших или очень малых групп домов, расставленных без сколько-нибудь четкого архитектурного замысла. Ни хорошо организованных внутренних садов, ни стройной системы культурно-бытовых учреждений, ни продуманной сети транспортных подъездов и пешеходных дорог. И при всем этом — никакого внутреннего интерьера застройки, который организует пространство микрорайона, создает в нем определенный архитектурный порядок и приятное окружение, дающее человеку эстетическое удовлетворение. Ведь жилье — это не только квартира, но и примыкающее к ней пространство: двор, сад. И чем это пространство лучше, организованнее, тем полноценнее становится и жилье.

Советские архитекторы, отказавшись от формально-геометрических, неудобных для жизни приемов застройки, пропагандируют «свободную планировку», максимально учитывающую все особенности строительной площадки. Однако нужно глубоко понять, что свободная планировка отнюдь не есть сумбур и беспорядок. Напротив, этот метод застройки требует особенно большого искусства, мастерства и опыта, чтобы на основе бесконечного разнообразия естественных форм рельефа, размеров и конфигурации площадок и наличных зеленых насаждений создать не только удобную для жизни, но и архитектурно полноценную застройку, используя силуэт, и ритм, и самые различные приемы пространственной композиции. К сожалению, этого в проекте тоже нет.

Все эти недосмотры наглядно проявились при общественном обсуждении проекта. Можно не сомневаться, что авторы сумеют освободить проект от всего наносного, несвойственного живым советским городам. Однако — это урок, и чтобы его не повторили другие, лучше в самом начале сказать об опасных тенденциях.

За последнее время наблюдается увлечение некоторых архитекторов нарочито криволинейным начертанием улиц, что ярко проявилось, например, в экспериментальном проекте жилого района, разработанном Гипрогором. То же можно сказать и о так называемой застройке в строчку, получающей широкое распространение в проектах жилых районов Москвы. И то и другое в большой моде у западных архитекторов.

Почему же не подумать критически об этих модных приемах? Ведь нарочитая, вызванная условиями площадки криволинейность улиц осложняет прокладку подземных коммуникаций и работу городского транспорта, затрудняет эффективное использование кранов при строительстве домов, «свертывает» импонирующие советскому человеку масштаб, перспективу и широту восприятия городской застройки. Что же касается строчной застройки, при которой дома располагаются длинными продувными коридорами, то попытка насадить ее в наших городах провалилась еще в тридцатых годах. Строчная застройка неудобна для размещения садов, спортплощадок, культурно-

бытовых учреждений, требует больше территорий, а значит, и средств на благоустройство.

Внимательно присматриваясь к практике зарубежных архитекторов, мы должны, однако, формировать и культивировать свой градостроительный стиль, импонирующий национальным традициям, эстетическим вкусам, социалистическому сознанию и бытовому укладу советских людей.

Эти требования, как нам кажется, и должны быть воплощены в проектах городов-спутников. Наши первые спутники — это честь советского градостроительства. Опыт их сооружения будут изучать, на нем будут учиться архитекторы не только нашей страны. Поэтому к их проектированию следовало бы привлечь лучшие архитектурные силы, практиковать организацию открытых конкурсов и широкое общественное обсуждение проектов.

Проблема строительства городов-спутников ждет своего решения. Система планового хозяйства нашей страны позволяет нам добиться неизмеримо лучших результатов, чем на Западе, где ноги градостроителей увязли в хаосе капиталистической экономики, а на руках висит тяжелая гиря частной собственности на землю.

От решения этой проблемы зависит улучшение условий жизни населения десятков крупнейших городов нашей страны.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СУРВИЛЛО

★

## НА ПУТЯХ РОМАНТИКИ

Статья вторая \*

**К**ритик в первую очередь является читателем. Не годится ему забывать об этом, о своих первичных читательских впечатлениях и интересах и тогда, когда он приступает ко второй очереди своих забот — к разбору произведения. В особенности не годится, если разбор предстоит подробный. Подробный разбор — это как бы совместное с читателем второе прочтение произведения. Если критик забудет о своих первых, непосредственных впечатлениях, а сразу начнет досаждать «напарнику» конечными выводами и сформировавшимися оценками, получится одна доука. Но, конечно, это совместное чтение не будет и чтением залпом; да ведь это не всегда признак полноценности чтения или доброкачественности произведения. Это будет замедленное чтение: сначала от строчки к строчке, потом, по мере накопления наблюдений, от главы к главе и уж потом, когда вырисуется членение романа на части, придет время для общих суждений, для постижения идеи произведения, для охвата всего замысла и оценки его выполнения. При таком совместном чтении нельзя забывать и о третьем возможном читателе — об авторе: это будет большая удача, если доведется вовлечь и его в перечтение заново собственного произведения в содружестве с читателем. Тут возможны, конечно, не только совместные радости, а и огорчения и расхождения, и, может быть, не обойдется без колкостей и коротких ссор, но если при этом все трое будут руководствоваться единым пониманием и интересом — пониманием высокого назначения литературы, интересом к повышению ее идей-

ного и художественного уровня — неприязни между ними не возникнет.

Итак, перед читателем новый роман. Это роман Николая Шундика «Родник у березы» («Нева», 1959, №№ 1 и 2). Его основная тема — борьба с культом личности и ликвидация его последствий. Он относится к числу тех произведений на эту тему, в которых ущерб, нанесенный культом личности советскому обществу, не затушевывается и не умаляется, но в которых вместе с тем утверждается та правда, что культ личности не изменил и не мог изменить характера советского строя или остановить развитие советского общества. Неточно было бы сказать, что Н. Шундик затрагивает тему культа личности и борьбы с его последствиями: он почти целиком посвятил этой теме свое произведение. Оно написано остро и решительно. Разумеется, для произведений этой темы обязательно понимание, что существо партийной критики культа личности состояло в укреплении позиций социализма, в расширении простора для творчества масс, в заботе о благе народа, о его благосостоянии.

Первые строчки романа. Человек идет по тайге, вслушивается в нее. Его восприимчивость обострена: он мог бы не заметить изюбра, если бы тот «застыл перед ним бронзовой глыбой», но мог увидеть «бесконечно многое в крохотной почке, в ее красной искорке, высеченной пригревающим солнцем». Сейчас будет рассказано о воспоминании, родившемся у путника. Оно заключено в кольцо. Перед ним стоит строчка: «Шумит кедр уссурийский, шумит раздумчиво, по-стариковски мудро». Воспоминание приведено, и далее следует: «А кедр шумит, помогает Коломейцу думать».

---

\* См. «Новый мир», 1959, № 4.

В скульптурном изюбре и высеченной солнцем искорке, в рефрене о кедре читатель узнает особую организацию стилистических средств, стремящуюся изукрасить, расцветить речь. Он угадывает, что перед ним произведение по строю своему романтическое. Вероятно, это его порадует. Несомненна прелесть простой, непринужденной речи, свободной от специально «поэтических» слов, но велико и очарование слов красочных, повышено экспрессивных, речи эмоционально насыщенной. Язык накопил большие богатства приемов выразительности, фигур, тропов — лежать ли им под спудом? Конечно, художнику, пользующемуся этими богатствами, нужно постоянно помнить об опасности впасть в манерность, выпренность, банальность. В частности, тем строчкам, которые были только что приведены, не присуща ли банальность? Нельзя судить об этом слишком торопливо. Может быть, этот термин сюда вовсе неприменим, как неприменим он, скажем, к постоянным эпитетам народного эпоса.

Первые герои произведения. Они появляются в воспоминаниях Коломейца — директора школы, когда-то учительствовавшего в кленовском колхозе. Час назад к нему приходил его тесть, хирург Панкуров. Его портрет: «Седой, смуглый, с чеканным профилем, он уселся на стул, с достоинством раскинув полы своего широкого, похожего на мантию пальто...» Портрет самого Коломейца: «Тяжело положив на стол свои большие, грубоватые руки... он...» В первую очередь отбираются черты, характеризующие не индивидуальность, а социальную принадлежность: перед читателем интеллигент, но разного склада; склад одного выявляется чеканным профилем, «мантией», другого — тяжелыми грубыми руками. Панкуров возбужден до крайности. Вчера было собрание районного партийного актива, обсуждавшего итоги XX съезда партии, и там Коломеец резко выступил против людей, надевающихся «тогу этаких прогрессивных мыслителей», но рассуждающих, по его словам, удивительно «убого, не оригинально, старо». В этой характеристике Панкуров узнал себя, он пришел, чтобы дать зятю пощечину, он кричит на него: «ортодокс, консерватор и тупица». Его бесит каменное спокойствие Коломейца. Но Коломеец спокоен лишь внешне. Это очень напряженный разговор. Вот его центр: «Но ответьте мне на такой вопрос: как, по вашему, встретятся Кленов и Чумак? Понимаете ли вы хоть сотую долю этой огромной

человеческой драмы? Ведь они же... они когда-то кровью побратались!..» Что произойдет завтра, когда вернется оттуда Кленов? Коломеец отвечает, что встреча будет проверкой, кто чего стоит, а его, Коломейца, демагогия с ног не сшибет... Спор прерывается появлением нового персонажа: вваливается пьяный Митин, бывший председатель кленовского колхоза. В памяти Коломейца вспыхивает картина, свидетелем которой он был когда-то: Митин наступал на солдатскую вдову Глашу, толкает ее в грудь... «Ах ты ж, сука в галифе!» — кричит та. «Ну, сволочь, прощайся с партийным билетом», — это говорит он, Коломеец, Митину... Изгнание Митина из партии, затем арест за какие-то темные дела... И вот теперь: «Дайте стопку для отогревания души. Посочувствуйте невинно пострадавшему от культа личности».

Почти геометрическая расстановка фигур, ясность и определенность социальной позиции каждого персонажа, немедленный поворот героев лицом к главной теме, контрастность и заостренность изобразительных приемов, драматизм, стремление к быстрому и сильному выявлению конфликта, атмосфера загадочности в завязке сюжета, — все это черты, характерные для романтического стиля.

Следует сцена, которая как бы уточняет программу романа: Коломеец встречается лесорубов, в беседе с ними завязывается разговор о трудодне, о том, что за трудодни колхозникам начислены не только килограммы зерна и литры молока, но и новая Россия, и мир, спасенный от фашизма; ценна и личная копейка. Эпизод этот невольно воспринимается как сигнал, что развитие темы будет идти в неотрывном слиянии с темой народного благосостояния.

Итак, читатель уже подвинул вплотную к теме. Не слишком ли много рассудочности и чертежа? Вот, может быть, нечаянный, а может, и преднамеренный ответ. Заходит речь об осуждении культа личности. «Партия все это объяснила точно», — говорит Коломеец колхозникам. «Но то, что она сказала, мало одними глазами прочесть, надо еще и душой... Одним словом, чтобы хорошо все это понять, надо не только головой думать: вот если еще и сердце подключить — все станет на свое место. Произведение заявлено как романтическое — значит, если будет подключено сердце, не будет холодной риторики, не будет пустого влеречия, не будет дешевки и сенсационных эффектов,

будет сердечная взволнованность, искренность, героика, яркость, красочность, вдохновенная патетика. И если интенсивное выявление социальной сущности образов потребует сужения их многомерности, пусть будет и это: однолинейность еще не безжизненность. И если глубинные процессы действительности позволяют заглянуть в себя в момент бурного вскипания страстей — пусть будут накал и экстаз. Если многоохватные масштабы обозрения жизни приводят к поспранию мелочного правдоподобия — пусть будет дан простор творческой фантазии и не будет предана анафеме условность. Если размах обобщения отобранного из жизни материала потребует образа-символа — пусть символ смело указывает путь к постижению идеи этого отбора. Все это, вместе взятое, и есть романтический строй образного мышления — не противоборец социалистического реализма, а составная часть его. Но постинне бестствие наступает тогда, когда эти изобразительные приемы романтического стиля отрываются от содержательного своего назначения и целенаправленности. Тогда возникает велеречие, ходульность, фальшь — имитация романтики, разложение романтики, лжеромантика, наносящая труднопоправимый ущерб даже в частичном своем проявлении, даже не лишенным талантливости произведениям.

На следующих страницах все увеличивается острота интереса к встрече, той, ожидание которой так волнует Панкурова и Колмейца, расширяется круг людей, взволнованных ее ожиданием. Вот жена того, кто вернется «оттуда», — Екатерина Кленова. В ее портрете опять-таки не столько индивидуальные, только ей присущие черты, сколько черты образа достойной женщины вообще. «В осанке ее, в выражении лица, согретого у темно-серых глаз, у мягких уголков рта тонкими лучиками морщинок, было то выражение достоинства, которое всегда вызывает<sup>1</sup> невольное желание у каждого, кто встречается с таким человеком, подвинуться, уступить дорогу, чтоб как-то выразить свое уважение к нему, вызвать его ответное расположение к себе». В образе ее дочери Тани также выделены в первую очередь черты девичьей юности вообще: «...То же выражение достоинства, та же степенность осанки... Но как все это было насквозь просвечено солнечной юно-

<sup>1</sup> Разрядка здесь и во всех последующих случаях моя. — В. С.

стью, овеяно теплым майским ветром!.. В глазах ее на мгновение вспыхнули мягкие звездочки... девичьего кокетства...» Коломеец встречает Кленову у березы. И вот романтический символ — рассказывается легенда о березе: изопьет ее соку честный человек — сбудутся его желания, «потому как у него не может быть желаний других, кроме самых добрых, для многих людей полезных»; недобрый человек от этого сока костенеет. Береза — символ доброго служения людям.

Новая пара персонажей, контрастно друг другу противопоставленных: в домик Кленовой заходят желания райкома партии Никифор Гаврилович Чумак и редактор районной газеты Поляков. Чумак задумчив и подавлен, он словно бы согнут под тяжестью ноши. Поляков весел, игрив, яр, он рвется в бой; скоро бюро райкома, придется «кое-что и насчет Никифора Гавриловича выдать»: наломал дров, будет теперь ответ держать перед народом и перед возвращающимся хозяином этого дома. Теперь, когда интерес к встрече достиг высшего накала, повествование обращается к прошлому.

1921 год. Партизан Корней Кленов подобрал в сенцах кулака полузамерзшего, больного сироту-мальчонку, спас его, послал учиться. Это и был Никифор Чумак. Ему тогда шел девятый год.

Кончилась гражданская война. Кленов — первый председатель артели в деревне Кленовке. Через маньчжурскую границу каждый день просачиваются белогвардейцы и убивают сельских активистов. Разнесся слух, что границу перешел во главе банды Кирилл Кленов, брат Корнея, ушедший в свое время с семеновцами. Корней Севастьянович и Чумак в мороз лежат в снегу в засаде. Никифор тревожится за Кленова. Хотя и спокоен Кленов по виду, но Чумак знает, как мучительно терзают его тоска, недоумение, ненависть. В детстве Кленов очень любил своего брата, сейчас он охотится за ним. Раздаются выстрелы: невидимый враг тяжело ранит Кленова и Чумака. Проезжий на наезд подбирает их и увозит в Хабаровск, в больницу. Их оперирует врач Панкуров. Во время операции и Кленов, знаменитый партизан, весь в шрамах, и юноша Чумак ведут себя мужественно и стойко. Приходя на минуту в сознание, юноша «умудрялся сказать такое, от чего Панкуров потом весь день ходил преисполненный гордостью за человека.

— Каков юноша, а? — сказал он однажды главному врачу... — У меня, понимаете, ощу-

шение... как бы вам полнее... Ну, словом, чувствую себя таким акушером, который принимает у матушки-истории нового человека. Ну как, а? Я думаю, что стоит после этого жить на свете».

Здесь мы остановимся.

Недавно возник спор о произведении А. Довженко «Поэма о море». Одним из мест поэмы, которые осуждались и защищались в споре, были такие строки поэмы: «Я бессмертный счастливый человек, и то, что я чувствую, и то, что я делаю,—прекрасно...» Это — размышление генерала Федорченко, одного из героев поэмы. Последовал вопрос: имел ли право генерал так говорить, если он дурно воспитал сына, был недостаточно заботлив к отцу? В той плоскости, в какую таким подходом ставится размышление генерала, генерал не имел бы права на него, даже если бы он был отличным отцом и сыном: при таком рассмотрении эти слова выражают маниакальное тщеславие. Но они неправильно процитированы, незаконмерно выделены из контекста. Генерал летит на самолете над Украиной, но видит под собой не Киевщину, Полтавщину или Запорожье, а «целую планету, окутанную легким голубым маревом». Спор с генералом нужно было начинать отсюда: он расхвастался, он не мог видеть всей планеты, он был для этого недостаточно высоко над ней. Или все-таки он был достаточно высоко? «Могучий, с лицом грубым и властным, на котором отложились следы великих событий нашего века», он вошел в светлую кабину пилотов, и раскрывшийся перед ним простор так распахнул его чувства, что они обняли и народ, тот, что трудится там внизу, и планету, и всю вселенную! Его подхватил могучий поток «воспоминаний, ассоциаций, новых знаний и величественных задач, которым посвящена сегодня его жизнь». Создается образ всеохватного чувства, когда человек, постигая вечность, испытывает безмерный восторг оттого, что он, живущий какое-то мгновение на крохотной планете, затерянной в сотнях миллионов галактик, может все же обнять вселенную — всю, без начала и без конца. Воодушевление и подъем овладевают им. Как велик человек при своей малости! «Я бессмертный человек,— думает генерал Федорченко, глядя на голубые просторы,— и абсолютно неважно, сколько микронных единиц времени будет существовать мое персональное я. Я бессмертный счастливый

человек, и то, что я чувствую, и то, что я делаю,—прекрасно...» Восторженное переживание вечности и бесконечности, счастье бессмертия своего мгновенного персонального «я» через причастность к великим делам — вот содержание этого образа. И можно ли выковырять из него крупинку и «вменить» ее генералу: а не бахвал ли вы, товарищ генерал?

Мы возвращаемся к отложенной книге. Герой провозглашен новым человеком, рожденным историей. Это тоже слова высокие, великие, последний аккорд, завершающая деталь грандиозного образа. Юноша испытывает тяжелые физические страдания. В минуты, когда он приходит в сознание, он произносит какие-то сильно взволновавшие доктора слова. Слов читатель не слышит, но составить о них представление может. Доктор у постелей Кленова и Чумака с каждым днем «все больше проникался уважением к этим людям, которые если стонали, то лишь во сне или в беспомощности, если звали на помощь, то одними глазами, если страдали от боли, то выщучивали самого рогатого черта».

Здесь есть элемент изобразительности, есть беглый рисунок, и какое-то общее представление о стойкости юноши он создает. К этому присоединена эмоция врача. Допустим, что это позволяет эмоционально воспринять создаваемый образ. Образ исчерпан: это — терпеливость и мужество юноши при физических страданиях. Следует возглас: вот роды нового человека историй! Оказывается, творился-то образ нового человека. И тут бросается в глаза художосиче, чисто внешняя эффектность романтической фразы. В сопоставлении с подлинной романтикой образа, созданного А. Довженко, тщета претензии на романтику данного образа особенно очевидна.

Подмена романтики краснобайством — серьезный недостаток. Читатель проникся к произведению симпатией: уже выявилась его интересная и значительная тема, уже захватывает воодушевление, с каким ведется повествование. Тем обиднее за недостаток. Но пока нельзя судить о его значении для всего произведения. Пока лучше преуменьшить недостаток, чем преувеличить его. Пусть читателю поможет такое соображение: врач Панкуров, вероятно, составлял историю болезни раненого юноши и при этом мог добыть сведения, что он был ранен в засаде против бандитов. Кроме того, читатель не только из информации Пан-

курова о произнесенных юношей каких-то словах может судить о его стойкости: юноша стойко и самоотверженно умалчивал о собственном ранении, поглощенный тревогой за состояние товарища. Пусть эти черточки оказались недостаточными для возникновения полноценного, эстетически убедительного образа нового человека, рожденного матушкой-историей,— известным психологическим материалом для такого образа они послужить могли бы.

Читатель продолжает чтение романа. На первых порах ему снова не везет. Он сталкивается с совершенно стандартными образами кулака и перешедшего границу для встречи с ним белого офицера. Угарное веселье, пьяная ссора, надрыв, истерическая исповедь — все это без единой живой черточки. Вот краски, которыми обнажается обреченность этих людей: часы — «уж очень упрямо направлялась мысль об остановившемся времени былых хозяев этих часов»; предметы мебели — «словно светился в их невеселом блеске чей-то последний, умирающий взгляд»; зеркало — «оно напоминало неподвижное слепое око своим потускневшим стеклом»; и, наконец, «кривлялись и словно насмешливо кланялись тени на стенах»... Увы, опасность банальности и литературщины, которая в первых строчках повествования лишь угрожала ему, теперь его настигла.

Эпизод встречи кулака с белым офицером значителен для развития сюжета романа. Выясняется, что брат Кленова маньчжурскую границу не переходил и что вообще этот человек никогда участия в борьбе с Советской властью не принимал; слух был сознательно распространен кулаком Терентием Лабунцом, чтобы ударить по Кленову. Из эпизода выясняется также, что стрелял в Кленова и Чумака сам же Терентий Лабунец, человек, всячески стремящийся втереться в доверие к большевикам, но люто их ненавидящий.

«Солнце и гром и топот коня» — так называется одна из наиболее романтических глав романа. Девушка лежит на траве под дубом. Это секретарь райкома комсомола Катя Полищук. Она погружена в думы о трудном случае в деревне Кленовке. Секретарь комсомольской организации полюбил сестру кулака Лабунца и уступил требованию венчаться в церкви. Инструктор райисполкома Митин потребовал на комсомольском собрании его исключения. Комсомольцы не послушались Митина, Митин написал

заявление, что организация в Кленовке засорена кулацким элементом. Катя приезжала поговорить с Макаром Подковой, чудесным, преданным юношей, полюбившим девушку из кулацкой семьи, и почувствовала, что присоединиться к Митину не может, но как решить это сложное дело — не знает. Лежит, смотрит в небо, и постепенно от ощущения простора, от молодости, от солнца, смеющегося ей с непостижимой высоты, волна радости накатывается на нее, мечта о бесконечном счастье завладевает ею, рождается уверенность: какие бы трудности ни встретились, а строить новое — удивительно интересно. В сегодняшние заботы вторгаются светлые воспоминания: ликование комсомольцев после восстановления плотины, пионерский праздник, звучание пионерского горна, так сверкавшего на солнце, будто он сам вылит из солнечных лучей... Кажется, автору не хватает слов, чтобы выразить восторг девушки, он ищет их, он как бы приглашает читателя принять в этом участие: расплавленное — это про солнце, выплавилось — это про чудогорн, он вплавился в память; солнце обливает, горн отлит, радость отлилась, — нет, выковалась; подумалось — нет, не подумалось — пропелось. Опробование одного слова и замена его другим (не врезался, а вплавился в память, отлилась — выковалась) пока не охлаждает читательского интереса, ибо велико ваше внимание к тем душевным состояниям, какие слово хочет выразить; соучастие в процессе их воплощения побуждает глубже вникать в них и сильнее втягивает в поток этих переживаний. Обостряется и внимание к слову, его живописности, его звучанию; отыскиваются слова необходимые: доимчивое солнце, воспоминание высветилось. Слова сверкающие и звонкие, преобладающие в начале эпизода, вытесняются затем словами массивными, тяжкими. Заурчал далекий гром, из-за гор напоздли тучи — предгрозовая духота заливает замутью излозины оврагов, где дремотное затишье не всколыхивалось ветром; девушка почувствовала беспокойство, неясное и расслабляющее, как непродышливая испарина, которой исходила земля. Девушке представились трудные глаза Макаруши, кленовского комсомольского секретаря. Подумалось о бандитах, орудующих в районе. Внезапный оглушительный раскат грома вызвал в ней короткое смяте-

ние. Но и в смятении не покинуло ее чувство, что все обойдется хорошо с Макарушей и не нападут на нее бандиты. Вот сквозь тучи пробилось солнце: солнце и гром! Девушка шутит с громом: «давай, давай, не шибко тут бояться тебя...» Над головой раздается тихий недобрый голос. На нее набрели трое бандитов, среди них — Семен Лабунец, брат Терентия.

Возникает опасение: из потока душевных состояний, в который читатель вовлечен, которые ему интересны и неразрывностью социальных раздумий с радостью бытия и своей слитностью с природой, не будет ли он выброшен теперь внешним драматизмом событий? Не будет. Поток лишь бешено убыстрится, резкие, стремительно пронесшиеся изломы событий будут ему берегами. И так живет романтический образ. Если и будет читатель выброшен на берег трезвости, то лишь в самом конце эпизода. Потом, уже после того как прозвучит чей-то выстрел, сразивший главаря бандитов, и упадет девушка, пораженная пулей другого бандита, потом, уже после того как, очнувшись на мгновение, она почувствует, что чьи-то крепкие руки держат ее и конь уносит ее от выстрелов и свиста пуль — и «солнце и гром и топот коня», — потом, уже после того, когда начнется ее выздоровление в больнице, — вот тогда, пожалуй, читателя выбросит на берег разъясняющий голос автора, растолковывающий, что солнце «осмыслилось ею тогда по-особенному, как некий, далеко не случайный образ, объясняющий ее жизнь», а гром с тех пор «всегда слышался ей, когда сгушались над ее головой тучи», а что касается до тогога коня, то в трудное время ей всегда казалось, что «примчится конь, примчится непременно, заржет призывно и отнесет ее от беды, как это уже один раз было».

И все же романтический образ создан, роману прибавилось солнечного света, краски молодости, ощущения счастья, радости избавления от беды. Блики этого света озарят образ и главного героя. Это ведь был он, Корней Кленов, это он спас от бандитов свою будущую жену:

Символический образ березы, о котором читатель, конечно, помнит, является тем маяком, лучи которого освещают все пространство романа. В его лучах возникает новый, подчеркнуто романтический образ. Это — Донник, оперуполномоченный районного отделения НКВД. «Ветер романтики веял над головой Донника». О бесстрашии,

с каким он преследовал и настигал бандитов, складывались легенды. Он появляется в момент, трагический для знакомого читателю Макаруши Подковы. Митин, требовавший исключения Макаруши из комсомола за венчание в церкви с Дусей, сестрой кулака Терентия Лабунца, сам влюбился в нее. Лабунец очень хотел породниться с влиятельными в районе людьми, а Митин — инструктор райисполкома. Сговор состоялся. Митин увозит Дусю из деревни. В горе мечется Макаруша. Он бросился в густой орешник при дороге, по которой уезжает любимая девушка, и когда повозка с Митиным поравнялась с ним, он, не находя выхода горю, вскинул берданку, чтобы хотя бы пугнуть ненавистного ему человека. Тихий, участливый голос, раздавшийся за его спиной, остановил его. Это был голос Донника. Здесь же, в придорожном лесу, Макаруша, проникнувшись полным доверием к Доннику, рассказал ему все, что творилось в его душе. И Донник все понял. Что было бы с Макарушой, размышляет он, если бы его со вскинутой берданкой застиг Рубцов, начальник районного отделения НКВД? Залег Макаруша в засаду, чтобы подкараулить инструктора? Залег. Вскинул берданку? Вскинул. Хотел лишь пугнуть? Известно, как ответственных работников «пугали» иногда пулей наповал. Ревность? Но было ведь и выступление Митина на комсомольском собрании. Конечно, и ревность, но и политические мотивы не спрятать... Так была бы исковеркана жизнь прекрасного, честного, беззаветно преданного комсомолу и партии юноши. У Рубцова ведь лежит заявление Митина о кулацком засилье в кленовской комсомольской ячейке. Рубцов хочет дать ход этому обвинению. Душевность, вдумчивость, участие в людях, — с одной стороны. С другой — черствость, недоброжелательность, властолюбие. Донник и Рубцов. Их предсказывал символ.

Но главные герои романа все же Кленов и Чумак. На них лучи маяка не падали еще прямо. Сейчас они осветят и их.

Кленов с 1935 года работает заведующим районным земельным отделом. Чумак — инструктором райкома партии. Они неразлучные друзья. Чумак учится у Кленова. Кленов любит Чумака, его гордым сознанием, что он участвует в великих, невиданных делах. К этому времени коллективизация на Дальнем Востоке уже повсеместно побеждает. Оставалось убедить лишь последних единоличников, таких, как серед-

няк Беспалов, старый партизан, соратник Кленова в гражданской войне. Беспалов глубоко уважает Кленова, видит в нем рачительного хозяина. Привлекает его и Чумаков, горячий, порывистый строитель «мировой коммунии». Но вот Митина, этого грубого хама, он терпеть не может. «Долго будешь еще в навозе своем собственническом ковыряться?», «Хватит, понянчились», «в порошок сотру» — вот так «убеждал» Митин вступить Беспалова в колхоз. И однажды дело у них дошло до того, что Беспалов схватил Митина за ворот. Последовало очередное заявление в райисполком и, конечно, в НКВД о том, как недорезанный кулак вцепился инструктору в горло. Когда об этом узнал Кленов, он примчался к Беспалову. «Нет, Савелий, в обиду мы тебя не дадим. Дать тебя в обиду — это все равно, что нож в спину советской власти всадить». Чумаков безоговорочно поддержал Кленова.

Повествование приближается к одному из самых сильных, волнующих эпизодов романа. Этот эпизод вознаградит читателя за терпение, которое подвергалось иной раз немалому испытанию. Разве не были испытанием елейность и патока в «романтической» подсветке Донника посредством образа его жены, слепой музыкантши? Когда она играла на пианино, умолкали игравшие дети, собирались женщины и, «смахивая закрученной рукой дорожную слезу человеческого участия, говорили вполголоса: «— Ишь, сердечная мается. Обереги ты, господь бог, беспокойную, буйную головушку мужа ее...» А она, устремляя огромные незрячие глаза в сторону, откуда доносилась бесхитростная молитва, казалась «как-то по-загадочному удивительно красивой». Или эти сусальные интонации в размышлениях Беспалова: «...Середняка, будь ласков, уважай, потому как он честный хозяин. А что взамен ему предлагается, тут еще раскумекать надо». Все это позади. Сейчас читателя ждет эпизод, написанный с энергией и страстью.

Рубцов предупреждал уже секретаря райкома Гуреева о правом уклоне Кленова. Гуреев не вял сигнал. Рубцов — самовлюбленный и властный — не из тех, кто может стерпеть такой вызов. У Рубцова есть сторонники — Митин, предрика Онуфрий Шешера. У этой тройки одна общая черта: «что бы они ни делали, они помнили только о себе. Мир революции, мир преобразований, огромнейших по размаху и тончайших по методам, для них сводился к не-

хитрой заповеди: если хочешь, чтобы о тебе говорили, что ты строитель и защитник нового мира, — защищай прежде всего себя. Дерись, бей головой, пробивайся локтями, потому что новый мир — это ты сам со всеми твоими желаниями, помыслами, устремлениями. Враг революции тот, кто враг тебе». Это авторская речь. Автор обнаруживает свое присутствие, «вмешивается» с публицистическим отступлением. Читателю это мешает? Но почему же? Есть такие шепетильные читатели: автор не доверяет мне, говорят они, он все время говорит, доказывает. И что же? Нарушается художественное впечатление? Но сейчас вот оно усиливается. Рвется художественная ткань? Нет, здесь она крепнет. Эта авторская речь — в данном случае закономерная художественная краска, ею создается групповой образ. И автор читателю не помеха. Вдвоем им лучше.

Вот идет заседание в райкоме, обсуждается вопрос о Кленове. Выступает заврайоном Марцев. Никто не знает, кто такой Марцев. Знают лишь автор и читатель. Автор перед самым выступлением Марцева сообщил читателю, лишь ему одному: Марцев до революции предал своих товарищей по партии, об этом узнали белогвардейцы — и он в их руках, он белогвардейский агент. Читатель теперь зорко следит за каждым его словом, движением, жестом. Какой великолепный актер, какой гнусный негодяй, какой талантливый полемист, какая бездонная подлость! Вот он приятным низким голосом говорит о своей партийной советности — это она побуждает его выступать, он говорит о своем глубоком уважении к Кленову, боевому партизанскому комиссару, который проливал кровь за наше дело. Бои с белобандитами кончились. Но революция продолжается. А Кленов, на передовой ли он позиции? Читатель не сводит глаз с оратора. Марцев сорвал с себя очки, глаза его вдохновенно горят. Он говорит: Кленов засунул свою шашку в ножны. Он был командиром, когда за него думала его сабля. Раз японец — руби! И Марцев, словно старый боец, захваченный азартом воспоминания о былых боях, с силой рубит воображаемой саблей. Если семеновец — руби! А так как и Беспалов рубил, значит он не может быть врагом. А так ли это? Беспалов страшнее открытого врага. После того как он схватил за горло Митина, на него молится недобитое кулачье. Ты дрался с белыми?

Великое спасибо тебе. Ты отступил? Беспощадная кара отступнику. Только так мы можем отстоять свои завоевания. Иначе нас задашат, как хотят. Я сказал все.

Рубцов молчит. Зачем ему говорить, когда за него говорит Марцев, его орудие. Он не знает, что не только Марцев его орудие, но что и он — орудие в руках Марцева. Он не знает о предательстве Марцева. А по должности должен бы знать.

Что сказать в ответ Марцеву? Что может сказать Чумак, потребовавший слова раньше, чем его обдумал? Разве это не правда, что революция продолжается, что классовый враг не дремлет, что нужна бдительность? «Черт вас знает, с какого боку к вам подступиться!» — выпаливает он в бессильной злобе. Он знает лишь, что нельзя позорить Кленова, большевика, настоящего коммуниста.

Что может сказать Кленов? Он чувствует, что идет бой, но с кем, он не знает. Нужно идти в атаку, но за что ухватиться? Такое ощущение, какое было у него однажды в бою, когда японцы пошли на них в атаку, выдвинув перед собой согнанных мужиков: нужно стрелять, а невозможно. Будто его собственное сердце с его мечтой и верой — рубцовы, митины, марцевы превратили в свой щит. Не сводя с Марцева глаз, «осатаневших от боли и ненависти», он все-таки находит, за что ухватиться. Как мог Марцев сказать, что за него и за Беспалова думала сабля? Разве не сердце, не вера, не любовь к родной земле вели их в бой? И это Марцев хочет зачеркнуть! Нельзя позволить этого! Случись война — Кленов снова пойдет с Беспаловым в огонь и в воду. На Беспалова можно положиться. А на Митина нельзя: продаст, сволочь.

На этот раз замысел Рубцова сорвался. Собравшиеся единодушно поддержали Кленова. Рубцов извлек из этого свой страшный урок: «власть имешь, а пользоваться ею как следует не научился. У твоей власти свои особенности... Не в лоб надо, а в спину, в затылок!..» Эта страшная мысль на первых порах, кажется, испугала его самого. Но он дойдет до конца.

На ближайших страницах раскрывается связь Марцева и кулака Лабунца, их нелегальные сношения. Все осталось, как было в 1921 году. Еще тогда перешедший границу белогвардейский офицер Зарубин связал их. Как удалось сохраниться кулаку Лабунцу в полной неприкосновенности, несмотря на ликвидацию кулачества как

класса? В каком качестве он сохранился — в качестве колхозника или единоличника? Читатель знает, что Лабунец хитер и даже породнился с инструктором райисполкома. Но читатель также знает, что для старого партизана, заврайзо Кленова и инструктора райкома партии Чумака не тайна ни то, что Лабунец кулак, ни то, что он отъявленный враг Советской власти. Почему они и пальцем не шевельнули для разоблачения и устранения кулака? Может быть, все это не имеет значения для хода повествования и его идеи? Имеет, и очень существенное.

Дело, конечно, не в том, мог или не мог белогвардейский агент пробраться в партию и в руководители района и в сообществе с кулаком вести подрывную работу, а в том, что в общей картине социальной борьбы, нарисованной в романе, начинает стираться различие между острой классовой борьбой в стране в начальные годы Советской власти, когда решался вопрос «кто — кого», и остатками классовой борьбы после ликвидации эксплуататорских классов и победы социализма. А это в свою очередь неизбежно сказывается на степени исторической справедливости и художественной достоверности при изображении основного драматического конфликта романа, всего того, что связано с нарушениями социалистической законности, в частности с несправедливым арестом Кленова.

В романе все это в основном сведено к проискам проходимца Рубцова, затаившегося кулака Лабунца, «троцкистской мрази» и белогвардейского агента Марцева, к действиям всяких «ряженных». «Ряженных проглядели», — утверждает и Кленов. Создается даже впечатление, что все то, что происходило с Кленовым и ему подобными, было заранее и предумышленно намечено белогвардейцами еще в начале двадцатых годов: «...Есть одно особо важное место у них, куда следует удар нанести...» — говорит калмыковский штабс-капитан Зарубин кулаку Лабунцу. «Нужно делать все, чтобы вызвать сомнения, подозрения в преданности, особенно в преданности тех, кто у них в самом деле по-настоящему предан, кто имеет на плечах настоящую башку, кто силу имеет».

Конечно, и затаившиеся кулаки, и закордонные агенты, и пробравшиеся в партию проходимцы сыграли определенную роль в событиях, развернувшихся в стране

во второй половине тридцатых годов. И, следовательно, в том, как изображает автор эти события, немало правдивого. Но вряд ли здесь полностью раскрыта и объяснена история Кленова и другие столь же драматические судьбы. Роман Н. Шундика стал бы содержательнее, если бы писатель более углубленно показал смысл и значение мероприятий партии по преодолению извращений и ошибок, связанных с культом личности, по восстановлению ленинских норм партийной жизни.

Читатель продолжает чтение.

По инициативе Кленова в районе идет раскорчевка тайги и уничтожаются межи для расширения пашен. Кленов сам работает вместе с народом, с азартом и трудовым подъемом выкорчевывая пни. Группе комсомольцев во главе с Чумаком он поручил помочь колхознику Евсею Маракуеву, в свое время вступившему в колхоз одним из первых, а сейчас, когда дошло до ликвидации меж, затосковавшему. На его бывшем поле межи были широкими, они густо поросли орешником, бояркой, березой и не только отделяли прежнее его поле от соседей, но делили и его землю на несколько участков. Он воспротивился их уничтожению. «Головой вполне понимаю — рубить, жечь их надо, чтобы, значит, разворот для техники... а я не могу». Когда комсомольцы пришли помочь ему, он взмолился: давайте кое-что пересадим во двор, на улицу вдоль забора. Комсомольцы согласились и целый день были заняты пересадкой берез. Когда Чумак рассказал об этом Кленову, тот очень обрадовался. «Вот если б поручили мне какое-нибудь политзанятие проводить на тему, как, значит, настоящим большевиком быть, сыном народным... Я бы сказал коротко: «посади свою березу, как это сделал мой закадычный друг Никифор Чумак!»

Береза как символ человеческой доброты, участия и отзывчивости утверждается вновь. Но зачем при этом насильственно приписывать чистому и поэтическому чувству Евсея Маракуева собственнические мотивы — совершенно непонятно. Кленов говорит: «Не только же землю корчем. Мужуку и в собственной душе, слава богу, есть чего покорчевать... своя пашня исчезает, с общей соединяется». Но ведь не это руководило Маракуевым, когда он «жалел» межи, он давно слил свою пашню с общей, а межи дробили и его собственную пашню

к явной его невыгоде. Ему потому жалко меж, что он на них «каждый кустик» знает, «каждую березку», он «рос вместе с ними». Это сильное и обогащающее человека чувство привязанности к своему детству и светлым воспоминаниям — зачем же на него наклеивать ярлык собственничества, обкрадывая его? А если имелось в виду изобразить шевеление собственнического инстинкта, так это нужно было именно изобразить, а не наклеивать этикетку. Странная любовь к этикеткам!

Драма Кленова приближается к развязке. Рубцов побуждает кулака Лабунца дать показания, что он видел, как к Корнею Кленову приходил брат его Кирилл, белоэмигрант. Рубцову повезло. Вскоре Кирилл, не принимавший никакого участия в антисоветской борьбе и ушедший с белыми из-за любви к дочери белогвардейца, действительно перешел границу, чтобы отдаться в руки властей и вымолить прощение. Он пришел в дождливую ночь в отцовский дом, к Корнею. Корней, поверив его раскаянию, повел той же ночью в район. По дороге их перехватил Рубцов с помощниками. Теперь Рубцов мог предъявить доказательства о пособничестве Кленова брату-белобандиту, которого он хотел бы самолично переправить в глубь района.

Это было, конечно, не только драмой Корнея Кленова, а и Чумака и Гуреева. Что могли они сделать перед лицом неопровержимых фактов? Они знали, что Кирилл Кленов — опасный враг. Доказано, что Корней вел его тайгой, чтобы укрыть от чекистов. Это доказал Рубцов. Сказалась, по-видимому, родная кровь. А обезвредил врага — Рубцов.

Теперь читатель знает все о Чумаке и Кленове. Долгий рассказ о прошлом закончен, экспозиция завершена. Теперь начнется роман.

Атмосфера тайны вокруг предстоящей встречи героев романа, в которую читатель вступил на первой странице книги, теперь рассеяна, но остается жгучий интерес к встрече со стороны его персонажей. Она должна разрешить какие-то еще не вполне ясные моральные проблемы, возникшие у взвинченного донельзя Панкурова, в ней ждет подтверждения своей партийной позиции Коломеец, уверенный, что эта встреча не даст оружия демагогам, пылает азартным вожделием Поляков, который как раз рассчитывает на такое оружие, ожидая в Кленове встретить союзника в

борьбе против Чумака. Читатель вправе рассчитывать: встреча состоится, отношения определятся, и начнется действие романа, которое, конечно, будет состоять, как это подсказывает тема, в ликвидации последствий культа личности. Действие романа начинается через три месяца после XX съезда, протекает оно в колхозе, и это в значительной степени определяет развитие темы.

Однако встреча надолго и заметно искусственно откладывается. Зачем? Автору нечем заменить это средство возбуждения читательского интереса, не на чем строить напряженный сюжет? Но этим обнажается чисто формальное назначение торможения встречи. К сожалению, при этом в облике героев возникает болезненная нотка смакования боли. Кроме того, фабульная роль ожидания встречи постепенно погашается. Многое из того, что ожидается при встрече, происходит до встречи. Поляков, например, до нее осуществляет атаку на Чумака.

Сцена, рисующая бой между ним и Чумаком, пожалуй, написана даже сильнее сцены боя Кленова с Марцевым. Поляков явно стремится превратить критику культа личности в критику советского строя и партии. Он перечеркивает достижения советского народа в довоенные годы, огромную роль партии в годы Великой Отечественной войны и не видит в деятельности И. В. Сталина ничего, кроме ошибок. Коротко говоря, Поляков ведет себя как демагог и политикан ревизионистского пошиба. Чумак с яростью отвергает клевету и ложь Полякова. В отношении народа к Сталину, говорит он, была и безграничная вера в партию, и любовь к Ленину, и гордость победителей. Как можно говорить об ослеплении тысяч и тысяч, когда они создали такие домны, заводы, фабрики, спасли мир от фашизма! Поляковы больше рады нашей беде, чем удручены. «Бей, громи все, решительно все, что хоть чуть связано с именем Сталина. А потому нетрудно понять, на что вы замахиваетесь, хотя сами, возможно, и не подозреваете...» —разоблачает Чумак демагогию Полякова. Искренняя, проникнутая непобедимой верой в партию отповедь ревизионисту приобретает особую силу оттого, что читатель в ней улавливает биение ищущей мысли и неподдельную страсть.

Этой сценой завершается сюжетная линия, развивавшаяся до сих пор в повествовании. Далее сюжета не будет. Будет обо-

зрение. Часть материала будет обобщаться Кленовым, часть Чумаком. Часть материала будет вне их обозрения — например, история убийства одного из сыновей Панкурова; будут также отдельные любовные эпизоды. Не будет романа, будут разрозненные его листки. Словно ветром разметало их. Что это за ветер? Это ветер лжеромантики.

Кленов заново постигает мир, от которого был оторван. Давнишний враг Кленова, Терентий Лабунец, зашел к нему, чтобы посмотреть, не сломлен ли старый партизан, не вспылал ли он ненавистью к тому, что так любил и отстаивал, не щадя крови. Он мог убедиться, что Кленов не сломлен, по-прежнему верен он своим идеалам и так же, как прежде, пламенна его ненависть. Теперь Кленову в свою очередь нужно убедиться, верна ли жизнь его идеалам.

Однажды он взобрался на высокую кручу над рекой и стал наблюдать, как сплавщики леса ликвидируют образовавшийся затор. К месту работы подъехала машина. Это приехал директор леспромхоза Степан Маракуев. Кленов знал его мальчишкой, теперь на его груди звезда Героя Советского Союза. Машина увязла в песке. Кленов видит, как у машины появился худощавый, шупловатый человек с черной повязкой на глазу. Кленов с кручи не только все видит, но и слышит каждое слово, это условие надо принять. Человек с повязкой сел на место шофера. «Давай, давай, утри нос, Тимофей Сапожков, этому увальню, — предложил Степан Маракуев, — покажи ему, что такое есть настоящий солдат!» Кленов всматривается в незнакомого человека, прислушивается к его спокойному голосу. «Угадывая в бывшем солдате неужинную силу, ту непокорную силу, которой он хорошо знал цену, Корней Севастьянович пытался осмыслить и очень понятное для него и в то же время воистину непостижимое — подвиг народа». Он видел Золотую Звезду на груди Маракуева, но в Сапожкове «он чувствовал нечто такое, что куда полнее удовлетворяло его изголодавшееся любопытство». Когда потом Кленов будет разговаривать с другими хорошими людьми, он будет видеть в них человека с черной повязкой, Сапожков будет двоиться, тройиться в его глазах, он будет как бы приговаривать: «Ты давно знаешь меня, с самой молодости». Кленов, следовательно, через этот образ устанавливает

«связь времен», связь героики прошлого с героикой настоящего. А какой же это образ? Что он видит в нем? «Нечто». А что увидел читатель? Маленькую услугу проедем: вызволил машину. И на это накладывается огромное понятие подвига народа, «нечто» и т. д. Это художественный произвол, с ним читатель уже встречался, когда терпеливость к физической боли была объявлена рождением нового человека.

Впоследствии автор еще столкнет Сапожкова с Кленовым, завертит его в обзорении, как бы ушивая романтическую мантию, с размаху наброшенную на Сапожкова. Во время их разговора с Кленовым к Сапожкову подходят люди: соседка с просьбой заклеить резиновый сапог — Сапожков соглашается; пожилой мужик просит прийти посмотреть хворого кабана — Сапожков обещает; девчонка прибегает с требованием уничтожить у них тараканов — Сапожков готов. Кроме того, Сапожков на дощечках выписывает имена свиней для колхозной фермы. Устанавливается, следовательно, что Сапожков, во-первых, умелец на все руки, во-вторых, готовый услужить людям человек. Не зря, следовательно, Кленов увидел в нем нечто. «...Потому как у него не может быть желаний других, кроме самых добрых, для многих людей полезных», — вещал символ березы.

Кленов приходит на колхозный двор. Он жадно ищет хоть что-нибудь из прошлого, что-нибудь такое, что он держал в руках, когда создавал колхоз. Он обнаружил при этом, что упряжь находится в запущенном состоянии. В показательном порядке, окруженный толпой, он принимается ее чинить. Плохое состояние упряжи — это что, показатель упадка колхоза? Неизвестно. Да, очевидно, автору кажется и неважным. Что же важно? Может быть то, что о Кленове заговаривают по всей деревне? И то, что Кленов скажут спасибо за науку? Значит, демонстрация Кленова повлияет на отношение колхозников к колхозу? Неизвестно. Вероятно, и это неважно. Что же важно? Нечто: «Медленно оглядывал Корней Севастьянович общественный двор, почти с суеверным чувством человека, ищущего нечто гораздо большее, чем клад». Что же именно? Связь времен? Живые традиции? Означает ли рваная упряжь их исчезновение? Означает ли починка — восстановление? Неизвестно. Неважно. Что же важно? Туманное нечто.

Кленов был первым председателем кол-

хоза в Кленовке. Читатель не знает, каким он был председателем, как руководил хозяйством. После он стал заведующим райзо. Известно, что по его почину корчевалась тайга и уничтожались межи, известно также, что он внимательно и тактично вовлекал людей в колхоз; для экспозиции, для подступа к роману, для картины нарушений социалистической законности, которая тогда изображалась, этого было достаточно. Теперь он вернулся в колхоз и жадно всматривается в советскую действительность. Странное дело: в романе не оказывается колхоза. Повествование лишено своего центра, сердцевины. Роман — о ликвидации последствий культа личности. Ошибки и ненормальности в сельском хозяйстве в период культа личности заключались в недооценке материальных стимулов, в сужении творческой инициативы масс. Уже три года до возвращения Кленова они устранялись, чего же ищет Кленов в советской действительности, если не глядит в эту сторону? Нечто? Через два года он станет председателем колхоза. Председатель будет, а колхоза не будет. Будет принятое им решение об одном агротехническом мероприятии, будет пробный выезд техники, будет его личная работа по починке телеги, но не будет организатора масс, не будет картины социалистических отношений. Колхоза нет в романе. Да не будет и председателя: есть Кленов-шорник, Кленов-тележник, Кленов-кладовщик.

Но зато тем обильнее иллюстрации, в особенности иллюстрации, показывающие в разных видах секретаря райкома Чумака. Их можно обозревать в любой последовательности, они легко тасуются. Чумак разговаривает с заведующим сельскохозяйственным отделом Тимошиным и думает о том, что тот по всем признакам больной и усталый человек, и Чумак звонит потом в больницу, спрашивается о состоянии здоровья Тимошина. Это иллюстрация заботливости секретаря, которую он в себе сознательно воспитывает. Тимошин специально для этой цели появляется и тотчас же из романа исчезает. Вот Чумак с секретарем комсомола объезжает поля и там сталкивается с формалистом-инспектором — это иллюстрация того, как Чумак, не связывая инициативы комсомола, руководит им и помогает в борьбе с бюрократическими пережитками. Специально отобранный для этой иллюстрации персонаж возникает и исчезает. Вот иллюстрация того, как конкретно

руководит Чумак сельским хозяйством: он колышками проверяет, правильно ли нарезаны квадраты на картофельном поле. Вот он созывает к себе стариков, за одним из них даже шлет свою машину, чем приводит старика в неопишное волнение. Самая беседа за столом с самоваром не воспроизводится, но зато: «взволнованный этой встречей, он обещал не терять со стариками связи, причем обещал клятвенно, не стыдясь своей сердечной размятченности. А деды все это видели и награждали его своей почтительностью, которая имела особенную цену — цену святых седин».

В романе видную роль играют тема воспитания молодежи и образы молодых людей. Однажды к старику Панкурову приходит девушка из райкома комсомола для серьезного разговора о его сыне Юрии, нигилизм которого очень беспокоит комсомольцев. В конце этого неприятного Панкурову разговора он, желая несколько осадить девушку, говорит: есть вещи, понимание которых необходимо для уяснения проблемы так называемого нигилизма. Что это за вещи? — спрашивает девушка. «Вы молоды и вряд ли знаете... ну, например, о том, что произошло с нашим известным дальневосточным партизаном, замечательным товарищем, Корнеем Севастьяновичем Кленовым...»

Щеки девушки обескровило. Она втянула голову в плечи, как бы ожидая еще одного удара откуда-то сзади. Но вот медленно выпрямилась и сказала:

— Знаю. Я его дочь».

Это сильное место. Тем внимательнее ищет читатель рассказа о том, как выросла Таня в сознательную, активную и преданную комсомолку, несмотря на трагическое событие, омрачившее ее отрочество и юность. Он найдет об этом только одну сцену. Пионерка Таня однажды пришла домой в слезах: «Мама, почему мне сказали, что отец мой враг народа? Ты же говоришь, что он хороший, очень хороший...» Кленовой от горя хотелось заголосить. Но нельзя ранить ребенка, и она объясняет: дочь должна знать, верить и помнить — отец ее замечательный человек, настоящий коммунист, но он оклеветан нехорошими, подлыми людьми.

Панкуров однажды с горечью говорит сыну: «Если б я воспитывал тебя так, как воспитывала свою дочь Екатерина Кленова». Как же она воспитывала? Если уж

этот вопрос прямо поставлен в романе, где ответ на него? Почему такое неравномерное внимание: исчерпывающий рассказ о том, как последствия культа личности искалечили юношу Панкурова, привели его к цинизму и нигилизму, и решительно никакого внимания к тому, как жизнь, советская действительность позволила сохранить душевное здоровье девушке, несмотря на тяжелую рану?

В романе даны привлекательные образы молодежи. Правда, они силуэтны. Молодые люди совершают хорошие поступки, им свойственны добрые устремления. Но как они сформировались, не изображено. В одном месте Донник говорит, что знакомой ему молодежи свойственно «удивительно целомудренное, святое отношение к продукту, добытому руками человека. Слово молоко для них так же свято, как и слово хлеб». Как возникла эта черта, в чем она выражается? Валя Маракуева, образ которой разработан полнее других, решила по окончании десятилетки стать дояркой. Она выбрала себе в руководительницы двух доярок, которые особенно любовно ухаживали за коровами. Она учится у них не только профессии, но и жизни. С «раздумчивой выведчивостью» она присматривается к ним. У Глаши в глазах она увидела доброту, нежность, веру в неистребимость счастья, бесстрашие, мудрость бесстрашия, бесстрашие чувств, выстраданной веры, целомудрие, чистоту, верность... Как проявляются эти чувства, скажем бесстрашие и выстраданная вера, у этой немолодой колхозницы? Перечень чувств так велик, что Глаша безусловно нашла бы им применение в строительстве колхоза, в общественном деле. Она любит корову-кормилицу. Утолить свою любовь она могла бы ведь в уходе и за своей, ей принадлежащей коровой. Но она работает в колхозе. Что побуждает ее? Материальная заинтересованность? Забота о благосостоянии колхоза? В чем она проявляется? У нее нет, а у кого проявляется? У Анфисы Капустиной, второй учительницы Вали? Но у нее Валя учится лишь трудной любви к мужу. По-видимому, и к Анфисе относится впечатление, вынесенное Валею от Глаши: Валя поняла, «что перед ней человек, которого не измеришь глубиной подойника». Как-то автор не заметил, что в этой звонкой фразе прозвучало нечто вроде пренебрежения к той главной мере, какой мерится человек в нашем обществе, — к мере

трудом, направленным на благо народа. Игнорировать эту меру как недостаточно, что ли, целомудренную, значит видеть святость лишь в слове «молоко», в слове «хлеб», а не в народном счастье, не в труде, создающем это счастье. Осознанные народные интересы участвуют ли как-нибудь в формировании «свети-цвета», то есть идеалов молодежи? Вообще существуют ли какие-нибудь материальные стимулы в жизни и труде героев романа, всех вместе и каждого в отдельности? Только у спекулянтки Насти. Лишь однажды, где-то в конце романа, секретарь райкома обронил о третьестепенном персонаже слова: «ему важен итог — большие урожай, богатый народ». Само собой разумеется: если юноша интересуется трактором и в нем видит свой «свети-цвет», если он копает картошку, а старик наводит чистоту в коровнике, то они работают на пользу народа. И случилось так, что безмолвное само собой разумеется воспрепятствовало художественно-образному выражению идеи блага народа, не позволило высветить ее. Повествование уходит от этой задачи либо взлетая вывесь, в риторику о заветном «свети-цвете», полете в полкрыла или в целое крыло, либо впадая в плоскую натуралистическую иллюстративность. Влечение к декламации так неукротимо, что доводит до смешного. Десятиклассники Рома и Валя «выкраивали время для встреч, для своих горячих молодых дум, освещенных все тем же заветным свети-цветом взметенной, выношенной, выстрадаанной мечты». «Выстрадаанной» — имеется в виду необходимость учить уроки, не так ли?

Тема народного благосостояния, совершенно необходимая этому роману, засушена декламацией.

Несмотря на то, что все герои произведения находятся в прямых отношениях к колхозу, — кто в качестве председателя, кто в качестве доярки, кто в качестве секретаря райкома, — их интерес к коллективному богатству и его умножению, к колхозным достаткам, к формам их использования, то есть к смыслу существования колхоза, не стал объектом изображения, выпал из сюжета, и сюжет стал распадаться. Лишенное центра, общей оси повествование приобретает непомерно экстенсивный характер, разрастается вширь за счет все новых и новых эпизодов, призванных заполнить образовавшуюся брешь. Это и сплав леса,

и забота о сохранности рыбных нерестилищ, и работа сельмага, и дорожное строительство, и пахота отвальными и безотвальными плугами, и сев протравленными и калиброванными семенами, и участие школьной детворы в полевых работах, и значение труда в колхозе окончившей десятилетку молодежи, и проблемы воспитания, и проблемы взаимоотношений между МТС и колхозами, и международные проблемы и темы. Примечательно, что в суетливом мелькании этих не сопряженных в единый сюжет эпизодов то тот, то иной герой не находит себе никакого дела, никак не может включиться в действие, оказывается лишним в романе. Не находит себе места, например, директор МТС Башлаков: вся его функция в производстве состоит в том, чтобы завязать однажды разговор, очень общий и неконкретный, о неблагоприятии в отношениях с председателями колхозов, то есть в том, следовательно, чтобы включить и эту тему в роман.

И не только второстепенные персонажи, каким является Башлаков, а и некоторые главные, ведущие его герои оказываются решительно не у дел. Такая злая участь постигла Коломейца, она его преследует с начала романа, преследует она его и после того, как он стал председателем райисполкома. На том маленьком пятачке, который ему отведен для действия в боковой ветви перечисляемых в романе событий — в раследовании бесхозяйственной вырубки леса, — он топчется совместно с секретарем райкома, и двоим им делать здесь нечего. Коломеец из романа выпадает, он был поделен в него и удерживается в нем мерами искусственными, такими, например, как его искусственная влюбленность в юную Таню Кленову. Этот мотив никуда не ведет ни героя, ни читателя, а случайность и хилость его выявляются тем сильнее, чем больше герой напрягается. Вот каким он предстает в этой своей влюбленности: «Павел Степанович переплел на груди сильные, необычайно отяжелевшие руки. Так переплел, будто сам же нсмилосердно скрутил их, сковал железом. Преодолев смущение, Таня невольно залюбовалась им, так и не поняв, что он зацепил ее внимание своей мужественной сдержанностью». Читать это тяжело.

Незаконмерно долго задерживаются в романе два персонажа, ненужные уже после первой его части, — Рубцов и Митин. Митин полностью разоблачен на второй

странице романа, но в первой части читателя еще может интересовать его прошлое, во второй же и третьей он топчется без всякой надобности, увеличивая неорганизованность повествования и его растянутость. А зачем упорно и долго сохраняется Рубцов? Ему бы надлежало исчезнуть еще за два года до возвращения Кленова, для его пребывания в романе нет не только художественных, но и «юридических» оснований. Между тем он бережно сохраняется и в конце романа, в его предпоследней главе, всплывает на поверхность. Вот за чем.

Рубцов устраивается на должность начальника пожарной лесной охраны и участвует в незаконной продаже леса. Чтобы спрятать концы в воду, он поджигает тайгу в месте, где находилась заготовленная древесина. Его застигает за преступлением лесной обходчик. Рубцов выстрелом сваливает обходчика. На просеке появляется автомобиль. Из него выскакивает собака. Собака сбивает с ног Рубцова. Рубцов теряет сознание. Он приходит в себя уже связанным. Подле него стоит Донник.

Название главы «Поединок окончен» неожиданно открывает читателю тайну: оказывается, на протяжении всего романа шел поединок. Донник так мало участвовал в событиях, что трудно было об этом догадаться. Теперь поединок уже окончен? О нет, это было бы недостаточно эффектно для жгучего лжеромантизма. Это была бы неполная «романтика». Вот полная: «Уйди, наконец,— произносит Рубцов. Это слово будто взорвало Донника. Он ударил Рубцова прямо по лицу, наизмашь, а потом еще и еще раз. Он бил связанного Рубцова прямо по лицу и считал себя правым...»

Он считал себя правым. Не только он, иначе этого эпизода не было бы в романе. Но это не только неудачный эпизод. Донник находится при исполнении служебных обязанностей. Он — работник госбезопасности. Он стоит на страже социалистической законности — и он же считает возможным применять к арестованному методы физического насилия. Благородный, бесстрашный, участливый, сердечный, легендарный Донник.

Если нужно выбирать между лжеромантикой и искажением образа, пусть гибнет образ, но живет «романтика»!

Что было бы, если бы подобное искаже-

ние коснулось не образа, в сущности бездейственного, включенного в произведение довольно искусственно и легко из него изымаемого, а органически входящего в систему его образов? Было бы искажено все произведение.

Недостатки художественного произведения никогда не имеют для него столь постороннего и случайного значения, какое имеет, если можно воспользоваться заимствованным сравнением, дохлая кошка для асфальтированного шоссе,— разве только такой недостаток, как описка, обмолвка, фактическая ошибка, неточная деталь второстепенного образа. Похищенное нами сравнение вряд ли так уж метко прежде всего потому, что художественное произведение — живой организм. Подобно тому как фальшь в поведении человека если не всегда, то чаще всего не безразлична для его характера в целом и отравляет радость общения с ним, фальшь в художественном произведении, даже имеющая как будто частный характер,— тревожный симптом. Склонность к абстрактной возвышенности, насторожившая читателя на первых страницах, явилась вместе с тем предвестием большой беды, ждущей его впереди. Беда состоит на этот раз не столько в искажении образов фальшивой романтикой, как это произошло в романе Очеретина «Саламандра», сколько в опустошении произведения. Суховой абстрактной псевдоромантики иссушил сюжетную основу произведения начиная с конца первой его части, рассыпал его на отдельные страницы, картинки, повествование заметалось, то воспаряя в чистую сферу абстракции, то расхибаясь о безжизненную плоскость натуралистической иллюстративности. Обескровилась идея произведения, его тема, его замысел. Исчезла тема народного блага, и тема борьбы с культом личности развивается вне ее.

Можно, конечно, возразить: такая оценка зачеркивает произведение, а между тем в нем есть талантливые и сильные места, привлекательные черты положительных героев, трогательные силуэты славной молодежи, лиризм и драматизм любовных эпизодов, в которых иной абстрактный во всем остальном образ обретает какие-то живые черты, как это происходит, например, с Таней Кленовой. Или вот, скажем, сюжетная линия, связанная с лесосплавом и бесхозяйственной вырубкой леса,— хотя

она и отслаивается от произведения, но если ее дорисовать и плотнее срастить с сюжетом, то разве не помогла бы она раскрытию темы о благе народа? Зачем же так предвзято зачеркивать произведение? Но зачеркивает не оценка. Зачеркивает — если не все, то слишком, слишком многое — дурно понятая, фальшиво примененная, там украшательская, здесь сенсационная, но и там и здесь абстрактная, безжизненная, уводящая от действительности,

выспренняя романтика. Если заботиться о повышении художественного уровня литературы, нужно об этом сказать определенно и прямо, и тем определеннее и прямее, чем явственнее признаки талантливости произведения. Если не только на словах ратовать за повышение художественности. Если дорожить романтикой — ярким, могучим средством воплощения правды, составной частью социалистического реализма.



---

## ДВА СБОРНИКА РАССКАЗОВ

Ф. СВЕТОВ

★

### *Трудные поиски*

**В**ышедший в этом году в Москве в издательстве «Молодая гвардия» сборник рассказов Николая Воронова «Ожидание» — третья книжка даровитого уральского рассказчика. Две предыдущие выходили на Урале — в Челябинске и Свердловске, — многие из рассказов печатались в журналах. Но ощущение чего-то знакомого, хорошо и давно знакомого возникает не потому, что кое-что из собранного в «Ожидании» читал и помнишь. Писатель рассказал о том, что лежит возле нас и словно бы примелькалось, рассказал о знакомых нам людях. Да и рассказало о них не претендующие на особую занимательность истории. Добираются горожане до дома после дня, проведенного на рыбалке, едут на попутной машине и, случилось, поскандалили с пьяным хамом; кассирша, не дождавшись машины, в пургу, пешком отправляется в свой поселок, чтобы вовремя выдать людям деньги; молодая женщина, устав от домашних забот, предлагает мужу помочь ей... Да и «выводы», итоги рассказанного на первый взгляд не слишком значительны: не надо равнодушно проходить мимо безобразия; к делу своему, даже самому маленькому, следует относиться добросовестно; в семейной жизни не мешает быть справедливым и чутким... Люди, которые примелькались, ситуации самые будничные, и в итоге — вроде бы прописи! Но рассказы читаются, герои живут, заставляют задуматься о своих судьбах.

Казалось бы, ясно, что Николай Воронов принадлежит к тем писателям, которые интересуются прежде всего и по преимуществу «частным», занимаются «второстепенным». Правда, делается это не из принципиального небрежения к «высокому», но из убеждения, что мелкого в искусстве не бывает, что глубина постиже-

ния действительности может придать высокий смысл самому «низкому», или, говоря известными словами Герцена, «искусство не брезгливо». Да, но только тогда, когда речь идет об искусстве, для которого все, что происходит в мире, — материал для размышлений о судьбе человека и человечества.

Книга Воронова — любопытное доказательство того, что выбранный писателем путь сложен. Рассказывая о «частном» и «незначительном», можно ведь и остаться всего лишь частным и незначительным — остаться за пределами искусства. Точность примет, «похожесть» всего, что происходит в произведении, на то, что «бывает в жизни», может ведь остаться только правдоподобием. И вся «хитрость» писательского ремесла состоит в некоем «колдовском» превращении каждодневного, примелькавшегося — в поэтическую правду искусства. Без этого «колдовства», или — что то же самое — без поэтической правды, авторского замысла, без умения в малом разглядеть очень большое и для всех важное, без глубокого осмысления жизни — рассказанное не просто перестанет быть литературой, оно теряет даже и достоинства внешнего правдоподобия, оборачивается безвкусицей, а то и пошлостью.

Все эти мысли возникают при знакомстве с рассказами молодого уральского писателя, собранными в его последней книжке. Кстати сказать, перед нами писатель вполне сложившийся, удачи и неудачи в его рассказах, сильные и слабые их стороны объясняются не отсутствием мастерства, «умения», но причинами внутреннего характера, во всяком случае они вполне «сознательны».

Все, что говорится, скажем, о кассирше Симе из рассказа «Кассирша», кажется нарочито «будничным», «заземленным». И ли-

цо у нее «какое-то серое», «глаза блеклые, без блеска», и «первая молодость уже прошла», и работа в бухгалтерии давно ей опостылела, и даже воспоминания о коротком счастье замужества у нее какие-то скучные: и муж был «некрасивый, маленький», и погиб он бессмысленно и глупо... Но вот — одна фраза в самом начале рассказа. Говорит ее уборщица тетя Лиза, раздраженная, усталая от работы женщина. «Хорошая у тебя специальность, — неожиданно говорит тетя Лиза, узнав, что Сима едет за деньгами, — радость людям приносишь, не то что я...» И мы понимаем, что это не проходная фраза и не банальность: все, мол, профессии хорошие и важные. Тетя Лиза и говорить-то с Симой начала только потому, что просто хотела узнать, будет ли та «получку нынче... выдавать», да и спрашивает она Симу, «поджав губы», не забыв прошедшей только что стычки в умывальне («Опять нальют, чтоб вас нелегкая взяла! Они вылеживают, а я убирай»), спрашивает только потому, что «вопрос этот служебный и личные их отношения тут ни при чем». Никак не собиралась тетя Лиза всякие слащавости говорить. И вот неожиданные эти слова — «хорошая у тебя специальность: радость людям приносишь», — словно бы и незначительные, начинают окрашивать все, о чем рассказывает писатель, в совершенно новые краски. И мы по-другому уже видим Симу, ждущую, что ее все-таки заберут «из кассы» и она «сменит эту скучную работу на другую, интересную и почетную, как у бульдозериста шагающего экскаватора Коли Генералова»; Симу с ее раздражением и неприязнью к пошлостям другой кассирши, Бельской («Эх, была бы я помоложе, зацапала бы его!.. Познакомить?»). Нам внятно тихое Симино «Не любите вы людей» в ответ на уверения Бельской: «И никто нас ни в чем не упрекает: пурга, стихия. Мы с вами скромные кассирши, а не полярные летчики». И понятной делается ссора Симы с сестрой — красивой, благополучной женщиной, эгоистичной и мелкой. «Эх, ты, а еще человек!..» — только и сказала Сима, расставаясь с сестрой, не выдержав унижительного положения приживалки, в которое та ее поставила. И смерть ее мужа, Лени, носившего «для солидности» очки, похожего в них «на академика», скромного человека, лучшего токаря-универсала завода, кажется уже не

глупой и бессмысленной, но трагической — так счастлива была с ним Сима. Да и весь рассказ, в котором проявляется характер героини, — обыкновенная, будничная история, «никого не удивившая», — становится поэтическим повествованием о человеке интересном и своеобразном, повествованием, очень далеким от лежащей на поверхности схемы: «добросовестное отношение к своему делу».

Или — другой рассказ, «Нейтральные люди». С первых же страниц он освещен воспоминаниями героя рассказа, от лица которого ведется повествование, о своем детстве. Встретился герою, дождавшемуся попутной машины, некто Чурляев, мастер по паровым турбинам, и он вспоминает, что еще мальчишкой, бывало, неизменно восхищался Чурляевым, что вместе со своими сверстниками считал его удивительно интересным человеком, вызывающим постоянное уважение окружающих. Вспомнил и дочь Чурляева, в прозрачном шарфе из козьего пуха, хрупкую, с тонкими руками, и песню ее: «На кораблях матросы злы и грубы». И воспоминания эти, и желание «вернуться в ту пору, что теперь называешь детством... и не мужчиной, каким стал, а тем же мальчиком, лишь с умом взрослого», и грустное заключение: «Но навсегда отрезана дорога в детство. И не узнаешь, не услышишь, не высмотришь того, чего не узнал, не услышал, не высмотрел тогда», — все это словно бы и не имеет отношения к рассказываемому. Но в то же время это создает ту атмосферу чистоты, верности чему-то очень важному, представление о чем сложилось еще в детстве, такому, с чем никак нельзя примирить пьяную разнузданность кичащегося своей тупой силой пустельги — «хозяина» машины, в которой едут Чурляев и его попутчики. И твердый, спокойный отпор, который дает «волжскому богатырю» Чурляев, и трусливый «нейтрализм» присутствующих при сем мужчин и женщин превращают эту внешне незначительную сцену в гневный рассказ о неприятии всякого равнодушия и нейтрализма, в рассказ о жизни.

Но вот перед нами «Бунт женщины» — рассказ для автора, очевидно, важный: один из его сборников, вышедший в Челябинске, так и называется «Бунт женщины». В нем много милых и верных наблюдений над жизнью школы, где работает героиня, учительница Наташа, над

жизнью детского дома, в котором воспитывается «трудный» Саша Вишняков, ожесточенный, замкнутый, «неисправимый», но все это — только фон, только подробности, не растающие органически в придуманный автором конфликт, конфликт словно бы и чрезвычайно жизненный и даже немаловажный и уж, во всяком случае, «похожий» на то, что «бывает». Избаловала Наташа мужа: все в доме делает сама — и готовит, и стирает, и с ребятами возится, да и в школе работает много, а он только на работе устает. Похоже? Да, похоже. Но достаточно ли этого для рассказа, торжественно названного «Бунт женщины»? Это несоответствие между незначительностью происходящего — и задуманной, видимо, автором серьезной драмой, между верностью подробностей — и отсутствием внутренней большой жизненной правды создает ощущение никчемности всего, о чем автор так умело рассказал.

«Федор, Федор, что будет-то с нами? Неужели твое возвращение не вернет прежних, солнечных чувств?..» — думает Наташа в конце рассказа, когда муж возвращается после почти двухнедельного отсутствия, «уйдя» из дому в знак протеста против попрания его «мужских прав». «Кто знает, каким он пришел, — продолжает мысленный монолог Наташа, — возродил ли в себе все то, что она любила, или остался таким же ненавистным, как в минуты раздора? А вдруг она останется холодной к Федору?» Что будет дальше с молодыми супругами, из рассказа действительно неясно; похоже по всему, что и Федор не «возродит» в себе «солнечных чувств», да и Наташа, пожалуй, «останется холодной» к мужу: не ребенок ведь он, чтобы ему все безнаказанно спускать, — ушел да пришел. А впрочем, может быть будет и по-другому: будут и «солнечные чувства», распоят они «холодность», «возродят» «все то...» Но где же мысль писателя, ради которой он взялся за перо, чувство, пробужденное только что услышанным, любовь или ненависть, которыми одушевлен автор? Что-нибудь, кроме того что посуду мыть надо сообща, тем более когда и жена занята по службе, да и кашу порой не грех мужу сварить самому и ребятам носы вытереть? Но, кроме этого, нет ничего.

И как характерно, что отсутствие мысли неминуемо сказывается на художе-

ственных достоинствах написанного. «От верхушки фикуса отвалился желтый, дырявый лист, жестяно прогремел по веткам» — такой фразой завершается рассказ «Бунт женщины». Что означает это участие живой природы в развернувшейся перед нами драме? Что чувства героев уже не «возродятся» и не «вернутся»? Во всяком случае, дидактизм и безвкусица последнего образа вполне соответствуют поведенной нам прописной истине.

В чем тут дело — в нетребовательности? Или в нежелании искать необычное и значительное в самом незначительном и примелькавшемся?

И еще один рассказ, как будто о «сложной» любви, — «Сосед». Герой его — художник Георгий Жмыхов, к которому автор относится хорошо, всячески оправдывая и «понимая» его, которого любит справедливый и «тонкий» человек, старик Михеич («Гошенька, ядрена Феня, соскучился я по тебе!»), — рассказывает историю своей запутанной любви. Полюбил он девушку Олю, и она его полюбила, но потом Жмыхов уехал на Урал, начал работать в театре и увлекся Юлей — актрисой «огненного таланта». Но как-то, когда Юля узнала про Олю и пристыдила Жмыхова за его «забычивость», устыдился и сам Жмыхов, написал Оле письмо, где «покаялся в глупом молчании и, конечно, в том, что чуток увлечен актрисой Юлией Косенко». В ответ пришла телеграмма: «Оставь меня в покое. Чужая Ольга». Тут уж Жмыхова забрало, роман с Юлией уже не клеится, а он отправляется в Москву. Ольга тем временем с отчаяния вышла замуж. Она несчастна, муж — «крохобор» и привереда. Она согласилась встретиться со Жмыховым, они проводят вместе день и ночь, потом «еще день и еще ночь», а наутро он «поднял Ольгу на руки и понес через лес. Она не сводила с меня глаз, лучащихся, торжествующих».

Но тут же непостижимым образом в голову Жмыхова приходит, «пронизывая всего», мысль: «Вот так же, как я нес Ольгу, должно быть, носил ее Убейков (муж Ольги. — Ф. С.), и она была счастлива. И, кто знает, не случилось ли этого с Ольгой до замужества и не повторится ли после того, как я свяжу с нею свою судьбу? И опять-таки кто знает, что ею руководило, когда она выходила замуж, и какие побуждения привели ее в отцовскую квартиру, когда она узнала, что я

приехал? Большая любовь или чувственность? Бескорыстие или хитро выверенный расчет?» И хоть говорит Ольга, что оставляет мужа и перебирается к отцу, Жмыхов уезжает, оставив записку: «Еду к себе на Урал. Работать и искать, искать и работать. Счастья тебе превеликого!» А потом оказывается, что Ольга родила сына: «Твоего сына, Гошку»,— написал Жмыхову приятель. Но ребенок через месяц умер, Ольга бросила институт и уехала работать на Диксон.

Вот, собственно, и вся история. И дело даже не в том, что облик героя рассказа, несмотря на все «понимание» автора и любовь старика Михеича, читателю никак не кажется привлекательным (да и не нов такой образ — мало ли встречалось в литературе покорителей женских сердец, под «благородными» причинами сбежавших в решительную минуту). И даже не в неожиданном выводе автора: «Я... думал об Ольге, Жмыхове, Юлии. Особенно о Юлии. Почему? Простая причина. Михеич вот уговаривает Жмыхова ехать на Диксон, а я молчу. И молчать буду, потому что во всей этой истории есть человек, ничем не заслуживший несчастья». Это Юлия, оказывается, ничем не заслужила несчастья. А почему Ольга заслужила? И кто вообще заслуживает несчастья?.. Но дело, повторяю, даже и не в этом.

В рассказе есть второй план, так сказать поэтический подтекст всей вещи. Жмыхов рассказывает свою историю, а мимо по озеру плывет в лодке Катя Трубникова. Любит она шахтера Васю Сухарева. «Ну и он, конечно, от нее без ума». А свадьбы все нет. Не хочет Вася жениться: он тяжело болен. «Чего,— говорит,— жениться? Может, мало проживу. Пусть твердую семью заводит». Одним словом, как говорит «тонкий» старик Михеич: «порох дело».

Жмыхов продолжает рассказ про свою любовь, а Катя, на этот раз с Васей, опять плывет мимо. «Эх, Васек, Васек! — говорит Катя,— позвал бы ты меня куда-нибудь — год бы вел, пять бы вел, пятьдесят бы вел, и не спросила бы я, куда и зачем ведешь». И наконец на последней странице рассказа, когда уже стемнело, а Жмыхов закончил свою историю, Катя с Васей договорились: быть свадьбе. И уж теперь Катя не оплошает: «...если я добила Васю, то сберегу до старости».

Итак, «второй план» рассказа противо-

поставляет неудавшейся любви — любовь самоотверженную, способную горы своротить. Но противопоставление это столь нарочитое, а вся история Кати Трубниковой столь придуманна и литературна, что «поэтический» подтекст, вместо того чтобы придать рассказу глубину и проникновенность, лишь подчеркивает ложность всего авторского замысла.

И вполне естественно, что присущие писателю внимание к слову, тщательность в выборе характерной детали изменяют ему, как только он уходит от жизненных наблюдений к искусственности и претенциозности. Оказывается, что и «глубину океана можно измерить. А подика душу Кати Трубниковой измерь». Это говорит Михеич. Жмыхов, рассказывая о нежности Юли, восклицает: «Какая ласка! Какая чистота! А шепот, шепот!..» Узнав о замужестве Ольги, он задается такими риторическими вопросами: «Болело ли у меня сердце? Если бы только сердце! Все болело, я весь был сердце». О любви он рассуждает так: «Какое удивительное и загадочное это чувство — любовь. Любовь как море: то прилив, то отлив, то шторм, то штиль. И часто непонятно, что вызывает прилив, что отлив...» А вот как описано отчаянное состояние Жмыхова, получившего «жестокую» Олину телеграмму: «Сердце отяжелело, будто свинцом налилось. Не помню, как встал. Улицы, улицы, улицы... Затем — вечер, и ресторан, и ожидание, когда кончится «Хождение по мукам», где Юлия играет Дашу. И, наконец, уборная Юлии и сама Юлия, уронившая тюбик с глицерином. Я поднял тюбик и положил на тумбочку, где лежал томик стихотворений Щипачева». И «тюбик» и «тумбочка», и «томик», и дальнейшее рассуждение героя о том, что Щипачев «до обиды прав» в том, «что любовь не легко сложить. Тонкое нутро надо иметь». Автор не брезгует даже таким примитивным, как писал Марк Щеглов, «дидактизмом деталей»: измученный Жмыхов ждет, пока Юля сыграет роль непременно в «Хождении по мукам»...

Не правда ли, трудно поверить, что все это написано тем же автором, который в усталой женщине с серым лицом и глазами без блеска сумел заметить человека, «приносящего людям радость», которому воспоминания детства помогли безошибочно определить свои пристрастия и антипатии, активное неприятие равнодушия?

И тем не менее рассказы собраны в одной книжке.

Умение видеть и изображать изменяет писателю, как только он отходит от трудных поисков поэтического в обыденном — от существа своего дарования. Но писатель, вступивший на путь бездумной регистрации увиденного и услышанного, отказавшийся от подлинных подробностей жизни во имя литературной традиционности, неминуемо приходит к схематизму. В рассказах Воронова появляется «модная» схема студенческой любви («Весенней порой»). Он — хороший и необеспеченный, из «правильной» семьи паровозного кочегара. Она — плохая и обеспеченная, из семьи ответработника. Дома у нее много комнат и антикварные ценности. Мать, разумеется, отрицательным качествам дочери потакает, а отец им потворствует по причине «неистраченного чувства отца, годами не видевшего дочери». Но папа все-таки человек хороший, он даже любит «по воскресеньям и праздничным дням... хлопотать на кухне». Наденет фартурк и месит тесто для пельменей.

Мещанство, с которым писатель борется, предстает в его рассказах в, так сказать, «классическом варианте». Подушечки с вышитыми павлинами, безобразный визг, ругань и трусливая жестокость к животному, — все это демонстрирует жена хозяина овчарки Симпятиги в одноименном рассказе. Другой, но тоже «классический вариант» мещанства олицетворяет собой ответственный московский чиновник Перцевой, кичащийся откровенной показухой, грубостью, бестактностью и бездушием. А весь небогатый смысл рассказа выражается даже афористически: «Ох, нехорошо! В таком городе и такой человек...» («Обида»). А ведь на самом деле борьба с мещанством, способным и к некоей мимикрии, значительно сложнее...

В рассказе же «Кормилец», где акценты несколько смещены, произошло и совсем неожиданное — мещанскими оказались положительные идеалы автора... Обратимся к рассказу. Все радости его героя — молодого инженера Петра — сводятся к благоустройству своей жизни: ему вручают ордер на однокомнатную квартиру, и в это же время он достает отцу путевку в хороший санаторий. Следующая «радость» еще предстоит: надо «обставить основательно комнату». Все это действительно радости —

шутка сказать, однокомнатная квартира! Тем более, что Петр как раз собирается жениться. Но радуется он как-то, прямо скажем, нехорошо, некрасиво, даже неловко за него становится. Нет у него, например, денег выкупить путевку отца, а невеста его Лидия «вытащила заложенную между страниц пачку полусоток и протянула Петру». Поступок вполне естественный, и говорить о нем много не стоило бы: выручила — и спасибо тебе большое! Но Петр «сунул пружинящие листочки в карман», «взял девушку за плечи и, целуя, понял, что она отныне будет для него таким же родным человеком, как отец и мать, а может быть, и больше».

Конечно же, ханжеством было бы отрицать, что и ордер на комнату (тем более квартиру!) и деньги (которые к тому же в эту минуту крайне необходимы) могут обрадовать человека. Прежде всего потому, что в хорошей комнате можно жить по-человечески, а материальный достаток такой жизни весьма способствует. Но ощущать деньги не просто как знаки, за которые можно что-то купить, а как «пружинящие листочки», но объявлять любимую девушку «родным человеком, как отец и мать, а может быть, и больше» на основании поступка само собой разумеющегося — не отдает ли это поэтизацией далеко не лучших сторон душевного уклада героя рассказа?

И все это — у того же самого писателя, который так полюбился нам своим умением видеть высокое в малом, способностью «колдовского» превращения обыденного в поэтическое, современной образностью мышления, словом всем тем, в чем, на наш взгляд, проявляется истинная направленность таланта Н. Воронова. Правда, верность этой направленности нелегка. Тем более, что один промах влечет за собой следующий. Во всяком случае, первая книга Николая Воронова, вышедшая в центральном издательстве, ставшая достоянием широкого читателя, открывшая ему безусловно даровитого и безусловно нужного писателя, заставляет и задуматься о судьбе ее автора, который стоит сегодня на распутье. Перед ним две дороги. Одна словно бы и непроезжая на всем своем протяжении, и утомительная, каждый шаг по ней труден, но она бесконечна. Другая — торная и даже благоустроенная, а никуда не ведет.

## ИННА СОЛОВЬЕВА

★

*Начало пути*

**И**а обложке сборника рассказов Юрия Казакова, выпущенного «Советским писателем» в нынешнем году, художник Кеша изобразил молоденькую пару, рука об руку шагающую вперед под голубым снегопадом. У юноши в ушанке решительное, волевое лицо, девушка нежно поглядывает на него сбоку.

Это обложка-опечатка. В рассказе нет голубого снежка. Есть осень и почерневшие от дождей бревна станционных построек, резкий ветер в сучьях берез, сломанная коновязь, у которой дремлет лошадь, расставив оплывшие ноги. Есть начальник вокзала, скучливо оглядывающий перрон и лужи на перроне, вагонные тамбуры, откуда помятые пассажиры высматривают, нет ли базара... «Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невьскazanное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня».

Рассказ короток и медлителен; считанные минуты, в которые уложено действие, сняты «замедленной съемкой»: пока не подошел поезд, двухминутная стоянка, отправление.

Уныло переминающийся разговор, когда один бубнит, чтобы не заговорил другой, а другой молчит, потому что — что же скажешь... «Теперь мое дело — порядок!.. Мне на рекорды давить надо... За границу ездить буду, житуха начнется... Я потом это... напишу». Двухминутное прощание тянется и тянется — все ясно и понятно, «сказано уже», как неохотно и испуганно повторяет парень, останавливая всхлипания девушки. «А мне... Я всю жизнь для

тебя... Ты знай это!» — «Сказано...» И наконец жидкий удар колокола, «гражданин, прошу в вагон», отчаянный, выпрошенный поцелуй. «Мне что...» — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь...»

Этот рассказ «На полустанке», давший заглавие всему сборнику, помечен пятьдесят четвертым годом. Его написал совсем молодой писатель.

Рассказ горек, обстоятельно точен, пронизан тянущей болью. Дарование Юрия Казакова — дарование драматическое по самому складу своему. Обнаружение такого рода задатков у поступающего в театральную вуз — находка для экзаменаторов, но драматический по преимуществу дар писателя почему-то вызывает настороженность. Почему ж? Принципиальной разницы между литературой и сценой в этом смысле нет; та и другая нуждаются в различном диапазоне и в различной настроенности талантов.

Иной разговор, что «драматизм вообще» — понятие, лишнее содержание, что ценна именно отзывчивость таланта на ныне звучащие драматические ноты.

Насколько ж современен либо несовременен дар Казакова? Строй его прозы выдает убежденность молодого писателя в неустарелости чеховской и даже тургеневской стилистики. Повышенная забота о современности манеры — забота, обычно тревожащая начинающих, — для Казакова не первостепенна. Но означает ли это, что современность — в более широком и более существенном смысле слова — его не заботит? Оно фактически не так. Ощущение

нынешнего времени дано Казакову хотя бы в ощущении исторической анахроничности вполне реальных персонажей и ситуаций его рассказов. Нужно обладать очень живым чувством современности, чтобы так сильно, свежо воспринимать старое столкновение с обывательщиной.

Мир существователей изменился, сжался в объеме, сократил свои претензии; но конфликт этого, анахроничного по сути, «малого мира» с большим миром длится; к нему-то напряженно внимателен автор сборника «На полустанке».

В рассказах Казакова редко прямое противопоставление этих двух миров — да ведь и в жизни «малый мир» стремится обособиться, не соприкоснуться непосредственно с эпохой. В этой его обособленности и рассматривает его писатель.

В рассказах Казакова драма «зарытая», как говорил Немирович-Данченко. Нет взрыва, вспышки, дающей разрешение, нет острых, вмиг накаляющихся ситуаций: напряжение нагнетается слишком постоянно и исподволь. Так строятся новеллы «На полустанке», «Странник», «Старики», «Дом под кручей». Взрыв был бы облегчением, но его нет; писателя больше всего волнует именно отсутствие открытой схватки, житейская притертость друг к другу характеров и понятий, по сути несовместимых. Тревожна не острота столкновений, но их необостренность, оттягивающая разрешение. Отрицательное начало отличается тут какой-то уживчивостью, покладистостью; конфликтное пытается сойти за нейтральное.

Эти «нейтральные конфликты» ищут угла поукромнее. В рассказе Казакова появляется то разъезд, где поезд стоит две минуты, то город, где издавна селились «раскольники, сектанты, беспоповцы, кулугуры, строили по лесам скиты один суровее, потаеннее другого, скрывались от миру, а в городе — запирались ставнями, замыкались в молельнях, навешивали на колодцы замки каленого железа. Издавна уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие, самые дикие купцы, торговали там, ворочали делами, кутили, но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. И издавна ничего не строилось здесь, кроме церквей, и ничего не производилось, кроме чугунов, ложек да туесков. Город был азиатски дик, скучен, пылен и всеми забыт.

И до сих пор стучат здесь в колотушки по ночам, до сих пор хрселят стариков по

старинному обряду, торчат на буграх громадные дикие колеса бездонных колодцев, вырытых чуть не при Юрии Долгоруком, до сих пор бегают бабы на базар, слушают, обмирая, пророчества Коли-дурачка — грязного, загорелого, гогочущего и плачущего...

Но двадцатью верстами ниже по реке началось в прошлом году строительство большой плотины, и день и ночь везут туда самосвалы камень из карьеров. А выше города за какие-нибудь десять лет вырос вдруг богатейший колхоз-гигант, и всё едут туда иностранцы и обязательно останавливаются в городе, обязательно вылезают, разминаясь...»

Вот это-то обиталище притихших, призмивших, ищущих акклиматизации конфликтов, обиталище, уже взятое в блокаду кольцом строек, — место действия рассказов Юрия Казакова. Выраженные во внешнем, конфликты тут редко подымаются хотя бы до старческих злобных выходов «аглицкого подданного» купца Круглова, стучащего палкой на агитаторов, когда те зовут его на выборы, и донимающего выкладками из Библии другого старика, грузчика Тихона: «Ты думаешь, атом-то, это тебе так? Так, да? Нет! Сказано: и восстанет брат на брата, и отец на сына, и умножится горе, и разверзнутся небеса, загорится земля и небо... Ага-а!» Глухая косность быта и психологии не агрессивна, она хочет только выжить, сохранить свою нерушимость. Не случайны отысканные Казаковым оттенки поведения рябого парня на полустанке: вместо атлетической, победительной наглости по отношению к деревенщине, которая уж не ровня ему, будущему призеру, — интонации затравленности, испуга, хмурая опасливость хама.

Выявись стяжательство хозяйки дома под кручей хоть малость энергичнее, шагни она чуть дальше, — борьба с ней станет куда проще; но и эта женщина с поджатым ртом, с жалобами на вдвоесто и на нехватку сахара в магазинах, и томный мужской силой странник Иоанн, со злобой послушностью при первом отпоре оставляющий свои любовные попытки, — все они знают «свое место», не зарываются, стараются жить тихо. И живут, еще живут.

В несовместимости этой выжившей косности с живой действительностью — основа драматизма прозы Казакова. В том, что собственничество, мещанство, пошлость «уклоняются от столкновения», — особенность конфликтов и построения его рас-

сказов, рассказов без кульминации, с уходами и отъездами взамен развязки. Исчезает в вагоне, неразборчиво крикнув что-то злое, парень, уезжающий из колхоза; постукивая палкой по деревьям, шурша по кустам и траве, уходит шагом человека, привыкшего много ходить, странник Иоанн; снова и снова будет ковылять к своим бывшим лабазам старик Круглов — изводить своего врага, напрашиваясь на стычку и трепеща ее... «Погоди, весной плотину... кончат... залетят тебя, стерву проклятую!» — гудит Тихон, злится и торжествует. «Не залетят! — плачет Круглов. — Я тебя переживу! Моя кровь неумирающая!..»

Острый, нервный интерес к «неумирающей крови» старого мира, ненависть к пошлости в самом расширительном смысле слова — одна из определяющих сторон писательской работы Казакова. Интерес к подлой живучести того стародавнего, что претендует на извечность.

И рядом с рассказами, где этот интерес преимуществен, — другие. Рецензируя книгу своего товарища по литературе, «Хлеб и соль» Г. Горышина, Юрий Казаков вспомнил слово «первородный». Хлеб и соль первородны, пишет он, есть в мире много прекрасных вещей, но хлеб и соль первородны. Так вот в его собственных, казаковских рассказах есть этот же интерес к «первородности». Он есть в новелле «На охоте», в «Тихом утре», в удивительном рассказе «Арктур — гончий пес».

Казаков пишет о рождении Аркура: «Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете...»

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплему животу, еще напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры... Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли, — раздавалось только сопенье, чмокание и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже откры-

лись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь.

Прозрачная, хрестоматийно-простая точность описания отвечает точности посылки мысли. Тут не только появляется на свет герой рассказа — появляется на свет тема рассказа: тема «самоосуществления», тема всецелой сосредоточенности на том, что есть твоя функция в жизни.

Первородна потребность осуществить себя, свое жизненное предназначение, как осуществляет свое призвание гончего пса слепая собака с именем звезды. Первородно раздумье человека о жизни, о вечности, об отцовстве. Первороден страх человека перед смертью, и первородна же потребность этот страх преодолевать, первородно чувство, какое испытывает, вытаскивая товарница из омута и сам чуть не утонув, мальчик Яшка из рассказа «Тихое утро»: «плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюенок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет».

Как соотносятся эти рассказы со «Странником» и «Домом под кручей», «На полустанке» и «Стариками»? Неверно предположить, будто Казаков вообще воспринимает мир в неподвижности, равно выраженной и в неизбывной мещанской сквалыжности, и в той грусти, с какой герой рассказа «На охоте», приехавший с сыном в места своей молодости, видит в юноше повторение себя самого. «Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он ступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стебли кувшинок, ухал, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Доплыв до уток, он повернул сияющее лицо к берегу».

— Отец! — крикнул он, задыхаясь от холодной воды. — Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет! Сероводородным и табачным... Ого-го-го!.. — И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись и отфыркиваясь, и поплыл назад, по очереди перебрасывая уток.

А Петр Николаевич вдруг вспомнил, холодев, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километрах в двух от этого, и поплыл за ней, а отец сидел на берегу, отдыхал и курил, и дым от вы-

стрела и табака стлался по воде, и так прекрасно, волнуяще пахло, что он крикнул об этом отцу и стал тоже барахтаться от восторга и шуметь.

Да, все то же... И жизнь по-прежнему прекрасна, и будет такой всегда,— всегда будут пылать, багроветь и зеленеть закаты и разгораться тихим светом восходы, всегда будут расцветать цветы и расти трава, и новые люди будут приходить на места стародавних охот...

Радостно и печально до сердцебиения стало ему.

Как угодно можно расценивать рассказ «На охоте» (он не из самых удачных, думается), одно все же ясно: это «да, все то же» — резко ронится с повторяющимся припевом — «до сих пор» — в начале рассказа «Старики». Печальная и радостная, приемлющая интонация — в одном слухе; осторожно-удивленная, неприемлющая — в другом. «До сих пор» — тут ощущение рубежа, грани, временных прав и временной распространенности запертых на замки собственных колодцев, домовин, заготовленных в сарае, ночных колотушек, скопидомного уныния... До сих пор, но не многим дальше, до какого-то уготованного края, до той поры, когда молодая вода разлива смоег «неумирующую кровь» Круглова, затопит его дом...

В кругу «первородных вещей», влекущих Казакова,— слитность человека с природой, естественность и счастье общения с простым миром. Пишет об этом Казаков часто и по-разному. Так возникают рассказы «Ночь», «На охоте», «Никишкины тайны», «Оленьи Рога». Пейзажи «Ночи» и «На охоте» незамутненно просты: мягкая, беззвучная дорога, идущая сквозь борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, нежно светлеющая в темноте зрелая рожь, пичуга, скромно выводящая в таволговых кустах свою песню в два колена, обложной, реденький, теплый дождь, дым от выстрела и папиросы над ледяной водой озерца... Здесь автор не дергает вас за рукав, не требует, чтобы вы восклицали: ах, как красиво, ах, как поэтично... В «Никишкиных тайнах» и в «Оленьих Рогах» заранее заданная поэтичность — нескромна, настырна. Тут манера писателя явно в разрыве с мыслью писателя: о простом, естественном состоянии души наедине с природой написано манерно, обдуманно нарядно. Тролли в старинных камзолах, привидевшиеся безыменной героине

«Оленьих Рогов», чересчур уж литературного происхождения, чтобы стать персонификацией поэзии жизни, открывающейся молодой душе. Не обеспечить поэтичности и стилизацией под поморский сказовый слог. Поэтического настроения не создается, только спотыкаешься об инверсии. «Никишкины тайны» порою неловко читать: неужто ж автор не замечает фальши своей ритмизированной, изукрашенной прозы со всеми этими «редкими камнями драгоценными», «ночью белой, странной», «да лесами, да крестами черными, лешаками из избушки», да сетью капроновой, которая вот уж где не к месту, так не к месту...

Фальцетистая романтическая нота портит новеллы, завершающие сборник. То, что написано Казаковым после «Арктика — гончего пса», однако ж любопытно как новые пробы себя, пробы новой манеры. Ждешь продолжения — оно может оказаться самым неожиданным: ведь мы сейчас присутствуем при начале писателя, нельзя забывать.

Сборник, подытоживающий первые работы молодого прозаика, включает всего двенадцать рассказов. Казаков нетороплив. Рассказы разделены и соединены долгим временем труда; труд этот удивляет силой сосредоточенности. Осуществление таланта идет медленно, настоятельно, наглядно.

Диспропорция между свежестью принесенного с собой первооткрываемого материала и накоплениями мастерства — диспропорция, обычная для молодых, — существует и в работе Казакова, но в перевернутом, неожиданном виде. Нет ни следов ученической неумелости, ни того щегольства свежеприобретенным умением, какое также есть примета ученичества. Автор «Арктика» — мастер.

Материал же, который влечет к себе писателя, давно распознан литературой. Открытие Казакова разве в том, что он обнаружил его неисчезновение и сызнова взял его как предмет исследования. Даже в этом он, впрочем, не из первых. Неспешащая отмирать притаившаяся обывательщина, уродства быта, знакомые еще Чехову, Бунину, Горькому, довольно часто попадают в поле зрения авторов очерка, фельетона, просто письма в газету. Свекровь бьет грязной тряпкой по лицу беременную сноху, увидев, что сын, жалая женщину на сносях, сам начал мыть пол.

Отец и мать зверски истязают дочь, бьют и избитую кидают в погреб — за то, что девушку кто-то увидел в Доме культуры; соседу, попытавшемуся заступиться, пробили голову кирпичом; и все безнаказанно, и все не когда-то, а сейчас: произошло это в городе Слуцке, в доме Сидоровичей. А в другой семье родители, любящие и добрые люди, слезами и мольбами убедили дочь нейти замуж: парень попался безбожник... Обо всем этом пишут в газетах, в сегодняшней «Комсомольской правде» и «Труде», пишут с гневом, торопясь помочь, требуя общественного суда. В ответ в редакцию идут сотни писем: читатели думают, волнуются, негодуют. Кто-то припоминает, что и рядом с ним было нечто подобное, ну пусть не столь жестокое и явное, как издевательство над Людмилой Сидорович, но порожденное, видно, чем-то сходным...

Примечателен интерес общественности к «неявным», скрытым в быту конфликтам: изуверов, вроде Петра Сидоровича, обезопасить легче, чем тех набожных стариков из украинского села, которые из лучших побуждений разрушают счастье молодой пары... Обывательщина, стяжательство, житейская тупость притаились — недобитые, живые. Почему же весь этот материал должен оставаться лишь стоящим газетой? Верно ли мнение, будто литературе лучше обходить его во избежание ненужных обобщений?

Обобщать какие-то явления вовсе ведь не значит объявлять их общераспространенными; термин «обобщение» расшифровывается, как известно, иначе: он разумеет задачу извлечь общий и общественно-значимый смысл из разбросанного житейского материала. Дело это решительно полезное. Советы же, что писателям следует и что не следует обобщать, основаны либо на непонимании термина, либо на непонимании сути и роли литературы, которой просто нет вне обобщений.

И если что должно поставить в укор Казакову, то не «излишнее обобщение», а недостаточность обобщения, инертность в выводах, проскальзывающую растерянность перед анализируемым материалом.

Вероятнее всего, эта растерянность определяется малым пока жизненным опытом литератора; есть ей и другое, дополнительное объяснение.

Казаков лишен того самонадеянного и счастливого ощущения, когда кажется, что

литература начинается с тебя. Он чувствует себя прежде всего продолжателем, человеком, пришедшим на прославленное и обитаемое издавна место. Казаков учится энергично и называет своих учителей откровенно: это Чехов, Тургенев, Бунин, Пришвин. Но порой Казаков словно бы ощущает себя уже не учеником, не продолжателем, а, что ли, «перевоплощением» Чехова или Бунина.

Речь не только о чрезмерной стилистической близости (в рецензии Юрия Нагибина в «Дружбе народов» примеры такой близости указаны совершенно верно); Казаков подчас без остатка «растворяется» в Чехове или Бунине, заражаясь не только их слогом, но и их жизненными концепциями. Ведь не в том лишь беда, что в «Доме под кручей» есть строки, в которых чеховская интонация глушит личную интонацию Казакова. (Двадцатилетний Блохин, гадая, сколько может быть лет дочери хозяйки, «смотрел на завитки волос, на пробор, на тонкую шею, жалел, что ему не двадцать лет, что он не красив, и ощущал в груди томительную печаль. Ему хотелось сидеть и без конца смотреть на нее. «Еще влюбись здесь!» — подумал он вдруг невесело...»). В конце концов тут может помочь редакция; но редактурой не изменить чеховского характера развязки, когда герой, в печали и бездействии, уходит из комнаты с сальными подушками. Естествен «уход от конфликта» для странника Иоанна и для рябого парня; но «уход» неестествен для Блохина: в конце концов он же — не по рассказу, но по жизни — один из тех, чьими усилиями практически разрушаются гнездовья мещанства, он живой, интеллигентный и во всем объеме слова современный человек. «Уход» Блохина не оправдан ничем, кроме литературной тональности рассказа, его «чеховской» наложенности. Блохин оказывается персонажем-цитатой.

Точно так же и выбор материала слишком часто определяется возможностью обрабатывать его «от лица» кого-либо из учителей Казакова. Само собою, это ограничивает писательские возможности, запирает молодого автора в сравнительно узком кругу сюжетов.

Словом, сила литературных воздействий, испытываемых Казаковым, явно чрезмерна, и чрезмерна его податливость на эти воздействия. Об этом уж говорилось в критике, и сказать об этом сызнова надо не потому, что полагается уравновесить по-

хвалы указаниями на недостатки — к чему такой баланс, — а потому, что «растворенность в Бунине», «растворенность в Чехове» практически мешает окончательной кристаллизации писателя Казакова.

Что она даст, эта кристаллизация? Гадать о будущем Казакова трудно. Не потому, что он еще не определился, что в работе его — обещающая недоговоренность. Нет, предсказывать дальнейший путь писателя трудно именно в силу резкой ранней определенности; Казаков кажется литератором не по годам устоявшимся, со своим очерченным горизонтом тем, со своим материалом. В этом кругу — он мастер уже сейчас. Но круг неширок. Что же он будет делать дальше? Полировать собственное умение, разрабатывать жилу, которую успел застолбить? Можно. Но не рано ли? И хватит ли на долгий писательский век найденной с первых дней жилы?

Казаков достаточно демонстративен в своей творческой определенности. «Я таков, каков есть; принимайте либо не принимайте», — кажется, так значится между строк его прозы. Хорошо, принимаем. В конце концов в распоряжении читателя не одни лишь книги Казакова, их узость так или иначе будет компенсирована знакомством с другими рассказчиками. Узость Казакова может быть опасна и тревожна только для самого Казакова.

Знает ли, беспокоится ли об этом он сам? По-видимому, да. Мы уж говорили, что рассказы, написанные после «Арктура», отмечены изменением литературной интонации. Еще раньше, в рассказе «Голубое и зеленое», Казаков попробовал оставить свой излюбленный круг тем, сменил место действия и его бытовую среду. Вместо медвежьих углов — центр Москвы, Пушкинская площадь, бульвары, прогулки, знакомые всем влюбленным парам столицы; вместо персонажей-анахронизмов — сегодняшние десятиклассники. «Голубое и зеленое» — история отроческой любви, рассказанная от первого лица нашим очень молодым совре-

менником. Чего бы лучше, если бы можно было похвалить Казакова за пробное освоение нового для него психологического участка. Но рассказ неудачен. Говоря о том, что ему и нам прекрасно знакомо, Казаков нежданно теряет пластическую убедительность, обычно столь ему свойственную: персонажи лишаются осязаемой точности. Парадоксально: люди, являющиеся в нашу жизнь как анахронизмы, написаны с предельной конкретностью, являют собой «плотные создания», а люди в самом деле сегодняшние не обрели живых примет. Все как-то туманится, расплывается в голубом и зеленом, уходит сквозь пальцы...

Попытка — одна из первых попыток — выйти из круга привычных для себя задач не принесла Казакову рабочей радости. Но значит ли это, что Казакову вообще следует замкнуться в материале и тематике «Странника», «На полустанке», «Дома под кручей», «Стариков»? Ничуть. Неудача с «Голубым и зеленым», как и более поздняя неудача «Оленьих Рогов», сказала вовсе не об этом. Беда, что Казаков словно не решается остаться с глазу на глаз с простыми, обыкновенными героями. Он ищет как бы литературного средостения меж ними и собой, ищет «приема», лирически «остраивает» материал — в итоге материал как бы поглощен приемом, растворился в нем, потеряв собственную значимость. Писателю не достало тут непредвзятости, простой заинтересованности и свежести взгляда на простые вещи.

Временами хочешь, чтобы Казаков был наивнее, разбросаннее, проще в своем подходе к жизни и непосредственнее. Не надо бы так спешить к мастеровитой зрелости: она придет, а вот молодость невозвратима — молодость с ее первооткрытиями, с ее драгоценной неопытностью, без которой и первооткрытий не бывает. Казакову рано окончательно строиться на собственном участке литературной земли — участок маловат для молодого хозяина, пусть он расширит его, пусть побродит по свету, пусть понщует.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**М. Злобина.** В мире условностей.— **А. Манедонов.** Поэзия «высоких широт».— **А. Наркевич.** Живой Чайковский.— **В. Красильников.** Новое собрание сочинений А. С. Неверова.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Литвак.** Масштабы созидания.— **А. Млынек.** Рассказ о большой жизни.— Кандидат исторических наук **В. Кондратьев.** Венгерские братья по оружию.— Доктор филологических наук **М. Фетисов.** Первый казахский просветитель.— **Л. Седин.** Англия глазами американца.

## Литература и искусство

### В мире условностей

**Т**рудно назвать, какую именно из давно читанных и забытых книг напоминает эта новая повесть. Нет, речь идет не о каких-либо прямых заимствованиях или подражании. Литературные штампы, как известно, принадлежат всем и никому, они анонимны, как, впрочем, и повесть, на обложке которой вы увидите имя известного и талантливого писателя. Образы, ситуации, даже, казалось бы, неожиданные сюжетные повороты — все в «Нашей Берте» привычно и знакомо. Герой Алексей Бельцов — скромный, рядовой инженер, незаметный труженик; за женщинами ухаживать не умеет и весьма некстати краснеет, «словно маков цвет». Его друг Степан — тоже инженер, но весьма заметный и талантливый, мужчина красивый, бойкий и пошлый, пользующийся успехом у женщин и начальства. Вскоре, разумеется, происходит «переоценка ценностей», и приятели как бы меняются местами. Выясняется, что по-настоящему талантлив не Степан, а Алексей, и, конечно, именно его полюбила Ольга — необыкновенно красивая женщина с серыми «с поволокой» глазами,

которые «сияли каким-то волшебным светом, таким, понимаете, ясным, что с ума можно сойти». Есть в повести и традиционный ревнивый муж, запирающий на ключ Ольгу, перехватывающий письма и угрожающий сопернику маузером. Есть «загадочная» маленькая женщина (к тому же иностранка) Берта с детской улыбкой и пухленькими ручками, которая, казалось бы, умеет лишь вкусно готовить и идеально хозяйничать, а потом становится грозной партизанкой и разведчицей. (Друзья в шутку прозвали ее «Берта В Каждой Пуле Покойник».) Есть неожиданности и необыкновенные случайности, старательно подготовленные автором, — например, таинственное исчезновение Берты или заключительная встреча ее с Алексеем за границей. К тому времени Берта, хоть и не изменилась ничуть и даже не разучилась готовить, имеет на плечах погоны полковника, а на груди — планку орденов...

Встреча эта происходит в «одной европейской стране» — родина Берты не названа из «особых» соображений, которые удобны прежде всего тем, что освобождают автора от «мелочных» требований конкретного изображения действительности. Впрочем,

даже в тех случаях, когда события разворачиваются не в «одной», а в нашей стране, писатель не слишком заботится о достоверности. Трудные военные будни народа, напряженная, полуголодная зима 1942 года в повести лишь фон для любовной и полудетективной истории. Обстановка действия напоминает реальную не больше, чем театральная декорация. Впрочем, и это сравнение не совсем верно: в театре, пожалуй, больше привыкли считаться с условиями места и времени, на сцене вы не увидите, например, чтобы рядовой инженер занимал целую анфиладу комнат. А вот Алексей Бельцов еще до войны имел в перенаселенной Москве четырехкомнатную квартиру, в которой жил с женой и сыном. Всякие там «мелочи», к которым почему-то всерьез относятся в жизни, для героев «Нашей Берты» (с легкой руки автора) не существуют. Ольга отправляется в Москву (а ехать предстоит недели две), прихватив на дорогу... кусок сыра. «Не забыли ли вы, случаем, что идет война?» — восклицает Алексей. Да, в самом деле, не забыли ли? — хочется спросить не только Ольгу, но и автора.

Правда, слова «война» и «фронт» в повести упоминаются довольно часто. Алексей работает для фронта, муж Ольги находится на фронте, сама Ольга тоже отправляется почти что на фронт — в один «большой город», где помещается штаб ее мужа. Однако поездка эта с военными действиями и вообще с войной не связана, напротив, все происходит так, словно никакой войны нет: Ольга едет для «проверки своих чувств»; отбыв с мужем назначенный им испытательный срок и окончательно убедившись в том, что любит не его, а Алексея, она возвращается в тыл.

Условность в изображении жизни проявляется и в большом и в малом. Даже непринужденно-небрежная — «как в жизни» — речь героя (повесть написана от первого лица, в подчеркнуто разговорной манере) по существу звучит фальшиво. Не говоря уже о том, что она не слишком-то соответствует задуманному автором образу, стиль этот не выдержан писателем последовательно: рядом с вульгарными словечками («зануда», «идиотская привычка») встречаются старомодно-книжные выражения, вроде «лелеял мечту», «волшебный свет» и т. д.

В средствах психологического изображения та же искусственность. Чего-то стоит,

например, образцово-показательное поведение Ольги, разрешившей Алексею держать ее за руку лишь после того, как он разбил в споре некоего критика-демагога (таким образом автор демонстрирует духовную близость любящих), или «находчивость» героя, поспешившего сообщить своему сопернику-фронтовику, что он в тылу не только за его женой ухаживал, но, между прочим, изобрел новое оружие, которым в самое ближайшее время муж Ольги сможет громить врага. (Таким образом демонстрируется единство цели.)

Кстати, изобретает Алексей действительно между прочим. Но о его трудовых подвигах, которые занимают в повести третьестепенное место, необходимо все же сказать несколько подробнее. Еще до войны послали как-то Алексея в командировку на один завод, где «что-то не клеилось с новым оборудованием», «просто с ног сбивались, никак не могли найти причину». «Что за чертовщина... ну словно колдовство какое-то!» Заезжий академик, специалист по иностранной технике, «и тот ни до чего не докопался и уехал восвояси». «Шалишь, — думаю, — авось!» Измотался до крайности, однако в конце третьей недели все-таки добрался до сердцевины! И причина-то была пустяковая...» (Как это некогда говаривал Хлестаков — та же, кстати, простодушно-хвастливая интонация: «Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало: нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а, рассмотришь — просто черт возьми. Видят, нечего делать — ко мне»). Во время войны Алексей Бельцов стал работать еще лучше: не в три недели, а за несколько минут решал самые сложные технические проблемы. На совещании в Москве, докладывая об изобретении Степана, Алексей «вошел в тот самый раж, что иной раз находит» на него, и его «словно... прорвало». Результаты этого «ража» были самые поразительные — оказалось, что, сам того не подозревая, Алексей придумал нечто чрезвычайно важное, его похлопали по плечу, сказали «да вы, батенька, черт знает, какой талант», поздравили «от имени Вооруженных Сил Советского Союза» и тут же предоставили конструкторское бюро. А на следующее утро в газете Алексей прочел, что награжден орденом Ленина. Вот, стало быть, как это делается.

Невольно вспомнишь опять Хлестакова, который тоже, случалось, в раж входил.

Попросят его написать что-нибудь, «думаю себе: «пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил... Да что, в самом деле? Я такой!.. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...» В фельдмаршалы, правда, Алексея Бельцова не производят, но орденное дело не ограничивается: автор награждает его еще и звездой Героя Социалистического Труда, которая, как скромно замечает рассказчик, «говорила сама за себя».

Здесь, быть может, следовало бы еще сказать об идее повести — по замыслу писателя повесть рассказывает о мужестве, силе чувств, высокой принципиальности «рядовых» людей; к тому же подняты так называемые проблемы морали — по мотивам «треугольника». (Кстати, сына Алексея и дочь Ольги, которые при решении этих проблем должны бы сыграть не последнюю роль, автор предусмотрительно отправил на Дальний Восток, чтобы не мешали возвышенной любви героев.) Но говорить серьезно об идеях и проблемах повести невозможно — ведь в ней нет характеров, которые жили бы самостоятельной жизнью, независимо от авторской подсказки. Берта, например, производит впечатление очень милой, домовитой особы, которая могла бы стать идеальной

женой. Пока она наводит чистоту и порядок в квартире Алексея, готовит ему обед и даже читает нотации, словом, пока выступает в роли аккуратной и строгой хозяйки дома, она убеждает, но ее превращение в героиню никак не подготовлено, если не считать настойчивых, хоть и туманных намеков на «загадочность» Берты. Более того, автор изо всех сил старается, чтобы читатели не заметили в инфантильной маленькой хлопотунье те черты характера, которые как-то оправдали бы последующую героическую биографию Берты. Сюжет строится на нарочитом контрасте между видимостью и сущностью образа. Разумеется, и такой прием имеет право на существование, но в данном случае автор явно перестарался — сущность образа запрятана так глубоко, что ее не обнаружишь: остаются лишь видимость и эффект, бьющий на удивление. Что ж, читатель действительно удивляется, и не столько подвигам Берты — мало ли что случается на свете... Удивляет другое — как это Николай Вирта написал повесть, в которой ничто не выдает индивидуального почерка и реалистического таланта Николая Вирты.

М. ЗЛОБИНА.

★

### Поэзия «высоких широт»

Вы никогда не бывали в заполярном городе Воркуте? Не хотите ли съездить туда? Послушайте, как приглашает вас молодой поэт Вячеслав Кузнецов, выпустивший недавно в Сыктывкаре небольшую книжечку стихов под названием «У высоких широт»:

Воркута — заполярные Сочи,  
Не морской  
— так аэропорт.  
Даже ночью,  
Полярной ночью  
Процветает этот курорт.  
Хоть пурга замедляет город —  
По неделям страсти кипят, —  
Но мороз здесь всего лишь за сорок,  
Очень редко за пятьдесят.  
И, устав от суровой работы,  
Всю, как есть, испив маята,  
Повидавшие виды пилоты  
Прилетают на юг,  
В Воркуту.

Вяч. Кузнецов. У высоких широт. Стихи. Редактор С. Морозов. 64 стр. Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1958.

В этой немудреной шутке есть точность наблюдений, есть серьезная поэтическая правда. Есть реальный образ повидавших виды людей Заполярья, для которых даже суровая Воркута — это уже обжитое место. И есть другая сторона этой правды: так много труда и страсти вложено в эту суровую Воркуту, она знаменует собой такую победу человека над пятидесятиградусными морозами и полярной ночью, что уже может быть «югом», и мороз в ней «всего лишь за сорок», и страсти в ней «кипят» и впрямь не меньше, чем в Сочи. Все это понял, почувствовал В. Кузнецов, и романтика Заполярья раскрылась нам не как экзотика, а в своей подлинной природе, и поэтому в поэтической новизне.

Это стихотворение — не единственная удача Вяч. Кузнецова. В коротенькой книжечке выступает перед нами ряд действительно поэтических ситуаций, деталей труда, быта, природы «высоких широт» советской земли. Полярная ива, елочка «Зе-



ской действительности, как действительность нашего советского Заполярья.

Правда, советским Заполярьем литераторы «занимались» уже немало (хотя больше прозаики и очеркисты, чем поэты), но оно все еще остается одной из целинных земель нашей поэзии. Искреннее увлечение этой темой, сознание ее поэтичности, ее понимание и развитие в свете ясного общего идеала советского человека создают силу и привлекательность книжечки В. Кузнецова, поэта, находящегося в начале своего пути.

Однако приходится решительно подчеркнуть, что речь идет только о начале. Книга Кузнецова — увы! — не дает нам возможности избежать печальной судьбы большинства рецензентов: после перечисления достижений сказать кое-что и о недостатках.

В данном случае, надо признать, это «кое-что» довольно велико. Стихи Кузнецова неровны. Особенно вредят молодому автору соблазны литературщины. Живой, индивидуальный поэтический голос того, кто может сказать о себе: «зубную щетку ношу в кармане, и сплю в мешке на снегу», местами с трудом пробивается сквозь книжные, заимствованные интонации, велеречивую фразеологию, иногда прямую безвкусицу.

Отсюда и неудачные прозаизмы типа «он заряжался бодростью надолго» и высокопарные красоты: «солнце твоей головы на грудь мою опустилось и отогрело сердце, озябшее сердце мое».

«О друг мой, Аркадий Николаич... не говори красиво».

Кузнецов везде стремится быть кратким, но, к сожалению, иногда и небольшое по количеству строк стихотворение может быть очень растянутым. Это бывает в тех случаях, когда не удается найти необходимые слова или точные детали (вспомним ту же удачную зубную щетку в кармане) и на помощь призывается разменная монета литературщины.

Полярной ночью дико загудит  
Пурга,  
Над тундрой бешено играя...

В таких случаях краткость не спасает от самоповторения, и В. Кузнецов на соседней странице вновь прибегает к той же за-

тертой метафоре: «В огне бурной бешеной игры».

С шелухой литературщины связаны и другие недостатки книги: увлечение в некоторых стихах внешними броскими штрихами жизни Заполярья и недостаточное углубление во внутреннюю жизнь, характеры людей, характер самого лирического «я» поэта.

В. Кузнецов «осваивает» поэтическую действительность Заполярья пока больше вширь, чем вглубь. Его стихи создают живой образ мужественных, простых, сердечных, деловитых и романтических людей, строящих «Заполярье Сочи», но создают его в еще первоначальных, элементарных чертах. Подлинный лирический герой Заполярья, конечно, гораздо глубже и сложнее в своей простоте, чем герой стихотворения Кузнецова.

Будем надеяться, что эта некоторая элементарность изображения поэтической действительности в книжке Кузнецова является лишь результатом неполного развития его таланта и что в дальнейшем он сделает следующий шаг, пойдет в глубину своей темы.

Пафос лучших стихотворений Кузнецова — это пафос покорения суровой природы, «обживания» ее человеком. Но поэзия Заполярья не сводится к этой теме. Есть большой внутренний мир тех, кто живет на «тихой снежной улице» и кто строил ее на «краю земли». Кузнецов пока еще только умеет называть некоторые, хотя и основные, приметы этого мира. Нужно пожелать, чтобы в дальнейшем он сумел развить его богатое содержание. И тогда яснее выступят образы конкретных людей Заполярья — шахтеров, летчиков и трактористов — друзей лирического героя и сам этот герой, все те «страсти», которые «кипят» или могут кипеть в «Заполярье Сочи».

Первый сборник стихов В. Кузнецова вышел в 1955 году. Сборник «У высоких широт» говорит о росте, о том, что у Кузнецова есть своя тема и свой голос.

Следует пожелать поэту больше заполярной, воркутинской суровости к самому себе и прежде всего к бесу литературщины!

**А. МАКЕДОНОВ.**

## Живой Чайковский

Почему так трудно писать хорошие биографии? Почему паряду с прекрасными достижениями мастеров советского биографического жанра так часто выходят у нас скучные, вялые книги о великих людях, проживших яркую, увлекательную жизнь,— книги, где нас встречают благие намерения и унылое выполнение? Чего не хватает этим суррогатам?

Им не хватает многого. Умения творчески применять марксистскую методологию; дара живого и пластичного воссоздания людей и эпохи в их главных чертах и характерных деталях, без которых мертвы и герои и время; высокой композиционной организованности, без которой получаются бесформенные, рыхлые, сырые, неаппетитные изделия; литературного мастерства; наконец, иногда просто углубленного знания и понимания предмета, человека и эпохи.

Но как писать о музыке? В чем основная трудность, стоящая перед автором художественной биографии композитора, когда является необходимость воплотить в словесных формулировках впечатление от произведений искусства звука? Не той же ли она природы, как затруднения композитора, который попытался бы в музыке выразить содержание философского трактата, подобно тому, как это будто бы делал иронически изображенный во «Флорентийских ночах» Гейне Ф. Лист, исполнявший, как уверял читателей Гейне, на фортепиано «Палингенезию» Балланша — философское сочинение начала XIX века?

На практике авторы даже лучших художественных биографий композиторов пытаются преодолеть или обойти эту коренную трудность по-разному: или ограничиваются пересказом действия музыкально-сценических произведений — опер, оперетт и других — и сообщениями о подробностях их появления и отзывах прессы и современников, или же прибегают к средствам образной речи. Этот последний путь в произведениях больших художников слова, писавших о музыке (Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне, В. Ф. Одоевский, Р. Роллан и другие), ведет к созданию ярких и содержательных музыкальных характеристик, в руках же эпигонов и подражателей-имитаторов может

привести лишь к претенциозным и вульгарным субъективным измышлениям, ничего не дающим для правильного понимания музыкального произведения.

Все эти трудности стояли перед автором новой книги о Чайковском — И. Куниным, и его опыт заслуживает, на наш взгляд, не только признания со стороны всех, интересующихся жизнью и творчеством Чайковского, но и внимательного изучения авторами, работающими в области художественной биографии.

Попробуем всмотреться в метод И. Кунина. Вот характеристика Антона Рубинштейна:

«Только переходное время с его смешением старого и нового, уродливого и величавого могло создать этот характер, в котором великий артист и просветитель уживался с нетерпимым к чужому мнению самоуверенным деспотом, смелый реформатор концертной жизни и музыкального образования — со старовером, остановившимся в своем развитии на Шопене, Шумане и Мендельсоне, а в русской музыке — на этапе, предшествующем Глинке, на операх в духе Верстовского».

А вот его брат — Николай Рубинштейн:

«О нем мало кто вспоминает теперь, но восемьдесят или сто лет назад Москву так же трудно было себе представить без Николая Рубинштейна, как Театральную площадь без Малого театра или Тверскую без Страстного монастыря. Это был замечательный пианист и дирижер, поистине гениальный организатор, человек большой душевной силы и обаяния. Расчетливый, когда дело касалось траты общественных денег, щедрый до безрассудства, когда речь шла о деньгах своих, прямой до резкости, он был равно популярен в кругу московского студенчества и среди влиятельных членов аристократического Английского клуба, почти столь же хорошо знаком дворовым шарманщикам, извозчикам и хористам трактирных и церковных хоров, как и прославленным артистам и старомосковским любителям музыки, с которыми встречался не только за попугаями роялей, но и за карточным столом».

Обращает внимание не только яркость и выразительность этих сжатых характеристик, дающих представление о человеке со всеми присущими ему противоречивыми чертами, но и тесная связь образов обоих

замечательных музыкантов с историческим процессом развития русской жизни и русской музыкальной культуры. Братья Рубинштейны даны как порождение своего времени, в свойственной им неразрывной связи и с отходившим и с зарождавшимся, передовым.

Тонко подмечена и правильно исторически объяснена необыкновенная доброта и отзывчивость Чайковского, которую иные мемуаристы склонны были истолковывать как свойство слабовольного человека, неспособного отвечать отказом на просьбу. «Эта отзывчивость,— пишет И. Кунин,— это переживание чужого страдания как своего или еще мучительнее, как чего-то поистине нестерпимого, требующего немедленного утешения, чрезвычайно характерны для душевного склада Чайковского. Как и у его благороднейших современников — Глеба Успенского, Гаршина, а позднее Короленко, Чехова,— личная доброта перестает быть только лишь домашним делом, своего рода чертой характера, почти всегда приятной, но иногда досадной, она вырастает в принцип отношения к людям, становится выражением органического неприятия недоброй действительности.

Потребность в тепле, жажда любить, заботиться, помогать сопровождали каждый шаг его жизни».

Читатель найдет в книге и другие яркие зарисовки как самого Чайковского — его внешнего и душевного облика, так и других лиц, хотя бы С. А. Рачинского — ботаника, поэта и прозаика, друга Чайковского.

Острое чувство и верное понимание истории, умение в малом видеть отпечаток большого, в деталях обнаруживать присутствие хода времени сказываются в книге И. Кунина не только на индивидуальных портретах. Не менее интересны и яркие и «портреты эпохи» — Москвы 1866 года, встречавшей молодого Чайковского, или России семидесятых годов, а также то, что можно назвать «портретом проблемы», — изящные и сжатые характеристики историко-музыкальных или эстетически-философских вопросов, таких, как сложные взаимоотношения Чайковского с «Могучей кучкой», как проблема поэтического в русском искусстве XIX века или как проходящая через творчество Чайковского тема судьбы, глубокие философско-социальное содержание которой подробно и убедительно раскрывается автором. Все эти, а также многие другие многосторонние и отнюдь не элементарные вопросы,

имеющие большой специальный и общечеловеческий интерес (тема личности, проблема сказочности, наследие романтизма в творчестве Чайковского и т. д.), получают в книге творческое и убедительное освещение, в котором полная доступность изложения счастливо сочетается со свежестью и отсутствием шаблона. Автор обнаруживает завидное и ценнейшее для популярной книги умение сказать многое в немногих словах и проявляет большую исследовательскую самостоятельность и широкую осведомленность в разнообразном историческом, историко-культурном и музыкальном материале. Им привлечены многочисленные источники — от комплектов старых газет за многие годы до вышедшей тиражом в шесть экземпляров книжки С. А. Рачинского «Три вторника». Сквозь разнообразие идейных и эстетических течений, споров и противоречий, сквозь красочные картины меняющейся и движущейся русской жизни переходного периода, галерею пестрых и непохожих людей — спутников, друзей и противников Чайковского — автор, вооруженный четкой и стройной, методологически выдержанной концепцией, ведет читателя уверенной и твердой рукой.

Сущность этой концепции, творчески развивающей положения современной советской историко-музыкальной науки, наиболее кратко и схематично может быть выражена так: основной почвой творчества Чайковского, источником, питавшим его силу и глубину, было воздействие коренных противоречий русской действительности XIX века, в особенности противоречий между гнетущим, бездушным и бесчеловечным общественным укладом и личностью, впервые осознавшей свое человеческое право на счастье и свободу.

Особенно рельефно вырисовываются методологические достоинства книги И. Кунина, если сопоставить ее с талантливо написанной книгой о Чайковском французского музыковеда Р. Гофмана (Rostislav Hofmann. Tchaïkovsky. Paris, 1947). Нельзя отказать книге Р. Гофмана в литературном таланте, остроумии и тонкости ряда характеристик и наблюдений, но почти все эти достоинства сводит на нет отсутствие у автора четкого методологического ориентира и связанная с этим какая-то капризная произвольность оценок, порой любопытных, порой удивляющих своей субъективностью и необоснованностью.

Но как же писать о музыке? В предисловии профессора А. Альшванга, в котором особенности и достоинства книги И. Кунина нашли сжатую и правильную характеристику, лишь одно утверждение содержит важную неточность. А. Альшванг пишет, что в книге нет «разбора музыкальных произведений». Здесь отсутствует одно чрезвычайно существенное слово: «технологического». Действительно, читатель не найдет в книге сведений, предположим, о том, что основной раздел второй части Первого концерта для фортепиано Чайковского построен трехчастно или что в Четвертой симфонии Чайковский, отступая от классического тонального плана, использует тональности малого терцевого круга, но в ней дан тонкий и изящный идейно-эстетический анализ главнейших произведений великого композитора. Именно путь, избранный автором, является наилучшим способом рассказа о музыке в художественной биографии. Следуя методу представителей русской классической музыкальной критики — Серова, Стасова, Чайковского, Лароша, Асафьева, — точными и поэтичными словами И. Кунин раскрывает читателям художественные замыслы и свершения композитора. Его характеристики музыкального наследия Чайковского гибки. В них нет навязчивого и мертвящего живое художественное восприятие искусства догматизма толкований. Автор уместно напоминает о пластичности нашего восприятия музыки и о том, как легко найти в ней то, что ищешь, при наличии направленного воображения. Трудно сказать, чему отдать в книге предпочтение — увлекательному ли рассказу-анализу о «Пиковой даме», ярким ли и поэтичным и одновременно тонким и пронизательным главам и отрывкам о «Евгении Онегине», балетах или симфоническом творчестве Чайковского.

Сам композитор, бывший превосходным музыкальным критиком, прекрасно понимал все трудности, связанные со словесной интерпретацией симфонической музыки, и по поводу своей Четвертой симфонии писал Танееву: «Что касается Вашего замечания, что моя симфония программна, то я с этим вполне согласен... но программа эта такова, что формулировать ее словами нет никакой возможности. Это возбудило бы насмешки и показалось бы комично. Но не этим ли и должна быть симфония, то есть самая лирическая из всех музыкальных форм? Не

должна ли она выражать все то, для чего нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано?»

В книге И. Кунина читатель найдет рассказ о симфоническом творчестве Чайковского, проникнутый поэтичностью и историзмом, основанный на широкой, плодотворной и емкой идейно-исторической концепции, свободный и от внесения в толкование музыки тех «прозаических поползновений», против которых предостерегал Чайковский, и от субъективистского произвола.

Правда, субъективистский произвол все же проявляется в книге — к счастью, очень редко, в единичных случаях. Так, очень односторонни характеристики Сафонова, отчасти фон-Мекк и в особенности выдающегося музыковеда и музыкального критика Лароша. Говоря о Лароше, автор неожиданно утрачивает чувство историзма — одно из самых сильных качеств всей книги — и на миг как бы превращается из исследователя в прокурора, более всего заинтересованного в обвинительном вердикте присяжных. А так как подавляющее большинство присяжных, то есть в данном случае читателей книги И. Кунина, не располагает о Лароше другими данными, кроме тех, которые представляет им красноречивый, но односторонний обвинитель, то можно опасаться, что решение суда, пожалуй, окажется не в пользу высокоталантливого русского музыкального писателя, создателя замечательных характеристик Чайковского. Не имея возможности вступить с автором в детальную полемику, ограничимся указанием на этот досадный и, к счастью, нетипичный для книги неудачный образ.

Зато очень сильны и выразительны другие многочисленные образы книги. Мы уже говорили о них и цитировали эти яркие места. Но самой большой удачей автора, самым крупным и радостным достижением биографии является, конечно, создание проходящего через всю книгу неотразимо привлекательного, чарующего образа Чайковского — великого гуманиста, человека и композитора. Советские читатели, прочтя новую книгу о великом русском композиторе, навсегда полюбят Чайковского той любовью, которая издавна окружает его музыку в нашей стране.

А. НАРКЕВИЧ.

## Новое собрание сочинений А. С. Неверова

Более тридцати лет не издавалось у нас собрания сочинений известного русского писателя А. С. Неверова. В последний раз семь томов его сочинений было выпущено издательством «Земля и фабрика» в 1926—1930 годах, и тогда же в издательстве «Современные проблемы» вышло два тома (из предполагавшихся трех) произведений Неверова, не включенных в семитомное издание. Позже выходили в свет лишь отдельные вещи писателя, главным образом «Ташкент — город хлебный».

И вот сейчас Куйбышевское книжное издательство порадовало читателей изданием четырехтомного собрания сочинений Неверова.

В нем впервые публикуется довольно значительная часть эпистолярного наследия А. С. Неверова — его письма писателям П. Яровому, М. Волкову, Н. Степному, своему брату П. Скобелеву и другим лицам, всего 41 письмо. Письма Неверова не только помогут при составлении его биографии, которая и по настоящее время еще не написана, но и позволяют исследователям точнее судить о творческих замыслах писателя.

Новое собрание сочинений не могло явиться простым повторением изданий 1926—1930 годов хотя бы по той простой причине, что семь томов зифовского издания плюс два тома «Современных проблем» уложены теперь в четыре книги, правда, несколько большего объема. Редакционная коллегия в общем удачно справилась с отбором произведений, опустив главным образом такие вещи, которые не представляют особой художественной ценности и не были сколько-либо заметной вехой в творческом пути писателя. Например, не вызывает возражения невключение в это издание одноактных и двухактных пьес, писавшихся Неверовым для художественной самодеятельности («Поросенок», «Контрреволюция», «Гражданская война», «Красный Октябрь»). Но стоит пожалеть, что опущены также небольшие по объему, но драматически очень сильные, психологически убедительные пьесы: «А там, в Поволжье», «Анна», «Добровольцы». В новое собрание сочинений не вошло примерно до тридцати рассказов и очерков

писателя. И опять: если рассказы «Отзвонил и с колокольни долой», «Поповская арифметика», фельетон «Скуловороты московские» и некоторые другие вещи, не опубликованные в настоящем издании, действительно не были значительными для творчества Неверова, то этого нельзя сказать про рассказ «В путь-дорогу», посвященный молодой крестьянке, которая уходит учиться в город, или про рассказ «В те дни», где дана выразительная картина роста большевистских настроений в деревне в конце 1917 — начале 1918 годов. А этих рассказов нет в новом собрании! Один из ранних рассказов — «Авдотьяна жизнь» — напечатан во второй редакции, предназначавшейся для хрестоматии, которая не увидела света. Поскольку редакция эта существенно отличается от первой, публиковавшейся в «Вестнике трезвости» в 1907 году, следовало бы в примечании дать не отдельные примеры разночтений, а полный текст. Это наглядно показало бы степень переработки Неверовым рассказа.

В новом собрании сочинений составители опубликовали, и это очень разумно, несколько произведений, которые не входили в семитомное собрание «Земли и фабрики» и были включены лишь в тома, изданные «Современными проблемами». Это — «Сон Лукьяна», «Под песнь вьюги», «Туда», «Шайтан», «Пропавшая страна», «От неизвестных причин», «Отслужившие». Рассказы «Сон Лукьяна» и «Под песнь вьюги», знаменовавшие собой шаг вперед молодого тогда писателя по сравнению с самыми первыми его выступлениями. Хотя в них разрабатывается та же тема борьбы с алкоголизмом, что и в рассказах «Горе залили» и «Авдотьяна жизнь», но разрешена она более тонкими художественными средствами. Оправдано напечатание рассказа «Туда», повествующего о разрыве молодой девушки Нины с обывательски настроенной семьей и становящейся медицинской сестрой красноармейской части. Несмотря на неразвернутость образа героини, рассказ этот был значительным явлением в литературе периода гражданской войны. Напомним, что на такую же тему была вскоре написана очень популярная в свое время повесть Н. Ляшко «В разлом». В сказке «Шайтан» Неверов разоблачил кулацкое противодействие строительству новой жизни в деревне. Он великомерно уловил и высмеял основной лейт-

А. С. Неверов. Собрание сочинений в четырех томах. Под общей редакцией Я. А. Ротковича, Н. И. Страхова, П. С. Скобелева. Куйбышевское книжное издательство. 1957—1958.

мотив агитации, особенно широко использованный кулачеством в годы сплошной коллективизации. Шайтан убеждает мужиков: «Трудно коммуной... Невыгодно. То ли дело — своя ложка, своя чашка, своя десятина у каждого. Хозяин себе. Много сработал — для себя, мало сработал — для себя. Никому не в обиду. Ну, артельное дело — сами знаете: один работает, другой на солнышко глядит».

Рассказ «От неизвестных причин» в свое время заинтересовал Горького, и советским читателям очень полезно будет с ним ознакомиться. Пропуск его в семитомном зифовском издании был прямой ошибкой.

Расположены произведения Неверова в новом собрании в хронологическом порядке, и это дает наглядное представление о творческом росте писателя. Но при этом допущена досадная неточность: на титульном листе первого тома стоят цифры: 1907—1917 гг. Том же открывается рассказом «Горе залили», напечатанным в 1906 году, как и подтверждено в примечаниях к тому.

В новом издании интересна вступительная статья Н. Страхова. Она написана с большой любовью к писателю, к его произведениям. Автор обстоятельно освещает творческий путь одного из зачинателей советской литературы, не замалчивая ни подлинных достижений художника, ни его промахов. Н. Страхов подчеркивает особенное значение творчества Неверова в постановке и разрешении «проблемы исторических судеб русского крестьянства на рубеже двух эпох — капиталистической и социалистической». Уделив максимум внимания анализу центральной крестьянской проблемы в творчестве Неверова, Н. Страхов не обошел и тех произведений писателя, которые посвящены изображению жизни духовенства и сельской интеллигенции. Вместе с тем Н. Страхов признает, что «у Неверова, бесспорно, были свои слабости, недостатки, срывы. Наряду с яркими, оригинальными произведениями, его творчество содержит вещи примитивные в художественном отношении, страдающие схематизмом и упрощенчеством».

Однако, на наш взгляд, в оценке Н. Страховым творчества Неверова есть спорные и даже неправильные моменты. Вряд ли справедлив упрек в «безотчетной дани индивидуалистическому «культу женщины», «явственные отголоски» которого автор находит «в бесспорно талантливом рассказе «В садах», а также в лирических миниатю-

рах, воспевающих чувственную любовь как единственную непреходящую ценность бытия и чем-то напоминающих купринскую «Суламифь» с ее нарочито эротической окраской и изысканно-манерной патетикой». Ассоциации критика, которому рассказ «В садах» и лирические миниатюры напомнили купринскую «Суламифь», не закономерны — ведь в основе этих неверовских вещей лежит та же борьба за подлинное равноправие женщин, в том числе и за их права на любовь, которая вообще характерна для всего творчества автора «Марьи-большевички».

Совершенно беспочвенны попытки найти объяснение «мотивов отчаяния, пессимизма», развивавшихся в неверовских произведениях «голодного цикла», в «непонимании писателем характера новой экономической политики». Н. Страхов пишет: «Воспринимаемая нэп как отступление от революционных завоеваний, Неверов утратил в это время способность трезвого взгляда на жизнь, потерял перспективу». Делать такие далеко идущие выводы на основе рассказа «Хлеб наш насущный», который даже не включен в настоящее собрание сочинений, неправильно. В рассказе, правда, изображены тяжелейшие переживания писателя, но, во-первых, они связаны не с введением нэпа, а с ужасами голода в Поволжье, и, во-вторых, при всей автобиографичности содержания вещи нельзя отождествлять ее литературного героя, хоть он и является писателем, с самим Неверовым.

Большую работу проделал В. Скобелев над примечаниями к томам сочинений. Если в зифовском издании они носили лишь справочный характер, то в настоящем собрании обычно дается сжатая творческая история произведений, опирающаяся на переписку Неверова с журналами и издателями по поводу их публикации. Примечания дают также наглядное представление о работе писателя над рукописями, о его высокой требовательности к художественному мастерству. Примечания подобного рода нужны не только узким специалистам, как иногда полагают. Они помогут и широкому читателю яснее представить себе обстоятельства жизни Неверова, позволят составить правильное представление о его व्यскательном труде.

Поскольку переписка Неверова печатается в настоящем издании впервые, о ней следует сказать несколько слов особо. Отличительная ее черта — страстная любовь к литературе, сознание ответственности за пи-

сательское слово. Особенно важно, что такое понимание своего долга проявлялось Неверовым не только в советские годы, оно жило в душе скромного сельского учителя, в упорном труде овладевавшего мастерством писателя. А он, этот труд, был поистине неусыпным. «Придираюсь к себе хуже записного критика. Некоторые вещи переписываю по 50 раз (буквально). Что напишу сегодня—завтра рву» (из письма Неверова И. Лаврентьеву, 25 апреля 1914 года). Письма Неверова еще раз подтверждают, что в основе его творчества всегда лежала жизненная правда. Но она не была бескрылой правдой натуралиста. Даже на первых шагах своего творчества писатель стремился к созданию типических характеров, к зарисовке типических явлений. «Не нужно уходить от жизни,— писал он своему другу, начинающему писателю П. Яровому, тоже работавшему сельским учителем в до-революционные годы,—а ты уходишь от нее. Тебе кажется, что ты лезешь в нутро жизни, но, сам того не замечая, ты выскакиваешь наружу и плывешь на поверхности. Если в тебе много впечатлений, то это немного, не все. На одних впечатлениях далеко не уедешь. Конечно, передавать впечатления легче, удобнее, тут как бы получается некоторая пестрота, разнообразие, но в этом нет еще лица настоящей жизни» (из письма от 14 октября 1916 года).

Письма Неверова — свидетельство роста его творческой личности, формирования его мировоззрения. Когда началась первая мировая война, Неверов еще слабо разбирался в ее характере, ее целях. Но одно он знал твердо, что и сказал в письме к одному из своих друзей — писателю И. Лаврентьеву: «Пусть другие сражаются там, а Ваше поле битвы здесь. Ведь не одни немцы да австрийцы. Есть и другие враги, посягающие на то, что дорого и близко. Не нужно и о них забывать. Оружие против них — в Ваших руках, и Вы не должны бросать его...» Вместе с тем Неверов высказывает резко отрицательное мнение о «трудах» аполететов войны. «Ведь почитай теперь всевозможные корреспонденции и фельетоны с театра войны? — предлагает он П. Яровому в одном из своих писем.— Что это такое? Ты думаешь, это голос страдающих? Голос тех, кто несет крест за расточителей и прожигателей? (подчеркнуто мною.—В. К.). Нет, я чувствую, что это не подлинник того, что чувствуют и переживают лежащие в окопах, а это особого ро-

да литература, литература специалистов, которые создают героизм, втирают свои измышления в публику и поддерживают тираж издателей, от кармана которых работают». И далее Неверов прямо называет таких литераторов, навостривших перо, «молодцами» от литературы.

Большой интерес представляет переписка Неверова в советские годы. Она открывается письмом И. Лаврентьеву от 11 января 1920 года. В нем он с гордостью сообщает своему старому другу, с которым временно были порваны связи, что «минувший 1919 год в смысле литературной работы у меня очень богатый. Я поместил несколько рассказов в самарских журналах: «Красная Армия», «Красный паровоз», «Вестник Комиссариата» и в «Народную жизнь» (издание кооперативов). За два рассказа в Москве на конкурсах получил премии». Этот бодрый тон, сознание своего места в советской литературе характеризуют большую часть писем 1920—1923 годов. Переехав из Самары в Москву, Неверов принял самое горячее участие в литературной жизни столицы, стал сотрудником многих журналов, а в 1923 году был назначен заведующим литературным отделом «Крестьянской газеты». Тот теплый прием, который встречали его вещи, отнюдь не вызвал у него «головокружения от успехов». Напротив, судя по московским письмам, требовательность Неверова выросла. «Я всегда думаю, что самое лучшее впереди. Даже в литературной работе самое лучшее впереди. Все написанное мною кажется мне только попыткой, только первыми уроками» (из письма П. Кобышеву от 7 ноября 1922 года). Он настойчиво ставит в переписке с друзьями-писателями вопросы художественного мастерства, щедро знакомит их со своим творческим опытом, и многие его советы начинающим писателям можно с пользой повторить и сейчас. «Форма и язык — величайшая, необходимейшая вещь для писателя. Больше читайте. Точите слова. Ногти грызите, ручки ломайте, а свое дело делайте» (из письма П. Кобышеву от 17 сентября 1922 года). Уделяя большое внимание вопросам формы, Неверов не уставал звать своих корреспондентов припадать к истоку творчества — к жизни. «Вы сидите в самой гуще теперешней жизни, и все это для Вас, как для художника, целое богатство. Знать жизнь в ее неприкрашенном виде необходимо, и такого знания многие писатели не имеют,

ся в городах. Только не изжевывайте это до мелочей, не вдавайтесь в обывательское брюзжание. Смотрите на все твердо, ясно, беспристрастно и не поддавайтесь первому впечатлению. Оно часто бывает обманчиво. Сначала скверно, нехорошо, а потом только посмеетесь над ним от души. Вообще Вам не следует смотреть на вещи через темные очки и торжествовать тоже не следует чрезмерно» (из письма П. Конижеву от 17 сентября 1922 года).

В заключение выразим пожелание, вполне осуществимое для Куйбышевского книжного издательства: в дополнение к новому собранию сочинений Неверова издать сборник воспоминаний о писателе. Такие сбор-

ники были выпущены в 1924 году издательствами «Земля и фабрика» и «Красная новь», в них наряду с некоторыми позднее перепечатывавшимися вещами найдутся произведения, которые сегодня незаслуженно забыты. Таково, например, стихотворение Веры Инбер, помещенное в сборнике «А. С. Неверов» (издательство «Земля и фабрика»). Найдутся в этих сборниках и другие произведения, посвященные Неверову, которые помогут воссозданию его облика. Кроме того, к участию в таких сборниках могут быть привлечены писатели, лично знавшие автора повести «Ташкент — город хлебный».

**В. КРАСИЛЬНИКОВ.**

★

### Политика и наука

#### Масштабы созидания

«Никогда еще не было у нас такого всеобъемлющего плана, как семилетка, учтено и продумано все — от гигантских электростанций до детских игрушек, от большой химии до садов и виноградников. Все для человека, все во имя его блага! Вот наша великая цель, вот смысл той огромной работы, которую вела и ведет ленинская партия коммунистов!

Наши экономические планы — это планы мира и созидания».

Эти значительные и в то же время душевные слова из Обращения июньского Пленума ЦК КПСС ко всем трудящимся Советского Союза вполне могли быть поставлены эпиграфом к книге А. Ведищева «Что и где будет построено в 1959—1965 годах». Приведенные в ней цифры, факты и различные информационные материалы дают читателю явственное ощущение того ускоренного общественного развития, которое намечено XXI съездом нашей партии.

Восприятию текста помогают удачно составленные три рельефные карты: «Районы крупнейших новостроек», «Нефтяные месторождения Волго-Уральского района» и «Строительство газопроводов в СССР».

«Посмотри, читатель, на карту Родины! — пишет А. Ведищев. — На ней отражаются важнейшие изменения, которые внесет те-

кущее семилетие: новые энергопромышленные и нефтехимические районы, сеть магистральных трубопроводов, линии сверхмощных электропередач и электрифицированных железнодорожных магистралей, новые районы тяжелой и легкой промышленности и строительства. Все это советский народ создаст в предстоящем семилетии».

Гигантские масштабы созидания в нашей стране проявились с первых же месяцев выполнения семилетнего плана. Нет ни одного края, области, района, предприятия, где не вспыхнуло бы с новой силой всенародное социалистическое соревнование.

Десять глав в этой книге. Вот названия некоторых из них: «Самое дешевое топливо», «Индустрия шагает на Восток», «Внутрирайонные резервы — на службу народному хозяйству», «Электропоезд Москва — Дальний Восток»... Какую страницу ни раскрыли бы мы, на каждой комментируются задания семилетнего плана, осуществив которые мы станем еще сильнее и богаче.

Интересны цифры, иллюстрирующие развитие топливно-энергетической базы. Они говорят о той пользе, которую принесет газ всему народному хозяйству в целом и каждому человеку в отдельности; уменьшатся дым и копоть, которые мы вдыхаем ежедневно и ежечасно в городах.

Много полезных сведений помещено в книге. Башкирия, например, будет ежегодно производить такое количество спирта и

**А. И. Ведищев. Что и где будет построено в 1959—1965 годах. Редактор П. В. Кузнецов. 80 стр. Госпланиздат. М. 1959.**

каучука, для выработки которых потребовалось бы несколько урожаев зерновых со всей посевной площади республики. Или другой факт: общие запасы богатых железных руд только в Белгородском районе Курской магнитной аномалии в тринадцать-четырнадцать раз превосходят запасы богатых железных руд в самом крупном железорудном бассейне США—районе озера Верхнего. Со слов академика И. П. Бардина, посвятившего много лет исследованию и развитию производительных сил Сибири, автор книги отмечает, что промышленное освоение будет все больше и больше захватывать северные широты — там будет происходить разработка якутских алмазов, норильского никеля, кобальта, платины.

С удовлетворением занесет пропагандист в свой блокнот и другие сведения, приведенные А. Ведищевым.

«Сокровища «зеленого океана» — называется глава о лесе. Она занимает всего три с половиной страницы, но сколько здесь нужных, ярких материалов! Семьдесят пять миллиардов кубических метров — таков общий запас древесины нашего лесного фонда. Это означает, что при нынешнем уровне лесозаготовок народное хозяйство обеспечено лесом более чем на два столетия.

«Обзор нового строительства,— пишет автор,— намечаемого на 1959—1965 гг., показывает, что в предстоящем семилетии создается основа новой географии промышленности СССР».

Да, это так! Новая география является претворением в жизнь ленинских заветов о планомерном, разумном использовании экономических ресурсов, природных богатств страны. Новая география социалистической промышленности поможет решению нашей главной экономической задачи.

В каждом сообщении с заводов, фабрик, шахт, новостроек, колхозных полей явственно видны высокая трудовая активность и неисчерпаемая инициатива советских людей — верный залог успешного выполнения плана строительства коммунизма.

Поистине необозримо строительство, осуществляемое в СССР. Уже в 1958 году одновременно воздвигалось свыше 320 тысяч промышленных, транспортных и культурно-

бытовых объектов. В период 1959—1965 годов среднегодовой объем капитальных затрат превысит 400 миллиардов рублей против примерно 180—200 миллиардов в предшествующие годы. Огромный скачок вперед осуществит народ-строитель, неуклонно идущий к великой цели. Достижение ее ускоряет комплексная механизация и автоматизация производства — основа дальнейшего повышения производительности труда, специализация и кооперирование в народном хозяйстве, все возрастающая роль науки в техническом прогрессе.

Есть издания, которые не грех выпускать дважды и трижды в году, чтобы поспеть за исполинскими шагами семилетки. К числу таких изданий принадлежит книга А. Ведищева.

В самом деле, можно ли, например, рассказывая о Новолипецком металлургическом заводе, ограничиваться лишь двумя строками? Никак нельзя! Наши стремительные дни, обгоняющие планы, выдвигают ныне этот завод на передовую линию семилетки. На базе замечательных руд Курской магнитной аномалии будет создан в центре Европейской части страны крупный металлургический комбинат, по мощности равный теперешней Магнитке. Характерной особенностью предприятия явится массовое производство листового проката, электросварных труб различного диаметра и, что особенно важно, высококачественного трансформаторного и динамового листа для электротехнических заводов Москвы, Ленинграда, Харькова, Запорожья и других городов.

Обязательно нужно было бы рассказать о значении концентрации капитальных вложений для судеб нашего строительства. В речи на июньском Пленуме ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущев специально остановился на этом важнейшем вопросе.

Книга А. Ведищева «Что и где будет построено в 1959—1965 годах» дополняет наши знания, наши представления о созидательной работе народа и ее размахе в стране, где героический труд стал законом повседневной жизни миллионов людей и примером для всего человечества.

А. ЛИТВАК.

## Рассказ о большой жизни

Не раз мемуарная и художественная литература рассказывала о путях интеллигентов в революции. И все-таки с неослабевающим интересом следишь за перипетиями этой поистине удивительной человеческой жизни. Сын русского консула в Ницце, твердо решающий работать на родине; мостостроитель с мировым именем, почти в шестьдесят лет вступающий вдруг в совершенно новую отрасль техники — электросварку, чтобы отдать ей всего себя целиком; человек, которому еще в восемьдесят лет молодежь говорила, что нельзя ему мерить силы других по своей работоспособности; академик, на склоне лет решивший вступить в Коммунистическую партию и принятый в ее члены непосредственно на заседании Политбюро, — такова замечательная судьба Евгения Оскаровича Патона.

Огромную ценность представляют его «Воспоминания» с точки зрения педагогической. Вся книга пронизана доверием к молодости, стремлением окрылить ее верой в свои силы. «Каждое научное учреждение обязано «творить людей!» Грош цена тому научно-исследовательскому институту, который держится и живет одним лишь именем своего директора, одной лишь его научной репутацией». Этой мыслью жива книга.

В ней названы больше ста двадцати человек. Это любимые ученики Патона, студенты, сварщики, молодые инженеры, дипломанты, хозяйственники, партийные и государственные работники — все, кто так или иначе был причастен к делу его жизни. Неизменно по каждому поводу автор обращает к ним благодарное слово за то, что боролись против косности и рутинерства, за умение и готовность дерзать, идти на обоснованный риск, за трудолюбие и упорство. Вне коллектива Патон никогда не ощущал себя, вне советского общества он и немыслим.

Значительная часть книги — это увлекательнейшее повествование о созданном Патонем научном учреждении, о больших задачах, которые жизнь неотступно ставит перед исследователями. В то же время это

рассказ о научных открытиях, в свою очередь постоянно и все шире пролагающих дорогу в промышленность новым конструкциям и прогрессивным методам.

Замечательным документом являются «Воспоминания» для всякого, кто интересуется психологией творчества. На множестве фактов и наблюдений убедительно показано в книге, какой огромной моральной и интеллектуальной сосредоточенности и целеустремленности — в малом и в большом — требует дело изобретательства. Как бы следуя горьковским советам, наука и техника изображаются в книге не как склад готовых открытий и изобретений, а как арена борьбы, где человек преодолевает сильнейшее сопротивление материала и традиций.

По мере чтения «Воспоминаний» все полнее раскрывается то качество, которое сделало Е. О. Патона замечательным человеком своего времени. Он борец в самом широком понимании этого слова, и он не боится ответственности в борьбе.

Записки Патона — правдивый рассказ «о времени и о себе». Патон свидетельствует: окажись он несколькими годами раньше перед дилеммой выбора, как случилось это с ним, когда встретился он со сварщиком на маленькой железнодорожной станции, он, вероятно, использовав сварку для мостостроения, остался бы верен мостам. Чтобы понять, почему он решил начинать заново научную жизнь, нужно вспомнить, чем был для страны 1929 год, начало первой пятилетки. Стальной электрод в руках сварщика уже помог выигрывать дни и недели в битве за темпы. Патон решил: пора сварке идти в наступление на клепку. И сразу ближе стала сама пятилетка, определилось и новое место его, Патона, в жизни.

Ученый дал промышленности важное оружие в борьбе за прогресс: теорию скоростной автоматической сварки, флюсы и сварочные автоматы — «патоны», как любовно называют их на производстве, — совершившие подлинную революцию в строительстве и промышленности.

Но не сразу пришла победа. Об одном эпизоде «генерального сражения» даже тринадцать лет спустя не может Патон рассказывать без волнения.

Это было в октябре 1940 года. Шло заседание в ЦК Коммунистической партии

Е. О. Патон. Воспоминания. Литературная запись Юрия Буряковского. Редактор Г. Ризанова. 366 стр. «Молодая гвардия». М. 1958.

Украины. Противники сварки и эксперты предъявили неотразимый аргумент: фотографии сварных мостов за границей — мостов, рухнувших в воду. Патон принимает бой. Да, мосты провалились, говорит он, но это зрелище для людей слабонервных и не желающих вникнуть в суть явлений. Причина катастроф не в самой сварке, не в ее основных принципах, а в неправильном, кустарном ее использовании — в том, что на Западе применили сварку «впотмах», без творческого осмысления того, что влечет она за собой в теории и практике мостостроения. После перехода от клепки к сварке в Германии, Бельгии и других странах оставили без каких-либо существенных изменений конструкции мостов, не задумались над тем, что томасовская сталь, принятая при клепке, негодна при сварке и должна быть заменена мартеновской. И, наконец, самую сварку производили вручную, примитивно, что не гарантировало необходимого качества и должной культуры производства, которую могут дать только автоматы.

— Мост будем варить, дороге товарищи, — сказал секретарь ЦК Н. С. Хрущев, ознакомившись с действием нового сварочного автомата. Он добавил, что доложит Союзному правительству о великом деле, чтобы сразу придать ему государственный размах.

Все, что произошло дальше, выходит за рамки простого рассказа о частной победе в области сварки. Все это звучит глубоко актуально и сегодня.

По докладной записке института было принято правительственное постановление, в котором автоматическая сварка под флюсом названа самым прогрессивным видом сварки. Н. С. Хрущев предложил Патону переехать на время в Москву.

— Принять хорошее постановление, — сказал он, — это еще не все. Постановление не венец, а только начало дела. Партия учит нас, что за каждым, самым авторитетным документом должен стоять человек или люди, глубоко заинтересованные в его выполнении... Возможно, мы встретимся и с неповоротливостью, с косностью, а то и с прямым сопротивлением консерваторов. Нужен человек, влюбленный в свою идею, способный всегда и всюду дать бой ее противникам. Вы ведь знаете, старое, мертвое не хочет само сойти со сцены... Но одного горячего жела-

ния работать все же мало. Надо дать вам такие права, чтобы с вами считались...

Евгений Оскарович Патон был облечен высокими государственными полномочиями. И академик стал организатором и пропагандистом. Он проверял работу на всех этапах, учил, помогал, жил буквально на колесах. Чтобы собственными глазами увидеть, как выполняется постановление о внедрении автоматической сварки, Патон в семьдесят с лишним лет побывал на крупнейших заводах страны — в Калининне, Ленинграде, Подольске, Брянске, Горьком, — нигде не упуская возможности прочесть лекцию для инженеров, показать фильм о скоростной сварке (круглая коробка с кинолентой всюду кочует с ним), провести совещание сварщиков-скоростников.

«Не считай свою научную работу законченной, пока ее не проверила жизнь, практика» — это девиз института Патона. Ученый не смеет успокоиться, пока не добьется того, чтобы к марке «Сделано в научно-исследовательском институте» жизнь внесла существенное добавление, поставила свою визу: «Опробовано на десятках заводов».

«Воспоминания» обрываются 1953 годом, когда делались последние записи, — в августе Е. О. Патона не стало.

Давно признано мировое значение патоновского института. Цельносварной мост через Днепр Евгений Оскарович еще успел увидеть. Этот мост как бы олицетворил итог всей его жизни: тридцать пять лет Патон отдал мостам, двадцать пять лет — электросварке. До многих других побед Патон не дожил. Ему уже не суждено было узнать о том, как американцы запросили у Советской страны лицензии на электрошлаковую сварку.

Книга Е. О. Патона создана автором в творческом содружестве с писателем Юрием Буряковским, в чьей литературной записи она вышла.

Выпустив в свет «Воспоминания» в серии «Жизнь замечательных людей», издательство сделало отличное дело. Но книги в продаже давно уже нет. Пора подумать о новом издании.

Хочется надеяться, что в этой серии начнут все чаще появляться биографии и воспоминания выдающихся наших современников.

**А. МЛЫНЕК.**

## Венгерские братья по оружию

В истории международной пролетарской солидарности эпоха Октябрьской революции и гражданской войны в России занимает особое место. В те незабываемые годы тысячи иностранных трудящихся — китайцев, немцев, венгров, поляков, — оказавшихся в силу разного рода причин в нашей стране, решительно встали на защиту только что созданной республики Советов.

О том, как сражались за Советскую власть более восьмидесяти тысяч военнопленных венгров, какие подвиги совершили они во имя светлого будущего освобожденной России и своей далекой родины, рассказывает сборник «Венгерские интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции». Он представляет перевод с венгерского издания, подготовленного научными сотрудниками Военно-исторического института Венгерской Народной армии.

Книга эта — серьезное научное исследование. В ней опубликовано большое количество новых документов и воспоминаний бывших венгерских бойцов и командиров Красной Армии.

Сборник открывается предисловием Председателя Венгерского Революционного рабоче-крестьянского правительства, в прошлом активного участника движения интернационалистов в Сибири, Ференца Мюнниха, обратившегося с теплыми словами к советскому читателю. Публикуемые материалы, пишет он, являются красноречивым свидетельством того, как вечно живое учение Маркса—Энгельса—Ленина сплачивает трудящихся различных стран и народов в общей борьбе за социализм. Рассказывая о прочности революционных традиций народов СССР и Венгрии, Мюнних дает высокую оценку движению интернационалистов в Советской России, показывает их роль в образовании Коммунистической партии Венгрии и Венгерской Народной Республики, раскрывает политическое значение дальнейшего изучения истории этого движения.

С большим интересом читается вводная статья к сборнику, написанная Енё Дьёркеи и Анталом Йожа. В ней на фоне историче-

ских событий, происходивших в России в 1917—1922 годах, дается обстоятельное освещение многих славных дел венгерских военнопленных, получивших свободу после Октябрьской революции, добровольно вставших в ряды Красной Армии и мужественно сражавшихся почти на всех фронтах гражданской войны. Используя богатый фактический материал, авторы говорят об истоках дружбы и боевой солидарности братских народов, приводят убедительные примеры беззаветной преданности венгерских бойцов социалистической революции.

В статье имеются сведения о зарождении и развитии венгерских коммунистических групп, объединенных впоследствии в венгерскую секцию Федерации иностранных групп при ЦК РКП(б). Ценными являются сводные данные о размещении и численности лагерей военнопленных на территории России в 1914—1917 годах, а также тщательно выполненная схема мест формирования и боевой деятельности интернациональных отрядов, в состав которых входили венгры.

Публикуемые в сборнике материалы вводят читателя в героическую эпоху тех дней, когда решалась судьба первого в мире государства рабочих и крестьян и когда трудящиеся, сплоченные партией Ленина, мужественно сражались против контрреволюции и империалистической агрессии четырнадцати государств.

«Мы призываем вас объединиться под нашим революционным знаменем, — обращались венгерские социал-демократы из Омска к военнопленным в феврале 1918 года, когда на Советскую республику двинулись интервенты. — Старый мир, в котором были только угнетатели и угнетенные, подыхает, и приближается новый славный мир, приносящий трудящимся мир и счастье, — мир социализма. Последний бой, последнее напряжение — и навсегда лопнут оковы народов. Пойдем в эту битву с поднятой головой...»

От имени венгерских социал-демократов Омска воззвание подписано Кароем Лигети.

Карой Лигети! Образ этого замечательного сына венгерского народа, коммуниста, героя гражданской войны, оживает перед нами. Вот он переходит из офицерского лагеря в барак к солдатам, чтобы навсегда

---

**Венгерские интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции. Редактор Б. Я. Гейгер. 324 стр. Воениздат. М. 1959.**

связать с ними свою судьбу, вот он читает им статьи В. И. Ленина и большевистские листовки, вот он выводит отряд на демонстрацию в поддержку власти Советов в Омске. Лигети формирует первые отряды интернационалистов для отпора бандам Семенова и Каледина, храбро сражается с белыми, но попадает в плен к колчаковцам. Его напрасно пытаются подкупить и сделать предателем. Лигети истязают и бросают в застенки, где он ожидает казни.

За несколько дней или даже часов до расстрела Лигети написал стихотворение. Там имеются следующие строки:

Пока хоть искра пламенеет в сердце,  
Пока сердца стучат в одном строю,  
Вперед стремитесь, красные венгерцы,  
Я с вами пасть готов в бою!  
..Останусь я в могиле безымянной,  
Но пламя сердца вам, друзья, отдам,  
Чтоб, словно факел яростно-багряный,  
Могучее, оно светило вам.  
В последней битве буду вместе с вами,  
Мадьяры — Красной Армии сыны!  
Мы умерли отважными бойцами,  
Вы воскресите нас в подвигах должны!

Таков был Лигети. Таков был Лайош Винерман — талантливый красный командир-чапаевец, погибший в боях под Новоузенском. Интернациональные отряды его имени не раз обращали в паническое бегство белых.

Сборник убеждает, что подобных героев были сотни, и большое его достоинство именно в том, что он воссоздает многие, ранее незаслуженно забытые имена.

Помещенные в книге документы дополняются воспоминаниями участников революционного движения в Советской России. Большинство их написано для настоящего издания.

К сожалению, авторам не удалось с достаточной полнотой осветить революционную борьбу венгерских интернационалистов в Москве, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Туркестане, на Северном Кавказе. В статье имеются неточности и ошибки в наименовании отдельных воинских частей, географических пунктов.

В ряде материалов, написанных еще в тридцатых годах, имеются некоторые неточности. Это относится, в частности, к воспоминаниям Матэ Залки, свидетельства

которого иногда расходятся с другими документами, в том числе с личным делом самого Залки, хранящимся в Центральном государственном архиве Советской Армии. Не приведено достаточных фактов о деятельности Тибора Самуэли, что было бы очень важно, поскольку архивных материалов о нем сохранилось мало. Жаль, что воспоминания, как, впрочем, и документы, опубликованы без необходимых иногда пояснений.

Сборник, изданный на русском языке, несколько отличается от венгерского издания. Авторы расширили и углубили вводную статью, издательство снабдило книгу именным указателем и примечаниями. Однако не следовало текст некоторых документов перепечатывать с сокращениями. Оставляет желать лучшего качество иллюстраций.

Содержание сборника, в том числе и вводной статьи, значительно обогатилось бы, если бы при его подготовке к печати авторы полнее использовали архивные фонды ЦГАСА, а также Центрального партийного архива при ЦК КПСС и ряда областных архивов страны. Отметим здесь, что часть таких новых документов уже выявлена советскими исследователями.

На наш взгляд, было бы целесообразно подготовить к изданию фундаментальный сборник документов о венгерских интернационалистах, который включил бы в себя все материалы, разысканные как в венгерских, так и в советских архивах. Нужно подумать и о составлении сборников, посвященных интернационалистам — представителям других народов.

Научная разработка истории пролетарской солидарности — почетная и ответственная задача, важность которой с новой силой подчеркнута в решениях XXI съезда КПСС. Ее осуществление вносит серьезный вклад в борьбу с ревизионизмом, пытающимся расколоть международное рабочее движение, подорвать веру в солидарность трудящихся.

Венгерские товарищи, подготовив рецензируемый сборник, осуществили большое и полезное дело. Хорошую инициативу проявил Воениздат, сделав этот ценный сборник доступным широким кругам советских читателей.

*Кандидат исторических наук*  
**В. КОНДРАТЬЕВ.**

## Первый казахский просветитель

**Ч**окан Валиханов — поистине редкое и в высшей степени знаменательное явление в истории общественной мысли Казахстана середины прошлого столетия.

Первый казахский ученый и просветитель, отдельные труды которого уже при его жизни получили самое широкое признание, способствовал развитию в Казахстане ряда отраслей науки: географии, истории, социологии, востоковедения, фольклористики, этнографии. Смелый мыслитель, подхвативший традиции русской материалистической философии, поражал своих современников исключительными способностями, беспокойным новаторским духом, ненасытной жадой знаний. Он установил личный дружеский контакт с представителями русских революционно-демократических кругов, всецело разделял их идеалы.

Чокан Валиханов олицетворял все лучшее в национальном характере казахского народа, был выразителем его стремлений к свободному и счастливому жизнеустройству. Казахский просветитель-демократ прожил всего тридцать лет (1835—1865), но сделал столько, что обессмертил свое имя.

Значение Чокана Валиханова особенно заметно на фоне безотраднейших условий существования казахского народа в прошлом, социально-культурной отсталости, хищнического произвола царских колонизаторов. Путь Валиханова через величайшие трудности, преграды, невзгоды — это путь талантливых сынов всех народов дореволюционной России.

Судьба литературного наследия казахского просветителя сложилась неблагоприятно. При жизни Валиханова были опубликованы в периодических изданиях только отдельные его произведения. Лишь почти через сорок лет после его смерти, в 1904 году, появился в Петербурге том «Записок Русского Географического Общества по отделению этнографии» с подзаголовком «Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова». Материалы для тома были собраны при участии академика П. П. Семенова-Тянь-Шанского, Г. Н. Потанина, ближайших друзей Валиханова, и опубликованы (к сожалению, со многими текстологическими изъянами) под редакцией Н. И. Ве-

селовского. В 1947 году в Алма-Ате вышла книга «Ч. Ч. Валиханов. Статьи. Переписка», составленная Х. Айдаровой.

Таким образом, как это ни странно, до сих пор отсутствовало не только полное академическое собрание сочинений Валиханова, но и вообще научно-подготовленное издание его наиболее значительных произведений. Мы оказались в большом долгу перед оригинальным мыслителем, одним из основоположников казахской демократической публицистики, чье имя составляет национальную гордость возрожденного Казахстана.

И вот перед нами недавно выпущенная в Алма-Ате долгожданная книга «Избранные произведения» Чокана Валиханова. Она знакомит с подлинными валихановскими текстами, освобожденными от цензурных вычеркиваний и произвольных редакторских исправлений. Мы узнаем много нового об истории развития казахской общественной мысли.

Книга «Избранные произведения» Чокана Валиханова — результат долголетней и кропотливой исследовательской работы, проведенной в Академии наук Казахской ССР под руководством академика А. Х. Маргулана. Немало труда было потрачено на то, чтобы в разных архивохранилищах выявить и собрать рукописные оригиналы, составляющие литературное наследие Валиханова, вдумчиво их прочитать, тщательно изучить многочисленные варианты отдельных произведений, точно датировать и прокомментировать их и в конце концов подготовить для издания канонические тексты. Это внушает твердую уверенность в том, что академическое собрание сочинений Чокана Валиханова будет завершено в недалеком будущем. Чем скорее это случится, тем лучше: все созданное Валихановым представляет огромный интерес для многонациональной советской общественности.

В состав избранных сочинений вошли уже известные произведения Валиханова «Очерки Джунгарии», «Записка о судебной реформе», «О состоянии Алтышара, или шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухари)» и некоторые другие. И всегда — будь это исторические экскурсии в прошлое народов Казахстана и Средней Азии или активное публицистическое вмешательство в течение окружающей жизни, полной классовых противоречий,

**Чокан Валиханов. Избранные произведения. Под редакцией А. Х. Маргулана. 644 стр. Казгослитиздат. Алма-Ата. 1958.**

будь это великолепное по обстоятельности описание труднейшего путешествия в Кашгар, раскрывающее силу обобщающей мысли автора,—езде Валиханов выступает убежденным защитником интересов казахского народа, поборником его единения с русским народом, вольнолюбом, противником деспотизма и мусульманского мракобесия.

Публицистика Валиханова вообще удивительно многообразна и охватывает наиболее актуальные вопросы своего времени: от обоснования перехода кочевых аулов на оседлость до раскрытия перспектив русско-казахского содружества, от обличения классового союза феодально-байских элементов с царскими колонизаторами до критики пережитков патриархальной старины, от обсуждения проблемы переустройства казахского общества до освещения международных событий, от решения философско-этических вопросов до обоснования оригинальных фольклористических взглядов. Валиханову довелось выступать в очень трудной обстановке, когда не существовало ни развитой казахской письменности, ни национальной печати. Он писал на русском языке, но его выразительными средствами мастерски передавал национальное своеобразие своих научных трудов и тем более публицистических выступлений.

На нескольких примерах можно показать, как в результате текстологической работы над материалами наследия Валиханова проступает его подлинный облик демократа. В издании 1904 года одно из главных положений «Записки о судебной реформе» публиковалось в такой редакции: «...будет образовано в округах (Казахстана.—М. Ф.) управление более рациональное и на началах самоуправления...» («Записки РГО», т. XXIX, стр. 151). Неопределенная формулировка о рациональном управлении перешла без изменений и в советское издание «Ч. Ч. Валиханов. Статьи. Переписка» (стр. 40). А теперь наконец точно воспроизведена мысль автора: «...будет образовано в округах управление более народное...» («Избранные произведения», стр. 196, подчеркнуто мною.—М. Ф.).

Впервые читатели получили возможность узнать истинные суждения Валиханова о необходимом характере переустройства казахского общества. В прежних изданиях они из-за своей публицистической остроты боязливо опускались, игнорировались. Вот как в духе революционно-демократических

воззрений расценивал первый казахский публицист сущность социальных реформ, отвечающих народным интересам.

«Реформы бывают только тогда удачны, когда они правильны, то есть тогда, когда они основаны на тех неизбежных законах прогресса, при которых только и возможно здоровое развитие общественного организма. Реформа такого рода должна поощрять и ни в каком случае не останавливать.

Все революции, бывшие в Европе с 1793 года, происходили единственно от стремления правительств подавить свободное народное движение» («Избранные произведения», стр. 198).

А как многозначительна восстановленная ссылка Валиханова на «Заметку башкира о башкирах», опубликованную в одиннадцатой книге «Современника» за 1863 год! Очевидным становится, что в своих публицистических выступлениях Валиханов непосредственно опирался на творческое освоение опыта русской революционно-демократической журналистики, внимательно следил за ней.

Большой ценности коллективная работа была проделана над собиранием и изучением литературного наследия Валиханова.

Однако задача создания канонического текста «Записки о судебной реформе», представляющей первоклассный документ казахской публицистики, не разрешена еще полностью. Для рецензируемого издания выбрана одна из более ранних редакций, но почему-то без учета публикации проф. Н. И. Веселовского. А в ней приводились, например, великолепные строки, свидетельствующие о зрелости социологических взглядов Валиханова:

«В наше время самыми важными и близкими для народа считаются реформы экономические и социальные, прямо касающиеся насущных нужд народа, а реформы политические допускаются, как средства для проведения нужных экономических форм, ибо каждый человек отдельно и все человечество коллективно стремится в развитии своем к одной конечной цели — к улучшению своего материального благосостояния, и в этом заключается, так называемый, прогресс. С этой точки зрения полезны только те реформы, которые способствуют улучшению быта человека, и вредны те, которые почему-либо мешают достижению этой цели. Всякая реформа, имеющая целью общественное благосостояние, тогда только может достигнуть предполо-

женной цели, не подвергаясь разным случайностям,— когда известны общественные нужды и средства» («Записки РГО», т. XXIX, стр. 153).

В рецензируемой книге впервые вводятся в научно-литературный оборот произведения Валиханова, которые целое столетие оставались неизвестными и хранились в рукописных архивных фондах: «Дневник поездки на Иссык-Куль» (1856), «Киргизы» (1857), «Западный край китайской империи и г. Кульджа» (1856). Выступая в жанре путевого дневника, автор обнаружил наблюдательность, завидную способность делать точные живописные зарисовки виденного. Даже в самом отборе фактов и явлений ощущается определенная целеустремленность публициста, выраженная простыми словами: «Думать о прошедшем и заботиться о настоящем» (стр. 239).

Обнародованные в «Избранных произведениях» отдельные главы из историко-этнографического исследования «Киргизы» интересны прежде всего своей тематикой. Казахский мыслитель, отличавшийся широким

кругозором, вдумчиво освещает многие стороны духовной культуры киргизского народа. Он особенно подчеркивал, что «расположение их (киргизов.— М. Ф.) лежит к России» (стр. 290). И не только в этом принципиальном выводе, но и в трактовке вопросов классового состава киргизского общества, четкого разграничения резко противоположных интересов манапов—представителей киргизской феодально-родовой аристократии—и бедноты, познавательного значения фольклорных памятников автор «Киргизов» выступал с обычным для него публицистическим пафосом. Казахская демократическая публицистика зарождалась и оформлялась, утверждая свою осознанную неприязнь ко всяким реакционно-националистическим тенденциям.

Выпуск «Избранных произведений» Чокана Валиханова и ожидаемое издание полного академического собрания его сочинений откроют новые возможности для исследования его жизни и деятельности.

*Доктор филологических наук*  
**М. ФЕТИСОВ.**

★

## Англия глазами американца

**А**втор книги «Таковы британцы» Дрю Миддлтон—лондонский корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс». По свидетельству издателей, он «не имеет соперников» по части «интимного знакомства с английским народом, начиная с королевы и ее министров и кончая завсегдатаями пабов (пивных)».

Миддлтону действительно нельзя отказать в известном знании английской жизни. Он не только долго живет в Англии, но и пользуется репутацией «англофила». В этом смысле он белая ворона среди американских корреспондентов. Его пристрастие к британским традициям, благоговение перед аристократией и монархическими институтами нередко служат предметом острот в журналистских кругах, чему автор этих строк сам был свидетелем во время поездок в Англию.

В книге собрано много данных о современной Англии, о ее экономической и политической структуре. Из книги можно узнать,

как устроен английский парламент, сколько лордов изволит являться на заседание Палаты лордов, как организованы тред-юнионы, на какой период хватит английских запасов угля, с какими странами торгует Англия и откуда она ввозит сырье, и так далее и тому подобное. В ряде глав разбросано немало любопытных замечаний об английских обычаях, вкусах, симпатиях и антипатиях.

Вращаясь в высших кругах аглийского общества, Миддлтон, по-видимому, вполне пропитался их идеологией и их предрассудками. Он смотрит на английскую жизнь их глазами и мерит ее их мерками. Отсюда явное предпочтение, отдаваемое автором консерваторам перед лейбористами, предпринимателям — перед тред-юнионами, буржуа — перед рабочими. Бросается в глаза, например, неподдельная горечь, с которой Миддлтон говорит о положении пресловутого «среднего класса». С величайшим сочувствием пишет он о том, как «с помощью сотен трогательных уловок средний класс стремится поддержать уровень жизни под тяжестью налогов, установленных той Англией, которую он не любит и не понимает».

**Drew Middleton. These are the british.**  
**New York (Дрю Миддлтон. Таковы британцы. Нью-Йорк).**

Тон автора волшебным образом меняется, когда он противопоставляет страданиям любезного ему «среднего класса» благоденствие английских рабочих. Если поверить автору, то рабочий класс Англии живет в земле обетованной (именно это выражение и употреблено в книге). Он-де «располагает деньгами, чувством безопасности и досугом... У него нет никакого стимула стремиться дать детям образование, необходимое для того, чтобы они могли подняться выше своих родителей. Условия жизни так хороши, они настолько выше, чем те, в которых выросло старшее поколение рабочего класса, что, кажется, в будущем незачем искать ничего лучшего».

Счастье Миддлтона, что не многие англичане прочитают его книгу, изданную за океаном! Ведь любой английский трудящийся легко уличил бы его в утрате чувства меры и чувства стыда. Положение рабочих Англии далеко от того рая на земле, который рисует Миддлтон. Зато в его описаниях отчетливо проступают взгляды Британской федерации промышленников, которая, как известно, считает, будто английские рабочие слишком «избалованы» и слишком «ожирели», и которая даже не прочь излечить их от этого недуга путем создания в стране «здоровой безработицы».

Американский «англофил» вообще выступает как рьяный защитник репутации английских правящих кругов.

Миддлтон высказывает сомнение, выиграли ли что-нибудь народы, сбросившие ярмо империализма. Он вслух сожалеет о тех временах, когда «между Суэцом и Сингапуром» благодаря английским империалистам якобы царил мир. По его мнению, вся беда в том, что «пропаганда Индии и Пакистана, а также их доброжелателей в Соединенных Штатах затмила в глазах американцев огромные масштабы английских достижений в Индии...»

В своей запальчивости добровольный адвокат британского колониализма договаривается до оскорбительного утверждения, будто Индийской республике еще надо доказать, что без колонизаторов «народ Индии стал счастливей!»

Для позиции автора характерен такой факт. Миддлтон не ленится и не скупится, когда нужно собрать и привести цифры, подкрепляющие его тезис о «процветании» английских рабочих. Но он не приводит ни одной цифры о-прибылях монополий, хотя

они действительно резко выросли за последние годы. Это умолчание нельзя считать случайным. Оно результат все того же желания автора создать впечатление, что рабочий класс занял привилегированное положение в современной Англии, в то время как ее буржуазные слои якобы разоряются, а монополии еле-еле сводят концы с концами.

Между тем Миддлтону должно быть хорошо известно, что дело обстоит совсем не так и что рабочий класс, несмотря на социальную демагогию правящих кругов, не играет никакой новой роли в английском обществе. Не случайно же автор находит нужным предупредить читателей о распространном на Западе заблуждении, будто лейбористская «национализация означала, что управление соответствующими отраслями взяли на себя рабочие. Люди в рабочих кепках не вторглись в залы заседания правлений. Наоборот, трудящиеся протестовали против того, что национализация не повлияла на управление промышленностью».

Гораздо более трезво, чем внутренние проблемы, изложены в книге некоторые вопросы внешней политики Англии и, в частности, англо-американские отношения. Миддлтон — ярый сторонник черчиллевской концепции тесного союза стран, «говорящих на английском языке». Но, в отличие от многих своих коллег, он ясно видит слабости и противоречия этого союза, многочисленные опасности, подстерегающие его на каждом шагу. Он вообще не в восторге от тех методов, с помощью которых американские монополии вербуют себе союзников в других странах. «Десять лет,— пишет он,— Соединенные Штаты заняты тем, что «делают» союзников по всему миру. Но союзников нельзя «делать» так, как делают автомобили, их нельзя покупать так, как покупают булки у пекаря».

Миддлтона явно тревожит и будущность англо-американского сотрудничества. Он серьезно обеспокоен падением американского престижа, ростом антиамериканских настроений в различных кругах английского общества, вызванных «сомнениями по поводу способности Соединенных Штатов осуществлять руководство таким образом, чтобы обеспечить мир во всем мире и защиту интересов Запада».

Многое пытается списать автор на счет покойного сенатора от штата Висконсин, шокировавшего англичан дикими сценами «охоты за ведьмами». «Маккарти,— гово-

рится в книге,—причинил доброму имени Соединенных Штатов больше вреда в Англии, чем кто-либо другой в этом столетии». Но автору ясно и то, что заметное охлаждение в англо-американских отношениях имеет и более глубокие причины. Едва ли не важнейшей из них американский публицист считает растущее отвращение к американской политике «балансирования на грани войны».

Воинственное красноречие заокеанских генералов и адмиралов, по свидетельству Миддлтона, «раздражает, а иногда пугает англичан». И есть почему! «Английский народ,—пишет он,—теснится на сравнительно небольшом острове, и было подсчитано, что шести водородных бомб достаточно, чтобы нокаутировать Англию. Вследствие этого английский народ не любит болтовни о ядерных бомбардировках; он глубоко

убежден, что не болтуны, а он сам станет первой мишенью».

Заслуживает быть отмеченным и другое свидетельство Миддлтона. Несмотря на долгие годы антисоветской пропаганды, английский народ сохранил чувство дружбы и доверия к Советскому Союзу. Хоть и сквозь зубы, но автор вынужден сказать, что в умах английского рабочего класса прочно засела мысль: «Русские не дали нам погибнуть в годы второй мировой войны, они вступили в борьбу, значит они такие же, как и мы, они не могут хотеть новой войны».

Эти немногие справедливые замечания автора книги «Таковы британцы» дают ему большее право считаться знатоком английского народа, чем целые сотни страниц его довольно пухлого сочинения.

**Л. СЕДИН.**



## КОРОТКО О КНИГАХ



**Ю. Е. МАКСАРЕВ.** Новая техника — новые победы. «Молодая гвардия». М. 1959. 64 стр. Цена 90 к.

Эта книжка призвана в известной мере удовлетворить ту особую заинтересованность в проблемах технического прогресса, которую проявляет сейчас, после июньского Пленума ЦК КПСС, наша молодежь.

Автор книги — председатель Государственного научно-технического комитета при Совете Министров СССР Ю. Е. Максарев — взял на себя благодарную миссию рассказать о том, что нового у нас поступит на вооружение автоматики в 1959—1965 годах. Вот, к примеру, такая новинка, как экспериментальная установка, созданная в Институте машиноведения Академии наук Латвийской ССР. Она работает со скоростью трех тысяч рабочих ходов в минуту и сыграет видную роль в автоматизации подачи и съема штампованных деталей. Существующие прессы делают 150—200 рабочих ходов в минуту.

Многообещающую работу, продолжает рассказывать автор книги, провел коллектив Сибирского физико-технического научно-исследовательского института: разработан совершенно новый принцип сверхскоростной обработки деталей. В обычный винтовочный патрон вместо пули вставляется металлическая заготовка и производится выстрел; «есть основание предполагать, что для обработки мелких деталей вполне можно создать настоящий станок-пулемет, «стреляющий» десятками тысяч изделий в час».

Немало нового расскажут читателю и другие страницы книжки, посвященные создателю «второй природы», как называл М. Горький химическую индустрию, и проблемам сплошной электрификации страны.

**В. П. ЕЛЮТИН.** Высшая школа страны социализма. Соэксгиз. М. 1959. 100 стр. Цена 1 р. 5 к.

Книга министра высшего образования СССР В. П. Елютина несомненно вызовет широкий интерес и не только среди молодежи. Состояние высшего образования в любой стране является верным мерилом уровня ее хозяйственного и культурного развития. Поучительны следующие факты. В 1958 году выпуск из наших учебных заведений в двадцать семь раз превысил выпуск из дореволюционной высшей школы. В последние годы в Советском Союзе под-

готовлено инженеров в три раза больше, чем в США.

Среди наглядных и выразительных сопоставлений, приведенных в книге, большое впечатление производят данные о подготовке национальных кадров и о развитии высшего образования в восточных районах страны. В 1914 году на Востоке было четыре вуза, в 1940—168, а в 1958 году — 209.

Автор рассказывает о больших задачах, стоящих перед высшей школой, о новом этапе ее развития, о крепнущей связи обучения с жизнью. Специальные главы посвящены научной работе, проводимой в вузах и способствующей решению важнейших проблем в области научного и технического прогресса, в области коммунистического воспитания молодого поколения.

**ИЗ ОПЫТА ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.** Госполитиздат. М. 1959. 146 стр. Цена 2 р. 25 к.

Пройдет не столь уж много времени, и наши предприятия, транспорт, стройки перейдут на шести-семичасовой рабочий день при двух выходных днях в неделю. Переход этот завершится в 1966—1968 годах.

Так вновь проявятся великие преимущества советского строя: именно в СССР впервые рабочие и служащие будут иметь самый короткий в мире рабочий день и самую короткую рабочую неделю.

Как успешнее подготовиться к этому большому делу, что требуется предпринять в области организации труда, какую роль при введении нового режима работы должны сыграть прогрессивная техника и технология, механизация и автоматизация производственных процессов? Этим вопросам в основном посвящен аннотируемый сборник.

Материалы книги рассказывают о введении сокращенного рабочего дня и упорядочении заработной платы в угольной, металлургической, химической промышленности и в машиностроении. Анализ и обобщение этого опыта имеют большое практическое значение.

**СЛАВНЫЙ ПУТЬ.** Сталинское областное издательство. 1959. 166 стр. Цена 5 р. 20 к.

«Славный путь» — один из выпусков серии документальных сборников по истории шахт, заводов и фабрик донецкого края — посвящен Енакиевскому металлургическому заводу.

У этого завода почетные революционные и трудовые традиции. Очерк Б. Боровика и И. Арутюнова рассказывает о биографии завода, о его замечательных людях. Здесь работал один из руководителей Горловского вооруженного восстания в декабре 1905 года Г. Ф. Ткаченко-Петренко, казненный царскими палачами. Начальником доменного цеха несколько лет был выдающийся русский металлург М. К. Курако.

Большой интерес представляют «Записки из дневника» академика И. П. Бардина, бывшего главного инженера завода. Из статьи директора завода А. Ф. Минаева читатель узнает, что в ближайшие годы предусматривается строительство двух новых домен. Предприятие будет значительно реконструировано.

**МАКСИМ ТАНК.** Стихотворения и поэмы. Перевод с белорусского. Гослитиздат. М. 1959. 280 стр. Цена 4 р. 40 к.

Сборник стихов и поэм Максима Танка — итог двадцатипятилетней работы поэта. В него вошли поэмы «Журавинный цвет» и «Люциан Тополя» и стихи разных лет. В 1934 году, когда его родной край находился под ярмом панской Польши, Максим Танк писал:

Считай кирпич стены проклятой,  
Шаги тюремных сторожей!  
Не забывай о дне расплаты,  
Когда сорвешь замок с дверей!  
Не забывай!

Советская Армия освободила Западную Белоруссию, и большинство стихов поэта посвящены новой жизни на освобожденной земле.

Стихи Максима Танка разнообразны по содержанию. Поэт пишет обо всем, чему он был свидетелем, о чем размышлял: о бессмертном подвиге Гастелло, и о том, как белорусские крестьяне после войны сеяли лен, и о пограничниках, стоящих на страже мирного труда советских людей, и о шалаше Ленина в Разливе, и о Пражском конгрессе защитников мира, и о кладбище Пер-Лашез, где покоится прах парижских коммунаров, и о негленных сокровищах Лувра.

Я хотел бы, чтоб песню мою,  
Что всегда оставалась в строю...  
Никогда бы забыть не могли,  
Чтоб пески ее не замели  
И не скрыла забвения мгла  
На дорогах, где песня прошла.

**АНТТИ ТИМОНЕН.** Родными тропами. Роман. Перевод с финского. Государственное издательство Карельской АССР. Петрозаводск. 1958. 254 стр. Цена 5 р. 85 к.

Вейкко Ларинен — центральный герой романа известного карельского писателя Антти Тимонена «Родными тропами» — переживает самые трудные дни своей жизни. На должность начальника строительного управления, в котором работает Ларинен, пробравшись человек малограмотный и недобросовестный, неспособный руководить организацией, которую он возглавляет. Управ-

ление постоянно не выполняет плана, дома строятся медленно, на строительстве происходит хищение государственного имущества. За все эти неполадки руководителям управления приходится держать ответ. Пытаясь любой ценой удержаться на занимаемой должности, начальник управления ловко наводит подозрение на Ларинена, изображая его главным виновником плохой работы управления. Хорошего работника и честного коммуниста Вейкко Ларинена снимают с работы и исключают из партии. Трудность положения героя усугубляется тем, что его отношения с женой подвергаются серьезным испытаниям. Ларинен мучительно переживает нежданно свалившиеся на него несчастья. Но доверие товарищей, рабочих строительного управления, не оставивших героя в беде, вмешательство секретаря райкома, опытного и принципиального коммуниста, помогают восстановить доброе имя Ларинена...

Судьба героя показана на фоне трудовой жизни в современной Карелии.

**ЗАКАРПАТСКІЕ НОВЕЛЛЫ.** Сборник. Составитель В. С. Поп. «Советский писатель». М. 1959. 446 стр. Цена 7 р. 75 к.

Когда читаешь эти новеллы одну за одной (большинство из них издано на русском языке впервые), точно перелистываешь страницу за страницей художественную летопись жизни народа, веками стоявшего под двойным — национальным и социальным — гнетом и лишь в 1944 году освобожденного советскими войсками. Перед читателем проходят страшные в своей обыденности картины прошлого — голода, социальной несправедливости, разлагающей и отупляющей власти золота, — картины той жизни, при которой счастье крестьянки кончалось со смертью ее коровы (Л. Демьян — «Горе старой Чмелихи»), слуга замерзал на охоте у потухшего костра, не смея потревожить спящего рядом в тепле барина (Ф. Потушняк — «Охота»), а к предложению странствующего художника нарисовать крестьянина последний относился как к очередной барской хитрости: вдруг за это потом придется подать платить? (А. Маркуш — «Панские причуды»). Возникает в этих новеллах и образ народа не только страдающего, но и борющегося, пробуждающегося от наивно-патриархальных иллюзий и пассивного долготерпения (И. Жупан — «В гимназии», «Ветролом»; А. Маркуш — «Лесорубы»). Сегодняшний день Верховины, становление новых, социалистических отношений между людьми раскрыты по преимуществу в рассказах нового поколения закарпатских писателей («Жменяки» М. Томчания, «Плуг» И. Чендея, «Вечные огни» П. Цыбульского, новеллы М. Тевелева).

Сборнику предпослана вступительная статья его составителя — В. Попа, характеризующая не только рассказы, вошедшие в сборник, но и общую картину закарпатской прозы, путей ее развития.

**КОНДР. УРМАНОВ.** Березы в алмазах. Рассказы. Детгиз. М. 1959. 112 стр. Цена 2 р. 45 к.

«Я отвалил сено и... замер: далеко за низменной равниной поднималось яркое, большое солнце, и березы, стоявшие рядом у стога, вспыхнули множеством алмазов. Легкий ветерок шевелил ветви, и алмазы искрились живым, переливающимся огнем». Уже по этой маленькой цитате из книжки старейшего сибирского писателя Кондратия Урманова читатель может судить о поэтичности его рассказов, о любви автора к родной природе. Эта влюбленность в свой край, большой жизненный опыт и тонкие наблюдения художника и создают то особое очарование его рассказов, которое не раз отмечала критика, рассматривая предыдущие книги Кондратия Урманова.

К. Урманов начал писать давно, еще когда был юношей и в поисках заработка ходил по сибирской земле. После установления Советской власти он стал писателем-профессионалом. В своих произведениях К. Урманов писал и о тяжелой жизни сибиряков при царизме, и о гражданской войне, и о том новом, что пришло в Сибирь после революции. Но одна из самых любимых его тем, это, пожалуй,— родная природа, общение людей с ней, жизнь тайги. Рассказы, включенные в аннотируемый сборник — «Песня», «В тайге», «Жизнь», «На Уень-реке», «Трошка», «Волчья падь» и другие,— посвящены охотникам, рыбакам и всем тем бесчисленным обитателям тайги, среди которых писатель чувствует себя как дома. Юные читатели, кому издательство предназначает эту книгу, будут учиться по ней наблюдать природу, ее жизнь, она поможет им полюбить суровую красоту сибирского края.

**И. М. БЕСПАЛОВ.** Статьи о литературе. Гослитиздат. М. 1959. 208 стр. Цена 4 р. 75 к.

Имя И. М. Беспалова (1900—1937), одного из видных критиков и литературно-общественных деятелей конца двадцатых — начала тридцатых годов, почти незнакомо молодому поколению читателей. Его юность прошла на фронтах гражданской войны (в 1921 году он вместе с А. Фадеевым сражался на кронштадтском льду); первые статьи Беспалова: «Логика образов раннего Горького», «Выстрел в цель» (о пьесе А. Безыменского), «Плеханов как литературный критик», «Стиль как закономерность», «Путь Маяковского» и другие — появились в журналах «Печать и революция», «Молодая гвардия», «Литература и марксизм», «Красная новь» в 1928—1930 годах, последние работы — о Багрицком, Маяковском, Фадееве, Ю. Яновском — в 1935—1936 годах. Некоторым работам критика, особенно двадцатых годов, свойственны и ошибки, связанные с влиянием переверзанства и участием в группе «Литфронт». «После ликвидации литературных групп в 1932 году,— писал А. Фадеев,— Беспалов целиком и полностью стоял на партийных позициях в области литературы». В этот период и написаны лучшие работы критика — о Маяковском, Багрицком, романе Фа-

деева «Последний из удэге»... Работы эти вошли в аннотируемый сборник избранных статей И. Беспалова (вступительная статья Ф. Левина); они дают представление не только о творческом пути самого Беспалова, но в какой-то мере и о путях развития советской критической мысли тех лет.

**И. БАСКЕВИЧ.** Горький в Курске. Курское книжное издательство. 1959. 40 стр. Цена 80 к.

Легко представить себе книжки — «Горький в Нижнем Новгороде», «Горький в Казани», «Горький в Крыму». А «Горький в Курске»?

Хотя всего три раза останавливался писатель в этом городе, история его отношений с Курском и курянами весьма интересна. Ей и посвящена небольшая книжка И. Баскевича.

Опираясь на архивные материалы, газетные источники, автор рассказывает о путешествии по России «мастерового малярного цеха» Алексея Пешкова, в том числе и о его посещении Курска в 1891 году. Несколько лет спустя начинается переписка Горького с курским изобретателем Анатолием Уфимцевым. Будучи учеником реального училища, Уфимцев сконструировал «адскую машину» с часовым механизмом и вместе с товарищами по подпольному кружку взорвал «чудотворную икону» курского Знаменского собора. Юноша-бунтарь наивно полагал, что так ему сразу удастся разоблачить религиозный обман. Высланный из Курска, он обратился за помощью к Горькому, который откликнулся письмом и посылкой денег. Посетив Курск в 1928 году, Горький встретился с Уфимцевым, с местными писателями и журналистами. Спустя год куряне нашли в горьковских очерках «По Союзу Советов» и рассказ об их родном городе.

Маленькая книжка «Горький в Курске» говорит о любви писателя к родной стране, интересе к людям, о постоянной его готовности прийти на помощь пишущему, работающему, изобретающему, ободрить его советом и поддержкой.

**Э. В. ТОЛЛЬ.** Плавание на яхте «Заря». Географиз. М. 1959. 340 стр. Цена 8 р. 90 к.

Дневник начальника «Первой Русской полярной экспедиции Академии наук», известного русского ученого — исследователя Севера Эдуарда Васильевича Толля, охватывает период с 21 июня 1900 года (день выхода в море судна «Заря») до 3 июня 1902 года, когда Толль, оставив «Зарю», отправился на остров Беннета в надежде найти гипотетическую «Землю Санникова».

Лаконичные деловые записи Э. В. Толля не только рассказывают о самоотверженной работе во имя отечественной науки, которая была проделана участниками экспедиции, но и дают большой и интересный материал по вопросам географии, геологии и зоологии Севера. Дневник характеризует и самого автора — неутомимого исследователя, человека прогрессивных взглядов, отдавшего науке не только все свои силы и знания, но и жизнь.

Книга была издана в 1909 году в Берлине. На русском языке она публикуется впервые.

**А. ШТЕКЛИ.** Кампанелла. «Молодая гвардия». М. 1959. 446 стр. Цена 8 р. 30 к.

В ряду книг, на протяжении веков звавших человечество к светлому будущему, стоит книга «Город Солнца» итальянского утописта XVI—XVII веков Томазо Кампанеллы. О нем рассказывает недавно вышедший выпуск серии «Жизнь замечательных людей». Всей своей деятельностью мыслителя и борца Кампанелла — один из величайших ученых своего времени — заслужил право на благодарную память потомков.

Великое неустойчивое, царящее в мире, Кампанелла приписывал частной собственности. Ни жесточайшие пытки инквизиции, ни тридцать три года, проведенные в ее страшных тюрьмах, не сломили в нем уверенности в том, что люди создадут строй, основанный на идеях справедливости, идеях коммунизма.

В творениях Кампанеллы мы находим мысли, вызывающие и сейчас, спустя три столетия, живой отклик. Касаясь рассуждений Кампанеллы об общественном воспитании молодежи, Ленин сказал: «Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же».

Обстоятельная книга о Кампанелле достаточно полно раскрывает благородный облик одного из первых провозвестников коммунизма.

**Н. ВИЛЬМОНТ.** Гете. История его жизни и творчества. Гослитиздат. М. 1959. 336 стр. Цена 8 р. 65 к.

Книга Н. Вильмонта, вышедшая вторым, переработанным и дополненным изданием, посвящена жизни и творчеству великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете. В ней освещается многогранное художественное наследие Гете: его лирика, исторические драмы, роман «Страдания молодого Вертера», поэмы и великая, «глубоко национальная драма «Фауст», над которой Гете работал почти шестьдесят лет.

Считая, что Гете, «как и всякий большой национальный поэт, не только автор великих творений, знаменовавших, по общему приговору, высшую точку в развитии немецкой литературы конца XVIII — начала XIX века; «величайший немец», он также и одно из наиболее ярких порождений немецкой истории (в самом широком смысле этого слова)», Н. Вильмонт исследует творчество Гете в тесной связи с историей развития Германии, немецкой общественной мысли и литературы.

На заключительных страницах книги автор говорит о влиянии творчества Гете на последующий ход развития немецкой литературы: «Этот великий человек, всеми корнями своей жизни и своего творчества накрепко сросшийся с народом, с его честными поисками справедливого миропорядка, внес решительный вклад в формирование немецкого национального сознания».

**БРАЗИЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ.** Перевод с португальского. Гослитиздат. М. 1959. 112 стр. Цена 1 р. 15 к.

С бразильской литературой, одной из самых молодых литератур мира, советский читатель был до сих пор мало знаком. Сборник рассказов, выпущенный Гослитиздатом, в какой-то мере восполняет этот пробел: в нем представлены не только современные бразильские прозаики, но и классики бразильской литературы, зачинатели критического реализма в Бразилии.

В новеллах Машаду де Ассиза, крупнейшего бразильского писателя XIX века, перед читателем раскрывается трагическая судьба человека в капиталистическом обществе. Богач, «скулой рыцарь», из-за корысти насильно выдает замуж любимую племянницу, остается одиноким, тоскует, но ничего не может с собой поделать: привязанность к деньгам сильнее в нем, чем привязанность к людям («Рассказ про деньги»). Отец, которому не на что кормить сына, с легким сердцем добывает деньги поимкой беглой рабыни, у него на глазах разрешающейся от бремени мертвым ребенком, — и не только он, но и его жена не находят в таком заработке ничего предосудительного («Отец против матери»). Скромный врач входит в кабинет к бывшему школьному другу, ныне губернатору, и с горечью убеждается, как мало значат простые человеческие чувства в холодном чиновничьем мире, — такой предстает буржуазная действительность в рассказе Грасилиану Рамоса «Два друга»...

В новеллы бразильских писателей XX века входят новые темы и новые герои: в сборник включены новеллы Монтейру Лобату («Чернуша») и Маркеса Ребелу «На улице донны Эмеренсыаны», с горячей симпатией рисующие жизнь обездоленных крестьян и бедняков городских окраин.

**АДОЛЬФ ГОФМЕЙСТЕР.** Кто не верит — пусть проверит. Детгиз. М. 1959. 200 стр. Цена 5 р. 70 к.

Необычное название этой книги объясняется очень просто: Адольф Гофмейстер — известный чешский писатель, ученый, художник, путешественник — записал свои многочисленные беседы с сыном, десятилетним мальчиком, о странах, которые повидал, о людях, их населяющих, о природе, обычаях, достопримечательностях в различных уголках земного шара. Получилась интереснейшая книжка, адресованная юным читателям всей земли. Но книжка привлечет внимание не только школьника. Пожалуй, каждому взрослому любопытно будет почитать и о том, как автор книги был в гостях у М. Горького, и о его поездке в пустыню Сахару, и о художнике Пабло Пикассо, и об изобретателе шахмат — древнем индийском ученом Сиссе, и о многом, многом другом.

Книга написана живым, хорошим языком (перевод с чешского Евг. Аникст и Р. Разумовой), в ней много юмора, веселой выдумки. Превосходны иллюстрации, сделанные самим автором.

Открывается книга предисловием Бор. Ефимова, в котором рассказано о писателе-коммунисте, большом друге Советского Союза Адольфе Гофмейстере.

**ВЕРКОР. Молчание моря. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 102 стр. Цена 2 р. 35 к.**

Франция в первые дни оккупации. В доме рядового француза, от лица которого ведется повествование, поселяется немецкий офицер. Вернер фон Эбреннак — не садист, не эсэовец, вообще не фашист: он скорее исключение среди оккупантов, исключение не кажущееся, а действительное. Композитор, страстно влюбленный в душу Франции, мечтающий о том, чтобы в результате союза — пусть насильственного, несправедливого — Франция в конце концов покорила Германию «изнутри», как в его любимой сказке Красавица покоряет Чудище. Он изо всех сил убеждает в возможности этого и себя, и хозяев дома, в котором живет, — старика француза и его племянницу. Офицер говорит — хозяева молчат. Молчат, хотя Эбреннак лично симпатичен им (племян-

ница даже влюблена в него). Молчат, потому, что у патриотов не может быть общего языка с оккупантами, — даже если это захватчик поневоле. Молчат, как море...

С повести «Молчание моря» началась подпольная французская литература Сопротивления. С нее началась и литературная деятельность Жана Бриоллера, инженера по образованию, художника и писателя по роду занятий, известного читателям под псевдонимом Веркор.

Веркор не коммунист. Его творческая судьба и идейная эволюция сложны, противоречивы. Лучшее у Веркора — его страстный протест против лицемерия буржуазного общества, против попыток «маленького человека» обособиться, уйти в себя, построить свое счастье в стороне от большого мира, разоблачение буржуазных иллюзий — воплощено в таких новеллах, как «Сновидение», «Типография «Верден».

Эти новеллы вместе с повестью «Молчание моря» и составили сборник, выпущенный Издательством иностранной литературы (предисловие О. Савича, переводы Н. Столяровой и Н. Ипполитовой).



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**А. Бирман.** Учись хозяйствовать. Рассказы об экономике предприятия. 392 стр. Цена 6 р.

**П. Бунич.** Переоценка основных фондов. 164 стр. Цена 1 р. 75 к.

**А. Бугенко.** Основные черты современного ревизионизма. Критический очерк. 240 стр. Цена 3 р.

**В одном строю к заветной цели.** Пребывание партийно-правительственной делегации ГДР в Советском Союзе. Июнь 1959 г. 248 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Б. Я. Дорофеев, А. А. Углов.** Современная Австралия. Краткий политико-экономический очерк. 196 стр. Цена 2 р. 50 к.

**А. Дризул.** Очерки истории рабочего движения в Латвии (1920—1940 гг.). 168 стр. Цена 2 р.

**А. Н. Ефимов.** Перспективы развития промышленности СССР. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

**М. В. Колганов.** Национальный доход. Очерки по истории и теории вопроса. 376 стр. Цена 10 р.

**Народное движение за освоение целинных земель в Казахстане.** 728 стр. Цена 10 р.

**А. Плонский.** Наука, мир, коммунизм. 152 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Раффаэлло Уболди.** Запрещенный репортаж. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Русская периодическая печать. 1702—1894 гг.** Справочник. 836 стр. Цена 17 р.

**А. Шерстюк.** Расцветает народная Болгария. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Н. С. Шилин.** В краю целинных земель. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

### СОЦЭГГИЗ

**В. С. Антонов, И. Мышкин** — один из блестящей плеяды революционеров 70-х годов. 84 стр. Цена 1 р.

**В. Г. Герасимов.** Жизнь русского рабочего. Воспоминания. 64 стр. Цена 60 к.

**А. П. Погребинский.** Государственно-монополистический капитализм в России. 268 стр. Цена 6 р. 70 к.

**Проблемы кризисов и обнищания рабочего класса после второй мировой войны.** Материалы международной научно-экономической конференции в Берлине 1—4 октября 1958 г. 623 стр. Цена 13 р. 40 к.

**Экономическая платформа русской секции I Интернационала.** Сборник материалов. 260 стр. Цена 4 р. 5 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Д. Батожабай.** Похищенное счастье. Роман. Книга 1. Перевод с бурятского. 404 стр. Цена 6 р. 90 к.

**П. Биркан.** Оружием слова. Эстетические взгляды и творчество И. Бехера. 206 стр. Цена 6 р. 90 к.

**Е. Босняцкий.** Квартира старого друга. Повесть и рассказы. 304 стр. Цена 5 р. 35 к.

**С. Бытовой.** Февральское солнце. Рассказы и очерки. 156 стр. Цена 3 р. 30 к.

**А. Горобова.** Здесь их сердце. Очерки. 320 стр. Цена 5 р. 40 к.

**И. Гусейнов.** Пламенное сердце. Утренняя звезда. Повести. Перевод с азербайджанского. 444 стр. Цена 7 р. 40 к.

**И. Джафарпур.** Перед праздником. Стихи. Перевод с азербайджанского. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Ю. Домбровский.** Обезьяна приходит за своим черепом. Роман. 416 стр. Цена 7 р. 20 к.

**С. Капутикян.** Розовые камни. Стихи. Перевод с армянского. 172 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Б. Ковынев.** Искусство полета. Стихи. 124 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Р. Кочар.** Лунная соната. Повести и рассказы. Перевод с армянского. 464 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Г. Крейган.** Стихотворения. 104 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Ан. Ладинский.** Когда пал Херсонес... Роман. 364 стр. Цена 4 р. 70 к.

**А. Ласурия.** Любовь на рассвете. Стихи и поэмы. Перевод с абхазского. 88 стр. Цена 1 р. 90 к.

**И. Макаров.** Голубые поля. Роман. 396 стр. Цена 7 р. 15 к.

**С. Рагимов.** Хаджар. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 512 стр. Цена 8 р. 75 к.

**М. Терещенко.** Радуги-дороги. Стихи и песни. Перевод с украинского. 220 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Ю. Трифонов.** Под солнцем. Рассказы. 270 стр. Цена 4 р. 80 к.

**Г. Фиш.** Здравствуй, Дания! 276 стр. Цена 5 р. 80 к.

**И. Фрадкин.** Литература новой Германии. 404 стр. Цена 9 р. 30 к.

**О. Хавкин.** Месяц диких коз. Повесть. 324 стр. Цена 5 р. 60 к.

**Т. Хмельницкая.** Творчество М. Пришвина. 284 стр. Цена 6 р. 30 к.

**Б. Ямпольский.** Мальчик с Голубиной улицы. Повесть. 304 стр. Цена 5 р. 35 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**Австрийская новелла XIX века.** Переводы с немецкого. 703 стр. Цена 12 р. 20 к.

**В. Билль-Белоцерковский.** Путь жизни. Рассказы. 239 стр. Цена 5 р. 5 к.

**Рамон дель Валье-Инклан.** Тиран Бандерас. Роман. Перевод с испанского. 215 стр. Цена 3 р.

**Расул Гамзатов.** В горах мое сердце. Стихотворения, поэмы. Перевод с аварского. 440 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Евгений Долматовский.** Избранные произведения. 495 стр. Цена 11 р. 5 к.

**Кайсын Кулиев.** Стихотворения. Перевод с балкарского. 290 стр. Цена 4 р. 55 к.

**Мария Конопницкая.** Сочинения. В четырех томах. Перевод с польского. Том I. 519 стр. Цена 9 р. Том II. 343 стр. Цена 8 р.

**Джозеф Конрад.** Избранное. В двух томах. Перевод с английского. Том I. 591 стр. Цена 10 р. 95 к. Том II. 679 стр. Цена 12 р. 40 к.

**Луис Ландинес.** Дети Максима Худаса. Роман. Перевод с испанского. 151 стр. Цена 2 р. 35 к.

**Габриела Мистраль.** Стихи. Перевод с испанского. 247 стр. Цена 5 р.

**Ихара Сайкаку.** Новеллы. Перевод с японского. 231 стр. Цена 4 р. 55 к.

**Фридеберт Туглас.** Маленький Иллимар. История одного детства. Перевод с эстонского. 415 стр. Цена 7 р. 80 к.

**М. Цагараев.** Наш друг Саго. Повесть. Рассказы. Перевод с осетинского. 295 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Фридрих Шиллер.** Избранные произведения. В двух томах. Перевод с немецкого. Том I. 751 стр. Цена 12 р. 10 к. Том II. 616 стр. Цена 9 р.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Арлазоров.** Жуковский. 303 стр. Цена 6 р. 50 к.

**С. Беляев.** Приключения Сэмюэля Пингла. Научно-фантастический роман. 296 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Александр Былинов.** Пароль «ДП-3». Очерки. 208 стр. Цена 4 р. 35 к.

**Александр Великанов.** Знойные ветры. Повесть. 192 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Вера Гандзова.** Мадленка. Рассказы. Перевод со словацкого. 159 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Н. Грибачев.** Дым над вулканом. 112 стр. Цена 1 р. 60 к.

**И. Комзин.** Это и есть счастье. Документальная повесть. 286 стр. Цена 5 р. 65 к.

**А. Иващенко.** Повесть о зерне золотом. 64 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Слав Караславов.** Шестеро за одного. Рассказы. Перевод с болгарского. 80 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Марианна Ланге-Вайнерг.** Девичьи годы. Перевод с немецкого. 224 стр. Цена 4 р. 65 к.

**Т. Лордкипанидзе.** Второе дыхание. 63 стр. Цена 95 к.

**С. Морозов.** Человек увидел все. Очерки. 208 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Лев Парфенов.** Человеку семнадцать лет. Роман. 272 стр. Цена 5 р. 70 к.

**В. Ревунов.** Красный день. Повесть и рассказы. 191 стр. Цена 4 р. 30 к.

**То Хоай.** Приключения кузнечика Мена. Сатирическая сказка. Перевод с вьетнамского. 112 стр. Цена 5 р. 65 к.

## ДЕТГИЗ

**Д. Батожабай.** Сказание о храбром баторе Сэнгэ и его друге Сунды-Мэргэне. Перевод с бурятского. 160 стр. Цена 3 р. 60 к.

**О. Бедарев.** Мы с Витькой. Повесть. 128 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Л. Берг.** Приключения Ломтика. Перевод с английского. 160 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Ф. Бублейников.** Загадки техники и законы природы. 112 стр. Цена 2 р. 45 к.

**И. Винокуров, Ф. Флорич.** Подвиг адмирала Невельского. 200 стр. Цена 4 р. 20 к.

**И. Гуро.** Путь сибирский дальний. Повесть. 272 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Здравствуйте, руки умелые!** Рассказы о московских школьниках. 80 стр. Цена 3 р. 65 к.

**О. Льюне.** Люди моря. Перевод с норвежского. 168 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Е. Мар.** Живая шерстинка. 80 стр. Цена 2 р. 80 к.

**П. Незнакомов.** Маргаритка и я. Рассказы для детей. Перевод с болгарского. 126 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Н. Остроменницкая, Н. Бромлей.** Приключения мальчика с собакой. Историческая повесть. 288 стр. Цена 5 р. 30 к.

**С. Розенфельд.** Первая песня. Повесть. 216 стр. Цена 4 р. 40 к.

**Сын оленя.** Абхазские народные сказки. Перевод с абхазского. 144 стр. Цена 3 р. 25 к.

**А. Е. Ферсман.** История одной тропы (Из истории Кольского полуострова). 112 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. Членов.** Северная красавица. 192 стр. Цена 3 р. 35 к.

**М. Шургин.** Трудный год. Повесть. 120 стр. Цена 2 р. 90 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО

## АКАДЕМИИ НАУК СССР

**И. И. Артоболевский.** Теория механизмов для воспроизведения плоских кривых. 255 стр. Цена 13 р. 80 к.

**А. А. Ерохина.** Почвы Оренбургской области. 164 стр. Цена 14 р.

**Из истории революционного движения народов Чехословакии.** Сборник статей. 388 стр. Цена 14 р. 10 к.

**А. Лаврецкий.** Эстетика Белинского. 371 стр. Цена 16 р.

**А. Б. Налбандян, Н. С. Ениколопян.** Формальдегид — материал для пластмасс. 70 стр. Цена 1 р.

**В. Т. Пашуто.** Образование Литовского государства. 531 стр. Цена 24 р. 25 к.

**В. С. Преображенский.** Очерки природы Донецкого края. 199 стр. Цена 9 р. 70 к.

**В. Н. Рогинский.** Элементы структурного синтеза релейных схем управления. 168 стр. Цена 8 р. 75 к.

**А. Е. Святловский.** Атлас вулканов СССР. 174 стр. Цена 38 р. 50 к.

**Н. Н. Шумиловский, Л. В. Мельцер.** Основы теории устройств автоматического контроля с использованием радиоактивных изотопов. 143 стр. Цена 6 р. 40 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

**Психологическая наука в СССР, Том I.** 600 стр. Цена 24 р. 40 к.

**В. А. Сухомлинский.** Воспитание коммунистического отношения к труду. Опыт воспитательной работы в сельской школе. 440 стр. Цена 10 р. 40 к.

### МЕДГИЗ

**Диагностика хирургических заболеваний.** 508 стр. Цена 24 р. 85 к.

**Н. И. Кузьмин.** Гигиена труда и безопасность работы на воздушных линиях связи и радиотелефонии. 124 стр. Цена 4 р.

**А. М. Святош.** Неврозы и их лечение. 368 стр. Цена 12 р. 60 к.

**Я. Н. Трахтман.** Путь к здоровью. 152 стр. Цена 4 р. 35 к.

**М. Д. Тушинский, А. Я. Ярошевский.** Болезни системы крови. 388 стр. Цена 21 р. 10 к.

**Б. Ф. Шаган.** Основы учения о новорожденном ребенке. 332 стр. Цена 13 р. 60 к.

**Шизофрения у детей и подростков.** 252 стр. Цена 10 р. 10 к.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

**А. А. Атласкин.** Из опыта работы агронома колхоза. 155 стр. Цена 2 р. 15 к.

**П. С. Балезин.** Животноводство Китая. 157 стр. Цена 3 р. 60 к.

**А. А. Березовский.** Силосование кормов. 105 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Н. Н. Боравский и др.** Подъемно-транспортные машины и механизмы в сельском хозяйстве. 183 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Е. Я. Борисенко, В. К. Дыман.** Общая зоотехния. 493 стр. Цена 9 р. 15 к.

**В. В. Буткевич.** Приемы и условия улучшения посевного материала. 351 стр. Цена 6 р. 55 к.

**Д. Д. Вердеревский.** Иммуитет растений к паразитарным болезням. 370 стр. Цена 6 р. 75 к.

**П. Е. Дорошенко.** Сельское хозяйство СССР в 1959—1965 гг. 175 стр. Цена 4 р. 35 к.

**Достижения биологической науки.** 374 стр. Цена 19 р. 60 к.

**Достижения мичуринской науки в микробиологии.** 228 стр. Цена 12 р. 45 к.

**В. А. Жамин.** Сельское хозяйство Китая. 285 стр. Цена 6 р. 45 к.

**А. Е. Каминский.** Кооперирование сельского хозяйства Китая. 165 стр. Цена 4 р. 20 к.

**И. А. Курюков.** Ранние овощи в открытом грунте. 230 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Организация производства кормов.** 331 стр. Цена 6 р. 15 к.

**Передовые агротехнические приемы в свекловодстве.** 237 стр. Цена 3 р. 15 к.

**Передовое в животноводстве Прибалтики.** 214 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Применение удобрений.** 170 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Школьные бригады в колхозах.** 125 стр. Цена 1 р. 65 к.

### ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Положение о сельских Советах депутатов трудящихся.** Сборник официальных текстов. 196 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Максимилиан Робеспьер.** Революционная законность и правосудие. Статьи и речи. Перевод с французского. 276 стр. Цена 11 р. 35 к.

**Советская литература по международному праву.** Библиография. 1917—1957 гг. 304 стр. Цена 6 р. 10 к.

**Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР.** Том I. 1917—1928 гг. 664 стр. Цена 9 р. 55 к.

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 14/VII-59 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/VIII-59 г.  
А 08008. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 1379.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА**  
на труд  
**„ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА**  
**1941 — 1945 гг.“**

(в шести томах)

«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.» разрабатывается Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и выпускается в свет Военным издательством Министерства Обороны СССР.

«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.» рассчитана на широкий круг читателей. Бывшие участники войны, научные работники и преподаватели, партийный, комсомольский, профсоюзный и советский актив, военнослужащие и инженеры, рабочие и колхозники, молодежь и студенты, пропагандисты и лекторы — все советские люди, интересующиеся историей самого трудного и героического периода жизни нашей Родины, найдут в этом издании новые и важные материалы.

По своим идейно-теоретическим основам и по содержанию «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.» является марксистским исследованием, освещающим как основные военные события 1941—1945 гг., так и процессы экономического и общественно-политического развития нашей страны, а также проблемы внешней политики СССР в этот период. В труде будет дан общий обзор и характеристика подготовки агрессии против СССР со стороны фашистской Германии и других империалистических держав, показан пламенный патриотизм и героическая борьба советского народа на фронте и в тылу, важнейшие операции Красной Армии и Военно-Морского Флота, возраставшая в ходе войны мощь Вооруженных Сил СССР и превосходство советского военного искусства.

Это издание широко осветит великую, непобедимую силу социалистического общественного строя и раскроет роль Коммунистической партии Советского Союза как вдохновителя и организатора всенародной борьбы с врагом, покажет многогранную деятельность партии по руководству фронтом, партизанской войной в тылу врага, хозяйственной и политической жизнью страны. Труд освещает освободительную борьбу народов Европы и Азии против германского фашизма и японского империализма, а также борьбу антифашистских сил внутри Германии. В нем находят освещение и совместные действия Советского Союза, США, Англии и других стран антигитлеровской коалиции в борьбе против общего врага. В «Истории Великой Отечественной войны» дается подробный анализ источников побед Советского государства, подводятся всемирно-исторические итоги войны.

«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.» состоит из шести томов.

Первый том посвящен возникновению второй мировой войны и подготовке империалистическими державами нападения на СССР.

Второй том охватывает события первого периода Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. — ноябрь 1942 г.).

Третий том освещает события второго периода Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.).

Четвертый и пятый тома освещают третий период Великой Отечественной войны, завершившийся разгромом фашистской Германии (1944—1945 гг.), а также поражение империалистической Японии.

Шестой том подводит всемирно-исторические итоги Великой Отечественной войны и итоги второй мировой войны в целом, анализируя источники победы Советского государства, его послевоенное развитие и борьбу за мир и мирное сосуществование.

Издание хорошо оформлено и богато иллюстрировано. Каждый том снабжен многоцветными картами, документальными и художественными иллюстрациями и необходимым научно-справочным аппаратом: перечнем важнейших дат и событий, именным, предметным и географическим указателями.

Все шесть томов выйдут в свет в 1960—1961 гг.

Стоимость одного тома 30 рублей, всего издания — 180 рублей. При подписке вносится задаток в размере стоимости одного тома.

Подписка принимается книжными магазинами республиканских, краевых и областных книготоргов и потребительской кооперации, а также магазинами «Военная книга».

Военное издательство  
Министерства Обороны СССР

Союзнига  
Министерства культуры СССР

Цена 7 руб.